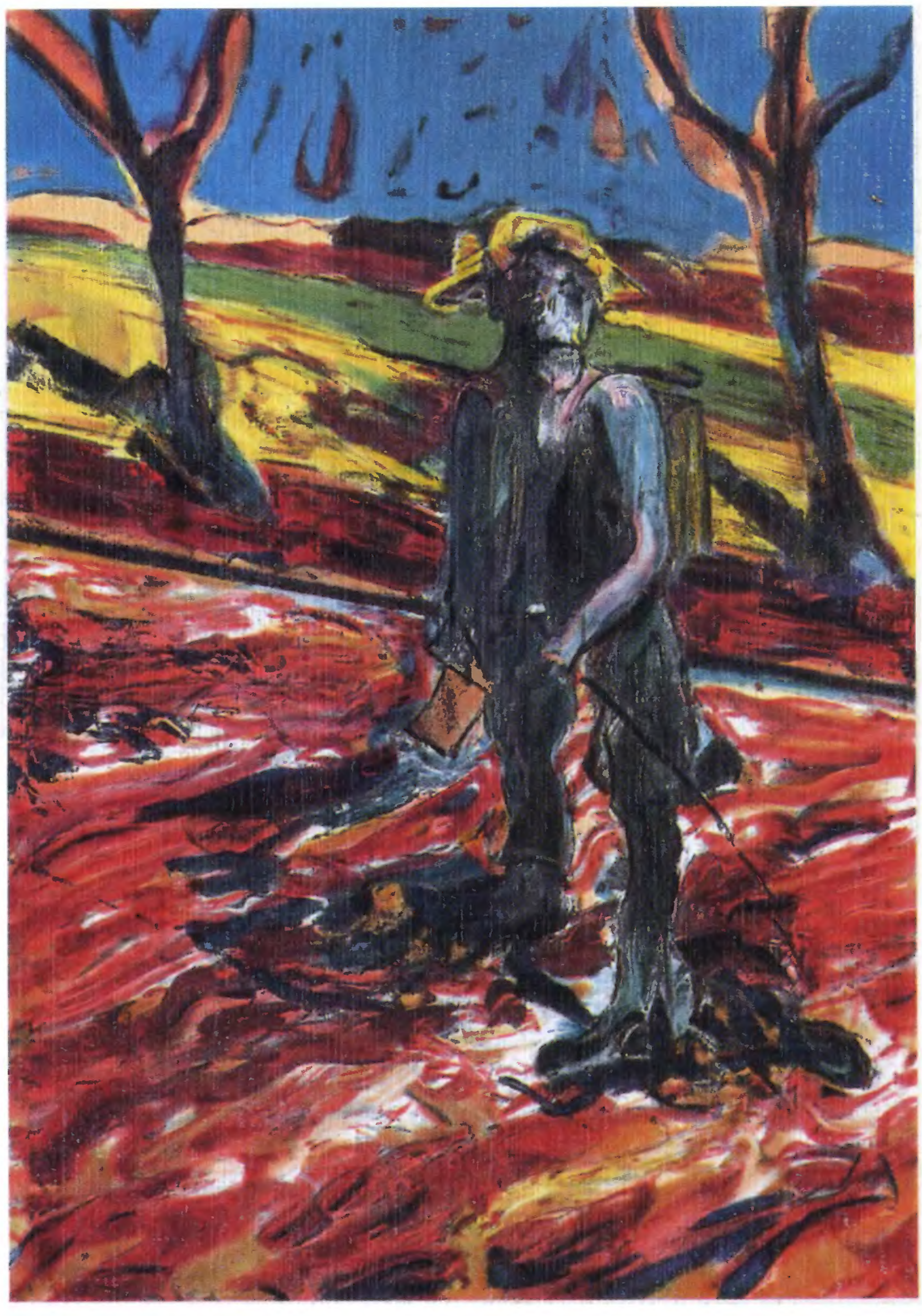
ISSN 0130-6545

7.1998

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

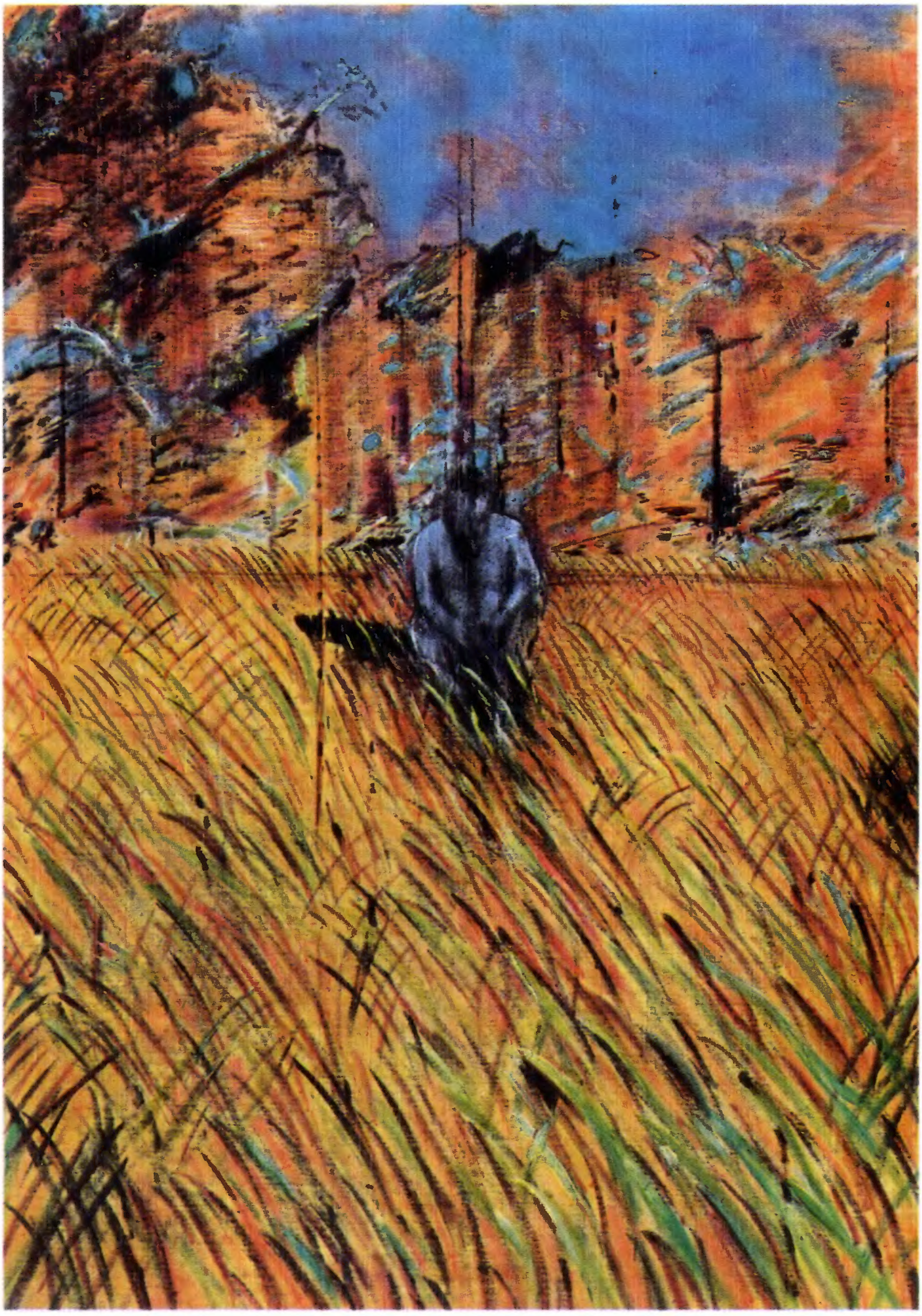


В номере:

ЭРИК ФОСНЕС ХАНСЕН
Псалом в конце пути

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР
Племянник Вольтера

ЖОРЖИ АМАДУ
Каботажное плаванье



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Скоро начнется ПОДПИСКА на 1999 год

Обращаем ваше внимание, что **наш журнал теперь следует искать в ОБЪЕДИНЕННОМ КАТАЛОГЕ ГОСКОМИТЕТА РФ по связи и информации *(зеленого цвета)*.**

Для москвичей *с 15 августа* проводится подписка **по КАТАЛОГУ МОСКОВСКОГО ПОЧТАМТА.**

Жители Подмосковья найдут наш журнал **в КАТАЛОГЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Московской области.**

Подписные индексы по всем каталогам:

на I полугодие ***72394***

на год ***72261***

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — ЗАО КОНВЕРСБАНК
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 13 930 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3235 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

7 **ИЮЛЬ** **1998**

СОДЕРЖАНИЕ

ЭРИК ФОСНЕС ХАНСЕН — Псалом в конце пути (*Роман. Перевод с норвежского Л. Горлиной*)..... 5

ШЭРОН ОУЛДС — Стихи из книги «Умершие и живые» (*Перевод с английского Елены Печерской. Вступление Анатолия Кудрявицкого*) 117

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР — Племянник Вольтера. *Мистификация в стиле Дидро (Перевод с немецкого Л. Бухова)* 123

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ — Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста (*Поэма. Перевод с польского Асара Эппеля)* 142

Эпистолярий

Трансатлантическая любовь. *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену. 1947–1964 гг. (Фрагменты книги. Вступление, перевод с английского и французского Ирины Кузнецовой)* 149

Документальная проза

ЖОРЖИ АМАДУ — Каботажное плаванье. *Наброски воспоминаний, которые никогда не будут написаны (Перевод с португальского А. Богдановского. Вступление Льва Осповата)*..... 185

Галерея «ИЛ»

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ — После конца света..... 237

Анкета «ИЛ»

Мировая литература: круг мнений. На вопросы анкеты отвечают НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, МИХАИЛ ГАСПАРОВ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС..... 244

У книжной витрины..... 251

Авторы этого номера..... 255

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»

Автобиографический роман **Шеймаса Дина** «ЧТЕНИЕ В ТЕМНОТЕ» — первое прозаическое произведение известного ирландского поэта и литературоведа.

Окончание книги **Нормана Мейлера** «ПОРТРЕТ ПИКАССО В ЮНОСТИ. ВЕРСИЯ БИОГРАФИИ», первые главы которой, напечатанные в «ИЛ» прошлой весной, были оценены читателями как одна из наиболее интересных публикаций журнала за последние годы.

Австро-Венгерская империя в творчестве двух своих подданных: Густава Малера и Ярослава Гашека — очередное эссе **Петра Вайля** из авторского цикла *«Гений места»*.

Цветные иллюстрации номера — работы английского художника ФРЭНСИСА БЭКОНА (1909 — 1992):

На 1-й стр. обложки — «Этюд к портрету Ван Гога III» (1957)
На 2-й стр. обложки — «Этюд фигуры в пейзаже» (1952)
На 3-й стр. обложки — «Этюд по мотивам картины Веласкеса «Папа Иннокентий X» (1953)
На 4-й стр. обложки — «Портрет Изабель Раусторн на улице в Сохо» (1967)

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, д.46
Библиоцентр **«Панглосс»**, Б. Палашевский пер., д.9

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 24.06.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,87. Заказ №3454.

Тираж 13 930 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ЭРИК ФОСНЕС ХАНСЕН

Псалом в конце пути

РОМАН

Перевод с норвежского Л. ГОРЛИНОЙ

A te Katerina, perchè ci sei[1].

АРФИСТ

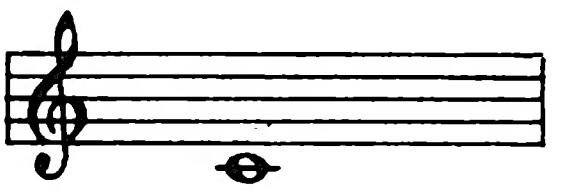
Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями.

Они нас в бытие манят —
Заводят слабость в преступленья
И после муками казнят:
Нет на земле проступка без отмщенья!

(Гёте. Перевод Ф. Тютчева)

СУДОВОЙ ОРКЕСТР
на борту RMS[2] «ТИТАНИК»
10—15 апреля 1912

Джейсон Кауард — *капельмейстер*.....Лондон
Александр Бежников — *первая скрипка*.....Санкт-Петербург
Джеймс Рил — *альт*.....Дублин
Жорж Доннер — *виолончель*..... Париж
Давид Бляйернштерн — *вторая скрипка*.....Вена
Петроний Витт — *контрабас*.....Рим
Спот Гауптман — *фортепиано*.....Место рождения неизвестно



[1] Тебе, Катерина, за то, что ты есть (*итал.*).
[2] RMS (Royal Mail Steamship) — Королевское почтовое судно (*англ.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© 1990 by J. W. Cappelens Forlag a·s
© Л.Горлина. Перевод, 1998
Роман печатается с сокращениями.

И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря.
Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.

Бытие, 32,26

10 апреля 1912 г. Лондон. Перед самым рассветом

Он вышел из парадного и вошел в утро.

Он думал: есть что-то неповторимое в том, чтобы идти одному по тихим утренним улицам, прощаясь с ними, уже находясь в пути. Всегда в пути. Еще рано, еще ты слышишь свои шаги по брусчатке. Еще не взошло солнце.

Улица идет под уклон, она спускается к Темзе. В руке у тебя — небольшой чемодан, под мышкой — футляр со скрипкой. И все. Идти легко. Ты сворачиваешь за угол, и тебе открывается небо на востоке.

Он шел. Вокруг громоздились городские здания; на рассвете они казались легкими и прозрачными. И почти парили в воздухе. А по улице, между домами, текли предутренние сумерки; синие, какими они бывают только в апреле, неуловимые, точно неведомый интервал. В такую рань на улице почти никого не было — несколько ночных пташек, два-три зеленщика со своими тележками, редкие утренние прохожие, он сам. Шаги по камням. Лица прозрачные, как город, залитый этим светом. Он думал: и мое лицо сейчас тоже прозрачно.

Вскоре он был уже на углу.

Он замер на мгновение, словно перед зеркалом.

Потом свернул за угол. И увидел Темзу, бесцветную и спокойную. Над водой плыл легкий туман. Небо было залито таинственной синевой, но на востоке оно уже краснело. Он задержался на углу. Это его река, он вырос на Темзе, ему известны все ее цвета, звуки и запахи. Он знал: счастлив ребенок, чье детство проходит у большой реки.

Наконец взошло солнце. Он поставил на землю чемодан и футляр со скрипкой. И смотрел, как все медленно изменяется на глазах; контуры обозначились резче и глубже, река приобрела цвет. Некоторое время он стоял и смотрел на разливающееся красное зарево.

— Она должна быть немного правее и ниже солнечного диска.

Голос отца.

— Еще долго? — Это уже его собственный голос, чистый, нетерпеливый. Ему десять лет, это было очень давно. Непостижимо давно и вместе с тем недавно.

— Еще пять минут, всего пять. — Отец смотрит на часы. Что там на них? На этих солидных золотых часах, с которыми отец никогда не расстается, у часов массивная золотая крышка с монограммой, и они всегда показывают верное время.

— Который час? — Опять он сам.

— Пять сорок семь и тридцать секунд. — Да. Это верное время. Отец щурится на часы. Потом вставляет закопченное стекло в зажим перед внешней линзой телескопа. Теперь они смогут смотреть на Солнце, не боясь испортить глаза. Летнее утро, луг. Пахнет травой и клевером, птицы только-только заводят свои песни. Они с отцом встали два часа назад, чтобы вовремя поспеть сюда. И увидеть прохождение Венеры через диск Солнца. Солнце еще красное, но оно быстро поднимается.

— Так. Теперь можешь навести телескоп и зафиксировать положение. — Неловкими руками, которые, однако, знают, что следует делать, белыми, холодными, детскими руками он поворачивает телескоп к Солнцу, наводит его и подкручивает винты как нужно. Потом смотрит в объектив, поправляет, фиксирует положение. Отец смотрит на часы. Они показывают верное время.

— Пять сорок восемь и сорок пять секунд. Что ты видишь, Джейсон?

Джейсон смотрит. Солнечный диск — сквозь закопченное стекло он кажется золотисто-коричневым — закрывает почти весь объектив. Проходит несколько секунд, пока Джейсон привыкает к этому зрелищу, но потом он замечает на Солнце маленькие мерцающие волоски и темные пятнышки.

— Папа! Я вижу солнечные пятна. И портуберанцы!
— Про-туберанцы.
— Да!
— Можно мне посмотреть?
— Да!
Отец смотрит. Потом снова уступает место Джейсону. Сам же опять достает часы, свои докторские часы.
— Сейчас мы ее увидим. Через одну минуту и тридцать пять секунд. Смотри внимательно. Внизу справа. Она будет не похожа на солнечные пятна.

И взрослый Джейсон, который стоит и наблюдает эту картину внутри себя, такую далекую и такую близкую — словно в телескопе, — знает, что отцовские часы показывали верное время. Единственное верное время.

*

— Осталось несколько секунд!
Солнце уже начинает исчезать из объектива, оно поднимается, движется вверх, удаляется от горизонта.
— Папа, надо навести телескоп!
— Подождем, пусть Венера встанет перед Солнцем. Теперь ты уже должен ее видеть.
В этой черноте Солнце похоже на огненное блюдо. И там, совершенно верно, справа на его поверхность наползает черное пятно. Отчетливо видимый шар правильной формы, и это не солнечное пятно!
— Я ее вижу! — Чистый детский голос. Благоухание луга.
— Ты уверен? Позволь мне взглянуть, тогда я зафиксирую телескоп в нужном положении. — И отец фиксирует телескоп, восхищенным восклицанием подтвердив слова Джейсона. Джейсону трудно устоять на месте, это его первое прохождение Венеры...
— Редкое явление! — восхищенно восклицает Джейсон, и отец громко смеется.
Но вот все кончилось, Венера уже прошла. Они шагают по мокрому проселку, завтракать они будут в трактире. Отец несет телескоп, Джейсон штатив. Отцу и сыну тяжело, поэтому они идут медленно.
Рокочет голос отца:
— ... из-за параллакса двое наблюдателей получают немного разный результат, и таким образом, с помощью тригонометрии, можно рассчитать расстояние до Венеры. Но это еще не все. Пользуясь законами Кеплера и узнав расстояние между Землей и Венерой, можно вычислить и расстояние до всех других планет.
Это звучало как песня.

Все это осталось в Джейсоне. Он видит это где-то вдали, словно сквозь небесную бесконечность. Одна секунда. Одна секунда верного времени.
Джейсон расправляет плечи. Красный восход... Красный свет. Сейчас он не хочет думать об этом. О красном свете. Поэтому он подхватывает футляр со скрипкой, чемодан и идет дальше. Не думай сейчас ни о чем другом. Ты помнишь прохождение Венеры? Конечно, он его помнит!

Да. Но было не только прохождение Венеры. Были холодные вечера у окна мансарды, выходившего на юг, зимние вечера с мерцающими гроздьями звезд, головокружительное изумление перед бездной, отделявшей Млечный Путь от снега. Там, у окна, Джейсон подружился со всеми планетами. Они с отцом установили телескоп на полу перед окном, он смотрел в ночь.
— Там созвездие Близнецов, а там ты сможешь увидеть Сатурн. Если сегодня вечером воздух будет прозрачный, мы увидим даже его кольцо. — И когда Сатурн поднялся и встал над трубами дома на другой стороне улицы, воздух оказался достаточно прозрачен: они увидали кольцо. То, что раньше было смутным, мерцающим пятном в объекти-

ве, стало ясной круглой точкой, и эта точка была окружена кольцом. От нее исходил ровный желтый свет. Кольцо было как мост, окружавший Сатурн.

— Какой он одинокий, — прошептал Джейсон, точно боялся потревожить планету.

— Да, это очень далекая планета. — Отец тоже говорил тихо. — Между Сатурном и Землей больше миллиарда английских миль. — Джейсон невольно ахнул про себя, и у него опять слегка закружилась голова от этого расстояния, непостижимости, пустоты. Ему часто снилось, что он плывет в пустоте, вокруг него сверкают звезды и планеты. И он просыпался со сдавленным криком.

— А из чего состоит кольцо Сатурна?

— Вообще-то у него два кольца. Но наш телескоп недостаточно силен, чтобы мы отличили их друг от друга. Анализируя свет той или иной планеты, можно узнать, из чего состоит ее поверхность. Поверхность Сатурна, по-видимому, состоит из ядовитых газов, аммиака, метана. Но он очень красив.

— А кольца? Из чего состоят кольца?

— Скорей всего, это лед.

— Лед!..

Они разглядывали и другие планеты. Меркурий — попутчик, как его называл отец. Джейсон питал особое чувство к маленькому, быстрому Меркурию, но часто его было трудно увидеть. Еще была Венера, утренняя и вечерняя звезда. Иногда в телескоп она казалась небольшим серебристым серпиком, совсем как Луна.

Был еще и красный Марс, похожий на драгоценный камень. Марс становится любимцем Джейсона; целых полгода он каждый вечер наблюдает за Марсом и наносит его орбиту на звездную карту.

А большой красивый Юпитер с красным пятном, напоминающим глаз, внушает Джейсону ужас.

— Должно быть, этот красный глаз — большой остров, который плавает по поверхности Юпитера, — спокойно говорит отец. — Может, это остров, а может, шторм, веками бушующий на Юпитере.

А Луна — спутник Земли — в телескоп выглядит чужой и незнакомой. Такой близкой, такой большой. Поверхность Луны, которую Джейсон видит в телескоп, хорошо известна, и вместе с тем она кажется чужой. Луна обладает очень сильным желтовато-белым или синевато-белым светом. Долго наблюдать за Луной трудно. Отец говорит, что почти все наблюдатели испытывают то, что называется лунным головокружением, этот феномен хорошо знаком астрономам. Потом он рассказывает о приливах и отливах, которые они знают по Темзе, протекающей в двух кварталах от их дома. Они вместе пойдут к реке, запишут время приливов и отливов, а потом сравнят его с движением и фазами Луны. Особенно интересно наблюдать за этим в половодье. Когда случаются наводнения.

К входной двери дома была прибита медная дощечка, ее чистили каждую неделю: *Джон М. Кауард, доктор медицины.*

Отец Джейсона делил свое время между работой в миссионерском госпитале в Уайтчепеле, где он был врачом-инфекционистом, и частной практикой на дому, в нескольких кварталах от Королевского монетного двора.

В его кабинете было множество инструментов, наглядных пособий и книг. В углу стоял скелет и запертый стеклянный шкаф, в котором хранились лекарства.

Когда у отца не было пациентов и он работал в кабинете один, Джейсону разрешалось спускаться к нему вниз при условии, что он будет сидеть тихо. Так повелось с самого детства. Обычно отец давал ему какую-нибудь книгу, чаще всего одну из толстых книг в кожаном переплете с цветными картинками, на которых через отверстие в животе можно было заглянуть внутрь человека. Это были странные яркие картинки, и разрезанным людям было как будто совсем не больно. Напротив, они стояли во весь рост, без одежды, но с открытыми глазами и смотрели прямо на Джейсона, словно не замечая, что всем видна их печень. Печень была лиловая. Джейсону это нравилось, и он мог подолгу разглядывать эти картинки.

В гостиной тоже была одна книга, которую Джейсон любил рассматривать, но уже совсем не такая. Это была большая иллюстрированная Библия с множеством гравюр. Мать обычно читала ее Джейсону вслух. Постепенно он знал уже все картинки: мрачная пещера, в которой была похоронена Сарра, гибель страшного змея Левиафана, победа над филистимлянами.

А великий потоп! Поднимающиеся воды и голые, испуганные люди, ищущие спасения на деревьях и скалах. И на заднем плане ковчег, темный и закрытый. Люди его не видят. На другой картинке вода поднялась уже до самой высокой вершины: «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы». На картинке была изображена обезумевшая от страха тигрица, она сидела на высокой скале, держа в зубах тигренка. Отец вытаскивает на камень своего утонувшего ребенка — один мальчик уже сидит там, на камне, он боится воды, ему страшно и он устал. Вода неумолимо поднимается, и, похоже, мальчик почти жаждет смерти.

Вода покрывала землю сто пятьдесят дней.

На другой картинке вода уже спала; повсюду видны голые трупы, от влажной гнили исходит страшное зловоние. Ковчег стоит на высокой горе, на небе светит солнце и сияет радуга.

Джейсон спрашивает у матери, злой ли Бог. Но она не отвечает ему.

Библия с картинками была почти такая же красивая, как медицинские книги отца. Джейсону почему-то казалось, что они даже похожи друг на друга. Эти картинки остались с ним на всю жизнь.

Отец был высокий, с темными, зачесанными назад волосами и бакенбардами. Во время работы он надевал круглые очки. Он рано обнаружил склонность Джейсона к естественным наукам и приносил разные препараты, книги и наглядные пособия, которые они вместе рассматривали. Джейсону было уже девять, когда отец приобрел телескоп. В юности доктор Кауард весьма интересовался астрономией, и телескоп должен был принести им с Джейсоном много радости. Однако он стоил дорого, а докторское жалованье было невелико, и, посвятив сына в свои планы, доктору надо было еще получить разрешение у жены. Разговор произошел в воскресенье за вечерним чаем.

— Алиса, — сказал отец, — ты помнишь, как я интересовался астрономией, когда мы с тобой познакомились?

Джейсон навострил уши. Вот оно!

— Конечно. — Мать улыбнулась. — Ты всегда носил в кармане карту звездного неба. Тогда как другие молодые люди имели при себе карманное издание Шелли.

— Гм, должно быть, это считалось очень романтичным?

— Не спорю. Но они плохо читали стихи. Бог свидетель, как мне надоел тогда Шелли! Ты же со своей картой звездного неба...

— Гм... Гм... — Отец смущенно улыбнулся. — Я никогда не рассказывал тебе, что пробудило во мне такой интерес к астрономии?

— Нет, никогда. — Мать поняла, что отец с сыном что-то задумали, Джейсон был в этом уверен.

— Понимаешь, мне случилось быть свидетелем приступа звездного безумия.

— Правда? Звездного безумия?

— Я тогда жил у часовщика Крика.

Доктор Кауард рос в трудных условиях: когда он учился в школе, ему приходилось работать ради куска хлеба и крыши над головой. Некоторое время он работал у часовщика.

— Однажды вечером я сидел в столовой, миссис Крик уже накрыла стол к ужину, когда Крик вернулся домой. Он был очень взволнован, лицо у него горело. «Дорогой Джеймс, — сказала ему жена, — ты опять был на одной из этих лекций?» Крик любил посещать лекции по естественным наукам, которые читались для простого народа, они всегда приводили его в восторг. Но на этот раз его волнение достигло предела. Он с трудом дышал. «Да! — воскликнул он. — Я слушал лекцию доктора Бёрда о солнечной системе! Это было... это было... — тут он употребил свое любимое выражение: — Нечто

совершенно экстра-орди-нарное!» Он неизменно только так произносил это слово. И Крик начал рассказывать все, что узнал о планетах и о лунах, и по мере того, как он говорил, его волнение возрастало; наконец он воскликнул: «Но лучше я объясню вам все с помощью швабры!» С этими словами он схватил швабру миссис Крик, которая стояла у двери в ведре с водой. Он основательно поболтал швабру в воде и начал вращать ею у себя над головой, так что вода с нее брызнула во все стороны. «Вот! — кричал он. — Швабра — это наше Солнце! А полет воды по спирали изображает движение планет вокруг Солнца. Мы с вами наблюдаем создание солнечной системы!..»

— И что сказала на это его жена?

— Она очень расстроилась, и это понятно. Во-первых, из-за мебели, а во-вторых, из-за мужа, у которого от научного рвения даже посинело лицо. Так это началось.

— А чем кончилось?

— Видишь ли, Крик был простой человек, у него не было никакого образования, и мне, изучавшему естественные науки, пришлось помогать ему. Теперь часовщик почти все свое время отдавал новой страсти — астрономии; он не думал ни о чем, кроме нее, и, чтобы не потерять комнату, я был вынужден заниматься с ним. В конце концов он забросил свое дело и принес себя в жертву звездам. Даже не знаю, сколько раз я помогал ему таскать его телескоп в Гринвич-хилл. Вначале он устанавливал его там, чтобы быть поближе к Сердцу Астрономии, как он называл обсерваторию. Но со временем он стал брать деньги с людей, которым хотелось посмотреть в телескоп, пенни за взгляд, и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Тогда я начал подыскивать себе другое жилье. Крик прочитал лекцию в астрономическом обществе, упорно произнося *констернация* вместо *констелляция*. Лекция провалилась. Члены общества были в полной растерянности. Они кричали: «Правильно, правильно!», но такая мелочь не могла остановить мистера Крика.

— Наверное, его первая лекция произвела сильное впечатление на публику?

— Мне жаль, что я на ней не присутствовал. Похоже, у Крика проявилась харизма. Но вся эта история — хотя и в крайней форме — свидетельствует не о чем ином, как о восторге перед наукой.

Они помолчали.

— Ну хорошо, — сказала мать, — так что же вы хотите?

— Алиса, обещаю тебе, что я никогда не стану вращать над головой мокрой шваброй.

— Приятно слышать.

— Видишь ли, дорогая, дело в том, что я решил купить телескоп. Главным образом, разумеется, ради Джейсона.

— Ну конечно.

— Я полагаю, это пойдет ему на пользу.

— Ты прав, Джон.

— Ничто так не дисциплинирует и не развивает человека, как точные научные наблюдения. Сделанные с помощью точных приборов.

— И сколько же этот прибор стоит?

Отец молчал. Наконец мать сказала:

— Джейсон, выйди, пожалуйста, на минутку.

Джейсон взглянул на отца.

— Делай то, что тебе велит мама.

В буфетную из столовой доносятся взволнованные, отрывистые голоса родителей. Джейсон понимает: наступил ответственный момент, сейчас они примут решение.

— ... не может быть и речи... дом... ремонт... наука... наука!.. и сколько же?.. все говорит за то... развитие мальчика... а уроки?.. с годами значение науки возрастет... а свежий воздух?.. одно условие...

Наконец голоса умолкают. Потом родители смеются, и Джейсон понимает, что телескоп будет куплен. Через мгновение дверь отворяется, на пороге стоит отец, лицо у него сияет.

— Твоя мама сошла с ума, — говорит он. Из столовой доносится голос матери:

— Джон, как ты можешь так говорить!

— У тебя будет телескоп. И скрипка.

— Скрипка?

— Да, таково условие. — Отец приседает, и его лицо приближается к лицу Джейсона. — И я думаю, мама права, — говорит он. — Она считает, что ты и так рассматриваешь слишком много препаратов и альбомов. А теперь у тебя будет еще и телескоп, но за это ты должен каждый день не меньше часа прилежно заниматься на скрипке. Понимаешь?

Джейсон кивает.

*

Джейсон остановился. Он увидел себя в зеркале, выставленном в витрине. Высокий, широкоплечий, костюм под пальто был ему тесноват. Каштановые волосы, голубые глаза. Под мышкой футляр со скрипкой. Это не тот инструмент, который был у него когда-то, этой скрипкой он обзавелся гораздо позже, уже после двадцати.

Джейсон видит себя, каким он был в детстве: высокий рыжий мальчик с большими глазами. В том, верном, времени все, все было иначе. Ему кажется, что он даже помнит свой прежний смех, журчащий, легкий, — где он теперь, тот смех?

С того места, где он стоит, ему виден купол собора Святого Павла, в лучах восходящего солнца его цвет напоминает цвет парного мяса.

Но сейчас ему не хочется думать о другом.

Бог злой?

Джейсон улыбается своему детскому вопросу.

Это лишь тень улыбки, почти добродушная.

*

Зимой начинаются эпидемии. Кварталы, где живут бедняки, страдают от них, трепещут перед ними; так и видно, что за серыми, разбитыми окнами живет страх. Дождь заливает улицы. В подвалах и тесных перенаселенных квартирах начинаются болезни. Вспыхивает эпидемия дифтерии, неизбежная, как прилив и отлив. Потом — тифа. Отец поздно возвращается домой, он каждый вечер поздно возвращается домой. На его лице белый налет усталости. За окном дождь или туман. Всегда или дождь, или туман. Он тихо разговаривает с матерью, голос его звучит глуше, чем обычно, он как будто прячется в самой глубине горла. Отец говорит об условиях. В таких условиях люди уже не могут жить, говорит он. Вместе с комиссией он посетил девятикомнатный дом в Спитлфилдсе, где на шестьдесят трех человек приходится всего девять кроватей. Подумать только, шестьдесят три человека! Там все стены пропитаны инфекцией. Канализация не работает. Она там нигде не работает.

— Единственное, чего нам теперь недостает, так это холеры, — говорит отец. — Мы ждем первых случаев. Некоторые бездомные живут в отхожих местах — другой крыши над головой у них нет. А мы молимся Богу и ведем статистику. В Лондоне тысячи людей питаются только тем, что находят на улицах. Некоторые наловчились и пробираются в канализационные трубы, выходящие в Темзу, там они граблями шарят в нечистотах, ища металлические предметы или что-нибудь, что можно продать. Только половина детей учится в школе. Нас тревожит положение с питьевой водой. Необходимо кипятить даже воду из городских колонок. Слава богу, что хотя бы идут дожди.

Джейсон немного пристыжен, он не поднимает глаз от уроков. Ему хотелось бы спросить у отца, не могут ли они вместе нанести на новую звездную карту орбиту Марса. Но он понимает, что сейчас это неуместно. Отец слишком устал. И Джейсону стыдно, что он, несмотря ни на что, разочарован. Отец борется с многоголовым чудовищем, с Гидрой, которую он вместе со всеми своими комиссиями не может победить. Зачем же он борется, если знает, что все равно проиграет? Джейсону стыдно.

— Налить тебе бренди? — спрашивает мать. Отец кивает с отсутствующим видом.

— Мы посетили сегодня еще один дом, — говорит он. Его голос сочится подобно черному дыму. — Одна комната. Ирландская семья. Шестеро детей, четверо из них девочки, старшей — тринадцать. Двое младших больны дифтеритом. В комнате одна кровать, стол и солома в углу. Младшему ребенку уже нельзя было помочь, он умер у нас на глазах. У матери цинга в ранней стадии.

— Вот, — говорит мать, — выпей. — Она протягивает отцу рюмку.

— Трое старших — две девочки и один мальчик — работают на спичечной фабрике. Ты бы видела их руки! Пожалуй, можно понять тех, кто предпочитает, чтобы их дочери занимались проституцией. Тогда они по крайней мере приучились бы мыться.

Доктор Кауард осушил рюмку. Мать тут же снова наполнила ее. Обычно он ограничивался двумя рюмками, если только не было эпидемии холеры. Мать и Джейсон знали, чем заканчивались такие вечера. Доктор мог рассказывать о последних часах тифозных больных, о палатах, в которых лежали задыхающиеся дети, о сестрах милосердия, бегавших с кружками кипятка и мазками. Несколько раз он рассказывал о stadium algidum[1] холеры, о судорогах и свинцово-серых лицах.

Иногда он возвращался домой в таком состоянии, что час или два голос еле просачивался из него, мать с Джейсоном почти все время молчали. Но они знали, что ему необходимо присутствие их обоих. Выговорившись, отец откидывался в кресле, усталый, но цвет лица у него уже был обычный. И голос звучал уже как всегда.

Что дает ему силы? — думал Джейсон. Что с ним происходит, когда он составляет статистические отчеты для департамента здравоохранения и для всех комиссий, в которых он заседает?

Джейсону стыдно, что он думает об орбите Марса — отец начал знакомить его с открытиями Кеплера, и тут изучение орбиты Марса играет важную роль.

Отец выпивает вторую рюмку.

Что дает ему силы? Отец Джейсона был и таким тоже:

— Не надо преувеличивать значение отдельного человека.

Раннее воскресное утро.

— Сам по себе человек не значит ничего, важен только его вклад.

Джейсон молча слушает, ему это не совсем понятно.

Мать надевает шляпку, они идут в церковь.

— Отдельный человек — это только частица, только маленький камешек в большой мозаике. И эта мозаика — фундамент будущего.

Когда же наконец пойдет снег, думает Джейсон. Сколько может так продолжаться — туман и дождь, дождь и туман. Скорей бы пошел снег.

— И самый прекрасный узор в этой мозаике, самый красивый и самый истинный, — это наука. В лабораториях, анатомических театрах и обсерваториях укладывается камень за камнем для будущего человечества. Это долгая и кропотливая работа. Но она ведет нас вперед. А индивид, который участвует в этой работе, значит не больше, чем то, что он делает; его жизнь и его душа не значат ничего — он все равно что служитель в храме, он несет жертву к алтарю, смиренно и самоотверженно. И все. Не больше того. А работает он с радостью или с печалью, к сути дела отношения не имеет.

Джейсон бросает на отца быстрый взгляд, ему тревожно. Доктор немного бледен от постоянной усталости.

Джейсон осторожно трогает руку отца. Отец смотрит на него; одно мгновение он еще как будто отсутствует, но потом улыбается, почти так же, как всегда.

— Завтра, — говорит он, — завтра мы пойдем в один магазин, где продают экзотических животных. Там мы купим личинок. Личинок шелкопряда. Через месяц личинки спрядут коконы, и спряденная ими нить будет шелковая, чистый шелк.

— Шелк, — тихо повторяет Джейсон.

— Несколько коконов мы опустим в кипящую воду, чтобы шелкопряд умер до того, как он выйдет из кокона, повредив нить. Потом нить можно смотать.

---

[1] Стадия окоченения (*лат.*).

При этих словах лицо у отца светлеет.

В церкви полно народу. Родители молятся. Отец так стискивает руки, что у него белеют суставы.

Но на другой день в больнице зарегистрирован первый случай холеры, и шелкопряду приходится подождать.

*

Джейсон поднимает футляр со скрипкой, чемодан и идет дальше.

Верни мне то время, думает он. Верни мне верное время. Когда все было отмечено незыблемостью, было отмечено вечностью. Когда каждое действие, каждый человек — в том числе и я сам — были исполнены значения и вечности.

Верни мне то время.

Он стряхивает с себя эти мысли. Пересекает Саутуорк-бридж. Постепенно улицы заполняются людьми. Приятное чувство легкости и достижимости пропадает, и Джейсон больше не слышит своих шагов. Зато он ощущает слабое посасывание под ложечкой.

Ты же ничего не ел, думает он. У тебя еще много времени. Тебе еще не скоро надо быть на вокзале. Ты должен поесть до того, как пойдешь на вокзал Ватерлоо.

То же утро. Лондон. Вокзал Ватерлоо, 7.05

Большая стеклянная крыша вокзала незаметно дрожала над гулом поездов и толпы. Высоко вверху с одной стальной балки на другую перепархивали голуби, не обращая внимания на вокзальную суету. Мириады стеклянных квадратиков крыши медленно светлели по мере того, как снаружи усиливался и проникал внутрь дневной свет.

В зале, прислонившись к газетной тумбе, стоял Давид. Он был очень юн, почти мальчик, и по его виду сразу было понятно, что жизни он еще не нюхал. У него была густая черная вьющаяся шевелюра, слишком пышная и непослушная для него. Тонкие и чистые черты лица, узкие плечи. Юношеская неопытность подчеркивалась его одеждой, лучшей из того, что можно было купить в магазине готового платья, и говорившей о том, что она была выбрана заботливой материнской рукой. Шляпу он держал под мышкой. Багаж — футляр со скрипкой и чемодан — стоял у него между ног. Давид все время зевал. Он думал: если он сейчас не придет, я упаду в обморок.

Когда Давид закрывал глаза, ему казалось, что он находится внутри большого гудящего колокола. Со всех сторон до него доносились запахи, обычные для железной дороги, — угля, дыма, машинного масла и смолы. Но, непривычно терпкие и смешанные с шумом вокзала, в то утро они казались ему незнакомыми.

Давиду было не по себе. Вокруг на чужом для него языке кричали мальчишки-газетчики, он не понимал ни слова. Их громкие крики сливались в одну протяжную, таинственную, жалобную песнь. И именно потому, что Давид ничего не понимал, но знал, что их крик содержит какой-то смысл, ему чудились в них опасные намеки; собственные смутные мысли, не подчинявшиеся разуму, тревожили Давида. И от страха точно иглами кололо сердце.

Давид первый раз был в Англии и, строго говоря, вообще за границей. Он не думал, что все здесь окажется настолько чужим. Будто он попал на чужую звезду. Даже самые обычные вещи, дома или деревья, здесь были какие-то другие, действительность словно исказилась. Иные краски, иной свет. Давид заметил, что воспринимает все более остро, чем всегда; новые впечатления прочно врезáлись в его память.

Это началось в первый же вечер в Лондоне, три дня назад. Давид не мог без ужаса даже вспоминать о том случае. На узкой улочке его остановил какой-то невысокий человек в котелке, он что-то быстро говорил и протягивал Давиду плоскую коробку, в которой что-то лежало. Хотел продать? Или просто отдать? Уловить смысл Давид не мог и не знал, как избавиться от этого человека. В коробке лежали какие-то черные бесформенные комки, незнакомец схватил один комок и сунул Давиду в лицо. От комка шел резкий запах, Давид испугался и попытался уйти. Но человек с комками не отставал от него, размахивая на ходу этим непонятным комком. В конце концов Давиду, точно воришке, пришлось убежать от него, зажав под мышкой футляр со скрипкой и чемодан.

В тот же вечер, но уже позже, его остановила молоденькая худая девушка с голыми, посиневшими от апрельского воздуха руками. Ей тоже что-то было от него нужно, но на этот раз Давид понял, в чем дело. Он быстро ушел от нее, от ее больших серых глаз.

В маленьком грязном пансионе — или лучше сказать ночлежке? — где он остановился, он не понял ничего, что ему сказали, кроме цены. Это было убогое заведение с клопами и подозрительным шумом в соседних комнатах по ночам. Давид плохо спал в Лондоне. Он все больше и больше раскаивался в своей затее. Что я здесь делаю? — думал он. Как мне взбрело в голову приехать сюда? Когда он вспоминал, чем был вызван его отъезд из дому, а именно об этом он и думал, стоя на вокзале Ватерлоо, ему казалось, что он просто сошел с ума. Почему не бежит отсюда? Надо сесть на первый же поезд, идущий в Дувр, и уехать на континент, вернуться домой. Давиду пришло это в голову в то утро, когда, завтракая в своей ночлежке, он обнаружил ноготь в поданной ему водянистой яичнице, которая выглядела так, словно ее кто-то не доел. Будучи неискушенным, Давид принял ноготь за дурной знак. Его останавливало только почти полное отсутствие денег, он думал, что их не хватит на далекий путь до Вены. К тому же он дал слово и даже подписал соглашение. Однако главная причина, по которой он находился здесь с твердым намерением осуществить свое решение, заключалась все-таки в другом: как к нему отнесутся, если он вернется домой поджав хвост? Это было бы позорно, мучительно и попросту невыносимо после такого прощания с городом своих предков. У Давида не хватило мужества, чтобы пойти в Каноссу. Кроме того, он считал, что человек должен довести до конца задуманное, иначе он никогда не возмужает.

Таким образом, Давид выбрал то, на что у него хватило мужества, хотя и не был уверен, что это настоящее мужество. По правде сказать, на душе у него было отвратительно. Действовал ли он по собственному выбору или только обманывал самого себя в маленькой посреднической конторе на улице, которая называлась Уайтчепел-хай-стрит?

Контора находилась на третьем этаже, и его решимость убывала с каждым преодоленным маршем лестницы. Перед дверью он остановился в нерешительности. На матовом стекле двери красивыми, внушающими доверие буквами было написано название фирмы: «Messrs. Black & Black». Давиду захотелось убежать, но он услыхал на лестнице шаги, его охватила паника, и он осторожно постучал пальцем по стеклу.

— Войдите! — рявкнули изнутри. Давид протиснулся в приоткрытую дверь.

За столом сидел прилизанный человек без пиджака и что-то писал. Он даже не поднял глаз, когда Давид приблизился к столу и остановился перед ним.

— Слушаю, — сказал он наконец, так и не подняв глаз. — Чем могу быть полезен?

— Видите ли... — Давид нерешительно кашлянул, английский не подчинялся ему, к тому же он забыл придумать первую фразу.

— Слушаю. — Человек за столом поднял голову. Широкий красный шелковый галстук был заколот булавкой с красным камнем, и этот камень словно подмигивал Давиду.

— Полагаю, ты пришел сюда, чтобы наняться на работу, — сказал служащий без лишних формальностей. Он бросил на Давида беглый взгляд, и увиденное не слишком ему понравилось. — Но у нас нет никакой работы. Очень жаль, приятель. — И он снова уткнулся в свои бумаги. Неужели это все? Да, по всей видимости, аудиенция была окончена, этот властелин с поблескивающим рубином, восседавший за письменным столом, оказался мудрецом, умеющим читать мысли: он сразу понял смысл Давидовой просьбы и, недолго думая, отказал ему.

Служащий дописал фразу и снова поднял глаза, на этот раз выражение его лица решительно не предвещало ничего хорошего.

— Ну-у... — начал он, но его прервал пожилой седовласый господин с бумагой в руке, который вплыл в комнату из соседнего кабинета.

— Черт подери, Джон! — загрохотал седовласый. — Опять это судно из «Уайт стар». Такой путаницы и беспорядка я еще нигде не видел. Нет хуже, чем иметь дело с этими проклятыми скрипачами.

— Что там у них еще стряслось? — спросил напомаженный служащий за письменным столом.

— Помнишь, как мы искали и за три дня сумели найти для них нового контрабасиста, после того как у старого умерла жена, помнишь?

— Ну и что?

— Так вот, представь себе, не успели мы найти для них контрабасиста, пусть не такого, какого хотел капельмейстер, но все-таки... у нас же было всего три дня! Так вот, ты не поверишь, но теперь их вторая скрипка, этот Смит или как там его зовут, вдруг ни с того ни с сего попадает в больницу с приступом аппендицита! И именно сегодня! — грохотал седовласый. — Черт бы побрал весь этот оркестр!

Напомаженный с робкой улыбкой поднял глаза на своего начальника.

— Судно уходит десятого, — сказал он. — Сегодня восьмое. Времени слишком мало.

— Да, — согласился седовласый, — мало. Но мы должны попытаться.

Напомаженный взглянул на Давида.

— Ты еще здесь? — удивился он. — В чем дело?

Давид смущенно повернулся и направился к двери.

— Минуточку, молодой человек, — вдруг остановил его седовласый. — Если не ошибаюсь, это у вас скрипка?

Давид с удивлением глянул на свой футляр.

— Да, — глупо сказал он.

Те двое переглянулись.

— И вы умеете на ней играть? — спросил седовласый.

Вот так Давид попал в судовой оркестр. Мысль ему подал скрипач, которого он встретил на пароме, идущем из Кале в Дувр. Давид разговорился с ним, и тот дал ему адрес конторы Блэков.

— Будешь получать четыре фунта в месяц, — сказал младший Блэк, тот, что с рубином, и дружески улыбнулся, даже слишком дружески.

Давид начал быстро считать в уме.

— Возьмешь форму Смита. Думаю, она тебе подойдет. Ни ему, ни его аппендиксу она больше не понадобится. Видишь эти ноты?

Давид взглянул на нотную тетрадь. «Музыка «Уайт стар», тетрадь была очень толстая.

— Давай, упражняйся как проклятый, — сказал младший Блэк. — Почти все надо знать наизусть.

— Как я уже сказал, четыре фунта стерлингов в месяц, — сказал старший. — Но чистка формы за ваш счет. Мы берем вас на пробу, понимаете? На пробу.

— Для начала на один рейс. Мы заключаем с вами контракт.

Они подписали необходимые документы. И вот Давид стоит на вокзале и ждет. И чувствует себя, как уже говорилось, не слишком уверенно.

Что я, собственно, делаю в этом городе, думал он. Для Давида самым страшным в Лондоне была не грязь и не откровенная нищета, которая здесь бросалась в глаза гораздо больше, чем в Вене. Самое страшное было то, что Давид не понимал языка — ни на улице, ни в магазинах. Он свободно читал вывески, но почти все, что ему говорили, было ему непонятно, словно к нему обращались на месопотамском. Он как будто попал в Багдад. Английский, которому их учил магистр Шульце в гимназии в тринадцатом округе Вены, был мало похож на те звуки, которые он здесь слышал.

Давид бессильно прислонил голову к газетной тумбе. Вокзальный шум был громкой, пугающей музыкой. Давид слышал, что вещи говорили, что они пели, но смысла не понимал. Ему было страшно. Паровозные свистки, шарканье ног. Крики кондукторов, литургия мальчишек-газетчиков. Летающие в воздухе обрывки разговоров. Давид стоя заснул.

*

Джейсон Кауард с сомнением разглядывал спящего Давида. Боже милостивый, думал Джейсон, это не он! Это не может быть он! Какой молодой! Джейсон всматривался в бледное лицо.

Нет, черт подери, думал он. Кого это они нам прислали?

Он кашлянул раз, другой, но парень у газетной тумбы даже не шелохнулся.

Наверное, это все-таки не он, подумал Джейсон с отчаянием и надеждой. Наверное, этот мальчик просто едет проведать свою бабушку. Но в душе-то он был уверен, что парень тот самый. Его внешность соответствовала сообщенному Джейсону иностранному имени. Поэтому он тронул спящего за плечо.

Парень тут же проснулся и испуганно посмотрел на него.

Мы влипли, подумал Джейсон. Он сбежал из дому. Черт бы его побрал!

Пока парень приходил в себя, Джейсон сказал:

— Простите... Доброе утро!.. Вы случайно не... — Он порылся в кармане. — Не... — повторил он в надежде, что тот сам назовет свое имя; ему было неудобно искать листок с фамилией, держа в руках скрипку. Парень удивленно смотрел на него. Наконец до него дошло:

— Да, да! Моя фамилия Бляйернштерн. Давид Бляйернштерн. — Он говорил с сильным акцентом. Тем временем Джейсон нашел свою бумажку. Все совпадало.

— А я Джейсон Кауард, — сказал Джейсон и протянул руку. — Капельмейстер.

— Очень рад, мистер Джейсон, — сказал Давид. Джейсон внимательно посмотрел на него.

— Вы, наверное, немец?

— Австриец. Wien. Из Вены.

— Понятно.

— Но я играю на скрипке.

— Гм? Да, да, конечно, если... — Джейсон помолчал, потом спросил: — Сколько тебе лет?

— Двадцать два. — Давид посмотрел Джейсону в глаза.

— Мне можешь не лгать. — Джейсон усмехнулся. — Я твой начальник. Не забывай этого. К тому же выбирать мне не приходится. Поезд на Саутгемптон отправляется через пятнадцать минут.

— Я понимаю, мистер Джейсон. — Давид опустил глаза. — Мне восемнадцать.

— Вот это другое дело.

— Но я умею играть на скрипке.

— Вообще-то важнее, чтобы ты не страдал морской болезнью.

— Wie, bitte?

— Морская болезнь. Ты страдаешь морской болезнью?

Теперь Давид понял.

— Не знаю, — признался он и в первый раз улыбнулся. Улыбка у него была хорошая. Джейсону она понравилась.

— Гм! Надеюсь, ты не станешь блевать в футляр для скрипки во время игры. Пассажирам это не нравится.

Но Давид уже опять был серьезен. Странно, что немцы не понимают нашего юмора, подумал Джейсон.

— Я не страдаю морской болезнью, — заверил его Давид.

— И еще я надеюсь, что ты умеешь играть с листа.

— Да.

— Это твоя первая работа?

— Да.

— Раньше не было ангажементов?

Давид отрицательно покачал головой.

— Хорошо. Паспорт у тебя есть? — Давид смущенно вынул из внутреннего кармана документ и протянул его Джейсону. Это был объемистый документ, украшенный множеством печатей со словами Kaiserlich-Königlich[1]. Джейсон хмыкнул и вернул Давиду паспорт. — Не думаю, что он тебе понадобится. Я скажу, что тебе двадцать один.

— А иначе меня не возьмут?

---

[1] Императорский-королевский — правитель Австро-Венгерской империи носил титул «император Австрии, король Венгрии».

— Судну нужен оркестр в полном составе. У тебя есть деньги?

— Очень мало.

— Впрочем, до прибытия в Нью-Йорк они тебе ни к чему.

Давид с удивлением поднял на него глаза, на этот раз взгляд у него был открытый и детский. Джейсона это почему-то растрогало.

— Ты всегда должен делать все, что я скажу, — излишне резко проговорил он. — И все, что скажут офицеры.

— Я понимаю.

— Ну что, потопали? — Давид не понял. Джейсон мотнул головой в направлении перронов. — Gehen, — сказал он. Давид опять улыбнулся, и они пошли.

Когда они проходили мимо мальчишки-газетчика, Давид спросил:

— А что он кричит?

— Что забастовка угольщиков кончилась и шахтеры вернулись на работу, — объяснил Джейсон.

— А-а-а... — разочарованно протянул Давид.

— Это означает, что к отплытию наше судно получит уголь.

Большие часы под крышей вокзала показывали двадцать минут восьмого. Джейсон предъявил билеты на обоих, дежурный прокомпостировал их и пропустил Джейсона и Давида на перрон. Там уже стоял специальный состав для пассажиров второго и третьего класса, который должен был доставить их в Саутгемптон прямо на причал 44; поезд уходил в 7.30.

Джейсон быстро шел по перрону мимо нервно толпящихся эмигрантов и пассажиров, мимо багажных тележек. Давид не отставал от него. Его опять охватила усталость, он жаждал поскорей оказаться в поезде и, может быть, заснуть.

Наконец Джейсон открыл дверь купе и они вошли в вагон. Первое, что им бросилось в глаза, были футляры с инструментами и чемоданы, стоявшие в беспорядке на полках для шляп и свободных сиденьях. В купе уже сидели три человека, они беседовали и курили, воздух был синий от табачного дыма. В сумраке Давид разглядел старика с жидкой желтоватой козлиной бородкой, другой был невысокий брюнет в пенсне и, наконец, третий — с короткой белокурой бородой и светлыми глазами. Эти глаза буравили Давида насквозь. Двое других были настроены более благодушно.

— Для нас здесь найдется местечко? — спросил Джейсон, уже закрыв за собой дверь. — Итак, господа, — он кашлянул, — это наша новая вторая скрипка, Давид... сейчас, сейчас...

— Бляйернштерн, — тихо подсказал Давид. Он нервно поглядывал на новые лица. Старик с козлиной бородкой как будто все время посмеивался про себя, он смотрел на Давида веселыми, подернутыми дымкой глазами. У невысокого брюнета за пенсне тоже мелькнуло подобие веселого дружелюбия. Но белокурый не улыбнулся. Он снова впился глазами в Давида и внимательно изучал его. Потом повернулся к капельмейстеру. Показав на Давида мундштуком трубки, он сказал:

— Он слишком молод, Джейсон.

— Ничего страшного, Алекс, — буркнул Джейсон в ответ белокурому.

— Черт бы побрал всех этих Блэков! — Белокурый погрозил кому-то трубкой. — Ты только взгляни на него! Ведь у него еще молоко на губах не обсохло!

— Как бы там ни было, а это не его вина.

— Вот увидишь, все будет хорошо, — сказал Алексу брюнет в пенсне.

Давид от смущения не знал, куда деться. Алекс что-то ворчал про себя. Потом вскочил:

— Простите меня. — Он вышел на перрон и вошел в соседнее купе, где сидели остальные музыканты.

Джейсон закрыл за ним дверь.

— Гм, — растерянно хмыкнул он. — Гм. Поздоровайся, Давид. Это... гм... — Джейсон показал на музыканта с козлиной бородкой, тот все еще усмехался, словно смысл произошедшего не дошел до него. — Это наш контрабасист Петроний Витт.

Контрабасист протянул Давиду вялую руку. Давиду показалось, что старик немного не в себе.

— Джованни Петронио Вителлотеста, — торжественно объявил козлобородый надтреснутым голосом. — То есть по-английски Петроний Витт. Хи-хи.

Он пожал Давиду руку, и глаза его увлажнились еще больше. Потом он отдернул руку, словно обжегся. Но через мгновение он уже опять дружелюбно смотрел на Давида.

— Хи-хи, — сказал он и замолчал.

Давиду протянул руку брюнет в пенсне.

— Как ты, наверное, понял, Петроний — итальянец, — многозначительно сказал он. — На выходку Алекса можешь не обращать внимания. Он всегда такой. А я Спот.

— Очень приятно, господин Спот.

— Нет, нет! Не господин Спот. И вообще не господин. Просто Спот, — сказал музыкант, никак не объясняя, почему у него такое странное имя[1]. В это время поезд тронулся, и Давид с Джейсоном плюхнулись на свободные сиденья.

*

Джейсон откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.

Вскоре он задремал. Словно закрыл за собой дверь, оставшись наедине со своими думами. Издалека до него долетали голоса спутников.

Все, о чем он думал утром, снова вернулось к нему, но немного иначе, мягче.

Слышишь музыку...

Джейсон упражняется на скрипке в своей комнате. Мать, которая сама хорошо играет на скрипке, помогает ему. Он только что начал разучивать «Largo» Генделя; длинные ноты трудно играть чисто. Его охватывает азарт, мать помогает ему, ее лицо рядом, руки показывают, как следует держать смычок; показывают на ноты. Когда мать воодушевляется, волосы, уложенные пучком на макушке, распускаются сами собой, прядь за прядью выскальзывает из сеточки для волос и падает на плечи. Они льются, как шелк. При каждом ее движении они разлетаются в стороны. У матери все коричневое — волосы, платье, глаза. Она учит его играть. Но следит не столько за техникой — это дело учителя музыки. Она учит его воодушевляться музыкой так, чтобы во время игры у него горели щеки. Главное в музыке не точность — все дело в азарте и в горящих щеках. Этому мать сумела научить его...

Он стал капельмейстером на пароходах, совершающих рейсы в Америку. Его оркестр исполняет пошлую салонную музыку. Штраус, Зуппе, Легар, «Сказки Гофмана» и «Микадо» Салливана...

Джейсон не понимает, как это случилось, не видит связи между хранящимися у него в душе образами и тем, что он едет в этом купе, что он руководит шестью музыкантами, по-разному владеющими техникой и имеющими разную подготовку.

А мои товарищи, коллеги, думает Джейсон, они ведь тоже хранят в себе подобные картины, вихри впечатлений, мелкие осколки, скопившиеся со временем. Свои нити и свои пути привели их сюда. Так же как и меня.

Я никогда не расспрашиваю их о прошлом, о том, что побудило их к такой жизни. Пусть они хранят свое про себя, а я буду хранить свое.

Он видит сейчас телескоп, который наконец-то появился у них в доме после долгого томительного ожидания и теоретической подготовки. Он помнит, как отец приносил всевозможные книги и читал их вместе с Джейсоном, чтобы заложить необходимую основу до того, как начнутся сами наблюдения.

Наблюдения... Одно слово. Оно напоминало о путешествиях, открытиях, действительности. О перелетных птицах.

Наконец появился и сам телескоп. Это был добротный прибор с линзами от фирмы «Чанс» в Бирмингеме, безупречной швейцарской сборки.

Они с отцом заранее внимательно изучили прибор, Джейсон знал спецификацию

---

[1] Спот по-английски означает «пятно», «прыщ».

наизусть: рефрактор три с четвертью дюйма, теоретическая разрешающая способность в две секунды дуги.

Можно начинать наблюдения!

Скрипка появилась месяца на два раньше. Золотисто-красная детская скрипка изящной формы.

К моменту появления телескопа Джейсон уже умел чисто играть гаммы.

Однажды Джейсон после школы должен был выполнить поручение отца. Отец попросил его купить четыре скрипичных струны: они необходимы, чтобы поставить эксперимент. Еще одно из этих слов. Таких, как *обсерватория, рефрактор, разрешающая способность, секунды дуги...* Вначале непостижимо таинственные, эти слова постепенно обретали смысл. А вот и еще одно из них: *эксперимент*. Вообще-то Джейсон смутно представлял себе, что такое эксперимент, но в его представлении эксперимент был непременно связан с пробирками, фосфором, серой, огнем и жидкостью. И когда за завтраком отец объявил, что эксперимент будет поставлен вечером, после уроков, перед сном, Джейсон не мог взять в толк, зачем отец попросил его купить четыре струны в качестве материала для их опыта. Скрипичные струны? Он уже знаком с этими струнами, знает, что четыре струны, натянутые на грифе скрипки, позволяют извлечь бесконечное множество звуков. Но эксперимент? Он покупает струны, и там, в магазине, когда старый продавец протянул ему пакетик в шелковистой бумаге, струны как будто снова приобрели то неизвестное, таинственное, чем они обладали до того, как он начал учиться играть на скрипке.

После уроков и ужина Джейсон вместе с отцом спускаются в кабинет, где должен быть поставлен эксперимент. Отец зажигает всего одну лампу, и они садятся за стол, освещенный желтым газовым светом. На столе лежит доска. Джейсон разочарован: фосфор, сера, думает он. Но отец натягивает струны на гвоздики, вбитые в доску, и подсовывает под них колышки, чтобы они свободно звучали. И там, почти в полумраке, Джейсон узнает, что каждая планета имеет свой голос...

— Понимаешь, — говорит отец, — Кеплер считал, что орбиты планет, как ноты, выражают гармонию Вселенной. Это музыка сфер.

Он улыбнулся.

— Если музыка сфер действительно существует, то это не сила колебаний в воздухе, но совершенно иная, мощная космическая сила. Музыка силы тяготения, музыка математики, музыка... Другой вопрос, так ли это на самом деле. Но сама по себе эта мысль прекрасна. Кеплер оставил нам три закона движения планет. Это первые, истинные законы природы, и они были открыты Кеплером в результате его попыток найти гармонию во Вселенной.

— Еще греки полагали, что каждая планета имеет свою музыку, — продолжает отец. — Ведь планеты, если смотреть с Земли, совершают петлеобразное движение через пояс зодиака. Древние греки полагали, что это своеобразный божественный танец. А поскольку всякое движение создает вибрацию, звуки и тона, они считали, что и планеты производят звуки, то есть — музыку, ибо они танцуют. Эту музыку никто из людей не слышит, потому что космос полон этой великой музыки и люди привыкают к ней еще в утробе матери. Так же, как они привыкают к ударам собственного сердца. Так это объяснял Аристотель. Последний, кто обладал способностью слышать эту музыку, был Пифагор... Ну а Кеплер открыл, что и в новой солнечной системе имеются своего рода тональные соотношения, хотя Солнце стоит в центре, а орбиты планет являются не правильными окружностями, а эллипсами.

Джейсон уже почти не слушает. Он смотрит то на струны, то на отца. Поздно. Они устали. Но сперва Джейсон хочет все-таки еще раз услышать, что все так и есть, что каждая из планет, друзей его поздних ночных часов, действительно имеет свой голос.

Отец гасит лампу, и они отправляются спать.

*

— Вы уже бывали в Америке, мой юный скрипач? — спросил Петроний, глаза его перебегали с полки для шляп на окно и обратно.

— Н-нет. — Давид смущенно взглянул на этого нервного пожилого человека. — А вы?

— Нью-Йорк — очень красивый город, — ответил Петроний. — Очень красивый. Ничего нельзя понять. Там такие высокие дома.

Давида все больше смущал этот чудной итальянец. Костюм был ему велик, манжеты — обтрепаны.

Джейсон, по-видимому, спал, откинувшись на спинку кресла. Спот терпеливо смотрел в окно, глаза у него были затуманены. Теперь, когда в вагоне стало светло, в его черных, гладко зачесанных назад и на уши волосах были отчетливо видны седые нити. Пенсне отчасти скрывало морщины вокруг глаз. Определить возраст Спота было трудно. Петронию, наверное, было за шестьдесят, Джейсону — под сорок, а вот Споту... Спот был хорошо одет — жилет, часы на цепочке, — он напоминал учителя, красивого и благополучного учителя гимназии. Но его глаза настораживали. Они как будто что-то скрывали, что-то похожее на тревогу, и Давид вдруг подумал, что уже видел такие глаза дома, в Вене, в тех кафе, заходить в которые считалось неприличным.

— Нам предстоит плыть на самом большом в мире судне, — объявил Петроний и подергал себя за жидкую бородку. — Самом большом в мире. Оно так велико, что не может затонуть.

Давид с удивлением посмотрел на него. В разговор вмешался Спот:

— Это верно, — с насмешливой улыбкой сказал он. — Действительно утверждают, будто оно непотопляемо.

— Правда?

— Дело в том, что на судне имеется множество поперечных водонепроницаемых переборок, четырнадцать или пятнадцать, если не ошибаюсь, — они сконструированы так, что в случае опасности капитан, нажав на электрическую кнопку у себя на мостике, может закрыть двери в переборках. Двери в глубине судна захлопнутся. И мы, пассажиры, даже не замочим ботинок.

— Да, электричество, электричество! — восторженно подхватил Петроний. — По-моему, оно такое трогательное!

— Если бы изобрели еще и электрического капитана, это принесло бы огромную пользу, — благоговейно заметил Спот.

— Да, вы совершенно правы! — взвизгнул Петроний. — И вы полагаете, это возможно?

— Безусловно. Такой капитан никогда не допускал бы навигационных ошибок. А еще — электрических музыкантов. Которые не фальшивили бы и играли без ошибок. — Спот строго посмотрел на Петрония.

— Слава богу, что мои дни на земле подходят к концу! — Петроний содрогнулся. Через минуту он спросил: — Как вы думаете, а я мог бы стать таким электрическим музыкантом?

Он спросил это без тени юмора, и, желая прервать этот нелепый разговор, Давид воскликнул:

— Я только один раз плавал на настоящем пароходе. На пароме, из Дувра в Кале. То есть из Кале в Дувр.

— Понятно. Кале — Дувр, — мрачно сказал Спот и снова уставился в окно.

— Вы понимаете по-итальянски, мой юный друг? — с надеждой спросил Петроний.

— Боюсь, очень плохо.

— Ну... Ну что ж. Но вы были когда-нибудь в маленьком театре? Таком маленьком-маленьком?

Давид изо всех сил старался быть вежливым и предупредительным. Полагая, что речь Петрония кажется ему странной из-за собственного плохого знания английского, Давид сказал:

— Да, я очень люблю театр.

— Замечательно! — Петроний закатил глаза. — Значит, вы согласны со мной, что маленький театр самый красивый?

— Маленький? — удивился Давид.

— Да! Это единственный настоящий театр! Самый чистый! Самый истинный! Там самые красивые актрисочки, они так божественно парят в воздухе! — При этих словах ему на глаза навернулись слезы. — О! Маленький театр! И его маленькие актеры! — Давид беспокойно оглянулся, ища помощи, но Джейсон по-прежнему спал, а Спот с философской невозмутимостью смотрел в окно. — Приятно слышать, — продолжал Петроний, — что и вы тоже, молодой человек, что и вы тоже... любите и цените театр марионеток! По вашему лицу я сразу понял, что вы интеллигентный человек!..

Давид начал кое-что понимать. Но он не успел ответить — Петроний завел длинную речь об истории театра марионеток. Давид не понимал и половины. Сперва он вежливо слушал, но постепенно его одолела усталость. К тому же охваченный восторгом Петроний все чаще сбивался на свой родной язык.

— Si, mio giovane musicante taciturno! Мой юный молчаливый скрипач! Mi sembri una piccola bambola! Кукольный человечек. Вот на кого ты похож! Una marionetta! Вообще все люди похожи на маленьких-маленьких куколок! — Давид отчаянно пытался объяснить Петронию, что ничего не понимает, но фонтан превратился в гейзер, в настоящий водопад: — Si! Perché ti devo confessare un segreto! Секрет! Я открою тебе один segreto! Он заключается в том, что in realtà le marionette sono uomini... e gli uomini sono marionette! Понимаешь? На самом деле мы, люди, — марионетки, а марионетки — это люди! Это rivoluzione nella metafisica! — в волнении воскликнул он. — И никто этого не знает! Только я!.. — Вдруг он перешел на шепот, придвинувшись ближе к Давиду и уставясь ему в глаза пылающим взглядом: — И еще, может быть, Бог... Forse Dio. Если только Он не человек... хи-хи-хи...

Давиду стало ясно, что контрабасист просто сумасшедший. Новая волна слов подхватила его.

— И покрытый шеллаком! — кричал Петроний. — Да! Это и есть teatro di marionette! Нас дергают за ниточки, и мы говорим чужими голосами! E chi conduce i fili? Кто дергает за ниточки? Chi parla? Кто... кто говорит? Ты когда-нибудь думал об этом? — с торжеством спросил он.

Шум разбудил Джейсона. Он выпрямился в кресле и быстро сообразил, что происходит. С каменным лицом он прервал контрабасиста:

— Петроний! Хватит нести чушь! Я хочу спать. И Давид тоже. Он наверняка устал. Поговоришь с ним в другой раз. А сейчас замолчи.

Петроний сразу успокоился и стал разглядывать свои пальцы.

— Поспи, — дружески посоветовал Давиду Джейсон. — Днем нам уже играть. Со временем ты привыкнешь. А сейчас поспи.

Давид послушно устроился в кресле и закрыл глаза. У него было только одно желание — заснуть, исчезнуть из этого тесного купе, от этих неприятных людей, которые неожиданно стали его коллегами... И в нем снова возник тот же вопрос: что я здесь делаю?

Вскоре он уже спал.

Теперь, когда город остался позади, за окном посветлело. Мимо скользил приятный южноанглийский пейзаж. Они ехали по Уинчестеру. Чистый и легкий апрельский свет залил все небо. В городе они его не замечали. Но теперь он будет сопровождать их до конца пути.

9.25. Причал 44. Морской вокзал, Саутгемптон

Вот и он! Давид увидел его из окна вагона, пока поезд медленно шел по территории порта.

Там он и стоял, подобный огромному бело-черному сказочному существу — пришвартованный к причалу огнедышащий дракон. Пассажиры и груз поднимались на борт. По палубам торопливо сновали люди, издали похожие на насекомых, ползающих по большому телу судна. Лучи утреннего солнца сверкали и искрились на стекле и металле.

В окне вагона мелькнула большая округлая корма и надпись желтыми буквами, сверкавшими на черном фоне:

ТИТАНИК

Ливерпуль

Это имя как нельзя лучше подходило судну. При виде его могучих форм, кранов, мачт, лебедок и четырех высоких желтых труб у Давида закружилась голова. Судно отличала какая-то изящная, божественная законченность, заставившая Давида невольно подумать о музыке, о Бахе, о живом потоке звуков, бегущих, растущих и сливающихся в великое целое.

Спутники Давида тоже не без любопытства смотрели на новый корабль. Но они на своем веку повидали уже много кораблей. И потому вскоре их внимание переключилось на багаж и футляры с инструментами.

Поезд остановился. Музыканты вышли на перрон, из соседнего купе к ним присоединились трое других. Вокруг царил хаос и сумятица, музыканты с трудом протолкались через здание вокзала и вышли на причал. Там они отделились от потока пассажиров и направились к корме, к трапу для команды.

Вблизи впечатление органичной цельности разбивалось отдельными металлическими листами, которыми был обшит корпус судна. Каждый лист был размером с двух крупных мужчин, и каждый крепился множеством больших, тяжелых заклепок. Скользя вдоль борта судна, взгляд терялся в бесконечности этих листов, которые, соединенные вместе, и были самим судном.

Давиду почудилось, что к Баху присоединился и Вагнер. «Валькирия» и «Гибель богов». Это был самый большой в мире океанский пароход. Над тремя из его четырех труб поднимался черно-серый дым и, подхваченный западным ветром, плыл над портом.

Семеро музыкантов поднялись по трапу. На борту Джейсон предъявил их документы и список краснолицему человеку в форме, и по бесконечным коридорам и трапам их повели вниз, в чрево парохода. Здесь все пахло новым — новой краской, новым маслом. Кое-где еще не хватало ламп, в коридорах толклись пассажиры и члены команды, еще не привыкшие ориентироваться в этом лабиринте. Черные кочегары, белые камбузные юнги. Эмигранты с выводками детей; обрывки слов и восклицаний; английский, немецкий, шведский, гэльский.

Раз или два они сбились с пути, и им пришлось возвращаться, наконец краснолицый хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Ну наконец-то! Черт подери, здесь так трудно ориентироваться! — Под белой фуражкой лицо у него было пунцовое, он вытер вспотевший лоб. Наверное, с раннего утра он проделал уже много миль по этим коридорам и трапам.

— Моя фамилия Макэлрой, — представился он, возясь со связкой ключей. — Я директор-распорядитель рейса на этой барже, хе-хе... — Последнее было сказано не без гордости.

Он открыл какую-то дверь.

— Вот ваша каюта, — сказал он музыкантам. — Она расположена рядом с камбузом.

Каюта была неуютная и пустая. У переборок стояли четыре двухэтажные койки, в торце каюты — небольшой стол и несколько стульев. Над столом в стене был маленький иллюминатор, через него в каюту робко заглядывал дневной свет.

— Здесь еще немного пахнет краской, — сказал распорядитель рейса. — За этой дверью помещение для ваших инструментов, умывальник в конце коридора слева. Есть вопросы?

— Как я понимаю, мы должны играть уже сегодня за ленчем? — спросил Джейсон.

— Первый класс сядет за стол, как только мы пройдем замок Кэлшот, вы начнете играть в салоне на палубе D до того, как пассажиры рассядутся. У вас там место возле рояля. — Он на мгновение задумался. — Чтобы подняться на палубу D, вам надо пройти по длинному коридору до двери с правой стороны, на которой будет написано «Трапы». Эта дверь только для команды. Войдете в нее. И попадете на трап для пассажиров первого класса. По нему вы подниметесь на палубу и попадете в салон. Пожалуйста, старайтесь держаться там поскромнее. И всегда все вместе. Договорились?

— Конечно, конечно, — успокоил его Джейсон.

— Потом я объясню вам, как попасть в зимний сад. Там вы будете играть утром и во время чая. Если у вас возникнут трудности, обращайтесь ко мне или к кому-нибудь из команды. Я имею в виду матросов, то есть настоящую команду. Есть вы будете вместе с ней.

— Превосходно, — сказал Джейсон.

— А теперь мне пора. Меня ждут дела. — С этими словами распорядитель рейса поспешно покинул каюту. В дверях он задержался: — И прошу вас, ведите себя как порядочные люди. Никакого спиртного, договорились? И не бегайте за девушками.

— Мы и есть порядочные люди, — заверил его Джейсон.

— Мне приходилось плавать с музыкантами.

— На нас вы можете положиться, как на собственных чад, сэр.

Дверь за распорядителем рейса закрылась.

— Симпатичный человек, — мрачно сказал Спот. Он уже занял нижнюю койку и сидел на ней, держа на коленях шляпу и глядя на всех с выражением пресыщенной скуки. Музыканты решили практические вопросы, Джейсон и Алекс распаковали свои вещи, Давид вежливо поздоровался с двумя музыкантами, которые ехали в другом купе, Джимом и Жоржем. Джим был статный мужчина, он все время улыбался и назвал Давида спутником по плаванию; Жорж был более сдержан, от него так разило туалетной водой, что ее запах заглушил запах краски, стоявший в каюте.

Петроний, весь сжавшись, по-стариковски сидел на своем футляре с контрабасом, футляр казался слишком большим рядом с маленьким Петронием.

*

— Рояль расстроен, — заявил Спот. — Вот досада! — Он взял несколько аккордов.

Спот и Давид стояли в дальнем углу салона, возле места, отведенного для оркестра, слегка скрытого двумя пальмами. Было чуть больше десяти, и поскольку пароход отчаливал не раньше полудня, Джейсон — после того как все устроились — разрешил музыкантам осмотреть судно или заняться чем-нибудь еще. Спот объявил, что хотел бы познакомиться с роялем, и непонятно почему потребовал себе в помощники Давида. Джейсон не возражал.

Подняться в салон первого класса из пахнущего краской мрачного чрева парохода было все равно что оказаться на небесах. Здесь лежали толстые, мягкие ковры, в которых ноги утопали чуть не по щиколотку, стояли небольшие столики красного дерева с мягкими стульями, кожаные вольтеровские кресла, висели люстры, стены были украшены стеклянной мозаикой, вставленной в золотистые, как мед, дубовые панели, покрытые искусной резьбой. Между двойными рамами окон висели лампы, создающие впечатление солнечного света. Салон был похож на вестибюль какого-нибудь большого венского ресторана или отеля на современном курорте. Здесь были даже лифты; маленькие кабинки, обшитые панелями из ценных пород дерева, с зеркалами и медными пепельницами, покачиваясь, скользили с палубы на палубу. Но можно было пользоваться и роскошной лестницей (что и сделали Спот с Давидом), которая изящными полукруглыми пролетами вела с этажа на этаж.

Пассажиры первого класса, уже поднявшиеся на борт, казалось, парили по салону, тут были элегантные мужчины в соломенных шляпах и полосатых брюках и хорошенькие барышни в спортивных юбках и кокетливых кепочках. Почтенные пожилые дамы, медленно и торжественно шествуя в своих широких платьях, напоминали задрапированные тканью буфеты. Не вызывало никакого сомнения, что эти буфеты наполнены столовым серебром и другими ценными предметами. Случались среди пассажиров и серьезные господа с рассеянным взглядом, какой бывает лишь у обладателей миллионных состояний. Мальчики-посыльные, лакеи и другая прислуга с отсутствующим видом стояли вокруг, на их лицах застыло выражение собственного достоинства. На самом же деле они бдительно следили за каждым движением господ, хотя и производили впечатление монахов-траппистов, погруженных в молитвы о пищеварении пассажиров, и не успевал пассажир чего-нибудь захотеть, как они стремглав бросались к нему.

Нет, Давид и представить себе не мог, что на свете бывают такие суда! Похоже, судно произвело впечатление даже на Спота. Во всяком случае, он с довольной улыбкой положил на рояль шляпу с перчатками и сел на крутящуюся табуретку. Давид отметил, что Спот совершенно естественно чувствует себя среди этой роскоши. Его можно было принять за одного из пассажиров. Спот сделал знак ближайшему обслуживающему духу, и тот мгновенно материализовался рядом с роялем, исполненный самоотверженного рвения. Что угодно господину? Вот тогда Спот и объявил, что рояль расстроен. Поняв, что он имеет дело всего лишь с судовым пианистом, стюард не мог скрыть разочарования и всем своим видом дал понять, что у него сегодня трудный день.

— Никогда в жизни, даже в море, я не видел более плохого инструмента, — сообщил ему Спот. — А я достаточно их повидал. — При этих словах стекла его пенсне подозрительно сверкнули.

— Рояль доставили нам уже настроенным, — сказал стюард. — С тех пор к нему никто не притрагивался. Неужели все так...

— ...так плохо, вы хотели сказать? Да. Именно так. Вот послушайте!

Давид внимательно слушал звучание рояля. Может, и правда басы немного фальшивят?

— По-моему, звучит вполне прилично. — Стюард пожал плечами. Больше всего ему хотелось уйти и оставить рояль на произвол судьбы. Но Спот этого не допустил.

— Прилично? — взорвался он. — Прилично? Значит, вам кажется, что он звучит прилично? Прекрасно! Но рояль стоял у вас на сквозняке ничем не прикрытый. Вы и это считаете допустимым? Пригласите сюда настройщика!

— Это невозможно.

— Немедленно пригласите.

— Это совершенно невозможно. Мы скоро отчаливаем.

— Я категорически требую.

— Послушайте, — уже более примирительно сказал стюард. — А вы не могли бы настроить его сами? Я видел не раз, как вы, музыканты, обходились собственными силами.

Спот словно только этого и ждал. С видом страдальца, на плечи которого пали все заботы мира, он огорченно развел руками.

— Все приходится делать самому. Абсолютно все. Ну ладно. Мы все сделаем. Но вы должны раздобыть для нас полбутылки виски.

— Что? — Глаза стюарда приобрели некую стекловидность, он выразительно поднял одну бровь.

— Полбутылки виски. — Спот был неумолим. — Не обязательно самого дорогого. — На лице стюарда было написано, что он не собирается без боя стать жертвой вымогательства. — Сделайте одолжение. — Спот улыбнулся. — Сделайте одолжение и принесите нам полбутылки виски. Если вы не в состоянии найти настройщика, то уж раздобыть виски вы можете. Это в вашей компетенции.

Стюард хотел что-то ответить Споту, но промолчал. Поджав губы, он смотрел на музыкантов как на пустое место.

— Хорошо. Вы получите по порции виски. Но поторопитесь закончить работу, пока не собралось слишком много пассажиров. Главный поток пойдет в половине двенадцатого. Я не могу допустить, чтобы вы болтались здесь до полудня. — С этими словами он ушел.

Спот мрачно глянул в окно, ему как будто было стыдно. Но когда он снова повернулся к Давиду, у него на губах играла насмешливая улыбка.

— Никогда не разрешай себе таких проделок, — вдруг проговорил Спот. — Но согласись, что здесь гораздо приятней, чем в нашей каюте рядом с камбузом.

Виски прибыло, и работа началась. У Спота во внутреннем кармане оказался футляр с камертоном, клинышки и тесьма, а под крышкой рояля нашелся настроечный ключ.

Давид не совсем понимал, что ему делать со своим виски, но Спот, не спрашивая разрешения, выпил и его порцию. Он работал молча, Давиду оставалось только следить за его работой. Этот пианист так владел техникой настройки и обладал таким тонким слу-

хом, что Давид только диву давался. Ухо Спота улавливало тончайшие нюансы, которых Давид почти не отмечал. У Спота были свои тайные отношения со всеми звуками, как будто точную частоту колебаний каждого тона он знал еще в утробе матери, а их соотношение было чем-то, к чему можно было прикоснуться руками. Настройка рояля — работа трудоемкая, требующая большой точности, но Спот настраивал инструмент словно играючи. У него были красивые руки с длинными, сильными пальцами. Быстро и ловко двигаясь по клавишам и струнам, они напоминали грациозных животных.

Работа продолжалась не меньше часа, за это время Спот заставил стюарда принести им еще две порции виски.

— Так ему и надо, — буркнул Спот, когда стюард вернулся с двумя стопками.

— Кому? — не понял Давид.

— Помощнику капитана по пассажирской части. Нет хуже младших офицеров. Им доставляет удовольствие решать, что музыкантам можно, а чего нельзя. Поверь мне, мальчик, в жизни слишком много младших офицеров.

И он снова склонился над роялем.

Давид с удивлением смотрел на него, но больше Спот ничего не сказал. Вспомнив о своем положении, Давид опять упал духом; он сидел здесь, вдали от дома, рядом с этим странным, немногословным пианистом, чтобы помогать ему настраивать рояль, но, очевидно, был лишь предлогом для получения лишней порции виски.

Спот трудился. За маской иронии в нем скрывалось что-то рассудительное, осторожное, Давид не понимал, что именно, но это ощущалось во время его работы. То и дело Спот брал несколько аккордов и вопросительно взглядывал на Давида. Давид кивал или же делал знак, показывая, что ля слишком высоко. Так постепенно между ними возник своеобразный разговор, состоявший только из жестов и взглядов, во время которого Спот то и дело прикладывался к стопке.

Наконец Спот сел и, наклонившись вперед, заиграл ноктюрн Шопена. Он играл, не глядя на Давида. Давид слушал. Спот играл чисто, ясно, совершенно прозрачно. Он не ловчил. Давид, который и сам неплохо играл на рояле и потому мог оценить исполнение другого музыканта, замерев, слушал, как этот судовой пианист исполняет Шопена, словно в концертном зале.

Между Давидом и Спотом возникла какая-то близость, доверие. Давид уже не был уверен, что Спот взял его с собой только ради виски. И когда Спот кончил играть и обернулся к Давиду, хотя глаза его все еще смотрели куда-то в себя, Давид невольно воскликнул:

— Это было прекрасно!

Спот скривился.

— Прекрасно? — разочарованно переспросил он. — Не надо так говорить. Unbegreiflich scheint die Nachtigall[1]. — Это было сказано на безупречном верхненемецком. Лицо Спота снова замкнулось. Он поднялся и собрал свои инструменты для настройки. Глаза его стали прежними. Он молча оставил рояль, Давида и вышел из салона. Некоторое время Давид еще сидел там; он был смущен.

Судно перед отплытием представляет собой мир столпотворения и хаоса, круговорот больших и малых дел, которые следует закончить в последнюю минуту. Тот, кто бывал на борту большого парохода незадолго до его отплытия, не замечал, быть может, ничего, кроме особого настроения, наэлектризованности, взвинченности, напоминающих волнение за кулисами перед поднятием занавеса. Матросы возбужденно перекрикиваются, куда-то бегут, их движения торопливы — столько всего еще нужно сделать, прежде чем судно отдаст швартовы.

Давид поспешил вслед за Спотом, почти ничего не зная о судне, на котором ему предстояло плыть, он даже не догадывался, скольких человеческих и инженерных усилий стоило построить его и сделать пригодным для плавания. Он ничего не знал о шведском гимнасте Линдстрёме, который как раз в это время готовил судовой гимнастический зал

[1] Непостижим соловей (*нем.*).

к приему пассажиров; о площадке для сквоша, тренажере для гребли, электрических «коне» и «верблюде»; боксерские груши, штанги, турецкая баня были готовы встретить желающих. Тут имелся даже небольшой плавательный бассейн, изготовленный фирмой «Харланд энд Волф» в Белфасте. Линдстрём, пышущий здоровьем, в белом фланелевом костюме и натертых мелом туфлях, похожий на директора летнего лагеря, самолично испробовал все эти механические чудеса.

В камбузах подручные лихорадочно чистили тысячи картофелин и намывали спаржу, а в глубине судна, почти у самого киля, кочегары расчищали путь к угольному отсеку номер пять, где тлел уголь, который мог доставить им неприятности, если не держать его под контролем. Ближе к корме машинисты чистили и драили огромные котлы, чудесную турбину и две поршневые паровые машины, вращающие три гребных винта.

В это самое время представитель эмиграционных властей капитан Кларк закончил последний осмотр кают, проверил запас питьевой воды, бункеровку угля и санитарные условия, без чего ни одно пассажирское судно не могло выйти ни из одного британского порта. Судовые врачи вместе с другими представителями властей осмотрели членов команды и уже написали заключительный отчет. Самые надежные и опытные моряки, каких мог предоставить Саутгемптон, были приписаны к судну, самые толковые и ответственные офицеры наблюдали за последними приготовлениями, а лучшие инженеры и техники в свое время приготовили судно к спуску на воду. Один из них, Томас Эндрюс, директор фирмы «Харланд энд Волф» (и племянник лорда Пирри, царя и бога этой компании), поднялся на борт, чтобы принять участие в первом рейсе парохода, «моего детища», как он называл «Титаник». Эндрюс был невысокий, изящный господин; именно он создал это чудо судостроения, этого Титана, и теперь с неподдельным волнением наблюдал за первыми днями его жизни. Все последние сутки инженер был на ногах с раннего утра и до позднего вечера, проверяя, все ли соответствует спецификациям, и отмечая, что можно улучшить. Ни одна деталь не ускользала от его внимания. Он пришел к выводу, что плетеные кресла в парижском кафе, расположенном на правом борту, необходимо покрасить в зеленый цвет, и отметил, что крючки для шляп в каютах выглядят некрасиво, так как крепятся слишком большим числом шурупов. А куда, скажите на милость, подевались десять из семидесяти двух заказанных швабр? Ничего нельзя принимать на веру, все нужно проверять снова и снова, дабы убедиться, что электрические двери в водонепроницаемых переборках работают безотказно, что шлюпбалки спасательных шлюпок в полном порядке. В одном из двух апартаментов первого класса, оформленных в стиле Людовика XVI, недоставало лампочек. В одной из кают в стиле ампир не было ночного горшка. Эндрюс собственноручно ввинтил недостающие лампочки и лично водворил на место ночной горшок; теперь он был уверен, что там все в порядке.

В это же время Дж. Брюс Исмей, директор компании «Уайт стар лайн» и владелец «Титаника», шествовал по палубе вместе с женой и тремя детьми; он был преисполнен важности и горд тем, что может, выразительно жестикулируя, показать им корабль. И хотя сам он уже много раз бывал на судне, он с восхищением окинул взглядом мощный корпус, когда вместе с семьей вышел на набережной из своего «даймлера» и начал подниматься по трапу. Регистровая вместимость сорок шесть тысяч триста двадцать девять тонн, с удовлетворением думал он. На борту директора с семьей встретили низкими поклонами. Жене и детям должны были показать судно. Сам же Исмей решил принять участие в первом рейсе «Титаника». Багаж директора уже отнесли в его апартаменты.

В радиорубке сидел радист Джон Филипс и его помощник Гарольд Брайд — этих двух меланхоличных на вид молодых людей окружала некая аура беспроволочной магии; они в последний раз проверили свои приборы, сменили одну катушку, но вообще все было в порядке.

В судовом ресторане a la carte[1] метрдотелем был поражавший своей элегантностью синьор Луиджи Гатти, которого вместе с шеф-поваром, поварами, официантами и управляющим винным погребом пригласили сюда из знаменитых семейных ресторанов «Гаттис Адельфи» и «Гаттис Стрэнд».

---

[1] По карточке (*франц.*).

Он окинул взглядом свои владения, подвинул косо лежащий нож и салфетку, почти с эротическим наслаждением искушенного знатока скользнул рукой по бутылке с вином, проверяя ее температуру, попробовал один трюфель и поправил галстук-бабочку — синьор Гатти нервничал, как все большие художники.

А на мостике, в черной форме с золотыми галунами, возле одного из трех сверкающих медью машинных телеграфов стоял Эдвард Джон Смит, капитан этого судна, и принимал доклад старшего помощника Генри Уайльда о том, что экипаж RMS «Титаник» полностью укомплектован, судно готово к отплытию и королевский почтовый флаг уже поднят. Второй помощник Лайтоллер провел последний осмотр находящегося на судне груза и доложил, что он надежно закреплен в трюмах. В глубоких темных трюмах «Титаника» уже находилось груза более чем на 80 000 фунтов стерлингов, весь груз был тщательнейшим образом зарегистрирован. Капитан Смит с удовлетворением выслушал доклады своих старших офицеров, медленно прошелся по паркету красного дерева и подошел к окну. Там он остановился.

Капитан Смит был статный, широкоплечий человек лет шестидесяти, седовласый и седобородый, с глубоко посаженными голубыми глазами. Он выглядел величественно и даже внушал страх, но был всегда сдержан, спокоен и редко повышал голос.

Капитан смотрел вдаль. Он уже давно плавал в Северной Атлантике, был самым старым и опытным капитаном компании и имел за плечами много благополучных и безупречных рейсов через океан. Он понимал, так сказать, и морскую и социальную роль капитана. И находил, что функции капитана сильно изменились. Теперь больше, чем прежде, требовалось быть Капитаном с большой буквы, и для пассажиров и для команды; он, первый офицер, должен быть монархом на своем судне, конституционным монархом с ограниченными функциями, правом вето и определенными светскими обязанностями. Должен быть символом высшей власти. Он целиком и полностью полагался на своих подчиненных, ему никогда не приходилось повышать голос, и он почти забыл, как это делается. Однако капитан серьезно относился к своим обязанностям и потому не сразу одобрил доклады, которые ему только что сделали его помощники. Он смотрел вдаль.

Это был его последний рейс, он уже собирался пополнить собой ряды ушедших на покой капитанов, когда директор Исмей решил оказать ему честь, доверив вести флагманский корабль своей компании в первое плавание — в знак признания его заслуг, как сказал директор Исмей капитану Смиту.

Капитан понимал, что последний раз стоит на мостике и принимает доклады офицеров. Он знал, что золотые галуны обеспечили ему власть только на этот рейс. Дома его ждала молодая жена Элинор с маленьким сыном, которому недавно исполнился год. Это был последний рейс капитана. Поэтому сейчас он дал себе больше времени, чем требовалось; долго обдумывал доклады, потом внимательно выслушал еще один доклад об упражнениях со спасательными шлюпками и осмотре судна; все прошло в соответствии с планом, все было ship-shape[1]. Капитан смотрел вдаль.

Лайтоллер передал капитану окончательный список пассажиров первого класса, с последними дополнениями и исправлениями, который тут же было приказано размножить в судовой типографии и раздать пассажирам, дабы господа знали, кто едет с ними на пароходе. Капитан Смит внимательно изучил все фамилии — хороший английский хозяин всегда так поступает перед приемом. Он быстро прикинул, с кем и в какой очередности он будет ужинать, — как уже говорилось, на капитане пассажирского судна лежат также и светские обязанности. Он выделил в списке фамилии Гуггенхаймов и Асторов, увидел, что Вандербильт отказался от билета, и, к своему ужасу, обнаружил, что на борту присутствуют сэр Космо и леди Дафф Гордон, которых он терпеть не мог. Но в обществе есть свои правила.

Капитан Смит повернулся к своим подчиненным. Им надлежит почувствовать его высочайшее одобрение. Старый командир строго взглянул на них.

— Carry on[2], — сказал он.

---

[1] В полном порядке (*англ.*).

[2] Продолжайте (*англ.*).

Офицеры взяли под козырек.

Да, таково судно.

В каюте рядом с камбузом двое музыкантов осматривают свою форму — надо пришить пуговицу, подкоротить брюки. Задача оркестра — развлекать пассажиров, они должны играть и до и после полудня, один концерт они дают вечером и один — днем, по воскресеньям им вменяется в обязанность играть во время богослужения. Чтобы справиться с этой задачей, музыканты делятся на две группы, у каждой группы своя форма: трио, которое играет до полудня, облачается в белые фраки, для вечерних серенад предназначаются синие фраки с зеленоватым отливом. К отворотам фраков прикреплена золотая арфа — это правило действует на всех судах компании «Уайт стар». Джим и Алекс сидят в каюте и подкорачивают брюки.

Их ждет новый, тяжелый рейс, новое судно, новая жизнь в тесной каюте. Они обсуждают свои гонорары, которые с тех пор, как фирма «Блэк энд Блэк» взяла на себя обязанности импресарио в Северной Атлантике, уменьшились на целый фунт. Теперь музыкантов больше не числят членами команды, они считаются пассажирами второго класса, это несправедливо, но дает возможность судовым компаниям распоряжаться музыкантами по своему усмотрению.

Алекс сердится и призывает на голову Блэков все мыслимые несчастья. Джим, дюжий и добродушный альтист из Дублина, более сдержан.

Но им обоим не помешал бы этот лишний фунт.

Музыканты с ожесточением работают иголками, чертыхаясь и кляня все на свете. Да, таково судно.

Наверху на палубе стоит капельмейстер Джейсон Кауард.

*

Джейсон уединился на кормовой палубе. Ветер ерошил его волюсы; прищурившись, он смотрел на порт, на узкие улочки Саутгемптона. Там были семьи, дети, дома.

Он любил эти минуты перед самым отплытием, любил смотреть на покидаемый им город. Это тоже было его загадкой, его великим «почему?». И дарило ему покой.

В свое время у Джейсона была возможность выбрать любую профессию, но обстоятельствам было угодно, чтобы он стал судовым музыкантом. Однако это нисколько не тяготило его. Он давно потерял счет судам, на которых играл за эти годы, и рейсам через Атлантику. Вокруг него всегда все было в движении, всегда — новые пароходы и новые люди. Музыканты приходили и уходили. Джейсон уже ничему не удивлялся. Все изменялось. Только он сам и его золотисто-коричневая скрипка оставались прежними.

Джейсон плавал уже давно. Он видел много пароходов и морей и овладел всеми тайнами своего ремесла. Работа в судовом оркестре отличалась от работы в оркестрах, которые играли на берегу. Хотя бы тем, что не всякая музыка подходила, если на море было неспокойно. Кто бы мог предположить, что пожилых дам начинает рвать от «Сказок Гофмана», когда свежий ветер сменяется сильным? Кому, скажите, такое могло бы прийти в голову? Люди в море, все эти путешественники, являли собой особый феномен. Это Джейсон усвоил уже давно. Он и сам был таким путешественником, и, подобно грузовым маркам, которые показывают на корпусе судна допустимую осадку в разное время года и при различных условиях, он тоже квалифицировался и определялся в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Самая нижняя грузовая марка на корпусах всех судов обозначается буквами *WNA — Winter North Atlantic*, и Джейсон был готов к зиме в Северной Атлантике, к мрачному, безысходному настроению, которое могло охватить пассажиров, когда пароход входил в ледяную кашу к западу от Большой Ньюфаундлендской банки, — тогда ему приходилось выбирать бодрую музыку, заботясь, однако, чтобы она не была слишком веселой. Ему были знакомы и ветры, и штормы, и вид серого пенящегося моря, и железный холод, который наступал, когда судно входило в полосу айсбергов — Северный полюс отправлял своих ледяных послов на юг даже летом. Он испытал и предрассветный бриз, и долгие, ленивые июньские и июльские дни, когда море покрывалось легкой зыбью, — в такие дни следовало выбирать более спокойную музыку. Он повидал разных пассажиров, здоровых и больных, добродушных и придирчивых,

и постепенно освоил все тонкости своего ремесла. Однажды на «Лузитании» он исполнил «Янки Дудл», дабы оказать честь американскому сенатору, плывшему в Англию первым классом. Ну кто бы подумал, что этот сенатор был патриотом южных штатов и не выносил ничего, что родилось севернее линии Мейсон—Диксон? Он знал, какими несносными могут быть офицеры — и какими капризными и неуправляемыми бывают музыканты. Знал, что в тесной каюте, которую делят между собой семь или восемь человек, всегда возникают ссоры. Все судовые музыканты страдали от одного и того же. Тоски по дому. Пьянства. Триппера. Безденежья и тихих взрывов ярости при мысли о том, что они не нашли себе в жизни ничего лучше, чем аккомпанировать морской болезни в ритме вальса. Джейсон привык иметь с ними дело. Но в предстоящем рейсе обстоятельства складывались особенно неудачно.

Этот новый парень — Давид — попал к ним по чистой случайности, компания всего за два дня обратилась к импресарио с просьбой найти скрипача. Им бы радоваться его появлению, а не позволять себе всякие выходки, как Алекс в поезде. Алекс был старый друг Джейсона и во многом помогал ему в оркестре. Джейсон прекрасно понимал, почему Алекс не пришел в восторг при виде юного музыканта. Сколько раз им приходилось отказываться от своих пожеланий относительно состава оркестра и рисковать, ведя игру с весьма сомнительными картами. Взять хотя бы Спота. Музыкант он превосходный, спору нет, но его присутствие в оркестре не слишком радовало Джейсона. Он никогда не знал, чего ждать от Спота. А Петроний!.. Ну хорошо — всем музыкантам трансатлантических рейсов было известно, что «лира» Петрония Витта несколько расстроена, чтобы не сказать сильнее. Иногда на старого итальянца находило и он не справлялся со своими обязанностями. Джейсон молил Бога, чтобы этот рейс окончился благополучно. Задача у музыкантов была несложная: в основном им предстояло играть в первом классе, где обычно все проходило гладко. Погода обещала быть хорошей, рейс недолгим. Но играть они должны были безупречно, чисто и без сбоев. Судно было гордостью торгового флота, да и вообще британской нации, на его борту собрался настоящий конгресс миллионеров. Джейсон, верный своей привычке, уже познакомился со списком пассажиров. На «Титанике» плыли Гуггенхаймы и Асторы. Газетный магнат Стед, Исидор Штраус с супругой, писатель Футрелле, а также чрезвычайный посланник из Вашингтона. И обычная свора людей не столь благородных кровей, картежников и бездельников. Джейсону уже приходилось играть для такой публики, и он знал, что некоторые толстосумы любят жаловаться капитану на музыкантов. Может, им просто нечем заняться, а может, хочется показать своим спутникам, что и миллионеры разбираются в музыке, кто знает. А с его музыкантами никто не мог предугадать, как сложится судьба судового оркестра.

Как капельмейстер Джейсон научился неплохо разбираться в людях, во всяком случае в музыкантах. Выбирая музыканта, он искал такого, который бы крепко держался на ногах и не боялся качки и в прямом и в переносном смысле. Кроме того, он должен был хорошо владеть своим инструментом и содержать форму в надлежащем виде. И, наконец, было бы неплохо, чтобы он не начинал рассказывать историю своей жизни. Последнее, впрочем, было важно только для самого Джейсона.

Если бы Джейсон мог выбирать; Давид, скорей всего, не подошел бы ему. Парень наверняка сбежал из дому, здесь он выглядел так же, как бутылка шампанского, оброненная в бассейне порта. Один Бог знает, что их ждет, когда они выйдут в море. Хорошо хоть парень, по-видимому, честный и услужливый. Он без лишних слов пошел со Спотом, когда тот потребовал себе помощника для настройки рояля. Могло быть и хуже. Алексу не стоило так сердиться.

Джейсон снова перевел взгляд на Саутгемптон. Кое-где прощально махало развешенное на веревках белье. Жаждущие зрелищ толпились в порту, чтобы посмотреть, как пароход отойдет от причала.

Джейсон обернулся. Рядом с ним стоял Алекс.

— А я думал, вы приводите в порядок форму?

— Я себя неважно чувствую. Захотелось подышать свежим воздухом.

Джейсон внимательно оглядел друга. Его лицо под светлой бородой казалось серым.

— И еще хотелось посмотреть, как мы будем отчаливать. Это всегда интересно.

Они замолчали и молча смотрели, как по трапу бежали последние кочегары, пропустив на берегу по последней рюмке. На борт доставили последние мешки с почтой. Джейсон глянул на своего верного соратника. Лицо у Алекса было уже не такое серое, но он по-прежнему молчал.

Они познакомились холодным дождливым вечером больше десяти лет назад. В одном кабачке в лондонских доках, прокуренном, унылом заведении. У Джейсона был бездомный период, вспоминать о котором он не любил.

Джейсон сидел со своей скрипкой за столиком в глубине зала. Настроение у него было убийственное. В то время он играл в пивных, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Иногда он пытался получить работу в каком-нибудь оркестре, хотя до сих пор его усилия не увенчались успехом. Но скрипка его звучала хорошо, и он мог исполнить на заказ любую песню, поэтому его охотно приглашали в разные заведения, где он играл по полчаса за небольшие деньги. В тот вечер Джейсон уже отыгрался и пережидал непогоду в этой пропахшей мочой дыре. Он совсем было собрался уходить, когда странная фигура у стойки привлекла внимание всех присутствующих.

Это был высокий белокурый человек с усами и бородой, голубоглазый и ладный. Будь он трезв и получше одет, его можно было бы принять за приличного господина. Но незнакомец был неухожен, обтрепан и к тому же сильно пьян. Последнее он подтвердил, неожиданно издав страшный вопль, заставивший всех вздрогнуть. Не обычный пьяный вопль, а низкий, гудящий вой, заполнивший все помещение и звучавший почти на одной ноте. Долгий-предолгий. Белокурый бородатый человек выл, откинув голову и прикрыв глаза. Он выл, пока у него в легких не кончился воздух. Потом глубоко вдохнул, откинул голову и снова завыл. Удивительно, как в одном человеке помещалось столько звука.

Гости добродушно смотрели на воющего. В этих местах Лондона люди не были избалованы развлечениями. Вот он снова издал долгий, жалобный вой. Будто посаженный в клетку зверь. Теперь все увидели, что он зажмурил глаза и по щекам у него катятся слезы.

— Это русский, — сказал кто-то за соседним столиком. — Он всегда воет, когда его одолеет тоска по дому. Не реже раза в неделю, если ему посчастливится своей игрой заработать достаточно денег, чтобы напиться в стельку.

Джейсон посмотрел на русского. И верно, у ног этого оборванного человека стоял футляр со скрипкой, черный и потертый. Русский опять завопил, и опять его вопль перешел в протяжный вой.

— Он скоро замолчит, — снова сказали за соседним столиком. — Он всегда перестает выть, когда его хотят выбросить прочь.

Новый вопль. Хозяин подошел к русскому.

Несколько человек поднялись, чтобы помочь хозяину. Но стоило им прикоснуться к русскому, как он словно очнулся. Он что-то пьяно крикнул, наверное по-русски, и с бегущими по щекам слезами начал отбиваться.

Джейсон наблюдал за происходящим. Ему было жаль русского. Русский плакал и тосковал по дому. Одного этого было достаточно. К тому же у него был футляр со скрипкой. В Джейсоне что-то дрогнуло, обычно он не обращал внимания на драки и ссоры, случавшиеся в этих трущобах. Он вскочил, не помня себя, подошел к выходу и выставил за дверь свою скрипку. Наверное, он тоже был не совсем трезв после четырех кружек пива. К своему удивлению, он обнаружил, что рассердился, в нем клокотала ярость. От обиды за русского его охватил праведный гнев. Если русский воет, тоскуя по дому, значит, никто не смеет ему мешать! И точка! Хозяина это не касается. Разве русский не заплатил за себя?

Джейсон взревел и бросился на одного из четверых, которые держали русского.

Это была великолепная драка. Джейсон был высокий и сильный — и вскоре пять или шесть противников были уже лишены способности употреблять в этот вечер спиртное. Русскому тоже как будто улыбнулась удача после вмешательства Джейсона. Он бил, его били, но он только плевал кровью и бранился. Все больше гостей ввязывалось в драку, многие на стороне хозяина, но кое-кто вступился и за Джейсона с русским. Зазвенело

разбитое стекло. Русский схватил свой футляр со скрипкой и стукнул им хозяина по голове, хозяин не остался в долгу, и русский узнал вкус собственного футляра. Джейсона, отвлекшего на себя большую часть нападающих, постепенно оттеснили к стене. Это оказалось для него роковым. Шесть человек схватили его за руки и за ноги, отволокли к двери и вышвырнули на улицу. За ним последовал русский, которого вышвырнул сам хозяин. Он пролетел по тротуару с новым воплем. Уже последним.

Пока русский лежал в луже, Джейсон сообразил, что, возможно, их ждет, так сказать, справедливое продолжение. Поэтому, когда русский, качаясь, встал на ноги, Джейсон уже нашел свою скрипку и был готов к молниеносному отступлению. Схватив русского за руку, он потянул его за собой.

Вскоре соратники остановились в каком-то переулке. И оглядели друг друга. От драки и бега под холодным дождем русский почти протрезвел, его светлые глаза в упор смотрели на Джейсона. Под одним глазом у него уже начал наливаться фонарь. Русский улыбнулся.

— Друг мой! — воскликнул он, губы у него были в крови.

Джейсон тоже пришел в себя и теперь чувствовал себя дураком. Побитым дураком. Почему он так рисковал ради какого-то пьяного русского?

— Друг мой! — повторил русский и обнял Джейсона. Он повторял эти слова до тех пор, пока Джейсону это не надоело.

— Прощай, — сказал он и протянул русскому руку. — Зря они на тебя накинулись. — Лучше уйти, пока все это не стало смешным. Но русский не понял смысла его слов.

— Я, — сказал он, показав на себя. — Я — Алекс. Александр Бежников. Ты — мой друг. Мой друг. Да. Ты.

— Твоя скрипка, — вспомнил Джейсон. — Скрипка. Она осталась там, у них. — Он махнул рукой в том направлении, откуда они пришли. Русский понял. Он усмехнулся.

— А-а, — он засмеялся, хлопнув себя по коленям, и смеялся долго. — Нет! — сказал он, все еще смеясь. — Идем!

Он потянул Джейсона за собой, они прошли еще несколько улиц, русский все время смеялся. Наконец он остановился перед какой-то лавчонкой. Здесь принимали вещи в заклад.

— Скрипка здесь, — сказал русский, указывая на лавчонку. — А там, — он показал в другом направлении, — там, в пивной, только футляр. — Он снова захохотал — здорово он их обманул. Джейсон тоже не удержался от смеха. — Я, — нерешительно начал Алекс, — я пропил скрипку в пивной. Скрипка здесь. — Он показал на лавчонку.

— Ясно. — Джейсон хотел уйти.

— Здесь! — настойчиво повторил Алекс.

— Понимаю.

— Нет... нет! — сказал Алекс. — Ты мой друг! Мой друг!

— Меня зовут Джейсон.

— Да! Мой друг Джейсон! Мой друг Джейсон! Моя скрипка там. Очень, очень дешево. — Он вытащил закладную квитанцию. Скрипка. Восемь шиллингов. Немного. Столько денег у Джейсона еще было. — Джейсон! — сказал Алекс. — Друг! Играет на скрипке, я тоже! Моя скрипка там!

Джейсон вздохнул. Наконец до него дошло, что он сглупил, заступившись за этого незнакомца. Русский знал: друзей в беде не бросают. Джейсон решительно вынул из кармана деньги, вошел в лавку и выкупил скрипку. На улице он протянул ее Алексу, и тот бережно завернул ее в свое пальто.

— Пожалуйста, — сказал Джейсон и хотел уйти. Он проклинал собственную глупость: люди всегда оказывались хитрее его.

Но Алекс удержал Джейсона. Он хлопнул его по плечу; казалось, он сейчас снова заплачет.

— Ха-ха! — крикнул он. — Ха-ха! Смотри! — Он достал из кармана кожаный кошелек. Вынул из него восемь шиллингов и протянул их Джейсону. И снова засмеялся.

— Там, в пивной... — Он продолжал хлопать Джейсона по плечу. — Я не успел расплатиться!

Так началась их дружба, и она выдержала испытание временем. Джейсон невольно улыбался, думая об этом. Отвязаться от этого странного русского он так и не смог, тот впился в Джейсона, как клещ, и уговаривал его играть вместе. Как бы там ни было, а у двоих оказалось больше возможностей, чем у одного. Поэтому с тех пор они играли в пивных, трактирах или на улице: Джейсон — первую скрипку, Алекс — вторую. У них образовалось своеобразное вольное товарищество, образовалось само по себе, без слов. Без слов потому, что вначале Алекс плохо понимал и говорил по-английски. И хотя со временем он овладел языком, дело было вовсе не в словах. В основе их дружбы лежало что-то другое, может быть, та общая драка, а может, то, что они оба были бездомны в этом большом городе.

Они мало рассказывали о себе. Об Алексе Джейсон знал только, что до той драки в пивной он прожил в Лондоне четыре месяца. О себе он рассказал, что был студентом. Почему и каким образом Джейсон бросил учение, Алекса не интересовало.

Со временем они попали в оркестр мюзик-холла, потом играли в зимнем саду одного отеля. В 1908 году нанялись играть на пароходах компании «Кунард лайн».

С тех пор они все время плавали по морям. Играть на пароходах считалось почтенным занятием, это была постоянная работа, и она неплохо оплачивалась, хотя за последние полгода их жалованье уменьшилось на целый фунт.

Джейсон смотрел на Алекса, перегнувшегося через поручни и прижавшегося к ним грудью. Как он изменился, подумал Джейсон. В последнее время Алекс стал упрямым и часто раздражался по пустякам. Джейсон полагал, что на друга опять напала тоска по родине, которая обычно обострялась у него весной или в начале лета. Но тут было что-то другое. Алекс смотрел на город, и лицо у него было грустное. Нос и скулы немного заострились, кожа натянулась. Глаза провалились.

Гудок прогудел три раза, низкому тройному гудку на берегу ответило эхо.

Швартовы были отданы, на борту закрепили буксирные тросы. Три небольших буксира, сильных, как великаны, начали медленно выводить судно на фарватер.

Отплытие. На мостике рядом с капитаном стоял лоцман. Толпа на причале махала руками, все прогулочные палубы были заполнены пассажирами; они размахивали шарфами и платками и непрерывно кричали от восторга.

Джейсон и Алекс стояли, как прежде, они не кричали и не махали.

Когда «Титаник» вышел на фарватер и буксиры развернули его на девяносто градусов, чтобы начать медленный спуск по реке, произошло нечто непредвиденное. С кормовой палубы все было хорошо видно. Вдоль фарватера у причалов стояло много судов, которые задержала там забастовка угольщиков, и когда «Титаник» проходил мимо стройного корпуса винтового парохода «Нью-Йорк», тот неожиданно сдвинулся с места, точно корабль-призрак. «Титаник» привел в движение воду в узком бассейне порта. Громкий, как выстрелы, треск лопнувших манильских канатов был слышен даже на корме, где стояли Джейсон и Алекс. «Нью-Йорк» быстро отошел от берега кормой вперед; словно огромное копье он летел на «Титаник». Столкновение казалось неизбежным. Пассажиры испуганно отпрянули от поручней, на борту началась паника. Машины «Нью-Йорка» не работали, он был неуправляем. Прошло несколько безумных секунд. Один из буксиров, маленький «Вулкан», уже отпустивший «Титаник», ринулся к неуправляемому судну, чтобы попытаться взять его на буксир. Со второй попытки удалось забросить на него трос. «Нью-Йорк» неумолимо приближался к «Титанику». Манильский канат взвизгнул, когда «Вулкан» изо всех сил потянул «Нью-Йорк» за собой. Столкновение было предотвращено, но между судами оставалось не больше пяти футов. Крохотный «Вулкан» медленно, но уверенно потащил «Нью-Йорк» обратно к причалу.

На палубах «Титаника» пассажиры пришли в себя. Потом вспыхнуло ликование.

Пока «Нью-Йорк» снова пришвартовывали и укрепляли швартовку других судов, «Титаник» почти не двигался, чтобы несчастье не повторилось. Благодаря находчивости экипажа буксира удалось избежать катастрофы, которая помешала бы предстоящему трансатлантическому рейсу, а то и стоила бы человеческих жизней.

Все обернулось лишь часовым запозданием.

Джейсон и Алекс спустились с палубы, перед уходом они плюнули в воду, чтобы дурное предзнаменование потеряло силу.

В салоне перед роскошным рестораном первого класса уже сидел оркестр, строгий, подтянутый, и под руководством капельмейстера Джейсона на прощание с Англией играл веселые мелодии. Пока судно шло мимо острова Уайт, пассажиры, еще взволнованные недавним происшествием, медленно собирались к столу.

ИСТОРИЯ ДЖЕЙСОНА

Тот же день. Ла-Манш, по пути к Шербуру, 17.10

Джейсон поднялся на палубу, и его встретил закат; он устал, потому что они играли почти весь день. На западе над самым горизонтом висел красный шар. Небо было прозрачное как стекло. Его очистил ветер.

На корме пели эмигранты. Кто-то принес аккордеон и заиграл жигу. Вокруг тут же столпились люди, счастливые, еще не верящие, что путешествие уже началось. Джейсон никогда не мог понять радости этих людей, по их лицам он видел, что перед ними открывается что-то таинственное, что-то непостижимо прекрасное, страшное и важное: они покидали Европу, покидали дом и отдавали себя во власть будущего. Они вступали в чистилище между своим домом и чем-то новым, совершенно неведомым. Многим из них уже не суждено было увидеть старый континент. Джейсон достаточно хорошо знал Нью-Йорк, чтобы понимать, что их там ждет.

Или он просто не хотел ничего этого понимать?

Его залил красный свет. Опять. Джейсон снова купался в этом зареве. Тяжелое, сытое солнце окрасило море. Звонкая песня эмигрантов и их смех превратились в мяч, который то взлетал к небу, то подпрыгивал по поверхности воды. И тут к Джейсону вернулись его утренние мысли, мысли о том, другом. То красное зарево, помнишь его? Помнишь то утро, когда солнце текло к тебе, словно река зла? Голоса на корме стали частицей воспоминания, частицей мерцавшей в нем картины, частицей того утра, когда верное время перестало быть верным.

Было позднее сентябрьское утро. Через матовые высокие окна со свинцовыми переплетами солнце падало на дубовые панели и пол старого школьного холла. Все было окрашено этим светом. Темнота, притаившаяся под потолочными балками, походила на сгустки запекшейся крови.

Из коридоров доносились крики мальчиков. Они со смехом перебегали из одной классной комнаты в другую. Это была старая часть школы. Над панелями висели гербы и портреты адмиралов. У одной двустворчатой двери стояли два рыцарских доспеха, у другой — два копья.

В холле, повернувшись лицом к окну, стоял высокий рыжеволосый мальчик. Он закрыл руками лицо и не двигался, словно вокруг него ничего не существовало.

Он видел только красное зарево, и больше ничего. Оно проникало между его пальцами, прижатыми к глазам. Это был уже не обычный свет, но нечто другое, более сильное, причинявшее боль. И оно вторгалось в него.

Все остальное казалось далеким аккомпанементом, некоей сопровождающей мелодией. От каменного пола исходил холод, ледяная нежность, тянувшая его вниз, он думал: я сейчас упаду. Я хочу упасть. Но он не упал, зарево крепко держало его и не желало отпускать.

Из нагрудного кармана его школьной формы торчала какая-то бумага. Она тоже была окрашена заревом.

Джейсон стоит на каменном полу и плачет.

Отныне он всегда, всегда будет плакать над этим утром. Отныне этот свет всегда будет мерцать в нем, и день так никогда и не начнется. Он навсегда запомнит письмо и сдержанные слова, которые директор произнес перед тем, как освободить его от уроков на весь день. Он запомнит, что Джейсон, который был уже не им, но другим, старым

Джейсоном, вежливо поблагодарил директора, вышел из его кабинета и исчез насовсем.

Не успел он уйти дальше холла, как у него брызнули слезы; вот тогда-то он и увидел то красное, что текло в стрельчатые окна. Он не знает, сколько времени простоял неподвижно. Ему четырнадцать лет. Но у него нет возраста.

За три года до этого отец ходатайствовал о получении поста полкового врача в Индии, недалеко от Мадраса. Доктор Кауард устал, и ему было полезно сменить обстановку. Там, на Востоке, проводились весьма важные исследования по интересующей его теме, и отцу Джейсона хотелось принять в них участие. Кроме того, в Индии хорошо платили. В тот год Джейсон в любом случае должен был поступить в школу-интернат, в один из лучших, конечно. Когда в то утро, сразу после утренней молитвы, Джейсона позвали к директору, он решил, что от родителей пришло запоздавшее поздравление с днем рождения.

*

Группа мальчиков замечает в холле неподвижную фигуру. Они переглядываются. И подходят поближе.

— Красная шапочка, — говорит кто-то.

— Петушачий гребень!

Слова звучат тихо, но обидно. Мальчики обмениваются насмешливыми взглядами — Джейсон не похож сам на себя. Он их не замечает.

— Лунатик! — говорит один.

— Глухой! — подхватывает другой.

Джейсон и в самом деле в то утро словно оглох. Лишь когда один из больших мальчиков, осмелев, бьет его по спине, он оживает. Нерешительно делает шаг вперед, оборачивается и смотрит на них незнакомым взглядом.

Они полукругом стоят перед ним. В красном зареве их лица кажутся покрытыми пеленой. Фигуры черны, как уголь.

Мальчики снова переглядываются. Было бы неплохо вздуть кого-нибудь здесь, в самом холле, это был бы настоящий подвиг. Слава о нем сохранилась бы на долгие годы.

А жаловаться Джейсон не станет; на это у него ума хватит.

Джейсону несладко жилось в этой школе, хотя кое-кому приходилось еще хуже. В нем было что-то, отличавшее его от других. И сам Джейсон, и остальные мальчики безошибочно это чувствовали. Это послужило причиной вечных насмешек над его рыжими волосами, и даже его фамилия — Кауард[1] — давала повод для всяких обидных прозвищ. Но в чем заключалось это что-то, Джейсону было неясно. Может, отчасти дело было в том, что Джейсон, единственный ребенок в семье, общался только с родителями, он говорил на языке взрослых, употребляя слова и выражения, которые почерпнул в научных книгах и опытах. Может, мальчики ополчились на него за то, что он играл на скрипке и пел в школьном хоре. Или же учуяли, что он жил и учился в школе в одном из неблагополучных районов Лондона. Джейсон не мог этого понять.

Никогда не ябедничай, сказал ему отец перед отъездом в Индию. Эти слова Джейсон увез с собой в школу и строго им следовал.

Он наябедничал только один раз, но тогда дело касалось не его самого. Старшие мальчики обидели малыша по имени Рик. Холодным зимним утром они налили ему в штаны воды, без всякой причины, просто их распирало от жажды деятельности. Рик замерз и получил воспаление легких, это всполошило всю школу. Джейсон назвал виновных, не заботясь о том, какие это будет иметь для него последствия. И не раскаялся в своем поступке. Даже после неоднократных пакостей со стороны мальчиков.

И все-таки он не жалел, что назвал тогда виновных. Он считал, что поступил правильно, и написал о случившемся родителям, хотя и смягчил свой рассказ, умолчав о постигшем его возмездии. В ответном письме отец подтвердил правоту Джейсона. По-

[1] Кауард — трус (*англ.*).

этому Джейсон ходил с высоко поднятой головой, пока месяца через два не застал того самого Рика, которому в штаны налили воды, на месте преступления: Рик насыпал песок в его чернильницу. Он не мог забыть глаза Рика, испуганные, жалкие. Но в них не было и тени стыда. И Джейсон понял, что Рик поступил так без какого-либо принуждения со стороны мальчиков.

И тогда Джейсон ударил маленького Рика. Ударил по лицу, изо всей силы, ослепленный гневом и разочарованием. Потом директор наказал его розгами за то, что он ударил младшего. Это было почти год назад. После того случая в Джейсоне как будто что-то сломалось. Ему стало труднее терпеть насмешки и издевательства. Мучители почувствовали его слабость и еще больше осмелели.

Джейсон с нетерпением ждал возвращения родителей из Индии; ждать ему оставалось еще полгода. Он радовался каждому письму от них и сам писал им раз в неделю. Читая живописные рассказы матери о важных и незначительных событиях их жизни и рассказы отца о его работе или о незнакомой природе, Джейсон словно переносился в ту далекую страну; он ощущал жару, незнакомые пряные запахи, видел тощих коров, расхаживающих по улицам. Слышал пение цикад по ночам. Все окружающее исчезало: школа, форма, надоевший крикет, вопли мальчишек, их издевательства — все это переставало существовать, оставалась только тоска. Письма помогали Джейсону. И нынче, когда его вызвали к директору, он ждал, что получит поздравление с днем рождения...

Мальчики окружили его. Он смотрел на них незнакомым взглядом, потому что находился в другом мире. Внутренний голос, сладкий, искушающий, шептал ему, что он должен позволить им все, даже избить его, чтобы все пришло в равновесие, чтобы он исчез, уничтоженный их руками. Теперь ему было все равно. И вместе с тем он догадывался, что все погибнет, что сам он утонет и исчезнет, если позволит им бить себя. Поэтому, когда первый мальчик занес руку для удара, Джейсон поднял руки к лицу, впился ногтями в кожу и разодрал ее, оставив на щеках глубокие царапины. Один раз, потом другой...

Мальчики окаменели. Они не спускали с Джейсона глаз и видели, как у него сперва по щекам, а потом и по шее потекли ручейки темной крови. Молча они смотрели, как он повторил эту экзекуцию. За все время он не издал ни звука, но его крепко сжатые губы побелели. Глаза сузились, и за слезами были видны только черные зрачки.

Мучители в страхе отпрянули от него.

— Что это с ним? — шепнул один из них.

Джейсон снова расцарапал себе лицо. Он уже ни о чем не думал, не помнил того, что случилось, только чувствовал боль в щеках и бегущие из глаз слезы, соленые слезы, которые смешивались с его кровью. Мальчики все еще стояли вокруг него, он различал их сквозь слезы. Кто они? Почему не ушли? Почему не могут оставить его наедине с солнцем, оставить его здесь одного, позволить ему смотреть? Он больше не царапал себе лицо, он снова повернулся к окну. И тут же забыл о мальчиках. Солнце поднялось выше, и его красный свет лился в окна еще неудержимей, чем раньше...

Теперь Джейсон уже рыдал, икая и протяжно всхлипывая.

В одной из двустворчатых дверей появился Сондерс, учитель естествознания. Этот рассеянный человек с седой бородкой редко замечал, что происходит вокруг него. Однако что-то в этой группе возле окна, в этих неподвижно застывших фигурах, должно быть, насторожило его, потому что он остановился, не спуская с них глаз. Нахмурил брови. Потом подошел к ним. Они его не заметили. Не заметили, пока он не спросил:

— Что тут происходит?

Они тут же обернулись к нему, испуганные. Но Сондерс понял, что испугались они не его. Он никогда не внушал им страха. Их напугало что-то другое. Он бросил на них беглый взгляд, узнал присутствующих. У них были еще такие детские, не тронутые жизнью лица, что Сондерс каждый раз поражался, когда заставал их за какой-нибудь злой проказой. Он не понимал, откуда в них столько злобы. Сондерс был ученый, натуралист, приверженец Дарвина, он не верил в библейское грехопадение. Но иногда ему приходило в голову, что какое-то биологическое грехопадение все-таки было, если дети челове-

ческие могут... Сондерс увидел фигуру, обращенную к окну. По рыжим волосам он узнал Джейсона Кауарда, страстно любившего естественные науки. Сондерс прикусил губу и сердито кашлянул:

— Марш отсюда! — Несколько секунд мальчики не могли сдвинуться с места, они словно оцепенели. — Марш отсюда! — прошипел он.

И они ушли, очень медленно. Лишь когда они покинули зал, внимание Сондерса обратилось на Джейсона, стоявшего неподвижно, как и прежде. И только повернув Джейсона к себе, учитель увидел его щеки, блестевшие от льющейся по ним крови...

Сондерс увел Джейсона в свою квартиру, там его жена промыла Джейсону царапины спиртом и залепила их пластырем. Сондерс отменил свои уроки. До полудня он разговаривал с Джейсоном, пытаясь вернуть его к действительности. Потом пошел к директору.

Но еще до того, как солнце достигло зенита, вся школа уже знала, что Джейсон Кауард, этот рыжий трус, сошел с ума.

Но Джейсон не сошел с ума. Он просто плакал над письмом. То утро обозначило для Джейсона вступление во взрослую жизнь и уже осталось с ним навсегда. Ему следовало призвать Бога к ответу и спросить, что означает это письмо. Ему следовало впасть в необъяснимую, безудержную ярость. И эта ярость, принимая различные формы, должна была увести его далеко от той жизни, которая, по-видимому, была ему предназначена.

Все изменилось.

Считается, будто дети легко забывают, будто им легче жить дальше. Так думали и о Джейсоне. На самом же деле он стал другим. Полученное известие так подействовало на него, что одно воспоминание о нем изменило и самого Джейсона и всю его жизнь. Он почти физически ощущал это воспоминание.

Позже, руководствуясь здравым смыслом, он, наверное, признался бы самому себе, что с человеком может случиться кое-что и похуже. И тем не менее то утро рассекло его жизнь на две части. После него он стал другим, он сам не узнавал себя.

В письме не содержалось поздравления с днем рождения. Вместо поздравления в нем было короткое, официальное сообщение о том, что отец и мать Джейсона Кауарда, доктор медицины Джон Кауард и его жена Алиса, урожденная Кларк, умерли в своем доме в Индии, в Веллоре, штат Мадрас, от еще не изученной инфекционной болезни. Департамент выражает искренние соболезнования и глубокое уважение...

Дорогой Джейсон, писал отец, *у нас все по-прежнему. Сегодня жарко, и часть солдат лежит с «веллорской болезнью». Ничего страшного, говорят офицеры, но я на всякий случай даю им солидные дозы хинина. Сейчас дела у нас обстоят не лучшим образом.*

Мама просит передать тебе привет, она собирается на вечер в свое общество. Некая миссис Джонстон вовлекла ее в работу евангелического общества. Миссис Джонстон — пожилая, властная дама, и у нее такое лицо, будто она объелась неспелых фруктов. Индусы слушают ее с удивительным терпением. Надеюсь, мама сможет содействовать распространению среди местных жителей простейших правил гигиены. Как я уже говорил, после сезона муссонов у нас были тяжелые эпидемии.

Раз уж мы заговорили о религии, на днях я видел интересную космогонию в старом заброшенном храме: бог Шива обнимает Вселенную своими четырьмя руками, на его губах играет непередаваемо презрительная улыбка. Насколько я понимаю, Шива и разрушитель и созидатель. Но для более серьезного изучения религии у меня нет времени.

Надеюсь, в школе у тебя все в порядке. Мы с мамой ждем, что ты хорошо сдашь экзамены... С любовью...

Джейсон пережил несколько тяжелых недель. Родственникам надлежало договориться, кто из них возьмет на себя опеку над мальчиком; потом в соответствии с завещанием следовало распорядиться оставшимся имуществом; коллеги и друзья доктора Кауарда

заказали службу по усопшим, которых поспешили похоронить в Индии. Джейсон вместе с тетей Мейбл, о существовании которой он почти не помнил, сидел в церкви на первой скамье, с невидящим взглядом, сжатыми губами и с красными следами царапин на щеках, и слушал все, что говорилось о докторе Кауарде; оказывается, доктор Кауард был выдающийся человек. От частого повторения это имя стало казаться Джейсону чужим, настолько чужим, что ему почти удалось забыть, о ком идет речь. Этот человек со свойственными ему идеализмом и состраданием к людям, неиссякаемым трудолюбием и волей являлся примером, образцом и источником вдохновения для своих коллег. За честь, за высокую честь почитали они знакомство с этим человеком; глубоко потрясенные его безвременной кончиной и вместе с тем благодарные Богу за дружбу с ним, они собрались здесь, чтобы почтить память этого человека и его жены, — Джейсон заметил, что некоторые из этих глубоко потрясенных коллег отца украдкой поглядывали на часы. Тетя Мейбл со скорбными, влажными глазами на продолговатом лице смотрела прямо перед собой. Все-таки она была сестра отца, они вместе выросли в маленькой усадьбе священника на берегу Северна, наверное, они вместе играли, разговаривали, но Джейсон не мог уловить в ней ничего отцовского.

Когда наконец этот тяжелый час настал, когда заботливые родственники и друзья родителей, в том числе адвокат отца, собрались, чтобы подумать о будущем Джейсона и решить, что следует продать, чтобы обеспечить ему хорошее образование, они обнаружили, что этот осиротевший мальчик вполне покладист и не столь сентиментален, как они думали. Да, он был на диво покладист.

Этот сеанс происходил в доме Джейсона, который в отсутствие хозяев стоял опустевший и запертый. На мебель были надеты чехлы, картины сняты со стен, ковры скатаны и вещи упакованы в ящики и сундуки. Серьезные взрослые люди держали военный совет в гостиной, кто-то принес бутылку хереса. Джейсон, в черной школьной форме, неподвижно, как истукан, сидел на стуле возле рояля. Щеки у него пылали.

Он оглядел комнату. Она была похожа на карикатуру того дома, в котором прошло его детство. Сходства почти не осталось. Она была чужая, уже не его.

Наконец адвокат Скотт проскрипел, что прежде всего следует найти решение, которое наилучшим образом послужило бы интересам Джейсона. Доктор Кауард не был состоятельным человеком, имущество не свободно от долгов и страховка весьма скромная, но если всем правильно распорядиться, имея в виду реализацию имущества, назначить с общего согласия экономного и... э-э... заботливого опекуна...

Лица присутствующих обернулись к Джейсону, испуганные, серьезные. Джейсон кивнул, такой же серьезный, как они.

— Как мужественно он держится, — тихо проговорила тетя Мейбл. Она стояла у окна; белые полотняные занавески были отдернуты, и от пронизанного дождем осеннего света комната и лица присутствующих светились бледным приятным сиянием.

— Второй этаж уже сдан, и в дальнейшем следует сдать весь дом, дабы обеспечить Джейсону твердый годовой доход. Вместе с тем владению недвижимостью сопутствует целый ряд обязательств практического и финансового свойства, даже если дом находится в городе... Если же дом продать, а вырученные деньги вложить...

Джейсон наблюдал. Изучал комнату, в которой они сидели. Его наблюдение открыло ему, что это самая обычная комната, ничего особенного в ней нет. Гостиная, каких тысячи. Он подумал о своей комнате в мансарде; он знал, что она стоит пустая, но все-таки поднялся наверх. Он узнал только кровать и ночной столик. Словно увидел собственную старую фотографию. Небо в окне мансарды было белесое. Джейсон закрыл дверь.

Дядя Ральф, мамин кузен, робко кашлянул и взглянул на часы. Адвокат Скотт долго не мог добраться до сути. Джейсон наблюдал за своим родственником, когда тот смотрел на часы. Наблюдал и понимал, что они занимаются самым обычным делом: иногда на почтенных, деловых людей вдруг ложится ответственность и личного и морального свойства за судьбу осиротевшего ребенка. Никто не предполагает такого поворота событий, но, будучи джентльменами, они принимают на себя эту ответственность. Тратят свое время. И если сейчас они поглядывают на часы, то, по известным причинам, стараются делать это незаметно. Жизнь идет своим чередом. Все это было понятно Джейсону до

такой степени, что он утвердился в своем решении ничему и никому не чинить помех. Во время обсуждения он почти не говорил, хотя в действительности был весьма разговорчивый мальчик, и если б они знали его получше, это молчание показалось бы им подозрительным. Впрочем, что такое «в действительности»? И что такое теперь действительность? Они ничего не знали о нем; вот и все. Это давало ему определенное преимущество.

Когда стали решать судьбу вещей, все прошло гладко и безболезненно. Доктору Кауарду, доброму старому Джону, безусловно, было бы приятно, если б его сын — помимо своих личных воспоминаний — сохранил что-нибудь из мебели, какую-нибудь картину или вещь... может быть, что-нибудь из инструментов, которыми его отец пользовался как практикующий врач... Адвокат Скотт был в этом уверен. Поэтому если Джейсон хочет что-нибудь взять на память... Например, стенные часы...

Но стенные часы были вскоре предназначены на продажу. А также столовая, кожаные вольтеровские кресла, этажерка, буфет с его содержимым... В речах досточтимых участников собрания, по мере того как оно приближалось к концу, появилась заметная напряженность. Какое невообразимое множество мебели и вещей составляют дом! Дом состоит из вещей. Джейсон равнодушно наблюдал. Человеческий дом похож на кукольный, устроенный в коробке из-под обуви, туда ставят игрушечную мебель, а потом поселяют в нем папу, маму, одного или двух детей и собаку. И тогда получается дом. Но в доме Джейсона многого не хватало, в том числе бультерьера Эрнеста, который был у него до того, как он уехал в школу. Джейсону ужасно не хватало Эрнеста с его холодным, влажным носом. Перед отъездом отец безболезненно усыпил пса. Родители сказали, что Эрнест будет жить у каких-то добрых людей, но Джейсон знал, что они лгут, и знал также, что отец знает, что ему это известно. Итак, тут не было Эрнеста, он жил у добрых людей... От дома остались лишь кое-какие вещи и еще сам Джейсон, и Джейсон старался не мешать вещам. Все это представлялось ему простым, как обувная коробка. Вещей оставалось все меньше и меньше. Вскоре было продано серебро; даже тетя Мейбл и ее муж, священник, захотели приобрести кое-что из вещей, а также кузен матери Ральф... Джейсон не возражал. Он был так покладист, что адвокат Скотт заподозрил, что Джейсон не отдает себе отчет в происходящем. Поэтому он начал играть роль искусителя, он так и сыпал аргументами против продажи той или иной вещи, выступая от имени Джейсона и противореча самому себе. Адвокат как будто вел процесс против самого себя, это было забавно. Может, Джейсон все-таки хотел бы сохранить кое-какие картины — хранение организовать нетрудно, — может, он потом пожалеет, что так легко от них отказался? Нет? Ну ладно, в таком случае они пойдут на продажу.

Продажа шла бойко, какое-то вялое безразличие витало в комнате. Вещи уходили.

Лишь один раз Джейсон заколебался. Очередь дошла до больших кованых сундуков и ящиков, которые стояли в подвале, перед Джейсоном неожиданно возник предмет, лежавший в футляре, обитом внутри бархатом: телескоп. Линзы от фирмы «Чанс» в Бирмингеме, рефрактор три с четвертью дюйма, теоретическая разрешающая способность в две секунды дуги.

Джейсон побледнел при виде телескопа.

— Ну? — мягко спросил адвокат Скотт. — Красивый инструмент. Это твой?

Джейсон не отрывал глаз от телескопа. Воспоминания летели сквозь него, как падающие звезды.

— Нет. — Он отвел глаза.

Взрослые переглянулись.

— Наверное, это папин телескоп, — сказал Джейсон, собравшись с духом. — Я никогда... особенно не интересовался астрономией.

— Но ты хотел бы его сохранить? — Опять адвокат Скотт, острые глаза адвоката сверлили Джейсона.

— За такой телескоп можно выручить много денег, — безразлично сказал Джейсон.

И опять всех охватило какое-то приятное оцепенение. Речь зашла о будущем Джейсона и об оставшихся медицинских приборах и книгах доктора Кауарда. Слово взял муж тети Мейбл, священник Чедуик, коренастый, скромного вида человек, говоривший нараспев. Он ко всему относился практически.

— Я полагаю, — сказал он, — что со временем Джейсон начнет изучать медицину. — За столом закивали. Джейсон видел священника словно через стекло, их отделяла друг от друга изрядная часть вечности. Потом он стал рассматривать свои руки. — Принимая во внимание этот факт, а также тот факт, что... если мне будет позволено заметить... что изучение медицины требует времени и денег, а медицинские книги и инструменты весьма дороги... Может быть, вы, доктор Фолс, просмотрели бы... если мне будет позволено заметить... исключительно с практической точки зрения... все инструменты и книги, какие здесь есть. Хорошо, если бы вы отобрали наиболее ценные, дабы сохранить их, принимая во внимание будущие занятия Джейсона, чтобы, когда придет время, мы избежали крупных и ненужных расходов на приобретение новых.

Доктор Фолс коротким кивком откликнулся на этот призыв. Джейсон во все глаза смотрел на собравшихся, смотрел и не понимал, что́ он видит. Издалека до него донесся чей-то голос, почти незнакомый: *Да, дорогая, я знаю, что он муж моей сестры, но я не выношу его проповедей.*

— А это? — Тетя Мейбл подняла толстую книгу в коричневом переплете. — Надеюсь, ты возьмешь эту книгу, Джейсон? — В ее голосе звучала надежда.

Джейсон бросил взгляд на книгу. Это была иллюстрированная Библия, мамина иллюстрированная Библия.

— Да, — сказал он. — Я буду ее читать.

Тетя Мейбл осторожно погладила его по голове.

Дорогой Джейсон, писала мама, *надеюсь, у тебя все в порядке. День клонится к вечеру, очень жарко, я сижу и пишу тебе письмо. Папу невозможно оторвать от его работы. Боюсь, что здесь он работает не меньше, чем в Уайтчепеле. Он пытается выделить каких-то микробов, наверняка он сам напишет тебе об этом.*

Вчера вечером я видела нечто интересное и очень жалею, что тебя не было рядом. Вечер был красновато-фиолетовый, с мягкими, насыщенными, словно подернутыми дымкой красками, которые описать невозможно, из-за этих красок как бы исчезают все расстояния. Папа зашел за мной в церковь, и мы вместе пошли домой, через рынок, где в корзинах и сосудах продают пряности, овощи, венки, пудру разных оттенков и духи. Неожиданно на площади заиграли музыканты. Полвечера мы простояли там, слушая их. Эту музыку, Джейсон, невозможно постичь, не говоря уж о том, чтобы ее описать. В нашей миссии говорили, будто она ужасна и с ней следует бороться из-за ее языческого содержания. Она необычная, это верно. Все вращается вокруг центральной мелодии, которую я умышленно не называю главной темой, нет, это своего рода центральная мелодия. Вокруг нее и сплетается все остальное. Эта музыка похожа на здешние розоватые, туманные сумерки, у нее как будто нет ни конца, ни начала. Мне было так странно идти вчера по улицам с душой, переполненной этими струящимися, ни на что не похожими звуками... Береги себя, не простужайся. С любовью...

Да, все идет так легко, так гладко. Он очень покладист. Вещи скользят мимо него, он отпускает их, словно они никогда не принадлежали ему, словно он никогда не прикасался к ним. Все получилось, как он и предполагал. Условились, что его опекуном будет священник Чедуик. Теперь на каникулы он будет приезжать к нему, в его маленькую усадьбу в Девоне — это прелестное место, Джейсон, с лугами, садами, лошадьми. Но адвокат Скотт успеет договориться с биржевым маклером о помещении денег прежде, чем тот облачится в пальто, с видом, внушающим доверие, приподнимет цилиндр и покинет место встречи. Доктор Фолс, старый коллега отца, пожелает Джейсону счастья и уверит его, что в любое время готов оказать ему помощь, он будет держать с ним связь и, когда придет время, постарается помочь ему с образованием. После этого доктор исчезает, а вместе с ним с ладони Джейсона исчезает и ощущение его рукопожатия. Они уходят, все вместе.

Вещи, вещи и время покидают его. Дом с медной дощечкой. Камин с часами на полке, часами, которые отсчитывали секунды благодати, секунды детства. Красная плю-

шевая кушетка, на которой кто-то отдыхал, рояль, еще хранящий воспоминания. Все так легко, легко. Теперь Джейсон другой. Он знает, что стал другим. Он возвращается в школу уже другим, как будто обогатившимся чем-то новым за эти недели. Учителя и ученики встречают его робкими взглядами. Он их не знает. Это легко. Он набрасывается на учебники почти с отчаянием, словно ища чего-то.

Отныне он бездомный.

И медленно потекли годы. Они проходили мимо, с занятиями и экзаменами, с каникулами, проводимыми в благожелательном, но слишком тихом и чужом доме тети и дяди в Девоне.

Джейсон стал другим.

Это проявлялось в странных поступках, которые он совершал в школе. Сперва их приписали тому, что Джейсона выбила из равновесия пережитая им трагедия, однако его поведение не менялось, напротив, оно становилось все более вызывающим, подчеркнуто вызывающим. Пришлось даже прибегнуть к сильным средствам. На сцене появились розги. Джейсон перенес наказание без единого звука, он держался даже дерзко, если принять во внимание его проступок. Когда же и телесное наказание не дало результатов, было написано письмо тете и дяде Джейсона. Со временем таких посланий у них накопилось много. Поведение Джейсона давало все больше поводов для огорчений.

Как описать или объяснить то, что с ним происходило? Когда Джейсон вернулся в школу, между ним и остальным миром возникло расстояние, стеклянная стена, необъяснимое, холодное безразличие, не подпускавшее к нему близко никого и ничего. Он ускользал от всех взглядов. Сделался как бы невидимым. В том числе и для учителей. На него не действовали ни похвалы, ни наказания. Холодно и равнодушно он принимал хорошие оценки; отстраненно, почти презрительно взирал на директора, когда тот исполнял наказание. В Джейсоне появилось что-то неприступное и опасное, в него словно что-то проникло, подобно тому как бродяги проникают ночью в подвал дома, чтобы устроить там пирушку. Когда он отвечал на уроке, глаза у него были темные и серьезные. Он редко улыбался, и улыбка у него была осторожная, мимолетная, как снег, она быстро таяла на его лице. Неожиданно он оказывался заводилой, если порой, правда редко, ему этого хотелось. Теперь уже он придумывал и осуществлял многие шалости и проказы. У него появилась особая, спокойная манера просить учеников о чем-то, часто ему было достаточно одного взгляда, чтобы заставить их повиноваться себе. Сам же он точно стоял в стороне, и было похоже, что его проделки не доставляют ему никакой радости. За последующие два года Джейсон возмужал, стал высоким и сильным.

Сам же он все еще продолжал чувствовать, будто обладает чужим запахом, будто что-то в нем отличает его от других. Только теперь это «что-то» изменилось, созрело, вылупилось и забило темными крыльями. Это была холодная отстраненность и тихое, беспросветное отчаяние. Джейсон обнаружил, что ему нравится расстояние, возникшее между ним и всем миром. Он научился манипулировать учениками, заставлять их подчиняться, и они пресмыкались перед ним. Ему было приятно, что господство над ними не требует от него никаких усилий и душевного волнения, это давалось ему легко, очень легко. И мало-помалу в нем выросло сильное, неодолимое желание бунта, почти ненависть. Ненависть к школе, к учителям, к ученикам, к тете и дяде и к их мирной маленькой усадьбе. Он всюду чувствовал себя чужим. Он бездомный и останется бездомным! Так будет правильно. Но они должны помнить о нем, чувствовать его присутствие.

Подолгу Джейсон бывал спокоен и погружен в себя. Он отдыхал, отстранившись от всего. Но потом на него что-то находило, непонятная тревога вдруг разбивала ровную гладь, и он придумывал какую-нибудь шалость. Словно одурманенный, вряд ли понимая, что делает, он мог пририсовать усы какому-нибудь адмиралу на портрете, висевшем в холле. Или же, охваченный ледяной яростью после наказания, швырял камень в окно со свинцовыми переплетами в кабинете директора.

Он был прилежный ученик, внимательный, старательный, и очень много занимался. Он играл на скрипке с большим рвением, чем раньше, и в его игре появилось новое звучание. Но преподаватели перед ним терялись...

Его проделки носили особый, недобрый и преднамеренный характер; Джейсона не всегда удавалось поймать на месте преступления, но почерк его угадывался безошибочно. В школе так и не узнали, кто однажды ночью срезал на розовых кустах все бутоны, отчего розы в том году уже не цвели, и никто не смог доказать, что однажды воскресным утром именно Джейсон подложил конский навоз в чашу для причастия.

Последнее происшествие взбудоражило школу на несколько недель, свободные часы были отменены, директор часами призывал виновного сознаться в содеянном и уговаривал свидетелей дать показания. В конце концов дело было прекращено за неимением улик. Однако с тех пор между учителями и Джейсоном началась война; теперь уже речь шла не о проделках строптивого ученика, но об открытом оскорблении ценностей, на которые опиралась эта уважаемая школа, ценностей, являвшихся краеугольным камнем самого общества, самой Британской империи. Подобные происшествия могли повредить репутации школы, так как родители неизбежно должны были узнать о них во время каникул.

Многие мальчики боялись его.

Но Джейсон редко обижал кого-нибудь из них. Он никогда не трогал отдельных учеников, его выходки имели другую, более высокую и важную цель; а сами ученики, казалось, не заслуживали даже его презрения.

Правда, случались и исключения из правил.

Например, история с молодым лордом Р.

Дорогой Джейсон, писал отец, *как-то вечером я разговорился в баре с одним старым офицером, он рассказал мне о восстании сипаев в 1857 году. Его отечное лицо с седыми усами налилось кровью, губы дрожали, когда он рассказывал мне, как его, молодого офицера, послали в Дели, чтобы осуществить там необходимые чистки и акты возмездия. Он рассказывал о событиях, понять которые невозможно, о действиях, выходящих за рамки того, что мы можем себе представить. О бесчисленных виселицах на улицах города, о детях и женщинах, привязанных к жерлам пушек, из которых должны были стрелять...*

История с лордом Р. произошла в воскресенье за две недели до конца занятий, на школьном поле играли в крикет; ученики, не участвующие в игре, были одеты по-праздничному нарядно. Сверкали золотистые соломенные шляпы и белые костюмы, на зеленых лужайках царило веселое настроение. Съехалось много родителей, чтобы посмотреть матч; чувствовалось, что учебный год почти кончился и летние каникулы не за горами.

В отдалении, возле розовых кустов, шла беседа, своего рода дискуссия, содержанию которой никто из присутствовавших не придал большого значения, из-за чего впоследствии было трудно восстановить, что же именно там произошло.

Юный лорд Р. учился на класс старше Джейсона; высокий, изящный, он был представителем одного из самых благородных и старинных родов в стране. Он вырос в замке, его отец был членом кабинета. Молодой лорд во всех отношениях считался здесь редкой птицей. Его прислали учиться именно сюда, а не в Итон или Харроу потому, что он обладал большими способностями к наукам, а школа Джейсона славилась тем, что дает превосходные знания. Молодой лорд не выделялся среди учеников, не заносился перед ними, был приветлив и прост в обращении. Хотя, разумеется, все знали, кто он, — он и сам об этом не забывал, — что, несомненно, сказалось на отношении к нему учеников и учителей. Между лордом Р. и Джейсоном не существовало никаких разногласий, напротив, лорд Р. был из числа тех мальчиков, с которыми Джейсон ладил лучше, чем с другими. Поэтому случившееся было непонятно вдвойне.

В маленькой группе учеников возник спор; эти самоуверенные птенцы еще не очень хорошо летали и главным образом хлопали крыльями. Настроение у всех было хорошее. Джейсон в черной школьной форме стоял позади всех и слушал, не принимая участия в разговоре. Говорили о классовых различиях в обществе; в основном речь шла о неимущих.

Молодой лорд Р., обычно очень сдержанный и приветливый, был тем не менее довольно самоуверен. Интересы лорда лежали совершенно в иной сфере, и потому его суждения основывались на весьма ограниченном жизненном опыте и впечатлениях, типичных для человека, получившего такое воспитание. Он произнес несколько фраз о том, что бедняки в больших городах сами виноваты в своем положении, что нравственность многих из них весьма сомнительна, они необразованны, не обладают личной инициативой и чувством ответственности — словом, многие из них лентяи и бездельники и заслуживают своей унизительной участи. Было ясно, что молодой лорд позаимствовал эти выводы, целиком или частично, из высказываний своего отца, министра; именно это и заставило мальчиков подойти поближе — им хотелось подробнее познакомиться с такой точкой зрения; но тут черная тень скользнула между ними и стала перед лордом Р. Это был Джейсон Кауард. Все слышали, как Джейсон что-то тихо сказал лорду Р. и тот что-то коротко ответил... Дальше события развивались стремительно. Джейсон ударил лорда Р. по лицу и под ложечку. Затем, бледный, стиснув зубы, он высоко поднял свою жертву и швырнул лицом вниз в кусты шиповника. После этого Джейсон медленно подошел к кустам, схватил лорда за куртку, приподнял и хотел снова швырнуть в кусты, но тут кто-то сбил его на землю.

Вот так получилось, что удачно начавшийся крикетный матч был прерван на самой середине.

— ... благодари Создателя, молодой человек, что лорд Р. не остался без глаз. Ты видел, какие там колючки? — Адвокат Скотт приехал из Лондона, чтобы сделать Джейсону внушение и, если возможно, не допустить исключения его из школы.

— Да, — сказал Джейсон. — Это один из видов каменного шиповника, Rosa canina, если не ошибаюсь.

— Так, так, Джейсон. Возьми себя в руки. Должен сказать, что твое поведение в школе просто возмутительно. Не только в этот раз — вообще! Ни я, ни твои тетя с дядей — мы не понимаем, что с тобой происходит. Признаюсь, ты разочаровал меня, мальчик. Что сказал бы на это твой отец?

Джейсон смотрел в землю и молчал.

— Я беседовал с директором. Радуйся, что это случилось уже после экзаменов. Ты с блеском выдержал испытания за этот год. Нельзя отрицать, сказал директор, что Кауард способный ученик. Но теперь тебя вот-вот исключат. И это за год до окончания школы! Что сказал бы Джон, если бы он об этом узнал!

Джейсон по-прежнему молчал. Взгляд его скользнул в окно, к летнему дню, высокому синему небу и большим белым кучевым облакам над холмами.

— Что ты имеешь против лорда Р.?

— Ничего.

— Глупости. Не лги мне. Никто не станет швырять в шиповник однокашника, к тому же аристократа, сына члена правительства Ее Величества, не имея на то веской причины! Он оскорбил тебя? Ты слишком горд, чтобы ответить ему?

— Он меня не оскорблял.

— Но в чем же все-таки дело, черт побери!

Джейсон что-то промямлил.

— Что ты сказал?

— Будем считать это политическим вопросом, — проговорил Джейсон. — Лорд заявил, будто бедняки заслужили свое унизительное положение, я попросил его взять свои слова обратно, он отказался, и тогда я решил, что он тоже заслуживает унижения.

Адвокат Скотт долго молчал.

— Боже праведный! — воскликнул он наконец. — Верю, что ты так и думал. — Он внимательно посмотрел на Джейсона, пытаясь составить себе представление о стоявшем перед ним шестнадцатилетнем юноше — что за человек из него получился после того дня, когда он спокойно и мужественно наблюдал, как у него на глазах исчезает дом его детства.

— Ты сильно изменился за то время, что мы не виделись, — сказал адвокат.

— Нет, — возразил Джейсон, — не так уж сильно.

Адвокат как будто что-то понял.

— Может, ты и прав, — сказал он, глядя Джейсону в глаза. — Но послушай, что я тебе скажу, Джейсон: ты молод, ты неопытен и вспыльчив. Я говорил с родителями лорда. Мне это стоило много времени и сил, но я добился благоприятного результата. Они готовы не поднимать шума, потому что их сын не пострадал и потому что им хочется избежать скандала. Но министр потребовал, чтобы ты принес его сыну свои извинения. Это очень великодушно с его стороны. С директором дела обстоят хуже. Он хочет тебя выгнать.

— Я понимаю, — сказал Джейсон.

— Не похоже, чтобы это тебя огорчало, — горько заметил адвокат Скотт.

— Огорчало? Я же сказал, что все понимаю. Чего же мне огорчаться?

Адвокат Скотт посмотрел на Джейсона, встретился с ним глазами. Ну и взгляд, подумал он. Ну и взгляд...

— Думаю, что ты ничего не понимаешь, — сказал он устало. — Но я просил директора, и он готов позволить тебе закончить школу, тебе остался всего год, правда, он дает тебе испытательный срок, мой дорогой, запомни, испытательный срок. Одна маленькая провинность, и ты вылетишь из школы. Даже в середине года. Это ты понимаешь?

— Да, — сказал Джейсон. — Понимаю.

— И ты извинишься перед лордом Р.?

— Да.

— Надеюсь, за каникулы ты все обдумаешь. Я советовал твоим приемным родителям...

— Моим тете и дяде, — поправил Джейсон.

— ... я советовал им приобщить тебя к физическому труду. Надеюсь, за лето ты повзрослеешь.

Джейсон взглянул на него, и на этот раз адвокат Скотт был вынужден опустить глаза.

Однако после этого разговора бунтарство Джейсона прошло, во всяком случае внешне; оно приняло другую форму и больше не было так заметно.

*

Каникулы Джейсон проводит в Девоне, он живет в усадьбе священника Чедуика, не в школе, а дома. Дома. Он так ни разу и не почувствовал себя там дома, хотя дядя и тетя были достаточно добры к нему. Но и они воспринимали его скорей как гостя, жильца, нежели как приемного сына. Они почти не разговаривали с ним. Джейсон старался угождать им, вставал с петухами, ел овсянку, сонный, томился каждое воскресное утро в церкви, слушая, как священник Чедуик гнусаво произносит проповедь. Он постоянно читал, особенно книги по естественным наукам. В шестнадцать лет он прочитал Дарвина. Читает он и свою иллюстрированную Библию, читает, читает и не находит ответа. Он слушает проповеди Чедуика, ходит по церкви и рассматривает витражи, рассматривает небольшую красивую купель из стеатита и церковную кафедру, украшенную орнаментом. Но не находит ответа. Он бродит по пустоши и по берегу реки, ищет, но не находит. Он ищет ответ и в богословской литературе своего дяди. Но и там его тоже нет. Там нет вообще ничего.

При слабом свете летней ночи он разглядывает дешевую литографию, висящую на стене в ногах его кровати: сидящий на облаке ангел смотрит на него сверху вниз. Джейсон вспоминает тихий голос матери, листавшей иллюстрированную Библию, вспоминает, как по воскресеньям в церкви у отца белели суставы пальцев, когда он слушал проповедь.

И еще вспоминает разговор с учителем естествознания Сондерсом в то страшное, кровавое утро, когда он никак не мог сдержать бегущие из глаз слезы. Сондерс не знал, что делать с Джейсоном, который продолжал плакать, однако он заметил, что мальчик все время возвращается взглядом к лежащему на столе черепу саблезубого тигра. Сондерс осторожно положил череп перед Джейсоном.

— Хочешь рассмотреть его поближе?

Джейсон впился взглядом в гладкий, похожий на скульптуру череп. Смотреть на него было приятно, и неизвестно почему Джейсон успокоился. Сондерс поднес череп к свету, чтобы Джейсон мог лучше разглядеть его. Особенно Джейсона заинтересовали зубы, в челюсти тигра торчали два изогнутых саблевидных клыка. Он узнал их, он помнил, как выглядят его собственные клыки, но эти были неправдоподобно большие. Не задумываясь Джейсон задал Сондерсу вопрос, имеющий прямое отношение к его предмету:

— Вы можете показать мне межчелюстную кость?

Сондерс улыбнулся с облегчением и показал Джейсону, каким образом межчелюстная кость, os intermaxillary, соединяется с другими костями верхней челюсти.

— Еще лет семьдесят-восемьдесят назад, — осторожно начал он, чтобы отвлечь мысли Джейсона от случившегося, — считалось, что у человека нет межчелюстной кости, которая есть у всех животных. Это, так сказать, доказывало, что человек произошел не от обезьяны. У всех животных, в том числе и у приматов, межчелюстная кость ярко выражена. У людей же ее не было. Вернее, так казалось на первый взгляд. — Сондерс вынул из витрины другой череп, по виду какого-то грызуна. — Это бобр, — сказал он и показал Джейсону важнейшие кости, а потом нашел те же кости в черепе саблезубого тигра, только немного другой формы. — Смотри, вот она. Эта маленькая косточка и есть os intermaxillary. А теперь взгляни. — Он подошел к шкафу и достал череп человека. — Можешь найти в нем межчелюстную кость?

Сондерс увлекся и был рад, что ему удалось увлечь и Джейсона. Он не умел утешать плачущих. Его коньком были кости, а не чувства. Кости и препараты. Сондерс был хороший учитель. Своим восторженным отношением к науке он умел вызвать такое же отношение и у других. Среди препаратов, колб и пробирок он походил на доктора Фауста, с бородкой и лысой макушкой совершенно круглого черепа он был пережитком эпохи Просвещения. Его лекарство против хаоса называлось Естествознание. И это объединяло его с Джейсоном.

— Я ее не вижу. — Джейсон держал череп в руках. Он осмотрел на нем все швы, но межчелюстной кости не обнаружил, хотя знал, что где-то она должна быть. Наконец он доставил Сондерсу радость, позволив показать ему эту кость.

— Вот она! — Сондерс легонько постучал пальцем по нёбу черепа. — Os intermaxillary! После того как она была обнаружена, последние аргументы приверженцев библейской версии сотворения мира развеялись как дым.

Джейсон уже совсем перестал плакать. Чувство нереальности и боль не прошли, и щеки его горели огнем, но слушать про межчелюстную кость ему было приятно.

— Ее открыл поэт, — сказал Сондерс. — Немец. Один из ярых приверженцев Адама и Евы. Поэт, почитавший себя ученым. Но он был порядочный человек и потому признался в своем открытии, хотя оно чрезвычайно напугало его. Ведь он нашел неопровержимое доказательство! Мы — те же приматы!

Джейсон смотрел на оба черепа и думал о том, какое множество организмов рождается и умирает каждый день. Потом вспомнил о родителях, и его охватил ледяной холод.

Лишь много времени спустя он понял, что в то мгновение он потерял Бога...

Он лежит в своей комнатке в усадьбе священника и слушает, как за окном поют птицы. Он искал долго и упорно. Но все прочитанное и увиденное подтверждало: Бога нет, в жизни нет смысла, нет его и после смерти.

Думать об этом было тягостно, но вместе с тем эта мысль радовала Джейсона, она дарила свободу. Хотя, чтобы обрести и эту радость и эту свободу, ему пришлось переступить порог боли.

О, эта неизлечимая бездомность! О, песнь сфер, отмеряющая секунды и годы! Он лежит в ночной темноте и думает, думает, пока за окном не начинают петь птицы. Потом забывается сном, глубоким сном без сновидений.

*

— Зачем ты бросил в реку эти бумажки?

Над водой нависает толстая ветка; на ней сидит Джейсон и бросает в реку обрывки

бумаги — дождь из разорванных писем и фотографий, течение подхватывает и уносит их прочь.

Девочка стоит на берегу и с удивлением смотрит на него.

— Что ты делаешь, Джейсон? — спрашивает она. — Ответь мне. Что ты все время так важничаешь?

— Я не важничаю, мне просто надо от этого избавиться, — отвечает Джейсон, не глядя на нее.

Он достает из кармана еще одно письмо, бросает на него взгляд, складывает вчетверо и медленно рвет на части.

— Это письмо, — тихо говорит она.

— Да, Чиппева, это письмо, — соглашается Джейсон. Если она спросит, от кого письмо, я ее ударю, думает он.

— И фотографии.

— Да, Чиппева.

Больше она не спрашивает. Темные пытливые глаза смотрят на него. Он сидит на ветке, рвет письма и следит, как они падают в воду, разлетаются по ней и уплывают, словно лепестки. Та же судьба постигает и фотографии — твердые, темно-коричневые обрывки падают из его пальцев в воду. В противоположность обрывкам бумаги они сразу тонут. Нос, шея, кусочек платья. Все погружается в черноту и уносится прочь.

Она все еще стоит на берегу и смотрит на него.

— Вот так, — говорит он, когда исчезают последние обрывки. — Вот их и нет.

Он поворачивается к ней, и она видит, что он плакал.

— Чиппева, — говорит он. — Мэри... — По-настоящему ее зовут Мэри, и она живет по соседству с усадьбой Чедуиков. — Мэри, — тихо, почти с мольбой произносит он.

— Что?

— Не смотри на меня. Ты не должна видеть того, что я сейчас сделаю. Потому что... — Он хочет сказать, что она этого не поймет, но она уже отвернулась и стоит к нему спиной.

— Так? — спрашивает она.

— Да, — шепчет Джейсон. Потом снова наклоняется над водой, достает что-то из кармана, какой-то предмет, который лежит у него в руке, как куриное яйцо. Он слышит, как тикают часы, слышит, несмотря на шум реки. Потом, размахнувшись, бросает старые часы далеко в воду, они исчезают беззвучно и не оставляют на поверхности никаких кругов. Река тут своенравна.

Джейсон слезает с ветки на берег. Чиппева все еще стоит к нему спиной.

— Теперь можешь обернуться, — разрешает он. — Больше смотреть не на что. Только на реку.

Она оборачивается, и он видит, как ее взгляд шарит по поверхности воды.

— Как здесь красиво, — говорит она.

— Да.

— Тебе грустно? — осторожно спрашивает она.

— Нет, Чиппева.

Она коротко кивает. Они молчат. Потом она робко улыбается:

— Мой отец всегда говорит, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

— Наверное, он где-нибудь это вычитал.

Она, не понимая, смотрит на него.

— Да, но ведь это та же самая река, — говорит она.

— Конечно, — соглашается он. — Та же самая. Все время только вода. Та же река. Всегда одна и та же река.

Она всегда была рядом с ним, все каникулы, с первого раза, как он приехал сюда, тогда они были еще детьми. Чиппева, Мэри. Дочь лавочника. В будни она выглядела нарядной в своей серой школьной форме, и вместе с тем, говоря о ней, тетя Мейбл прибегала к странному эвфемизму, называя ее «свеженькой деревенской простушкой». Сначала Джейсон ошибся в Чиппеве, принимая ее совсем не за то, чем она была на самом

деле. Он убегал от нее, ведь он всегда избегал тех, кто постоянно жил на одном месте, имел дом, устоявшийся образ жизни.

Но она была не такая. Она была дикая, как птицы на пустоши, и непредсказуемая, как ветер и снег; не такая, как остальные дети, она никогда не возвращалась вовремя из своих долгих одиноких прогулок и пропускала занятия в школе, если ее манил к себе день. В селении говорили, что у нее не все дома. Она могла не ответить, когда к ней обращались, и ее родители огорчались, потому что она приходила домой грязная и мокрая после прогулок под дождем; она падала в реку, ездила верхом на жеребенке, лазила по деревьям и всегда была в царапинах. В первые же каникулы Джейсон заметил, что она ходит за ним по пятам, и крикнул: «Ступай прочь, Мэри! Я не хочу играть с тобой!» Ведь он думал, что она как все, к тому же она была девочка. Он решил, что она не поняла его. Но она мрачно взглянула на него и сказала: «Ты не должен звать меня Мэри, это означает несчастье. Зови меня Чиппева, это имя одного кровожадного индейского племени, они снимают скальпы со своих врагов...»

После этого они часто вместе бродили по пустоши, по берегу, по холмам. Они почти не разговаривали, встречаясь и расставаясь без слов, и никогда ни во что не играли, только бегали наперегонки и дрались. Два диких зверька.

Но то лето было не такое, как прежние.

— Ты знала, что на Юпитере всегда бушуют бури? Что он красный и похож на глаз?

Разгар лета, перед ними раскинулась пустошь, в лесочке и кустарнике ошалело щебечут птицы.

— Ты странный, — медленно говорит Чиппева. — Самый странный из всех, кого я знаю.

— Как ты думаешь, на других планетах есть жизнь? — спрашивает Джейсон. — Во Вселенной встречаются одни и те же элементы, почему бы там не быть жизни?

Она ложится в вереск рядом с ним. Они много прошли в тот день.

— Биологи говорят... — начинает Джейсон, но ее взгляд останавливает его.

— Ты все время думаешь о чем-нибудь таком? — серьезно спрашивает она.

— Биологи говорят... — уже тише повторяет Джейсон.

— Наклонись сюда, я тебе что-то покажу.

Он склоняется над ней. Они долго молчат. Они как птицы на пустоши. На Юпитере бушуют бури. Она гладит его по волосам. Его охватывает странное чувство, оно похоже на страх, он вот-вот заплачет. Чиппева прижимается к нему губами.

Когда я была маленькая, мне хотелось попробовать на вкус все, что я видела. Цветы и камни. Однажды я проглотила маленькую фарфоровую статуэтку...

Он всхлипывает над ней.

Какой ты странный, всегда молчишь. Где твои губы, вот так, я хочу их попробовать, всего тебя попробовать.

Она не в своем уме, так про нее говорят в деревне. Ее трудно понять, она с причудами, ни с чем не считается — Джейсон знал, что это все верно. Их обоих переполняет какое-то чувство, то ли страх, то ли ярость. Вереск царапает им лица, рвет волосы, Чиппева смеется, это напоминает их безудержные драки, когда он мог плюнуть на нее, она его — укусить. Она помогает ему расстегнуть одежду. Потом скользит по нему губами, словно он сделан из гладкого фарфора. Биологи говорят... Венера заслоняет собой солнечный диск... Чиппева крепко прижимается к нему и затихает, влажная, незнакомая, рядом с его телом. Он приподнимается и делает рывок вперед; кто-то из них кричит, но кто, он не знает.

Потом они медленно бродят по холмам, день склоняется к вечеру. В одном месте они отдыхают, она лежит, прижавшись головой к его шее, теперь она уже не девочка из кровожадного индейского племени, а убежавший из дому ребенок. Джейсон вспоминает лавочника — круглый и толстый, похожий на колбасу, он стоит за своим прилавком; дочь лавочника, не так-то приятно быть дочерью деревенского лавочника.

Они не разговаривают. Он смотрит на нее, изучает ее лицо — не совсем правильные черты, вызывающие в нем тревогу, растрепанные волосы... Люди говорят, что она

сумасшедшая. Шепотом судачат о ней: что может ждать такую девушку... Джейсона охватывает необъяснимое желание утешить Чиппеву, обнять, погладить по голове.

Она поднимает голову и смотрит на него. Она снова Чиппева.

Уже поздно, шепчет он.

Тут рядом есть сеновал, шепчет она.

Они поднимаются. Первый раз она берет его за руку и ведет за собой, они идут через лес. Рука у нее обветренная и теплая. И когда они подходят к сеновалу, он понимает, что сейчас будет. Теперь он это знает. И он слышит совершенно отчетливо, что кричит она; может быть, обхватив его руками, она зовет его.

Через некоторое время Джейсон снова вернулся в школу. В последний вечер Чиппева прощается с ним — их прощание такое же короткое и молчаливое, как всегда. Она немного неловко берет его руку, смотрит на него. Вот и все. Он уедет, исчезнет, она вернется на свою пустошь, теперь уже одна. Вдруг она спрашивает:

— Ты тоже считаешь, что я сумасшедшая?

Он отрицательно мотает головой.

— Нет. Не больше, чем я.

— Джейсон. — В ее голосе слышатся незнакомые нотки. — Джейсон. Ты так далеко. — Она отворачивается от него и идет. — Между прочим, — говорит она на ходу, — между прочим, я знаю, что ты тогда выбросил в реку.

— Что же? Что, Чиппева?

Но она уже скрылась в темноте.

Больше он никогда не увидит ее.

*

Рождественские каникулы. Поля покрыты снегом. Тетя Мейбл взволнованно говорит при его появлении:

— Боже мой, Джейсон, ты так вырос, что тебя трудно узнать. Ты слишком быстро растешь....

Священника Чедуика больше интересует практическая сторона жизни:

— А как дела в школе, молодой человек, принял ли ты к сведению слова адвоката Скотта?

Джейсон чувствует себя здесь чужим, однако теперь ему легче произносить ни к чему не обязывающие слова: *да, да, конечно, теперь все в порядке.* И верно, в ту осень к нему было трудно придраться. Но вот можно ли считать это заслугой адвоката Скотта?..

Сочельник, служба, Джейсон осторожно оглядывает прихожан. Потом индейка и пудинг.

Что-то не так. Что-то случилось.

В начале вечера, сочтя, что уже достаточно выждал, он спрашивает:

— А где Чипп... где Мэри? Дочь лавочника?

Воцаряется молчание. Священник глухо кашляет, потом встает и уходит в свой кабинет, словно не слышал вопроса.

— Да, — тихо вздыхает тетя и мешает ложечкой в стакане с пуншем. — Да, это такая ужасная история...

*

Университет. Студенты режут и крыс и трупы. Сначала осторожными, неуверенными движениями, потом с пугающим их самих равнодушием. Впоследствии все это время будет видеться Джейсону в призрачном, блеклом и неярком свете. Это свет газовых фонарей, горевших темными вечерами в анатомическом театре, там при этом сумеречном свете курящие молодые люди в одних рубашках и жилетках вскрывали брюшину и легочную сумку и обнажали тайны, которых никто не должен был видеть и не мог понять. Голые серые тела с характерной влажностью кожи лежали на столах. Сперва они

просто лежали там. Потом их вскрывали и постепенно расчленяли. В конце концов от них не оставалось ничего. В этом-то и заключалась тайна.

Запах анатомического театра — сладковатый запах формалина и дезинфицирующих средств, смешанный с отвратительным запахом тления, — пропитывал одежду Джейсона, его кожу и надолго застревал в носу.

По вечерам, под впечатлением событий дня, Джейсон возвращался в свою меблированную комнату, безликую мансарду в бедной части Лондона. Бывало, едва войдя, он хватал скрипку и играл почти до полуночи, забыв о том, что ему надо заниматься и готовиться к завтрашнему дню. Он играл до тех пор, пока кто-нибудь из соседей не начинал в ярости стучать в стену или в потолок, а то и сама хозяйка, миссис Буклингем, поднималась к нему и призывала его к порядку. Миссис Буклингем была полная, энергичная, уже далеко не молодая дама с шаркающей походкой. Она всегда была на ножах с кем-нибудь из своих жильцов, и Джейсон подозревал, что днем, когда он отсутствует, она отпирает его комнату и шарит в его вещах. Она единовластно правила в своих меблированных комнатах, и один из жильцов, склонный к юмору, окрестил ее дом Буклингемским дворцом. Когда грозная миссис Буклингем, задыхаясь от одышки, поднималась к Джейсону, ему казалось, что перед ним одно из безобразных безымянных тел в анатомическом театре; усилием воображения он цинично представлял себе, что она уже вскрыта, белые отложения жира отодвинуты в сторону и кто-то достает пальцами ее печень. Это была его месть. Так он заставлял себя смотреть на весь мир: на студентов, с которыми учился, на профессоров, на прачек, проходивших по его улице, на зеленщиков, дрессировщиков животных, проституток. Все они представлялись ему точно в дурном сне. Бездомные дети трущоб, рожденные в трясине безнадежности, грязи и темноты.

Иногда Джейсон видел самого себя лежащим со вскрытой брюшной полостью. За серыми губами виднелись зубы. Из-под застывших век поблескивали полоски белков.

Если он не возвращался домой к своей скрипке, случалось, он ночь или две пропадал в чреве города. Там был большой выбор развлечений. Так Джейсон узнал кое-что о себе; оказывается, он был способен на то, о чем не мог и помыслить, на то, что вызывало у него недоуменное презрение к самому себе.

Занятия в университете шли не блестяще — в первом семестре Джейсон израсходовал всю энергию. Он вспоминал анатомические альбомы, которые были у них дома, застекленные витрины в кабинете отца, эксперименты и телескоп. И все меньше понимал, что, собственно, заставило его заняться медициной. Своеобразный долг чести, это безусловно, долг перед памятью отца — Джейсон поступил так, как от него ждали. Кроме того, профессия врача давала бы ему определенный доход. Ну а помимо этого? Чем еще можно объяснить его увлечение естественными науками и медициной? Собственным интересом? Или живыми, впечатляющими объяснениями отца? Да, конечно, но ведь должно же быть и еще что-то. Каковы были его собственные побуждения, куда вела нить его собственной жизни?

Безусловно, он понимал, что врач должен служить людям, исцелять их, что смысл его деятельности в сострадании.

Сострадание. Джейсон рано потерял Бога, это верно. Но теперь из его представления о мире исчезли также и люди. А вместе с ними и такие человеческие ценности, как бескорыстие, самоотверженность, восхищение, сострадание. Эти слова больше ничего не говорили ему. Орангутан или амеба — какая разница. Цветы на лугу или люди в их жалких больших городах. Он видел в больницах страждущих и увечных, видел, как отчаянно они цеплялись за жизнь. Он резал и крыс и трупы людей. Его со всех сторон окружала смерть. Он ходил по туманным улицам и видел нищих, видел, как они ели и как голодали, видел, с каким трудом билось под рубашкой сердце мальчишки, который тащил тяжелую тележку. Он слушал лекции, наблюдал, как в больничных палатах хрипя борются и гибнут живые организмы.

Так он отгородился от всего, защитился от впечатлений, перестал принимать что-либо близко к сердцу.

Это ужасное состояние — а Джейсон очень остро чувствовал именно его ужас — началось у него после истории с Чиппевой. Занятия в университете только обострили

его... Он был пуст, в нем не было восхищения, не было сострадания. Он жаждал только покоя: не думать, не спрашивать, не быть. Он рыдал от горя в объятиях жалкой уличной девки; испугавшись, она хотела сбежать от него, и он ее ударил. Интересно, как поступила бы на ее месте Чиппева? Наверное, позволила бы ему рыдать, зарыдала бы вместе с ним, обняла бы его. Обними меня покрепче!

Громадным усилием воли он заставил себя очнуться от летаргии, за несколько недель прошел весь курс, но потом вновь пал духом и был не в силах взяться за учебники. С трудом принуждал себя посещать лекции. Книги лежали на столе и что-то злобно шептали ему; при взгляде на них у него всякий раз перехватывало горло.

Но у него были друзья! Его друзья! Манро и Хьюго понимали его! Все дни он проводил с ними, пил, посещал сомнительные заведения, совершал всякие проделки в университете. Манро и Хьюго не одергивали его, если он вечером начинал крушить мебель и драться.

В университете у Джейсона впервые появились друзья. Как и следовало ожидать, Манро и Хьюго не относились к образцовым студентам, эти два безнадежных блудных сына постоянно находились на грани исключения из храма Асклепия. В анатомическом театре они совали окурки сигар в ноздри и уши трупов. Хьюго был маленький, вероломный и угрюмый; Манро — огромный, темпераментный и неряшливый. Их дружба была шумной и утомительной, но Джейсон любил их.

Оба друга, как уже сказано, балансировали на грани исключения из университета, и вскоре Джейсон балансировал вместе с ними. Поэтому нет ничего удивительного, что все кончилось так, как и должно было кончиться; не соверши они одной выходки, они совершили бы другую. Джейсон прекрасно понимал, к чему все идет, но даже не пытался остановиться. Все было предопределено ходом событий его последнего года в университете, продиктовано его душевным состоянием и отношением к профессии, к которой он больше не чувствовал призвания; ему был двадцать один год, и он плыл по течению, попойки сменялись апатией, драки — желанием бунтовать, он неумолимо, с уверенностью лунатика приближался к обрыву, словно его вела посторонняя сила, столь же неотвратимая, как начертанный звездами путь.

Последней каплей оказался вечер в анатомическом театре. Все началось достаточно невинно. Вместе с Манро и Хьюго Джейсон засел там с несколькими бутылками медицинского спирта. Ключи раздобыл Манро, и когда все уже разошлись по домам, они заперлись в анатомическом театре. Им хотелось провести необычный вечер в необычном месте. Там было темно и пусто, на столах лежали бесформенные части человеческих тел, прикрытые белыми простынями.

— Не выношу этого запаха, — буркнул Джейсон. — Я никогда не привыкну к нему.

— Мой друг, — добродушно зарокотал Манро, — сейчас ты забудешь о запахе. — Он протянул Джейсону бутылку.

Хьюго вытащил из кармана брюк два огарка свечи и зажег их. Потом друзья сидели, пустив бутылку по кругу, и следили за тенями, плясавшими на потолке и стенах.

Когда первая бутылка опустела, они приступили к осуществлению своего замысла.

Сначала они обошли театр и осмотрели все трупы. Их было много, темой последних занятий была смерть от несчастного случая или в результате насилия — студенты должны были увидеть, как выглядят трупы людей, умерших неестественной смертью.

Потом они занялись огнестрельными и ножевыми ранениями, последние не произвели на них большого впечатления. Хьюго повторно проходил этот курс из-за многочисленных пропусков занятий в прошлом году, он все это уже знал и потому с умным видом объяснял Джейсону и Манро, что открывалось их глазам. Ему доставляло удовольствие показывать им шею и лицо повешенного со всеми характерными признаками; Джейсон и Манро с интересом слушали его объяснения. Один покойник умер от отравления, другие — от тяжелых увечий. Все это время друзья продолжали прикладываться к бутылке, но когда они подошли к утонувшему рыбаку, они невольно опустили ее. Несколько минут они молча смотрели на рыбака, утонувшего в Темзе. Джейсон заметил, что лицо Манро словно застыло, да и у него самого в груди тоже что-то дрогнуло.

— Почему он такой страшный?

— Потому что утопленник, — со знанием дела объяснил Хьюго. — Все утопленники так выглядят.

— Они всегда так распухают?

— Да. Ты что, никогда не видел утопленников? Они всегда страшные. Самые страшные из всех покойников.

— Фу, черт! — Джейсон не спускал глаз с синеватого, безобразно распухшего тела. Осторожно потрогал похожую на глину кожу. — Почему она такая твердая?

— По правде сказать, не знаю. Наверное, между жировыми клетками ткани и водой происходит какая-то химическая реакция, из-за которой консистенция жира меняется и он становится твердым.

В разговор вмешался Манро, взгляд у него был застывший:

— И как долго он... Извини. — Он прикрыл рот рукой и быстро отошел от стола. В углу он согнулся.

— Сколько он пролежал в воде? — закончил Джейсон вопрос Манро.

— Трудно сказать. Думаю, больше недели. Может быть, две. Потому его так и раздуло.

Джейсон схватил бутылку и сделал большой глоток.

— Вода постепенно проникает в ткань и пропитывает ее, — объяснил Хьюго. — Да, вид у него малопривлекательный.

— Особенно лицо.

— Угу. Черт подери! Утопленник...

— Это простая смерть?

— Ты имеешь в виду — легкая?

Джейсон снова глотнул из бутылки и вопросительно посмотрел на Хьюго.

— Как тебе сказать. Сперва вода попадает в дыхательное горло, тонущий пытается задержать дыхание, но это ему не удается. Он делает глубокий вдох и задерживает дыхание на полторы-две минуты. Потом опять делает несколько глубоких вдохов, в результате чего вода попадает в легкие, человек теряет сознание, и после нескольких судорожных вдохов наступает смерть. Это занимает минуты четыре или пять. А может, и меньше, из-за шока. Человек бывает в сознании или в полусознании только первые две минуты.

— И потом они всплывают?

— Иногда. Характерное положение утопленника в воде — это лицом и животом вниз, задница и затылок торчат из воды, руки и ноги висят.

— Я понимаю.

— А легкая ли это смерть... Почему ты спросил?

— Да так, я как-то слышал историю про одну утопленницу. — Джейсон замолчал и схватил бутылку. Он долго не отнимал бутылку от губ. Потом продолжал, невнятно, уже захмелев от выпитого: — Это страшная история. По-настоящему страшная. Одна девушка, совсем молоденькая, почти ребенок, утопилась в порожистой реке. Совершенно неожиданно. Никто не знал, что она решила утопиться, ни родители, ни священник. Однажды, в конце ноября, она вошла в реку и скрылась, подхваченная течением. Я так и вижу, как она плывет, то под водой, то выныривая на поверхность. Глаза у нее открыты — ей хочется видеть, как все будет, так мне кажется.

Хьюго внимательно наблюдал за Джейсоном, сделавшим еще один глоток.

— Вот такая история, — продолжал Джейсон. — Хочется верить, что это была легкая смерть. Страшная история. Наверное, волосы у нее были распущены — у нее были каштановые волосы — и свободно плыли по воде, а платье на ней было серое. Ее всюду искали, потому что она не вернулась домой, потом начали шарить в реке баграми. Нашли дня через два ниже по течению, она застряла в завале из веток. Ее отнесли домой, шел дождь. Думаешь... думаешь, она тоже так выглядела? — Джейсон кивнул на вздувшийся труп, лежавший на столе.

— Нет, вряд ли. Ведь она пробыла в воде всего два дня.

— Да, верно, — тихо согласился Джейсон.

— А почему?.. Я хотел спросить, почему она утопилась?

— Сперва думали, что она сорвалась и упала в воду, когда шла по берегу. Но она не сорвалась.

— Нет?

— Нет. Не знаю, как это обнаружили. Наверное, когда ее обмывали и обряжали, чтобы положить в гроб... Когда она вот так же лежала на столе и они вытирали ее, это и обнаружилось. Она была худенькая, настоящий птенец, и это было хорошо заметно... Четыре месяца беременности...

В Джейсоне появилось что-то трезвое и ясное, хотя он начал немного гнусавить.

— А потом?

— А потом... потом ее сунули в гроб и закопали в землю.

— А отец?

— Ее отец был лавочником, — усмехнулся Джейсон.

— Я имел в виду отца ребенка.

— Отец ребенка... Отец ребенка... На кого только они не думали. Говорили, будто это был какой-то пастух. Или бродячий торговец. Или цыган. Или какой-нибудь ирландец. Они подозревали кого угодно, только не истинного виновника. А им оказался школьник из той же деревни, все очень просто. Могли бы сразу догадаться. А может, они и догадались. Как бы там ни было, он, приехав домой на каникулы и узнав о случившемся, сам во всем признался. Объявил во всеуслышанье. Всем, кто захотел его выслушать. В результате его выгнали из дому. Несмотря на то, что это случилось на Рождество. В том селении царили строгие христианские нравы.

— Мало кто по доброй воле признался бы в таком поступке.

— Да, шум был большой. — Джейсон снова глотнул из бутылки.

— Как думаешь, почему он признался?

— Но он зря так поступил. Не потому, что тогда бы он избежал такого шума, а просто это касалось только его. И покойницы, если только покойников может что-либо касаться. Ему следовало догадаться, что его никто не поймет. Признание — жест патетический.

— Но и патетические жесты могут быть продиктованы добрыми намерениями.

Через несколько минут Джейсон впал в буйство, его приятели старались не отставать от него, вот тогда-то все и началось, а закончилось приходом сторожа и полицейских.

*

На другой день стало известно, что Джейсон Кауард, Пол Хьюго и Питер Манро навсегда исключаются из Лондонского университета. Недопустимый характер их проделки заставил ректора уведомить другие университеты о содеянном ими. Медицинское общество также было уведомлено об этом.

*

Я вижу, как ты идешь вдоль реки, поздняя осень, скоро начнется зима, туман, дождь, все пропитано влагой. Ты любишь такую погоду, любишь гулять под дождем. Ты идешь вдоль реки и смотришь по сторонам. Низкое, серое небо. Вот-вот пойдет первый снег. Если хочешь, я буду держать тебя за руку до самого конца, буду держать твою руку, как держал ее однажды, она лежала в моей, обветренная и теплая. Я отчетливо вижу твое лицо, по нему бегут капли дождя. Тебе грустно? Ты счастлива? До чего ж глупы эти слова — «грустно», «счастлива», — ограниченные, бессмысленные. Будто не бывает таких состояний души, которые нельзя определить словами, состояний, которые находятся за пределами добра или зла. Иди вдоль реки, смотри на бегущую воду, поднявшуюся после дождей. Вода все скроет. Твое лицо открыто. Хочешь, я до конца буду держать тебя за руку? Твое лицо... Острый подбородок выдается вперед, высокий, выпуклый лоб. Необычное лицо. Позволь мне сейчас держать тебя за руку. Великий, вечный дождь! Поговори с ней, пока она еще идет, расскажи, что лошади на лугу жмутся друг к другу, они положили головы друг другу на спины, чтобы прикрыть от дождя. Бегущая вода смеется, смеются капли и манящие водовороты. Ты слышишь их смех? Думаю, ты ни о чем

сейчас не жалеешь, думаю, ты идешь вдоль реки потому, что тебе этого хочется, потому, что ты — такая, как есть, и знаю, ты думаешь только о том, что считаешь правильным. Но все-таки... все-таки мне бы хотелось, чтобы ты услышала дождь. Послушай его, если можешь. Мне бы хотелось держать тебя за руку. Ты не сумасшедшая. Я ничего не знаю о тебе, и ни о ком я не знаю столько, сколько о тебе. Вот моя рука, если хочешь. Не надо бояться. Я больше не говорю, я молчу. И пытаюсь уверить себя, что ты думаешь сейчас обо мне. Это глупо. Утешение. Я представляю себе, что сжимаю твою руку. Здесь река делает поворот. Здесь над водой свисает черная ветка. Твоя рука...

*

В маленькой мансарде было душно и жарко. Джейсон лежал в постели и не мог проснуться. Неясные, смутные видения скользили сквозь него; ему чудились разлагающиеся тела, берцовые кости, щиколотки...

Он долго силился понять, что с ним произошло. Иногда его начинало лихорадить, иногда в комнату заходили люди, он прекрасно знал их, однако делал вид, что не знает. Тогда они уходили. Наконец он встал и попытался побриться, но руки его не слушались, и он порезался. Должно быть, у него была высокая температура. Потом все опять поглотила тьма.

Очнувшись, Джейсон увидел в комнате двух незнакомых мужчин в цилиндрах; освещенные ярким утренним светом, они озабоченно смотрели на него. Он притворился, что не замечает их, но они не исчезли. Тогда он понял, что они настоящие.

— Ты не узнал нас, Джейсон?

Конечно узнал... В них было что-то знакомое.

— Я адвокат Скотт. А это доктор Фолс. Его ты, кажется, последний раз видел... когда решался вопрос о твоем имуществе.

Ах, да...

— Ты плохо выглядишь, мой мальчик. Надеюсь, доктор, вы его осмотрите?

Только бы он не стал меня вскрывать.

— Я беседовал с твоими приемными родителями. О случившемся. Но они и слышать не хотят о том, чтобы ты к ним вернулся. После той истории. С девушкой.

С какой еще девушкой?

— Кроме того, если помнишь, тебе придется возместить ущерб, нанесенный отцу девушки; после того как ты избил его, он оглох. Твои дядя и тетя опозорены. Зачем тебе понадобилось еще и бить его?

Этого я и сам не понимаю.

— По правде сказать, это ему следовало избить тебя.

А он так и сделал, если считать, что колбаса может вложить силу в свои удары.

— Гм-м... Я вижу, ты плохо себя чувствуешь, и не хочу бранить тебя. Тебе уже двадцать один год, Джейсон, ты больше не состоишь под опекой своих дяди и тети, да и под моей тоже. Однако мы с доктором Фолсом хотели бы помочь тебе. Ты совершил позорный поступок, но мы уважаем память твоего отца.

Как приятно.

— Мы попытаемся восстановить тебя в университете, Джейсон. Мы оба поручимся за тебя. Скажем, что тебя сбили с пути твои приятели. Кстати, их родители уже отправили своих отпрысков в море простыми матросами. Мы попытаемся вернуть тебя в университет. Правда, от твоего наследства осталось не так уж много, но можно индоссировать векселя и получить заем, тогда ты мог бы закончить образование. Ты меня слышишь? Отвечай же. Скажи хоть что-нибудь. Ты еще даже не поздоровался с нами. Доктор, я думаю, вам следует осмотреть его.

— Добрый день, — сказал Джейсон, когда доктор склонился над ним.

— Добрый день, — приветливо отозвался старый доктор. — Что с тобой?

— Я не хочу изучать медицину, — тихо сказал Джейсон.

— Прости?

— Я не хочу продолжать занятия.

Доктор и адвокат переглянулись.

— Не верю своим ушам, — сказал адвокат Скотт.

— Я понимаю, что вами движут лучшие побуждения, — не очень уверенно проговорил Джейсон. — Но из этого ничего не получится. Я все равно не выдержу. Мне не хочется возвращаться в университет.

В глазах у старого доктора застыло добродушное изумление.

— Это уже какой-никакой, а выбор, — сказал он наконец.

— Ну знаете ли, — заметил адвокат Скотт.

— Но это правда. Я уверен, что не хочу изучать медицину.

— Тогда нам здесь больше нечего делать. — Адвокат был разочарован.

— А чего тебе хотелось бы, мой друг? — спросил доктор.

— Пока что мне хочется только лежать здесь. Хочется, чтобы меня оставили в покое. С вашей стороны было бы очень любезно, если б вы оставили меня в покое.

— Хорошо, хорошо. — Доктор Фолс встал. Адвокат Скотт быстро ушел, но доктор обернулся в дверях: — Должен сказать, что ты совершенно не похож на своего отца, — сказал он.

И Джейсон улыбнулся, от счастья.

После этого Джейсон года два провел на лондонском дне. Он быстро растратил оставшиеся деньги, и его платежеспособность сильно уменьшилась. Вскоре ему пришлось жить в долг, чтобы миссис Буклингем ничего не заподозрила. Он заложил свои учебники и оставшиеся у него медицинские инструменты и приборы. Жить ему было решительно не на что, но и придумать какое-нибудь занятие по душе он тоже не мог. Как-то зимним вечером его неожиданно навестил Манро. Манро отпустили на берег, и он зашел к старому другу. Джейсон искренне обрадовался ему, потому что, за исключением миссис Буклингем, разговаривать ему было не с кем.

У Манро все было в порядке, за время, проведенное в море, он окреп и остепенился. Он вытащил Джейсона в город, угостил хорошим обедом и не одной кружкой пива. И потому, что Манро на другой день снова уходил в море, и потому, что Джейсону уже больше года было не с кем поговорить, в нем что-то изменилось. Он вдруг стал другим. В тот вечер его словно прорвало и он все рассказал Манро, излил душу другу, который завтра уйдет в море и унесет с собой его историю. Джейсон начал неуверенно, но, разговорившись, стал свободно и откровенно рассказывать о своей жизни. Он поведал другу, что не знает самого себя, что он не тот, за кого его принимают, и что за всю свою взрослую жизнь он так и не понял, кто же он на самом деле.

Манро слушал и почти не задавал вопросов. Джейсон не был уверен, что друг понимает его. Но это было не важно.

В тот вечер словно что-то кончилось и сменилось чем-то другим. Поэтому все, что случилось потом, казалось Джейсону правильным. Они бродили по городу, пили еще, беседовали, хмель их был здоровым и бодрящим. Из одного заведения они прямиком направлялись в другое. Побывали они и в мюзик-холле, где от души смеялись над представлением...

В тот же вечер он нашел в снегу девушку.

Он возвращался домой один, нетвердой походкой, дрожа от холода; в воздухе чувствовалось морозное дыхание первого снега. Вокруг него танцевали снежинки, тихо, как маленькие белые мотыльки. Они вдруг появлялись в лучах газовых фонарей или в свете, падавшем из окон, и снова скрывались в темноте. Если холод продержится до утра, утром все будет в снегу. Джейсон замерз. Один раз он поскользнулся и упал на колено: брусчатка была скользкая, грязь, всегда покрывавшая ее, превратилась в густую ледяную кашу.

На улице из-за снега было тише, чем обычно в это время суток. На Тотнем-кортроуд, уже недалеко от дома, Джейсона охватило тягостное, необъяснимое чувство, чем-то похожее на страх одиночества, — оно стеснило ему грудь и вызвало желание плакать. Словно снегопад, холод и пустынная снежная улица прорвали некую плотину. К нему вернулся детский страх одиночества и темноты.

Почти во всех окнах, смотревших на улицу, свет был погашен, тусклые, серые стекла напоминали вялые, повисшие паруса. Джейсон вспомнил шхуны на Темзе, которые он видел, когда был ребенком, шхуны, окутанные туманом и дождем. Неожиданно перед ним отчетливо возникла одна картина из того времени: холерная шхуна. На ее борту под мертвыми, висящими парусами в муках умирали люди; у команды не было сил спустить паруса; на топе грот-мачты был поднят грязно-желтый флаг, предупреждавший об эпидемии. Всю долгую весну эта шхуна стояла недалеко от Сент-Сейвор. Каждый день прохожие останавливались на берегу и смотрели на отверженную шхуну. Казалось, весна никак не может до нее добраться. Ходили страшные истории о том, что творилось там на борту. Судно береговой службы регулярно подходило к шхуне, на нем привозили белые деревянные гробы, и какой-то человек поднимался на борт. Это был доктор. Когда служебное суденышко уходило, оно увозило гробы обратно, но уже не пустые. Маленькому Джейсону часто снились страшные сны про эту шхуну, снились даже после того, как в один прекрасный день шхуна вдруг исчезла.

Теперь эта шхуна пригрезилась ему по дороге домой. Снег повалил сильнее, и расстояния между газовыми фонарями постепенно заметно увеличились. Нельзя отрицать: он жил в трущобах. И может быть, уже стал одним из этих безликих. Его готовили для другого. Он вспомнил отца и мать, они прочили ему лучшее будущее.

Да, он стал одним из безликих. Если нынче ночью он бросится с моста Ватерлоо и позволит течению Темзы унести себя, что от этого изменится? Ничего, ни для Бога, ни для людей. Миссис Буклингем, наверное, заявит, что ее жилец пропал. И недели через две они сложат его вещи и одежду в ящик и увезут. Диван принадлежит мне, скажет, наверное, миссис Буклингем. И лишь две-три пожелтевших фотографии будут еще некоторое время свидетельствовать о том, что у него было когда-то лицо, а потом и их унесет поток жизни: пожары, войны.

Когда наступает ночь, люди делаются одинокими, как снежинки, падающие с серого свинцового неба. Иногда мы пролетаем мимо уличного фонаря, и тогда нас становится видно; на одно мгновение нас можно отличить друг от друга, мы становимся видимыми, реальными. Мы существуем. Потом мы снова исчезаем в серой мгле, и земля притягивает нас к себе.

Джейсон сердито топнул ногой и упал. Некоторое время он барахтался в снежной каше и не мог встать. Ему стало страшно — не дай бог он так и останется здесь лежать, — и тогда он заметил, что у него текут слезы, те слезы, которым он не давал воли. Если бы он не был так пьян! Наконец он снова стоял на ногах...

Неожиданно Джейсон остановился. Перед ним, возле бочек с золой, в снегу лежал человек. Он шагнул к этому несчастному и снова остановился, замер. Это была девушка, одна из тех бесчисленных пташек, которыми был наводнен город. Одета она была бедно — темная обтрепанная юбка, блузка, жакет. Голые ноги на фоне снега казались синими, как у покойника. У нее не было даже платка на голове. Темные волосы были закручены на затылке в жалкий узел.

Джейсон выпрямился и подошел к ней, хотел нагнуться, но вдруг подумал, что девушка мертва. При мысли, что ему придется прикоснуться к трупу, его замутило и холерная шхуна снова всплыла в его воображении. Потом он все-таки нагнулся и потряс девушку.

Она лежала лицом вниз. Он перевернул ее на спину, узел распустился, и Джейсону пришлось смахнуть волосы, упавшие ей на лицо. Он сел на корточки и посадил ее, прислонив к своим коленям. Она была неимоверно худа, глазные впадины были залеплены грязью и снегом. Даже в темноте Джейсон разглядел, что девушка бледна как снег.

Она умерла, подумал он и похолодел. Но тут же сообразил, что девушка не окоченела. Он провел рукой по ее шее — она была холодная, но не ледяная — и нащупал пульс; через равные промежутки времени его пальцы ощущали слабые, но явственные удары.

Слава богу, ты жива, подумал он. Потом смахнул снег с ее лица, с ушей, похлопал по щекам. Девушка не реагировала. Он похлопал еще несколько раз, потряс ее. Тогда она начала проявлять едва заметные признаки жизни: у нее дрогнули веки, рот приоткрылся, и она издала короткий стон, даже не стон, а вздох.

Джейсон был доволен результатом. В то же время он думал: что мне делать, если сейчас кто-то пройдет мимо? Например, полицейский? Ведь они подумают... О черт!

— Вставай, девочка! — довольно громко сказал он.

Но она опять перестала проявлять признаки жизни. Он сильно встряхнул ее.

На этот раз она сделала попытку открыть глаза, даже попробовала остановить на нем взгляд, но это у нее не получилось. Глаза закатились, и стали видны белки; Джейсон встревожился: может, она больна или очень пьяна? В таком случае ему будет трудно поднять ее на ноги. В самом деле, от нее слегка пахло джином. Наверное, она споткнулась, упала и не смогла встать, ведь он и сам только что боялся, что не сумеет подняться. А может, кто-нибудь ударил ее и хотел воспользоваться ее беззащитностью?

Он снова опустил голову и увидел большие темные глаза, испуганно и отрешенно смотревшие на него.

— О! — воскликнул он. — Ну как, пришла в себя?

Она молчала, не спуская с него глаз. На лицо ей падали и тут же таяли снежинки.

— Ты знаешь, где ты? — спросил он. Ему хотелось поскорей уйти домой.

— На небесах, — уверенно ответила девушка.

— Что? Нет, девочка, ты не на небесах. Ты лежишь на улице, на Барнарт-элли. Я нашел тебя здесь.

— О!

— Я думал, ты умерла. Наверное, ты упала и не смогла встать?

Она не ответила, ее глаза снова закрылись. Джейсон изучал ее худое, некрасивое лицо. Глазные впадины были глубокие и темные, скулы и нос заострились. Ей было лет семнадцать, от силы восемнадцать. Но в ней было что-то старушечье... А глаза... Такие глаза бывают только у очень старых людей, уже не узнающих мира, в котором живут, забывших, кто они, и не жаждущих ничего, кроме смерти. Такие глаза были и у этой тщедушной девушки, упавшей в снег. Старушечий взгляд. Лоб и верхняя губа были уже отмечены болью, серые губы в темноте казались синими. Что-то в ней напоминало...

И вдруг все ночные пташки и все цветочницы Лондона — несчастные оборванки, бродящие по улицам, — словно воплотились в этом хрупком воробышке, лежавшем у него на коленях, ожили, стали реальными существами и обрели в нем свое лицо. Ну очнись же, думал он. Ты замерзнешь, если останешься лежать здесь.

Но она в эту минуту была опять где-то далеко отсюда. Стало еще холоднее, наверняка температура опустилась намного ниже нуля, дул ветер и шел снег. Прошли томительные полчаса, Джейсон всячески пытался растормошить девушку, чтобы влить ей в рот несколько капель бренди из своей фляжки. Он больше не думал о холере или о том, что девушка грязная. Не думал и о том, что кто-нибудь может пройти мимо, он уже ни о чем не думал, и его хмель прошел.

В конце концов он решительно поднял ее на руки и медленно, осторожно понес по Барнарт-элли. Снег покрывал улицу толстым ковром. Он почти не слышал собственных шагов. Зато отчетливо слышал, как от напряжения стучит его сердце. Слышал свое пыхтенье. Один раз ему пришлось приподнять девушку — она едва не выскользнула у него из рук; голова девушки легла ему на плечо, и он услыхал ее дыхание, слабое и прерывистое. От нее пахло чем-то горьковатым — дешевыми духами или помадой для волос.

Наконец он добрался до Буклингемского дворца. Теперь важно не разбудить хозяйку, миссис Буклингем. Хорошо бы уши у нее были такие же грязные, как и все остальное, хорошо бы она ничего не услышала!

Только когда ему удалось открыть парадную дверь и внести девушку в вестибюль, он осознал, что несет ее к себе домой. И мгновенно понял всю нелепость своего поступка: он и в мыслях не имел ничего подобного, хуже того — это было просто глупо. Кто знает, что она выкинет у него в комнате? И что сделает миссис Буклингем, если проснется и обнаружит их? Девушку следовало отнести в другое место. Туда, где о ней позаботятся, накормят, уложат спать, обуют, оденут. Что, если она ночью умрет? Или у нее начнется воспаление легких? Нет, ее место не здесь, а в доме для таких, как она.

Но Джейсон не слышал, чтобы где-нибудь были такие дома.

Поэтому он с девушкой на руках бесшумно поднялся по лестнице в свою мансарду.

Привычно, не зажигая света, он положил ее на диван, служивший ему постелью. Нашел на столе спички, зажег лампу и бросил в камин угля. Вскоре огонь разгорелся. Он поднес лампу к дивану и оглядел девушку. Казалось, жизнь понемногу возвращается к ней, но быть может, его обманывал свет лампы. Глаза она не открывала. Он потрогал ее руку, рука все еще была холодная — он вдруг заметил, что девушка насквозь промокла. Воспаление легких, снова подумал он. С той же боязливой решительностью, что и раньше, он раздел девушку, деловито и осторожно, как это сделал бы заботливый отец или врач. Одежду он повесил сушить к камину. Кроме жакета, на ней были только блузка и юбка, и больше ничего, даже чулок.

После этого он растер ее старым шерстяным шарфом. Она была необыкновенно худа; он мог бы пересчитать все ее ребра. На теле у нее было несколько синяков. Без одежды она выглядела совсем подростком, почти ничто не говорило о том, что это взрослая женщина. Груди только наметились, худые бедра, ляжки тонкие, как у мальчика. На ум ему пришло слово «заброшенная».

Он укутал ее одеялом и подложил под голову подушку. Себе же устроил постель на полу перед камином. Прежде чем раздеться, запер дверь. Потом погасил лампу и забрался под одеяло. Взглянул в окно на потолке. Снег все еще шел.

... Девушка проснулась. Одеяло наполовину сползло с нёе, и она натянула его до подбородка. Удивленно огляделась. Приятно было проснуться одной в этой комнате, на этом красном потертом диване. Глаза ее скользнули по футляру со скрипкой.

Несколько минут она лежала неподвижно, пытаясь вспомнить, что случилось накануне вечером и что привело ее сюда. В памяти мелькали какие-то отрывистые картины, но в единое целое они не складывались. Последнее, что она помнила из вчерашнего вечера, был снег. Но в комнате было тепло, девушку окружал мир и покой, и она думала, что она здесь одна. Поэтому девушка еще плотнее закуталась в одеяло и закрыла глаза, на ее сомкнутых губах играла счастливая улыбка. Она задремала, ей не хотелось ломать голову над тем, как она попала сюда. Ей уже случалось просыпаться в незнакомых местах. Придет время, и она все узнает.

Но вскоре сон слетел с нее — ей захотелось помочиться.

Джейсон проснулся от движения в комнате. Сперва он удивился, обнаружив, что лежит на полу перед камином, но тут же вспомнил все события минувшей ночи. Он приподнялся и глянул на диван. Возле дивана наклонившись стояла эта незнакомая девушка и как будто что-то искала. Джейсон кашлянул. Девушка испуганно выпрямилась.

— Господи, вот напугал! — воскликнула она. — Не знала, что здесь кто-то есть. — От дивана Джейсона отгораживал стол.

Джейсон растерялся — девушка была совершенно голая, и она явно не слишком стеснялась. Теперь, после сна, она выглядела уже не так, как вчера вечером.

— Что ты ищешь? — спросил Джейсон. Краем глаза он видел, как она заглядывает под диван. И вдруг догадался: — Горшок под окном.

Она хихикнула, прошла через комнату и, найдя горшок, решительно села на него. Лицо у нее стало задумчивым.

С ней не оберешься неприятностей, подумал Джейсон. Надо выпроводить ее отсюда.

— Прости, — сказала она наконец. — Я так долго терпела. — Она снова хихикнула.

— Ничего страшного, — сказал Джейсон. — Как тебя зовут?

— Эмма. — Она встала. — А тебя?

— Джейсон. Послушай, Эмма, ты помнишь, что ночью лежала на улице и чуть не замерзла насмерть?

— Правда? — Она с искренним удивлением уставилась на него.

— Да. Я не мог оставить тебя там... В общем, я притащил тебя сюда.

— Господи! — воскликнула она.

Вдруг она быстро подошла к дивану и легла.

— Иди сюда, — позвала она Джейсона и похлопала рукой по спинке дивана. — Здесь так тепло и уютно.

Джейсон невольно встал и подошел к дивану.

— Чего ты хочешь? — спросил он.

— Иди ко мне! — Она смотрела на него с лукавой серьезностью. — Бесплатно, понимаешь? За то, что ты такой добрый.

Джейсон рассердился. Она заметила это и грустно перевела взгляд на одеяло.

— Прости. Я не хотела...

Но Джейсон не смягчился. Она вдруг всхлипнула, раз, другой, и в конце концов расплакалась по-настоящему, но тихо, почти беззвучно. Джейсон присел на край дивана, он больше не сердился. Намерения у нее были добрые.

— Ну, ну. Перестань, — сказал он ласково. — Ничего страшного. — Девушка никак не могла успокоиться. Джейсон погладил ее по грязной руке.

— Хочешь есть? — спросил он. Она все еще плакала, но глаза уже просветлели. Девушка улыбнулась.

Джейсон встал, надел брюки, рубашку, достал хлеб и джем. Потом приготовил чай. Тем временем девушка оделась — одежда ее уже высохла — и заколола волосы.

Они сели за маленький столик, Джейсон расспрашивал ее о том о сем, как будто она была обычная гостья.

— Сколько тебе лет, Эмма?

— Наверное, шестнадцать.

— Ты даже не знаешь?

— Не-ет... — протянула она. — Я об этом не задумывалась.

— А твоя мать знает?

— Она умерла.

— О...

— Но при жизни она никогда не говорила об этом.

— Мне очень жаль...

— Мама была добрая. На свой лад. Но у нее было столько забот.

— Каких?

— У нее было еще пятеро. Сам понимаешь...

— Много ртов...

— Да. Я была старшая. Так что мне ничего не оставалось, как поскорей начать зарабатывать самой.

— А твой отец?

— Мама говорила, что он играл на скрипке на каком-то пароходе. На очень большом пароходе.

— Он был музыкантом на пароходе?

— Да, который плавал в Америку. Но я не знаю, правда ли это.

— Ясно. — Джейсон налил ей еще чаю.

— Поесть хорошо, — сказала она.

— Ты проголодалась?

Она кивнула.

— Но Бетти говорит, что быть голодной не стыдно. Она всегда так говорит. Бетти — это моя подружка.

— Она права. А ты часто бываешь голодной?

— Ну-у... Случается. Но я не подбираю на улице куски хлеба и капустные листья. Уж лучше поголодать.

Джейсон видел, что ей хочется о чем-то спросить его, но она не решается. Она вдруг стала его стесняться.

— Ты хочешь что-то спросить?

— Да. Ты музыкант? — Она посмотрела на футляр со скрипкой.

— Нет, я студент. То есть был студентом.

— Студент, — повторила она. Джейсон подумал, что она впервые услышала это слово. — Студент... — еще раз повторила она словно издалека.

— Да, я должен был стать врачом. Но я и на скрипке играю.

— Ты умеешь играть? — Она тут же вернулась к действительности. — На ней? —

Она показала на скрипку. — Вот здорово! Ты слышал когда-нибудь, как играют в пивных и в мюзик-холлах?

— Да.

— Правда, там красиво играют? Я как-то раз была в мюзик-холле. Там один шикарный джентльмен в черном блестящем костюме... в таком фраке... играл «Воздух Лондондерри», он играл один. Так здорово! — На лице Эммы появилось мечтательное выражение, и оно точно осветилось слабым сиянием.

Джейсон вынул скрипку и, не настраивая ее, заиграл «Воздух Лондондерри». Пока он играл, Эмма сидела не шевелясь, с закрытыми глазами. И хотя сначала Джейсон отнесся ко всему этому не слишком серьезно, постепенно он воодушевился. Она была хорошая слушательница. Смычок легко и плавно летал над струнами. Джейсон видел, как мелодия заполняет Эмму и светится в ней, и ему вдруг стало удивительно легко и радостно. Он доиграл и отложил скрипку.

Долго стояла тишина. Наконец Эмма открыла глаза:

— Я сейчас видела того шикарного скрипача из мюзик-холла.

Джейсон был разочарован. Но она загадочно улыбнулась:

— У него были пышные черные усы и на макушке лысина. Только с боков росли густые темные волосы. — Эмма на мгновение задумалась, потом проговорила: — Мне нравится думать, что, может быть, это был мой отец. Что он больше не плавает на пароходах. Ведь это возможно! — Она умоляюще посмотрела на Джейсона. — У него был такой толстый нос... — Эмма снова заплакала. — У меня тоже такой нос. — Она всхлипнула.

Джейсон подошел к ней, ему захотелось ее утешить. Он тихонько погладил ее по плечу, по спине. Она сидела сгорбившись, и он через блузку ощущал ее острые позвонки. Постепенно она перестала плакать.

— Поиграй еще немножко. — Но Джейсон знал, что она опять начнет плакать. И с удивлением заметил, что и у него самого начало щипать в носу.

— Нет, — сказал он. — В другой раз. — Он не знал, что еще сказать. Эмма не настаивала.

— А ты мог бы тоже играть на большом пароходе? — помолчав, спросила она. — Как мой отец? Я уверена, что ты играешь гораздо лучше, чем он. И лучше, чем скрипач в мюзик-холле. — Она счастливо улыбнулась ему. И Джейсон понял, что стал для нее богом, рыцарем в сверкающих доспехах. — Я бы не побоялась плыть по морю на пароходе, если бы ты все время играл для меня, — сказала она.

— А ты плавала когда-нибудь по морю? — спросил он.

— Я нет... А вот Бетти один раз была в Брайтоне и видела, как выглядит большой пароход...

— Эмма, я хочу кое-что дать тебе. — Джейсон достал последние оставшиеся у него полкроны. — На эти деньги ты должна купить себе чулки и башмаки. Обещаешь? И, может быть, перчатки и что-нибудь на шею. На Петтикоут-лейн ты купишь все это подешевле.

Он протянул ей монету. Она не поблагодарила, но во все глаза смотрела на него и на его руку с монетой. По правде говоря, он и сам не понимал, зачем сделал это.

— Обещаешь? — снова спросил он. — Ты понимаешь, о чем я говорю?

Теперь лицо у нее было почти испуганное.

— Да. — Она кивнула. — Обещаю...

Перед тем как Эмма ушла, Джейсон спросил, что с ней случилось вчера вечером. Она была уже у двери, но остановилась, мысленно глядя на картину минувшего дня. Она молчала.

— Ты не помнишь? — спросил Джейсон.

— Помню. — Она серьезно взглянула на него. Глаза у нее были серые. — Помню. Но не хочу говорить об этом.

Они попрощались. Уже спустившись по лестнице, она крикнула ему снизу (так громко, что миссис Буклингем не могла не слышать ее):

— Помни, ты должен играть на таком пароходе!

Так и случилось. Так Джейсон начал свой путь к тому, чтобы игрой на скрипке зарабатывать себе на жизнь. Что-то переменилось в нем в тот вечер, когда он спас замерзавшую в снегу девушку. Через несколько недель он начал играть на улицах и в разных заведениях; сперва с переменным успехом, потому что у него не было опыта и он немного стеснялся; потом дело пошло на лад. Ему нравилось играть. И все время он видел перед собой цель: он должен стать судовым музыкантом.

Через год Джейсон встретил того пьяного русского.

*

— Простите, мистер Джейсон... Мистер Джейсон...

Джейсон обернулся. На него смотрели испуганные глаза Давида.

— Что? — дружелюбно спросил он и глубоко вдохнул морской воздух. — Чем могу служить?

— Я... Алекс и Джим послали меня за вами. Мы подходим к Шербуру, и...

Джейсон снова повернулся к морю. Верно, берег был уже виден.

— Да, конечно. Но у нас еще много времени.

— Да, но Алекс... Петроний... и...

— Что там еще случилось?

— Петроний говорит, что он бык, страшно мычит, и остановить его невозможно; Алекс рвет и мечет, к тому же что-то случилось со Спотом, он лежит на своей койке, и мы не можем его разбудить. Он бледен как смерть и на вопросы не отвечает. Джим и Жорж пытались дать ему нюхательной соли, Жорж даже облил его холодной водой, чтобы привести в чувство.

Джейсон прикусил губу. Он стоял и смотрел в сумерки. Все мечты и воспоминания растворились в воздухе, погрузились в море и исчезли за кормой.

— Ну что ж, все как обычно, — тихо проговорил он.

Давид молчал, но Джейсон чувствовал на себе его взгляд.

— Ладно, — сказал он и отошел от поручней. — Сейчас я приду и все улажу. Не бойся. Ты ел что-нибудь?

— Нет, — ответил Давид. — Сперва Петроний задержал меня, он пытался объяснить, что значит быть быком, и рассказывал о муках, которые быки претерпевали, когда их приносили в жертву в катакомбах в гомеровские времена. Потом Джим и Жорж хотели до обеда прогуляться со мной по всему пароходу, но нам пришлось заниматься Спотом, а там Алекс начал...

— Да, да. Понимаю. — Джейсон вздохнул, положил руку Давиду на плечо, и они пошли к трапу. — Послушай, Давид, — сказал Джейсон, — что бы ни случилось, ты не должен по их милости оставаться голодным. Нам предстоит играть весь вечер.

— Хорошо, — ответил Давид, не поднимая глаз.

— Может, тебе хочется вернуться домой, в Вену?

— Да. Нет! Я хочу сказать...

Джейсон с улыбкой смотрел на Давида.

— Знаешь, что я думаю? — спросил он вдруг, словно дразня Давида. — Думаю, ты решил сбежать от нас, когда мы придем в Нью-Йорк.

Давид бросил на него быстрый взгляд.

— Но по-моему, тебе этого делать не стоит, — продолжал Джейсон. — Обдумай все, пока мы плывем туда. И кто знает, может, ты захочешь вернуться с нами обратно.

Давид снова опустил глаза, выражение его лица было хорошо знакомо Джейсону.

— Не знаю, что заставило тебя сбежать, — тихо сказал он. — Да это и не мое дело. Но если у тебя есть дом, ты должен туда вернуться.

Давид остановился.

— Но люди часто сами решают, есть у них дом или нет... Разве не так?

— Так, — согласился Джейсон. — Очень возможно, что так. — Он криво усмехнулся. — Ну ладно, идем, надо привести их в чувство.

Они ушли с палубы.

11 апреля 1912 г. К югу от Куинстауна, 11.10

Глубокий, зычный гудок, словно луч яркого света, прорезал темноту. Он нашел дорогу в милосердный, без видений сон спящего и попытался разбудить его. Гудок как будто звал его, как будто спрашивал: кто ты? Но он не мог вспомнить своего имени. Лишь когда гудок прозвучал в третий раз, он выплыл из темноты к свету и жизни, вынырнул на поверхность самого себя, открыл глаза и понял: я — Давид.

Давида Бляйернштерна разбудил гудок «Титаника».

Он снова закрыл глаза и некоторое время не шевелился. Каюта была пуста, он был один и наслаждался этим одиночеством.

Давиду вспомнился Спот — такой, каким они нашли его: без сознания, мертвенно-бледный, скорчившийся на своей койке; глаза у него были закрыты, губы почернели. Джим первый увидел неподвижного пианиста, он чертыхнулся, склонился над Спотом и встряхнул его. Но Спот не пришел в себя, только глаза у него закатились и стали видны белки. Казалось, он мучительно старается, но никак не может проснуться, и это было страшно. Давид стоял и смотрел, как Джим и Жорж стараются привести Спота в чувство.

— Черт бы его побрал, — ворчал Джим, — опять он взялся за старое.

— И уже в первый вечер, — заметил Жорж. — Ну, как он?

— В один прекрасный день он просто умрет, — горько заметил Жорж. — Умрет, если мы не будем лучше следить за ним.

Спот захрипел. Жорж встал и принес нюхательную соль.

— Бедный старый Спот, — сказал Джим. Потом обернулся к Давиду: — Будет лучше, если это останется между нами. Мы сами приведем его в чувство, Джейсону и Алексу незачем знать...

В это время дверь открылась и на пороге появился Алекс в сопровождении Петрония.

— Чтоб его черти взяли, этого еще не хватало! — воскликнул Алекс, увидев безжизненного Спота. — Чтоб его черти взяли! На этот раз он зашел слишком далеко!..

Снова послышался гудок, и Давид открыл глаза. Сон пошел ему на пользу, он чувствовал себя гораздо бодрее, в приветливом свете, льющемся из иллюминатора, все представлялось ему простым и легким. Несмотря на то что коллеги его были один чуднее другого и порой вызывали в нем даже чувство неприязни, несмотря на то что пальцы плохо слушались его во время игры, когда он не понимал незаметных знаков, которые Джейсон подавал головой или смычком. Маленькая тесная каюта, отведенная музыкантам, тоже оставляла желать лучшего. Не успев погрузиться в сон, Петроний в счастливом неведении начал громко храпеть и портить воздух, однако Давид все-таки заснул — он был почти без чувств от усталости...

Дверь каюты распахнулась, и вошел Джим.

— Доброе утро, Давид, — весело поздоровался он. — А ты, оказывается, соня. Скоро полдень, а ты все спишь. Джейсон хотел, чтобы ты сегодня выспался, но через пять минут мы бросим якорь в Квинстауне, так что, если хочешь поесть что-нибудь перед работой...

— Хочу, — смущенно признался Давид. — Неужели правда уже так поздно?

— Думаю, ты вчера порядком устал. Одевайся скорей, я провожу тебя в кают-компанию. Там в любое время суток дают яичницу с беконом. Но сперва побрейся.

Польщенный последним замечанием Джима, Давид вскочил с койки и в два прыжка очутился перед умывальником.

— И тогда ты сможешь увидеть кусочек Ирландии, — сказал Джим уже у двери, пока Давид намыливал щеки.

Ирландия. «Титаник» бросил якорь в двух морских милях от берега в виду мыса Роча. Берег был скрыт мягкой тенью. Джим и Давид поднялись на прогулочную палубу первого класса, оттуда было лучше видно. Джим показал Давиду треугольные очертания Куинстаунского собора, одной из жемчужин Ирландии. Джим, по его словам, был англичанин по рождению, но женился на ирландке, да и в нем самом была ирландская кровь и со

стороны отца, и со стороны матери, а потому он чувствовал себя настолько ирландцем, что с трудом сдерживал радость при виде этой страны.

К пароходу пыхтя подошли два посыльных судна; они битком набиты эмигрантами, объяснил Джим.

— Ирландия истекает кровью, — сказал Джим. — Она теряет лучших представителей своей молодежи, а Лондону это только на руку.

Джим заговорил о бедности, о нехватке хлеба, о Чарльзе Парнелле и капитане Бойкотте, о движении за независимость Ирландии и предложениях Асквита о самоуправлении. Давид с интересом слушал его, но понимал немного.

— Видишь, к нам пожаловали торговцы, — сказал он. — У них можно купить все что душа пожелает: часы, одежду, обувь, шали и почтовые открытки. Их пускают в первый и во второй класс, там всегда найдется какой-нибудь богач, который забыл купить европейский подарок для своей чикагской племянницы. А там, — он кивнул на черный катер, — нам везут завтрак на завтра. Мелких омаров. Они необыкновенно вкусные. Особенно в нежном горчичном соусе. Даже если бы здесь не садились эмигранты, владельцы все равно разрешали бы своим судам заходить в Куинстаун только ради этих омаров.

Они спустились на нижнюю палубу.

Оттуда они смотрели, как на пароход грузят ящики с омарами. На одном из посыльных судов кто-то играл на флейте грустную мелодию.

— «Жалоба Эрин», — вздохнул Джим. — Еще один бедный Патрик отправляется в Нью-Йорк, чтобы надорвать себе пуп в тамошних доках. Играй, играй, приятель. Через неделю ты будешь там, куда так мечтал попасть, и уже всю оставшуюся жизнь сможешь тосковать по родине.

Давид внимательно разглядывал эмигрантов, но молчал.

— Между прочим, парень, если задерешь голову, увидишь своего капитана. — Джим показал наверх.

Давид повернулся и поднял глаза. Там на крыле мостика, с правого борта, стоял невысокий, крепкий седобородый человек с золотыми нашивками. Неподвижный, с непроницаемым лицом и скрещенными на груди руками, он скользил взглядом по нижней палубе.

— Капитан Смит, — сказал Джим. — Сфинкс.

Пока Давид в шумной кают-компании поглощал яичницу с беконом и свежим белым хлебом, испеченным в судовой пекарне, Джим просвещал его.

— Так вот, — начал он, — все капитаны люди со странностями. В прежние времена про некоторых капитанов говорили, будто они водят дружбу с темными силами.

— Правда? — Давид невозмутимо пил кофе.

— Часто рассказывают, как особое предчувствие помогло капитану спасти свой корабль и команду. Туман при штиле бывает особенно опасен. В тумане звук изменяется так, что невозможно понять, с какой стороны он доносится. А кругом ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. И тем не менее капитан вдруг уверенно заявляет, что, идя этим курсом, его судно либо столкнется с другим, либо сядет на мель, и в последнюю минуту меняет курс. Такое часто бывало.

— И ты думаешь, капитана об этом предупреждал дьявол? — шутя спросил Давид. Джим был уязвлен.

— Нет, — сказал он. — В это я не верю. Но я верю, что капитаны часто сливаются со своим судном в единое целое. Очевидно, без этого невозможно стать хорошим капитаном. Ведь в старые времена морское путешествие, например через Атлантику, мало походило на увеселительную прогулку, какой оно стало в наши дни, не забывай об этом.

— Правда? — Давид сделал себе еще один бутерброд.

— Да, да, тогда все было иначе, — мрачно заметил Джим. — Не то что обед у мамочки или «Официант, подайте мне три лепешки с джемом!». Еще лет десять-двадцать назад существовала реальная угроза, что судно так и не дойдет до цели. Даже если все шло благополучно, случалось, что суда неделями дрейфовали во время штиля или из-за шторма отклонялись далеко от своего курса. Ясно, что в таких случаях все зависит от

капитана. И от его команды, если на то пошло. Все капитаны, которые теперь водят большие пароходы, начинали плавать на парусных шхунах.

— А ты сам был моряком?

— Я и есть моряк, — гордо ответил Джим, — хотя импресарио и изменил наш контракт. Но я понимаю, что ты имеешь в виду; так вот, в юности я несколько лет плавал юнгой на барке «Пифия» из Портсмута. Там у нас был настоящий капитан, старый капитан Кеннеди. Он больше тридцати лет водил суда этой компании, последние десять лет плавал на «Пифии». Он обожал свое судно, он сам и был этим судном. Капитан Кеннеди был невысокого роста — между прочим, как ни странно, капитаны редко бывают высокие. Однако он казался высоким. Когда он стоял у руля, он был похож на Моисея, разделяющего море. Настоящий библейский патриарх. Он любил говорить о своей шхуне: «Стоит мне захотеть, и она тут же ложится на нужный курс». Его невозможно было представить себе нигде, кроме мостика.

Но вот подошло его последнее плавание — капитан получил уведомление от компании, что его отправляют в отставку. Ему назначалась пенсия, и он должен был навсегда остаться на берегу, как только его судно вернется в Портсмут. Тогда-то это и случилось.

— Что именно? — спросил Давид с набитым ртом.

— Серым, туманным утром судно вошло в гавань. Все плавание капитан Кеннеди был молчалив, и офицеры с матросами понимали, конечно, что творится у него в душе. К тому же все знали, что семьи на берегу у него нет. Однако насколько глубоко капитан переживал свое горе, не понимал никто. Горе такого рода не ломает человека, он не опускает руки, не плачет. Напротив, горе заставило капитана Кеннеди еще строже относиться к своим обязанностям и точнее выполнять их. «Пифия» была так отдраена и начищена, что сверкала, как звезда в тумане, когда вошла в порт. Лишь один раз первый штурман как будто понял, что творится с капитаном, — как-то вечером, поднявшись на мостик, он нашел там старого Кеннеди. Капитан стоял с секстантом в руках. Увидев штурмана, он криво усмехнулся и быстро покинул мостик. Он измерял не высоту солнца, а высоту луны. Точно готовился прокладывать курс в иных морях.

Джим помолчал, потом заговорил снова:

— Вечером накануне прихода в Портсмут капитан Кеннеди просмотрел все свои морские карты и привел в порядок свои записи. Подписал все документы и вахтенный журнал. После него все осталось в идеальном порядке. Он вычистил свой сундучок и выбросил мусор, а свою робу отдал боцману. На другое утро, когда судно подошло к Портсмуту, он не поднялся на палубу. Его нашли на койке.

— Он умер?

— Да. И это было непостижимо. У капитана было железное здоровье. Судовому врачу оставалось только указать в свидетельстве о смерти, что капитан умер от разрыва сердца.

Давид перестал есть. Джим быстро взглянул на него, убедился, что слушатель внимательно следит за рассказом, и продолжал:

— Капитан Уэллем, водивший один из больших пароходов компании «Норддойче Ллойд», тоже получил уведомление о том, что его предстоящий рейс будет последним. В день, когда судно должно было покинуть Гамбург, он упал на мостике, его отвезли в больницу, где он и умер через несколько часов. Диагноз был тот же. В своем завещании капитан просил, чтобы его прах развеяли по ветру с кормы его судна, что, конечно, было исполнено. Завещание он написал за несколько недель до смерти. После этой истории компания «Норддойче Ллойд» перестала предупреждать пожилых капитанов о последнем рейсе. Сообщение о том, что их отправляют в отставку, капитаны получали уже после рейса.

— Странно, что они от этого умерли, правда? — заметил Давид.

— Что может быть печальнее, чем капитан, оставшийся без судна? Представь себе, каково оказаться на берегу после того, как ты водил такой пароход. Или какую-нибудь красивую шхуну. В море капитан — царь и бог на своем судне. Он отправляет на нем церковную службу, карает и милует. Если судно пассажирское, дамы не дают капитану проходу. Ему трудно удерживать своих поклонниц на расстоянии. Все хотят обедать за

его столом. Все хотят слушать его рассказы. Особенно о приключениях с кораблекрушениями и готтентотами. Капитаны несут бог знает что, и пассажиры глотают их истории с большим удовольствием, чем виски с содовой. Ну а если начнется шторм, все требуют, чтобы капитан лично их успокоил, хотя именно тогда он ничем не может облегчить их участь. Капитанам все доверяют. Старый капитан Хейс, служивший в «Кунарде», великолепно умел предотвращать панику среди испуганных пассажиров. Ведь даже на больших пароходах пассажиров во время сильного шторма охватывает паника. У старика Хейса на этот случай был особый прием: при неспокойном море и свежем ветре, однако не настолько сильном, чтобы напугать пассажиров, разве что уложить часть из них с морской болезнью, капитан натягивал робу и зюйдвестку. Потом приказывал кому-нибудь из матросов вылить на него ведро или два воды и в таком виде, мокрый, в морских сапогах, являлся в пассажирский салон. Пассажиры, которые играли в карты или невозмутимо попивали чай, поглядывая в иллюминатор на расходившиеся волны, удивленно поднимали глаза на этого морского призрака. Не успев войти, капитан Хейс хватался за голову и начинал орать: «Вы только взгляните на этих шалопаев, на этих глупых сухопутных крабов! Как можно быть такими спокойными, когда на море бушует шторм, какого я не видывал за все сорок лет своей службы!» И капитан с громким топотом удалялся из салона, оставляя пассажиров в некоторой растерянности. Может, им и делалось немного не по себе, зато в них заметно укреплялось чувство собственного достоинства. На кораблях старика Хейса никогда не возникало паники.

Давид улыбнулся.

— Да, среди капитанов встречаются большие чудаки. — Джим оживился. — Взять, к примеру, хотя бы Пита Могильщика, который плавает на судах той же компании, что и мы, «Уайт стар». Слава богу, что не он у нас капитаном... Пит Могильщик обожает похороны. Похороны в море. Он испытывает наслаждение, если ему удается кого-нибудь похоронить. Когда умирает пассажир, что случается крайне редко, или кочегару что-нибудь падает на голову, капитан тут же приказывает завернуть покойника в парусину и привязать ему к ногам груз. И бесполезно уговаривать капитана, что утром судно будет уже в Саутгемптоне и, может, родителям было бы приятней похоронить свое чадо в английской земле. Куда там! «А опасность эпидемии!» — мрачно ответствует Пит Могильщик и готовится отправить несчастного к морским звездам. Он просто обожает этот ритуал. Ведь на судне панихиду служит сам капитан. Пит Могильщик делает это с большим чувством, и голос у него звучит проникновенно, как ни у кого другого. Тут уж невозможно удержаться от слез. Любит он подпустить несколько слов и от себя. Однажды с ним произошел такой случай: у него на судне от удара умер кок, это случилось к востоку от Нью-Йорка. Покойник еще не успел остыть, как его завернули в брезент и привязали ему к ногам груз. Капитан, в полном параде, ласковый, как солнышко, но с приличествующими случаю скорбными складками на лице, начал службу. Команда стояла по стойке «смирно». И вот посреди церемонии раздался вой туманной сирены, а при этом сигнале капитан обязан немедленно подняться на мостик. Пит скинул китель, отшвырнул молитвенник и бросился по трапу на мостик. Команда по-прежнему благоговейно стояла вокруг покойника. На мостике Пит Могильщик увидал, что туман небольшой, и снова бросился по трапу, теперь уже вниз, на палубу, там он поспешно напялил китель, схватил молитвенник и заорал, раздраженный помехой: «К черту! Аз есмь воскресение и жизнь!»

Давид даже поперхнулся от смеха, и Джиму пришлось похлопать его по спине.

— А капитан... ты сказал, его фамилия Смит?.. Я имею в виду нашего капитана, он что за человек? — отдышавшись, спросил Давид.

— О нем я почти ничего не знаю, — признался Джим. — Он молчун. Не любит быть на виду. Насколько мне известно, никаких историй про него не рассказывают. Но вчера у него выдался непростой денек.

— Что значит «непростой»?

— Трудный. Ведь мы чуть не столкнулись с «Нью-Йорком». Теперь суда такие большие. Ими трудно маневрировать. Самое большое судно, «Олимпик», столкнулось в прошлом году с другим судном. В трудных ситуациях эти огромные суда ведут себя непред-

сказуемо. Они приводят в движение огромные массы воды. После вчерашнего происшествия мы все могли снова оказаться на берегу. И тогда на капитане Смите поставили бы точку.

— Точку?

— Ну да. Ведь это его последний рейс. Ты разве не знал? Он совершает, так сказать, круг почета. Если бы мы вчера не избежали столкновения, капитан лишился бы лаврового венка... Ладно, хватит болтать. Пора надевать форму. Мы начнем играть, как только пароход снимется с якоря. — Джим сделал братский глоток кофе из чашки Давида, и чашка опустела.

В 13.20 «Титаник» поднял якорь. Пар заполнил цилиндры. Судно задрожало. Обогнув снова мыс Роча, «Титаник» отпустил лоцмана у плавучего маяка.

Потом лег на правый борт, описав большую дугу.

Тело огромного судна качнулось. Люди на борту замерли, переглянулись. Вот оно снова качнулось, потом еще раз. «Титаник» встретился с первыми вялыми океанскими волнами.

ИНТЕРМЕЦЦО

Тот же день. 10° западной долготы, 51° северной широты

Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три — нет, что-то не ладится; «Розы Пикардии», изящные вальсы, возбуждающие аппетит, раз-два-три, раз-два-три; божественные ароматы смешиваются с музыкой, не высовывайте язык, молодой человек, раз-два-три, раз-два-три; голодные пассажиры покидают салон, вскоре они рассядутся, чтобы насладиться паштетами и другими кулинарными изысками; осталось лишь несколько человек, раз-два-три, эти по-прежнему сидят в креслах и разглагольствуют о жизни. Раз-два-три... Давид, чуть слышно шипит Алекс молодому еврею из Вены, Давид, черт бы тебя побрал, это же соль мажор! Давид краснеет как рак и передвигает палец, такое изменение тональности трудно не заметить, но слушателям не до этого, они сидят в своих креслах и рассуждают о жизни, не соблазняясь пьянящими ароматами пищи, они сидят в своих креслах и раз-два-три, раз-два-три. Скоро они встанут и равнодушно заскользят по мягкому ковру к стеклянным дверям? Или будут беседовать здесь до Судного дня? Сколько нам еще играть эти вальсы? Джейсон осмеливается вопросительно кивнуть поверх скрипки помощнику капитана по пассажирской части, тот, весь в красных пятнах, кивает в ответ.

— Я думаю, неплохо, — говорит Джейсон.

— С моим контрабасом что-то случилось, — бубнит Петроний. Салон уже пуст.

— Ты должен помнить, что играешь в ансамбле... — ворчит Алекс.

— Хорошо сыграли, ребята, — говорит Спот.

— С моим контрабасом что-то случилось.

— Теперь можно поесть? — спрашивает Жорж.

— Соберись, Давид. Ты должен быть внимательнее, — говорит Алекс. — Вы слышали, как он...

— Я думаю, было неплохо, — снова говорит Джейсон.

— Что стряслось с моим контрабасом?

— Ну ладно, я пошел есть.

— Можно оставить здесь инструменты?

— Лично у меня нет выбора, — улыбается Спот.

— Мне бы хотелось узнать, господа, не кажется ли и вам, что с моим контрабасом что-то не так?

— Мне кажется, что со мной самим что-то не так. И зачем я здесь нахожусь? — говорит Алекс.

— Приятного аппетита вам всем.

— Может, это предвещает несчастье? Может, этот странный, резкий звук объясня-

ется тем, что струны были сделаны из кишок неблагополучного быка? И он хочет о чем-то предупредить нас? Может, это утробное урчание предвещает опасность? Или, наоборот, удачу? Трудно сказать, господа, трудно сказать. Хе-хе-хе...

— Джейсон, я брошу его за борт.

Петроний отходит и с улыбкой погружается в свой собственный мир.

— Я брошу его за борт, — повторяет Алекс.

— Пожалуйста, — говорит Джейсон. — Но я ничего не желаю об этом знать.

— Прости, — виновато обращается Давид к Алексу. — Прости, я допустил ошибку.

Алекс отвечает ему враждебным взглядом. Потом переводит взгляд на Джейсона.

— Как можно было брать этого человека? — спрашивает он.

— Оставь... — отмахивается Джейсон.

Давид густо краснеет, но молчит. Потом уходит.

Джейсон внимательно следит за Алексом, тот невидящими глазами смотрит куда-то вдаль. Под глазами у него круги, точно он не выспался. Джейсону жаль Давида, но Алекс сегодня явно не в себе. Лучше делать вид, будто я ничего не замечаю, думает Джейсон.

— Пойдемте есть, — зовет он.

Алекс не отвечает, по-прежнему глядя вдаль.

— Мне надо поговорить с тобой, — говорит он.

— Может, поговорим за едой? — осторожно предлагает Джейсон.

— Нет...

Разговор происходит на шлюпочной палубе, на корме, возле зимнего сада. Пассажиров тут сейчас нет, все обедают.

— Если все так плохо, может, тебе лучше списаться на берег? — спросил Джейсон, выслушав Алекса.

— Придет срок, спишусь, — сказал Алекс. — Этот рейс я выдержу, а может, и еще один. Но тебе надо подыскивать кого-нибудь на мое место.

Джейсон был в смятении. Искать нового компаньона, плавать с кем-то другим... Нет, это невозможно.

— Это будет нелегко, — неловко заметил Джейсон.

— Ничего, найдешь, — вдруг со злостью сказал Алекс.

— Нет, нет... я не то имел в виду... совсем не то. — Джейсон помолчал. — У тебя есть сбережения?

— Не густо.

Джейсон хотел сказать, чтобы Алекс не думал о деньгах, но говорить об этом было трудно. Как и обо всем остальном.

— Как ты себя чувствуешь?

— По-разному, то хуже, то лучше.

— Скажи мне, если тебе будет трудно играть.

— Скажу. Но пока все было в порядке. Я не собирался говорить тебе об этом, во всяком случае пока. Но вчера меня вывел из себя... да и сегодня тоже... этот мальчишка... этот немец.

— Он австриец.

— И я решил, что надо тебе сказать. Подготовить тебя.

— Мы слишком долго плавали вместе, чтобы ты молчал об этом. Хорошо хоть теперь я все знаю.

— Я так и хотел.

Джейсон думал: мне этого не понять. Я его слышу, но смысл его слов постичь не могу. Ведь вот он, стоит здесь, рядом. А сам-то он понимает? Джейсон взглянул на Алекса: он мой друг. Единственный настоящий друг.

— Надеюсь, ты не принял это слишком близко к сердцу?

— Что значит «слишком близко»? — Джейсон был задет.

— Не расстраивайся. Это не должно отразиться на работе.

Джейсон молчал. Мы не то говорим, думал он. Наверное, нам следовало больше знать друг о друге. Раз уж так получилось, мне бы хотелось кое о чем с ним потолковать. До сих пор все шло хорошо. Но говорить друг с другом мы не научились.

— Ты ничего не хочешь мне рассказать? — спросил он, понимая, что это звучит глупо.

— Нет. С чего ты взял?

И верно, с чего я взял, думал Джейсон. Может, это и в самом деле не нужно. Может, все должно быть как всегда, без слов, несмотря ни на что. Может, люди лучше понимают друг друга без слов. Может, я не узнаю его лучше, даже если он все расскажет мне про себя.

*

Алекс спустился в каюту, там никого не было.

Первым делом он вымыл руки. Потом сел на свою койку и обхватил голову руками. Несколько минут он сидел, сжавшись и тяжело дыша. Хорошо, что никого нет. Есть ему не хотелось.

О борт судна плескалась вода, но звон, стоявший у Алекса в ушах, заглушал ее плеск.

Алекс тяжело вздохнул и прижал ладонь к боку.

Это не я, сказал он себе. Не может быть, чтобы все это случилось со мной.

Все вокруг как будто оказывало ему сопротивление. Холодное, безжалостное сопротивление. Он попытался вспомнить, попытался вернуться к себе, каким он когда-то был. Закрыл глаза. Где-то глубоко внутри он ощущал боль, словно туда капнули расплавленного олова.

Нет, это не он сидит здесь на койке. Не он весь сжался от боли. Этого не может быть. Нужно поскорей вернуться обратно, в прошлое. Или найти путь в будущее. И тогда все станет на свое место. Он задремал.

Кто-то был с ним в каюте.

Он был один, и вместе с тем в каюте присутствовал кто-то еще. И Алекс знал, кто это.

*

Судно скользит по ровной ряби. На корме в каюте рядом с камбузом сидит Алекс. Перед ним перо и бумага. Он расположился у маленького стола. Но долго не прикасается к перу. В конце концов он выводит на бумаге первые слова. Кириллица кажется ему непривычной. Сперва перо движется неуверенно, но потом рука расходится. Он пишет письмо, то, которое ему следовало написать очень давно. Возможно, уже слишком поздно писать это письмо, но он все равно пишет.

Скоро, думает Алекс, скоро уже для всего будет поздно.

Он уже почти не может есть, но голода не испытывает. И почти не спит. Он уже очень давно не спал по-настоящему. Так почему бы ему не написать это письмо?

ПИСЬМО АЛЕКСА

Борт «Титаника», 11 апреля 1912 г.

Дорогой Гаврик, дорогой брат.

Это я, твой брат Саша. Наверное, мне давно следовало тебе написать. Но как только у меня всплывала мысль о тебе и обо всем, что я покинул, я тут же гнал ее прочь. В конце концов я уже не мог писать — прошло слишком много лет. И я оправдывал себя тем, что не знаю, где ты сейчас живешь, что мое письмо не найдет тебя. Петербург огромный город. Россия такая большая.

Конечно, время от времени я встречал соотечественников, и некоторые из них регулярно возвращались домой. Какая-нибудь добрая душа, конечно, взяла бы с собой мое письмо и постаралась найти тебя, если б я попросил об этом. Я бы сумел разыскать тебя, если б попытался.

Но правда заключается в том, что я этого не хотел. Я боялся писать тебе, боялся, что твои глаза прочтут написанные мною слова.

Однако все эти годы я каждый день думал о тебе. Ты всегда рядом со мной, когда я просыпаюсь, и ты рядом со мной, когда я засыпаю. Ты и сейчас стоишь в моей каюте.

Много воды утекло за эти годы. Я больше не знаю, как ты выглядишь, что де-

лаешь. Может, ты женат, живешь в губернском городе, преподаешь или работаешь на каком-нибудь горном заводе. Может, ты стал отцом. Я ничего не знаю.

Но я помню тебя бледным, темноглазым студентом, который каждое утро устало уходил из дому, чтобы на рассвете, миновав множество мостов, добраться до университета на Васильевском острове; у тебя на плече висит все та же потертая сумка, на голове — синяя фуражка.

А ты, каким ты видишь меня? Ты, конечно, считаешь, что меня уже давно нет в живых. Сначала ты, наверное, с горечью думал обо мне. Но со временем воспоминания обо мне, может быть, стали более светлыми? И ты уже мог с радостью вспоминать то, что скрывалось в далеком прошлом, за горькими временами, — наше детство, летние жемчужные вечера, искрящиеся зимние. Люди стараются не думать плохо о покойниках. Только покойники полностью соответствуют нашим воспоминаниям. Ведь они не могут вернуться и изменить их. Наверное, это и значит быть мертвым. Я умер. Самое лучшее привыкнуть к этой мысли.

Я помню тебя идущим через мосты.

Я бежал из Петербурга в январе 1905 года, вскоре после Кровавого воскресенья. Мне удалось пробраться на борт шведской шхуны. В море меня обнаружили, и капитан прочитал мне длинную проповедь о том, как позорно путешествовать «зайцем». Во всяком случае, я думаю, что его негодование было вызвано именно этой причиной, он — опять же по-шведски — грозил протащить меня под килем, а также сулил другие кары. Когда это было сделано, он перешел на русский. В Стокгольме у него была русская жена. В плавании ему ее не хватало. Вот если бы я сварил ему настоящий борщ, он сменил бы гнев на милость. Я не умел варить борщ. Но он все-таки сменил гнев на милость, и, пока мы плыли по Балтийскому морю, я чистил картошку. В начале февраля (по григорианскому календарю) мы прибыли в Стокгольм. Это очень маленький и симпатичный город. Я незамеченным сошел на берег и перебивался там разной случайной работой. Потом отправился дальше. Нанялся на пароход, который доставил меня в Англию. В Лондоне я потерпел полный крах. Я пил, я тосковал по дому, я раскаивался. У меня была с собой моя скрипка, и я играл на улицах.

Осенью того же года я встретил одного скрипача. Несколько лет мы с ним играли на англо-американских пароходах и, надо сказать, делали это совсем неплохо.

Вот так я жил, пока был покойником. У меня есть комнатушка на берегу. Несколько знакомых и ни одного близкого друга.

Но именно от этого я и бежал: ведь я вел жизнь, о которой не расскажешь даже брату.

Когда-то у меня был брат, который мной гордился.

Знал ли ты, Гаврик, что, оказывается, можно владеть человеком? И что есть люди, которые позволяют владеть собой? Я имею в виду не крепостное право, которое традиционно существовало в нашей стране.

Я имею в виду крепостное право воли.

Но что чувствуют люди, позволяющие владеть собой?

Тебе, конечно, известны в общих чертах события, приведшие к тому, что мне пришлось бежать из Петербурга. Должно быть, ты слышал об этом от полиции, когда она явилась за мной, или от кого-нибудь другого.

Позволь мне дополнить сложившуюся у тебя картину.

Все началось, когда я играл первую скрипку в кабаре на улице С. Заработок был скудный, работа тяжелая, играли мы допоздна. Я обещал матери сделать все, чтобы ты мог учиться в университете. Должен признаться, иногда это обещание тяготило меня, хотя я искренно любил тебя, Гаврик.

Виктор Зернов выступал у нас в кабаре в роли человека-змеи. Каждый вечер он проползал сквозь трубы и цилиндры, выгибался так, что касался головой поясницы. Ему ничего не стоило принять любое неестественное положение. Однажды он рассказал мне, как его тренировали. По его словам, это очень болезненно. Он и сам взял себе троих детей с подходящим телосложением, которые принимали участие в его выступлениях.

Помню, что весь ансамбль кабаре был им очарован. Не только его номером, но и им самим, его личностью, его манерой держаться. Глазами. Лицом. В его отно-

шении к публике и к коллегам было что-то насмешливое. Те трое детей, которых он обучал, находились полностью под его влиянием.

Думаю, он ненавидел людей. И думаю, он ненавидел самого себя.

Вскоре после того, как Виктора приняли в труппу, мы все оказались в его власти. Перед его уборной всегда толпились люди. Танцовщицы боготворили его. Артисты ансамбля бегали по его поручениям и лезли вон из кожи, чтобы угодить ему. Он не ведал ни благодарности, ни преданности. Может, именно поэтому люди и подчинялись ему? Может, именно это и влекло их к нему?

Теперь уже не помню, как и когда, но я вдруг оказался его другом, его избранником. Может, потому, что я играл соло в некоторых его номерах и все время должен был обмениваться с ним взглядами. А может, по чистой случайности. Может, он выбрал меня, как вытягивают лотерейный билет.

Я до сих пор вижу его лицо, кошачье, узкое. Вижу его улыбку, ослепительную, ледяную. Слышу голос, мягкий, но в любое мгновение готовый перейти в грозный рык.

Он сделал меня своим другом. Я добровольно вступил с ним в дружеские отношения, добровольно подчинился ему. Главным был он. Если он хотел разговаривать, мы разговаривали. Хотел молчать — молчали. Хотел пить водку — я тоже пил водку. Хотел шампанского — мы оба пили шампанское.

Мне нравилось подчиняться ему. Нравилось, когда он цинично и безжалостно разбивал мое мнение. Мои чувства и воля превратились в его крепостных. Он никак не влиял на меня, не давил. Ни к чему не принуждал. Я сам позволил ему сделать меня своей собственностью, уступил ему исключительно по слабости, исключительно из желания иметь деньги. Он сделал меня вором, квартирным вором, и я позволил этому случиться.

У него всегда было много денег, для артиста кабаре — слишком много. Мне было неприятно видеть, как он швырялся ими, когда мы с ним где-нибудь пили. Однажды я спросил, откуда у него столько денег, и он все открыл мне. Рассказал о своих ежемесячных кражах. Человеку-змее ничего не стоило проникнуть в любое отверстие.

Он поведал мне, как совершается и как готовится преступление. Он никогда не проникал в дом, не зная заранее, что там можно взять.

Ему нужен был помощник, чтобы стоять на стороже и принимать добычу. Не возьму ли я на себя эту роль?

Я был польщен. Я был как воск в его руках. Я боготворил его, был счастлив, что он обратился ко мне, оказал мне доверие. Так я стал вором.

И если теперь мне стыдно, то не потому, что я воровал. Богатые особняки на Аптекарском острове не стали беднее от наших набегов. Меня мучит то, что я позволил ему манипулировать собой, позволил собой командовать. Что мне нравилось быть адъютантом и мальчиком на побегушках у Виктора Зернова. Он украл мою волю, и я допустил это.

Дорогой Гаврик! Письмо получилось длинное, и я не знаю, сумел ли я объяснить тебе свое поведение так, чтобы ты понял меня. Впрочем, я не прошу ни прощения, ни понимания. Я только говорю, что я человек безвольный и нерешительный. Просто я плыл по течению. Был мальчиком на побегушках.

Когда Виктор Зернов во время нашей последней кражи застрял в дымовой трубе, я сбежал. И поделом мне, что он потом, когда полиция вытащила его из трубы, свалил всю вину на меня, сказав, что я был организатором краж, укрывал краденое и использовал его как подручного.

Я очень болен, Гаврик, жить мне осталось уже недолго. И пока еще есть время, мне захотелось написать тебе это письмо. Захотелось сказать, чтобы ты берег то, что принадлежит тебе, по-настоящему принадлежит: свою свободу...

Твой брат *Саша*

Пятница, 12 апреля 1912 г. Борт «Титаника»

Время в море движется не так, как на берегу. Часы проходят незаметно, пролетая вместе со светом и ветром. Все кажется простым и легким. Пассажиры встают, завтракают, пьют чай. Думают о том, что им хотелось бы сделать, о книгах и журналах, которые

взяли с собой. До полудня они читают. Прочитывают по четыре раза одну и ту же строчку. Мысли их разбегаются. Море так красиво, пароход так мал. Воздух и небеса бесконечны... Человек берет себя в руки и дочитывает абзац до конца. А тут уже и ленч.

После ленча пассажиры слушают музыку в зимнем саду или прогуливаются по палубе, встречаются со спутниками, обмениваются обычными фразами о спорте или политике — здесь, в море, и то и другое представляется одинаково далеким. На несколько дней человек изолирован от мирской суеты по обе стороны Атлантического океана. Расстояние между Старым и Новым Светом постоянно уменьшается, делается короче. Суда несут эти миры с собой — книги, серебро, турецкие бани, виски с содовой, вольтеровские кресла и грелки. И тем не менее человек находится в пути, в некоей пустоте. Никаких газет, никаких телефонных звонков. Разве что иногда телеграмма.

На скользившем по волнам «Титанике» царила приятная, расслабляющая праздность. Пассажиры первого класса поглощали завтраки и обеды с удвоенным от морского воздуха аппетитом, играли на палубе в разные игры, фотографировали друг друга у поручней, устраивали по вечерам шарады и викторины, играли в карты, заключали пари о расстоянии, покрытом судном за последние сутки, о скорости судна и о времени прибытия в Нью-Йорк. Играли в сквош на палубе G или расходовали полученные во время ленча калории в судовом гимнастическом зале. Обедали с друзьями и друзьями друзей в роскошном обеденном зале или в ресторане a la carte. Во втором и третьем классе, где было меньше удобств, чем в первом, часы в море протекали столь же безмятежно.

Ровно в десять каждый день, кроме воскресенья, старший механик, распорядитель рейса со своим помощником, судовой доктор и старший стюард поднимались на мостик к капитану Смиту, который встречал их в парадном мундире с регалиями на груди. Стоя по стойке «смирно», каждый отдавал рапорт. Ровно в 10.30 капитан Смит отправлялся с ними в ежедневный обход судна; они проходили по всем коридорам, салонам и кают-компаниям во всех классах, осматривали камбуз и пекарню, парикмахерскую и бары, буфетные и кладовые, изоляторы для больных и машинное отделение. Эти люди в морской форме осуществляли инспекцию и контроль тщательно и ответственно, обращая особое внимание на порядок, чистоту, дисциплину и прежде всего безопасность. Проверяли иллюминаторы и лебедки, шлюпбалки спасательных шлюпок, выговаривали за небрежно задвинутый совок в угольном бункере, от их внимания не ускользало даже грязное кухонное полотенце; снова и снова задраивались люки трюмов, окурок на полу в прачечной служил поводом для строгого внушения. Совершив свой ежедневный обход, офицеры возвращались на мостик, где все предложения и замечания заносились в судовой журнал. Потом капитан совещался на мостике с вахтенными офицерами и своими помощниками, сообщал им о результатах проведенной инспекции, корректировал курс судна и отдавал распоряжения на предстоящий день.

По всему судну неутомимо сновал Томас Эндрюс из компании «Харланд энд Волф» и делал заметки. Он совещался с капитаном, беседовал с директором Исмеем. Разговаривал с юнгами и кочегарами. Не должен ли этот крюк висеть чуть ниже? Не трудно ли в камбузе управляться с большими котлами? Есть ли место, где могут присесть подносчики угля? Не нужно ли отшлифовать полки в шкафах для постельного белья наждачной бумагой? Довольны ли горничные санитарными условиями? Так он знакомился со всем судном от носа до кормы; ничто не ускользало от его внимательного взгляда, и команда проникалась уважением к инженеру, который создал этот прекрасный пароход и хотел облегчить их работу. Он был отцом «Титаника» и приходился дядюшкой всей команде. Эндрюс не обошел вниманием и музыкантов — поинтересовался, достаточно ли вместительно помещение, где они хранят инструменты, не холодно ли им, не жарко ли, достаточно ли света по вечерам, когда они выступают.

Жизнь музыкантов во время рейса была спокойной. Утром они были свободны, потом играли во время ленча и давали концерт в зимнем саду. С трех до пяти они опять были свободны, потом играли в ресторане и давали вечерний концерт. После такого напряженного дня к одиннадцати часам они добирались до коек уже смертельно усталые. Однако ничего лихорадочного в их работе не было. Благодаря миру и спокойствию, царившим на «Титанике», даже темп исполняемой музыки стал медленней.

Давиду приходилось многое постигать на ходу. Он научился понимать знаки Джейсона, почувствовал характер и стиль легкой музыки, и постепенно их ансамбль стал более слаженным.

В свободное время ему было на что посмотреть. В четверг он каждую свободную минуту стоял у поручней, стараясь проникнуться морем, которое потрясло его своей тишиной и бесконечностью.

Словно зачарованный, Давид глядел на бурлящую вдоль борта воду, на сопровождавших судно морских птиц, которые будто неподвижно висели в воздухе. Море завладело им целиком. Оно затронуло в нем новые струны, от счастья у него кружилась голова, и ему было немного страшно.

В пятницу утром музыканты расположились за одним из столов в кают-компании. Они поглощали гренки, яичницу с беконом, джем, чай и кофе. Петроний макал в кофе маленькие кусочки гренков. Алексу явно было не до еды, и он вскоре покинул кают-компанию. Джим зевал. Джейсон ел с аппетитом, как ни в чем не бывало. Давида заинтересовало название парохода — «Титаник», — что, собственно, оно означает по-английски?

— Собственно говоря, судно называется «Титан», — начал объяснять Джейсон. — Однако к названиям всех судов, принадлежащих компании «Уайт стар лайн», прибавляется суффикс «ик»»: «Келтик», «Мегантик», если, конечно, этот суффикс не входит изначально в имя судна — например, «Седрик», «Балтик», «Адриатик». «Титаник», так сказать, брат «Олимпика», а третье судно этого же класса, когда его построят и спустят на воду, будет называться «Гигантик». Компания «Кунард лайн» дает своим судам названия, оканчивающиеся на «ия»: «Карония», «Иверния», «Лузитания», «Мавритания».

Слово взял француз Жорж.

— Другими словами, — он кашлянул, — все три брата «нашего» класса — «Олимпик», «Титаник» и будущий «Гигантик» — получили свои имена из греческой мифологии, точнее, из «Теогонии» Гесиода и орфического мифа о сотворении мира...

*

Утро. Давид и Джим стояли на баке. Перед ними лениво перекатывались волны. Гребешки волн слегка пенились. Погода была по-прежнему ясная, с легкими кучевыми облаками.

На море не было видно ни одного судна, Давидом вновь овладело счастливое чувство бесконечности. Он задыхался от морского воздуха.

— Чувствуешь запах? — спросил Джим.

Запах? Давиду захотелось его почувствовать. Он принюхался к ветру.

— Неужели ты его не чувствуешь, он же такой явный? — Джим засмеялся. И в самом деле, в воздухе ощущался дух большого, открытого пространства, обнимавшего все море, весь океан, все небо. — Знаешь, что это за запах?

— Нет.

— Это запах свободы.

У Давида закружилась голова. Джим положил руку ему на плечо.

— Свобода непостижима, — сказал он. — Она может испугать человека, если он не привык к ней. Точно так же, как море.

— Ты вырос на берегу моря?

— Да. На севере, в рыбацком поселке. Наш дом стоял у самой воды. Во время шторма волны иногда хлестали в окна. Но шторм длится не вечно. Чаще на море бывает тихо. В солнечную погоду волны смеются, болтают. Можно вбежать в море, я так и делал в детстве, летом, конечно. — Глаза Джима были прикованы к горизонту. — Мы встречали рыбацкие боты, полные рыбы, и сильные, обветренные руки рыбаков лежали на веслах... Подходя к берегу, рыбаки убирали паруса и шли на веслах. Мы, дети, бежали к воде, чтобы помочь им. Сперва вытаскивали боты на сушу, мы бегали по камням и помогали тянуть... А запах рыбы! Ничто не может сравниться с запахом только что выловленной трески... Ты хоть раз нюхал свежую треску?

— Нет.

— Треска блестит и бьется в садках. Мы совали руки в садки и гладили скользкую, бьющуюся рыбу... Корпус корабля имеет форму рыбы, он такой же обтекаемый... Рыба совершенна, совершенна, и все тут. Иногда, если вода прозрачна, рыба кажется блестящим глазом, глядящим из глубины. Но она тут же сливается с косяком. Ты знаешь, что такое косяк? Косяк — это рыбье стадо. В нем сотни, тысячи рыб. От этого зрелища нельзя оторваться. В глубине как будто скользит множество серебряных предметов. Но видны они лишь мгновение, когда на них падает солнечный луч. Косяк — это единое целое; он движется, подобно летящей стае. Только еще быстрее, стремительнее. Глядя на косяк, понимаешь, что никогда не сможешь спуститься к нему. Я в детстве мечтал стать рыбой в таком косяке. Хе-хе. Такой же бесшумной и гибкой. И чтобы мою спину так же освещал проникающий сквозь воду луч солнца. Странное, должно быть, ощущение. К этой рыбе нельзя прикоснуться.

— Да, если не поймаешь.

— Ну, это уже совсем другое. Тогда ты прикасаешься словно и не к рыбе. Вытащенная в лодку, она перестает быть рыбой, просто лежит и бьется. В лодке она становится предметом, вещью и должна умереть.

Джим вдруг стал серьезным и даже мечтательным. Его взгляд по-прежнему был прикован к полосе, где небо и вода сходились друг с другом. Он взволнованно продолжал:

— В нашем поселке все мужчины были рыбаками, кроме священника, трактирщика и лавочника. Хотя, если на то пошло, трактирщик имел долю в боте моего отца. Боты уходили в море на несколько дней. На рыбаках были робы, зюйдвестки и высокие морские сапоги. А посмотрел бы ты на них, когда они возвращались! Грязные. Обветренные. Волосы жесткие от соли. Но по воскресеньям рыбаки надевали белые рубашки и шли в церковь. Они были очень набожны. И никогда не пропускали службу.

— Джейсону, наверное, не понравилось бы, что они верят в Бога. Он-то не верит. — Давид невольно улыбнулся.

— Он просто не понимает, что для рыбака в открытом море, в маленькой лодке... Там Бог для него единственная опора, кроме собственного разума. Ум всегда вывезет, любил говорить мой отец. Но когда ум бессилен, остается уповать только на Бога. Представь себе, что лодка перевернулась в открытом море... Представь себе бескрайнее море. Там тебя ум не спасет. Многие так и не вернулись обратно. Нет, в море человеку без Бога нельзя.

Я был и рыбаком, и моряком. Я рано ушел из дому. Помню, у нас в поселке некоторые ненавидели море. Особенно один рыбак, в ночь перед выходом в море он никогда не спал. Никогда. Однажды его шхуна потерпела кораблекрушение, и он вместе с братом целую ночь держался на киле перевернутой лодки, пока их не нашли. Брат к тому времени уже умер, но они так крепко держались друг за друга, что спасатели с трудом оторвали мертвого от живого. С тех пор он боялся выходить в море. Все боялись, они знали, что там может случиться. Но выходили, словно их кто-то проклял. Артель за артелью. — Уголки рта у Джима опустились, лицо стало строгим и задумчивым. — Нет, во время шторма или кораблекрушения человек вдруг понимает, что если раньше не верил в Бога, то теперь верит. Иначе нельзя.

— Но ведь мы сейчас в море, — помолчав, сказал Давид. — В открытом море.

— Вот именно. — Джим повернулся к нему. — Мы в море. — Он улыбнулся. — Но я больше не рыбак. И не моряк. К счастью. У меня были способности к музыке. И с ее помощью я вырвался оттуда...

*

С четверга по субботу «Титаник» прошел девятьсот морских миль.

Ты не пугайся: остров полон звуков —
И шелеста, и шепота, и пенья;
Они приятны, нет от них вреда.
Бывает, словно сотня инструментов
Звенят в моих ушах; а то бывает,

Что голоса я слышу, пробуждаясь,
И засыпаю вновь под это пенье,
И золотые облака мне снятся,
И льется дождь сокровищ на меня...
И плачу я о том, что я проснулся.

Шекспир, «Буря»
(Перевод М. Донского)

ИСТОРИЯ СПОТА

Суббота, 13 апреля. 47° северной широты, 30° западной долготы, 22.30

Спот сидел на койке, прислонившись головой к переборке. В каюте никого не было, наконец-то никого. До него не сразу дошло, что он один, впервые за последние дни, но он не знал, надолго ли.

Спокойным, решительным движением он достал из внутреннего кармана маленькую жестяную коробочку; в таких коробочках мужчины обычно держат нюхательный табак.

— Дорогая табакерочка, — ласково шепнул он, — дорогая моя табакерочка.

Он открыл ее — все было в порядке. Подтянув ноги так, что колени почти касались подбородка, Спот извлек из правого кармана зеркальце и тонкую трубочку. В коробочке вместе с кокаином лежало бритвенное лезвие. Осторожно, легкими, точными движениями Спот насыпал на зеркальце чуть-чуть порошка.

— А теперь, — сказал он, почти не дыша, чтобы не сдуть порошок, — теперь, порошочек, теперь, мой снежочек... — Зеркальце было зажато между коленями; наклонившись вперед, Спот увидел в нем свои глаза и почувствовал укоры совести.

— Снежок грез, — проговорил он, глядя в глаза под белым порошком. Грудь у него стеснилась. Потом он без колебаний втянул в себя порошок. Внутри жгло, но он знал, что делает. Быстро вставив трубочку в другую ноздрю, он сделал еще один вдох. Жжение заметно усилилось.

— Ты взрослый человек, — вполголоса сказал он себе. — Уже не ребенок. И это не игрушки. Ты справишься. — Он вытащил трубочку и посмотрел на зеркальце. На нем осталось несколько крупинок порошка. Спот принес их в жертву Гелиосу, сдув на лампочку, висевшую на потолке.

Некоторое время он сидел неподвижно, все так же сжавшись. Где-то в нем и у него за спиной что-то росло и распускалось, словно цветок. Цветок рос и рос, пока не заполнил Спота целиком; после этого цветок продолжал расти и в конце концов заполнил все пространство. Спот вытянул ноги и удобно откинул голову назад. Скоро пространство станет слишком тесным. Какое-то время он еще просидит так, но потом ему понадобится движение. Руки и ноги у него обессилели, тело напряглось, и его охватило чувство, в котором смешались и боль и радость.

Вообще Спот был дитя солнца, а вовсе не тот бледный, молчаливый, иронически улыбающийся человек ночи, за которого его всегда принимали. Внешность обманывала. На самом деле он не был и брюнетом; так лишь казалось после того, как он стал взрослым. На самом деле волосы у него были золотистые, светлые и легкие, а глаза — темные и ясные. Когда он теперь по утрам смотрелся в зеркало, он знал, что видит не себя, что это просто злой обман. Спот знал, что, когда он впервые осознал себя, впервые увидел себя в зеркале и понял, что это он, — перед ним был совсем другой человек. Маленький мальчик с золотистыми локонами и тупым носиком. Его настоящее лицо было именно таким. Где-то в нем жил тот светловолосый мальчик. Очевидно, от этого мальчика и зависело все, что сформировало его лицо, заставило потемнеть волосы, а глаза — сузиться и помутнеть.

Да, он принадлежал солнцу. Бывали дни, когда Спот не мог смотреть на себя в зеркало. Хотя чаще все обходилось благополучно. Он еще мог работать, еще справлялся с ежедневной нагрузкой — еще держал под контролем возникшую в нем пропасть, которая грозила разорвать его надвое.

Спот заметил, что чересчур напрягся, и заставил себя дышать спокойнее, сознательно замедлил пульс. Иначе у него началась бы дрожь и он уже не смог бы ее унять. Главное, держаться ближе к солнцу. Соединиться с ним.

Он принадлежал солнцу. Спот помнил, как однажды, давным-давно, играл для солнца на скрипке. Тогда его инструментом была скрипка, а не рояль. Он стоял в холле и играл упражнения, но никто за ним не следил. Двери в сад были распахнуты, и сквозь портьеры проникал нежный солнечный свет. Лет ему тогда было немного — он помнил, что смотрел на нотный пюпитр снизу вверх. Наверное, ему тогда было семь. На стене в холле висело большое зеркало, перед которым все обычно замедляли шаг, когда выходили из дому или принимали гостей. Но в ту минуту он даже не видел этого зеркала. Взгляд его все чаще обращался к портьерам, скрывающим от него солнце и сад. Он ощущал, что воздух в саду напоен солнцем, что оно тяжело и лениво дышит в кронах деревьев. Но он был послушный мальчик и послушно играл этюды. Он знал, что только после этого ему позволят выйти в сад. И все-таки в тот день что-то было не так, как всегда. Потому что звуки, лившиеся из его скрипки, казались жалкими и слабыми по сравнению с тем, что доносилось до его слуха из сада. Он заметил, что даже свет был какой-то мелодичный, в нем звучал какой-то мелодичный гул. И, забыв обо всем, но продолжая играть, он пошел к распахнутым стеклянным дверям. Звук снаружи, который вовсе и не был звуком, заглушил все и казался знакомым. Наверное, ему было лет семь. Он хотел туда, в сад, и откинул портьеру в сторону...

Теперь Спот уже не помнил, что случилось в ту минуту. Он пришел в себя в саду, на дорожке, посыпанной гравием. Он стоял и играл на скрипке. И все время лицо Спота было поднято вверх, к кронам деревьев, к солнцу, которое пряталось и дышало в них. Солнце было повсюду — в деревьях, в траве и даже в гравии на дорожках сада. Оно было и в нем и вокруг него. И прежде всего оно было в его скрипке. Счастливый, он ходил по саду и страстно играл для того, что было повсюду. Его окружала музыка солнца, он ощущал ее, она почти воспринималась обычным слухом. Он ходил по саду и подыгрывал ей на скрипке; он и не думал, что может так играть, не имея перед глазами нот. Его руки сами делали все что нужно. Он играл, пока его не настиг голос, кричавший уже в третий или четвертый раз:

— Лео!

Он медленно опустил смычок.

— Лео! Что ты делаешь?

Только что он упивался блаженством, теперь все оборвалось. Это мать. Лео знал: сейчас она будет его бранить.

— Разве мы с папой не сказали, что ты сможешь выйти в сад только после занятий?

Он опустил голову.

— И что же? Ты играешь в саду! А если бы ты повредил скрипку? — К счастью, голос матери быстро смягчился.

Лео молчал. Ему хотелось одного — снова соединить смычок и скрипку. Потому что за голосом матери все еще слышалась мелодия солнца. Все еще было почти таким, как минуту назад. Он еще мог бы настичь великую музыку, если бы поспешил. Поэтому он не прерывал бранившую его мать и позволил увести себя обратно в холл, где она села на стул, чтобы слушать, как он доигрывает свои упражнения.

Опустив скрипку, Лео случайно взглянул в большое зеркало. И увидел себя в светлой курточке и штанах до колена. Увидел собственное лицо, круглое и мягкое, и на нем два больших темных глаза. Увидел золотистые локоны, рассыпанные по плечам. Удивленный до глубины души, он смотрел на себя, стоявшего со скрипкой и смычком в руках. Это было похоже на красивую, волшебную картинку.

— Теперь ты играл хорошо, Лео, — сказала мать.

Лео. Лео Левенгаупт. Спот уже не смел произносить это имя, не мог даже думать о нем и боялся, что когда-нибудь неожиданно услышит его от других. Он всегда боялся этого имени, боялся того, что ему сопутствовало, того, о чем оно могло напомнить, боялся, что сам по неосторожности произнесет его.

Вундеркинд и баловень судьбы. От него многого ждали, и он никого не разочаровывал. Вначале не разочаровывал. Лео с золотыми локонами и темными глазами — сердца тетушек и пожилых родственниц таяли от восторга. О Лео и его музыкальных способностях было доложено королю Вюртемберга. Уже в двенадцать лет он давал концерты.

И при этом почти все время Лео был глубоко несчастен и его терзал страх.

Но вначале это было незаметно. Вначале, когда он сочинял свои первые маленькие пьески и исполнял их дома и в других местах, он был счастлив. Старые дамы, словно сшитые из одних кружев, и мужчины в военной форме или во фраках с длинными фалдами аплодировали ему. Куда только родители не возили его, сколько он дал домашних концертов! Он играл, на скрипке и на фортепиано. Ему аплодировали. Маленький Моцарт, сказал кто-то. После концертов Лео приходилось есть пирожные и пить ликер. Он до сих пор не выносит вкуса ликера. Родители гордились им. Постепенно, сам не замечая, Лео получил то, чего не имели другие дети. Родители тратили огромные деньги на его одежду, на инструменты, на учителей. Учителя приходили и уходили, а техника его игры постоянно улучшалась.

Наконец, примерно между первым ликером и пятым учителем музыки, Лео все возненавидел. Он возненавидел родителей, возненавидел концерты, как официальные, так и частные. Частные были еще хуже официальных. Особенно если на них присутствовали сиятельные особы. Лео постепенно обнаружил, что люди в кружевах или со шпагами ничего не понимают в музыке и аплодируют всем подряд.

Может, именно тогда в его душе и возникла эта трещина, эта пропасть между правдой и ложью. Первая трещинка появилась, должно быть, очень рано. Так рано, что он едва ли мог заметить ее. Может, она появилась в тот полдень в саду, когда он играл вместе с солнцем и его прервала мать.

Потому что солнце коснулось Лео Левенгаупта. Его игра, но в большей степени его сочинения, которые начали у него появляться, как у всякого вундеркинда, были проникнуты отзвуками великой музыки, услышанной в тот день. Она все еще жила в нем. Но ни родители, ни учителя не были в состоянии понять, что Лео, который давал концерты и по-детски изящно отвешивал поклоны, не имеет ничего общего с настоящим Лео, с тем, который в одиночестве записывал ноты и, двигаясь ощупью, находил отзвук чего-то, слышного только ему.

Однажды теплым весенним вечером он сидел в своей комнате и что-то сочинял... небольшой хорал или сонатину. Трудно сказать. Музыка сама должна найти свой путь. Он узнал новое слово: имманентный. Идея произведения должна имманентно присутствовать в его отдельных частях. Оно должно складываться по своим законам. Весенний вечер мягок, перо слегка царапает бумагу. Он здесь. И он счастлив. Уже несколько дней он не видел ни одного импресарио и не чувствовал даже запаха ликера. За окном в деревьях тихо играет вечерний ветер.

В дверь стучат. Войдите. Лео не знает, думает ли он про себя или говорит вслух. Он транспонирует свое сочинение из одной тональности в другую. Появляется отец. Большой, широкоплечий, толстый. Лео недоволен собой: как можно так думать о своем отце? Почему он видит отца таким, каков он есть, то бишь брюхом? Неужели нельзя не замечать того, что отец — самодовольный, старый кавалерийский офицер, давно заключивший мир со всем миром и со своим брюхом, человек, который купается в лучах растущей славы своего сына и больше всего похож на лошадь. Лео трудно это понять, но между отцом и лошадьми есть какая-то связь. Наверное, он несправедлив к отцу, наверное, он слишком нервный, словом, с ним самим или с отцом что-то не в порядке, если ему на ум приходят такие мысли. Сколько ему тогда было? Не много. И когда это было — до или после Великого Учителя? Примерно в то же время. Значит, двенадцать или тринадцать. Отец открывает рот, он не извиняется за свое вторжение, он слишком взволнован, сейчас он преподнесет Лео какой-то необычный сюрприз. Лео послушно ждет. Он воспитанный ребенок. Когда человеку приходится много упражняться, он привыкает подавлять свою личность, по крайней мере в мелочах. Кроме того, ему приходилось беседовать с герцогами. Поэтому он вежливо отрывается от соль минора.

— Лео, тебе подарили коня! — восклицает отец.

В Лео происходит что-то похожее на взрыв, и он не знает, плакать ему или смеяться.

— Коня? Какого коня, папа? — Интонация — естественный восторг. Выражение лица — недоверчивая улыбка. Это необходимо, этого от него ждут. — Но у меня уже есть лошадь, — говорит он наконец.

— Да, но тебе подарили настоящего коня. Чистокровного жеребца.

— Но...

— Его только что привели.

— Да, но...

— Он уже стоит у нас в конюшне.

— Да, но откуда он взялся? Кто его привел?

При этом он думает: у меня нет времени еще на одну лошадь. Что мне с ней делать? Чем я был занят? Он пытается мысленно вернуться к своей работе, но отец говорит:

— Это подарок! И угадай от кого!

Лео не может угадать. Он удручен.

— От тебя с мамой?

— Очень мило, что ты так думаешь. Но ты ошибаешься. Ошибаешься. Этот жеребец от... его прислал...

Лео видит, что с отцовского лица, точно забрало, вот-вот слетит строгая маска кавалериста, отец вот-вот потеряет самообладание. Его восторг слишком велик. Он хлопает себя по ляжке, словно это не ляжка, а круп лошади:

— Его прислали... оттуда! — Он показывает на стену.

Лео не сразу понимает, что отец имеет в виду портрет на стене.

— Подумай только... *Он*... *Он*... прислал тебе коня! В подарок. В знак признания твоего таланта... — Чувства переполняют отца, это бывает крайне редко, но теперь именно тот случай: Лео вынужден встать и позволить отцу обнять себя. — Мы! Ты далеко пойдешь... Если уж *Он* подарил тебе...

И Лео понимает, что битва проиграна. Он не сможет провести остаток вечера в своей комнате, как собирался. Ибо если *Он*...

— Именно то, о чем ты мечтал! — восклицает отец.

Лео покорно закрывает чернильницу крышкой и отправляется с отцом в конюшню. Битва проиграна. Это одно из самых крупных его поражений, которое он запомнил на всю жизнь. Но было много и мелких. Тысячи мелких поражений в его борьбе против несокрушимой силы кавалерии.

Каждое утро Лео спускается в конюшню и седлает Зверя. У него уже есть трудное греческое имя, и его родословная длинна, как партитура «Дон Жуана», но для простоты Лео называет коня Фиделио.

Лео до смерти боялся, когда ему предстояло первый раз сесть в седло. Конь был большой и горячий. Но Лео проявил мужество. Он думал: ну и пусть, пусть он сбросит меня и я сломаю себе шею. Эта мысль немного успокоила его. Так или иначе, страх прошел и он храбро сел в седло. Зверь был воспитан и сдержан, как настоящий придворный. После более близкого знакомства между Лео и Фиделио установились неофициальные, нейтральные отношения. Белле на ухо Лео мог шепотом поверить любую свою тайну, потому что знал: она все поймет и не проболтается. Что же касается этого Фиделио, Лео был почти уверен, что тот побежит к отцу. Или же к *Нему*.

Должно быть, именно тогда в Лео появился своего рода цинизм, между его мыслями и поведением возник разрыв.

Постоянные концерты, бесконечные занятия; с годами их становилось все больше, и с каждым днем Лео все отчетливей сознавал, что его призвание — композиция.

Это началось рано, с маленьких менуэтов и гавотов, которые Лео сочинял, подобрав на скрипке или на фортепиано подходящую тему. Ничего особенного в них, разумеется, не было, однако учителя приходили в восторг и поощряли его усилия. Лео слушался учителей. Постепенно сочинение музыки сделалось его тайным миром, единственным прибежищем, где он мог укрыться от людей. Жители Хенкердингена менялись, когда заговаривали с ним: либо становились преувеличенно вежливыми, либо лица у них

каменели и в них сквозила даже злоба. Глядя на Лео, люди, словно ослепленные его блеском, опускали глаза или делали усилие, чтобы посмотреть ему в лицо, но порой у них в глазах сверкал серый лед. Лео старался не замечать этого, однако ничто не помогало — его ждали либо раболепное преклонение перед чудом, либо ледяной взгляд.

Дома отец придерживался строгих правил. Он был образцом немецкого офицера и дворянина — бережливый, прилежный, дисциплинированный. Он никогда не пытался понять, что же кроется за пределами привычной повседневности. Когда Лео играл, отец с вежливым восторгом аплодировал. Он клевал носом, слушая длинные произведения, но при необходимости мог спать в седле так, что никто этого не заметил бы. По утрам он делал холодные обтирания; Лео с ранних лет тоже делал холодные обтирания. Небольшое состояние семьи было разумно помещено и давало доход, да и усадьба тоже кое-что приносила. Словом, отец мог обеспечить Лео лучшими инструментами и лучшими учителями. А также, разумеется, оплачивать лошадей, фехтование и охоту.

Лео начал ездить верхом чуть ли не раньше, чем научился ходить. Домашней одеждой были кавалерийские бриджи, переодевались только к обеду. Лео всем сердцем ненавидел эти бриджи. В доме царил характерный запах — запах печного дыма, керосина, лошадей и кожи. Главным образом кожи. Лео помнил его с детства, он с ним засыпал и с ним просыпался. Но со временем этот привычный запах стал его угнетать. Поэтому в его комнате окно всегда было приоткрыто, и зимой, и летом. Важной частью его детства были также фехтование и осенняя охота. Лео умел подчиняться, он стрелял в зайцев с тех пор, как научился целиться из ружья. После охоты Лео несколько дней был не в состоянии ни о чем думать, не говоря уж о том, чтобы сочинять музыку.

Но случались и тихие вечера, часы, когда никто не мешал ему, когда дневные занятия заканчивались, когда упражнения, уроки, стрельба, верховая езда и прием пищи исчезали, как дурной сон. Вот тогда начиналась его настоящая жизнь; он словно спускался с темного чердака, куда был сослан, и к нему приходила музыка. Достаточно было посидеть пять минут за столом. Он еще не знал, чем должен или хочет заняться, просто сидел и смотрел вдаль, постукивая черенком ручки по передним зубам. За окном лежал сад, за садом — поля. И никогда никого, только деревья и животные. Трудно сказать, откуда приходили первые звуки, Лео едва слышал их, они были как далекие отголоски чего-то. Две-три ноты. Он еще не писал. Он ждал ритма, такта, дыхания, которые должны были заполнить его, увлечь за собой. Вот тогда все и случалось. Воздух наполнялся музыкой, Лео только записывал ее. Он творил из того, что приходило к нему, уверенно выбирая нужную форму из тысячи возможных. И забывал обо всем на свете.

Постепенно его прибежищем стали и ночи. Лео мог сидеть перед окном с вечера и до рассвета. Иногда он просыпался, проспав всего часа два, мигом оказывался за столом, зажигал лампу и продолжал сочинять. После такой ночи ему было трудно делать холодное обтирание в семь утра. Он не мог внимательно следить за объяснениями учителя. Но Лео стискивал зубы и делал все, что от него требовали. Ибо знал: у него отберут ночи, если обнаружат, что это мешает его занятиям. Вообще родители не возражали против того, что он каждый вечер сочиняет музыку; эти сочинения только укрепляли его растущую славу. Однако самыми важными считались музыкальные упражнения. Лишь со временем, уже на исходе детства, Лео понял, почему упражнениям отводилась главная роль. Ведь сочинение музыки почти не приносит денег. Солист же мог стать богачом. К тому же с точки зрения среднего немецкого дворянина в композиторе, человеке, который создает нечто свое и выносит это на суд мира, не позволяя миру оставаться таким, как прежде, было что-то подозрительное и ненадежное. Разумеется, все читали и Гёте и Шиллера и позволяли себе восхищаться Бетховеном, Шуманом и Моцартом. Их бюсты, словно покрытые сладкой глазурью, занимали почетное место в библиотеках и музыкальных салонах. Но у всех этих вышеназванных творцов были свои странности, о которых редко говорили, да и от нынешних творцов старались держаться на расстоянии. Творцом можно гордиться лишь на определенной дистанции. Бедный Шиллер, какая ужасная была у него жизнь! Непонятно, почему он не возобновил свою офицерскую карьеру, ведь он так нуждался в деньгах. Правда, сегодня людям искусства живется гораздо легче. Семья и друзья восхищались юным Лео. Смотрите, в наши дни одаренный

молодой человек сумел снискать признание даже в самых высших кругах, даже... Да, да. У них были все основания восхищаться Лео...

Но сочинению музыки, своей настоящей жизни, Лео приходилось отдавать ночи — время, которое было необходимо ему для сна.

Больше Лео уже не выходил в сад со скрипкой, чтобы играть для солнца.

Учителя музыки постоянно менялись. Когда Лео было тринадцать, их посетил Великий Учитель. Он приехал из Парижа, и уже за несколько дней до его приезда Лео начала бить нервная дрожь. Словно их должен был посетить сам Господь Бог. Он приехал в черной карете с гербом на дверцах. И до такой степени был Богом, что обычные учителя Лео с радостью бы согласились быть принесенными ему в жертву, если б их об этом попросили. Родители — тоже, даже без всякой просьбы. Но стать жертвой предстояло Лео.

Из кареты вышел хрупкого сложения господин в черном костюме, высоком цилиндре и лайковых перчатках. Когда он снял цилиндр, на волю вырвалась буйная черная шевелюра. У него были темно-голубые пронзительные глаза и орлиный нос. Приветствуя родителей Лео, маэстро обнажил ряд белоснежных зубов, клыки у него были длинные и острые. Наконец он поздоровался с Лео.

— Так это и есть молодой Левенгаупт, о котором я столько слышал? — сказал он на ломаном немецком, внимательно изучая лицо Лео.

Лео вежливо поклонился.

Потом из кареты вышел слуга с непокрытой головой, он был важен, как человек, облеченный доверием, и держал в руках футляр со скрипкой. Он тоже был в черном, как и маэстро. Теперь Лео заметил, что оба они словно мерцали и переливались, их платье поблескивало, как черный антрацит. Он вспомнил, что маэстро всегда носит черный шелк или парчу — говорили, будто во всех других тканях он зябнет.

Футляр со скрипкой был тоже обтянут черным шелком.

После обеда все прошли в музыкальный салон, и Лео начал играть. Он играл Моцарта и «Чакону» Баха, каприс Паганини, три пьесы Вьетана и этюды из «Скрипичной школы» Берио. Наконец он опустил скрипку. Маэстро в черном некоторое время сидел не двигаясь, словно погруженный в раздумья. Потом сказал:

Гм! — и снова надолго замолчал. Родители с тревогой переглянулись. — Ну хорошо, — изрек наконец маэстро. — Я только не понимаю, что мальчик делает в этой глуши. В его игре много огрехов, которые необходимо устранить. Он должен приехать ко мне. В Париж. Я больше не буду гастролировать, мне предложили профессорскую кафедру. Он мог бы посещать мои занятия. Гм. Ему надо поехать в Париж. И поучиться там пять или шесть лет. Надо больше заниматься. Шести часов в день явно недостаточно. При его технике ему следует заниматься не меньше десяти. Но он еще слишком юн. И мал ростом. Гм. — Маэстро посмотрел на отца Лео: — Придет день, и ваш сын перестанет быть ребенком. Сейчас интерес публики привлекает именно ребенок. Гм, — опять хмыкнул он. — Ты смугл. Но под этой смуглотой скрывается бледность. Почему? Гм. На скулах и у висков темные тени. Так-так. — Он пальцем скользнул к левому глазу Лео. Оттянул нижнее веко и обнажил белок. Лео оцепенел от страха. — Гм, — хмыкнул маэстро в черном, увидев на белке красные жилки. Лицо его оставалось замкнутым и суровым, глаза строгими. Вдруг он отпустил Лео, словно выронил из рук какой-то предмет, и повернулся к его родителям: — Мальчик достаточно бывает на свежем воздухе? — спросил он.

Последовал подробный отчет о фехтовании, охоте и о великолепном коне, подаренном...

Маэстро прервал отца на полуслове, он снова стал Богом:

— Мальчик играет еще далеко не так хорошо, как нужно. Но он может стать неплохим скрипачом. Думаю, так. Определенные данные у него есть.

— Но ведь он уже концертирует! — Мать была немного задета тем, что маэстро не выказал восторга. — Он даже...

— Гм, — хмыкнул Бог, и мать умолкла.

— Мне бы хотелось поговорить с юным Левенгауптом с глазу на глаз, — бесцере-

монно заявил маэстро в черном. — И послушать, как он будет играть без посторонних.

Родители нерешительно поднялись. Они покинули музыкальный салон, смущенные тем, что маэстро не осыпал игру Лео похвалами, какие они привыкли слышать из уст других ценителей музыки.

Маэстро сам закрыл двери за родителями Лео. Потом кивнул своему слуге, стоявшему в углу наготове с футляром. Слуга поднес ему футляр и открыл его. Внутри он был обтянут синим бархатом, и на этом бархате покоилась скрипка.

— Гварнери, — спокойно сказал маэстро.

Казалось, что скрипка излучает сияние — покрывавший дерево лак придавал ей необычный золотисто-красный оттенок; в футляре лежал не предмет, а кусочек солнца.

Маэстро знаком приказал слуге покинуть комнату. Потом заговорил:

— Это один из последних шедевров Джузеппе Гварнери дель Джезу. Такая скрипка не просто произведение мастера, ее можно сравнить с симфонией, созданной художником. Бедный Джузеппе! Бедный, несчастный человек! Месяц за месяцем, пьяный и злой, он ходил в отчаянии по улицам Кремоны из одного трактира в другой и пытался забыть, что ему не хватает мужества закончить начатый инструмент — ведь он пытался создать совершенство... Рукотворные скрипки никогда не звучали так, как они звучали в его мечтах. Он работал и был несчастен оттого, что результат не удовлетворял его. Вот! Посмотри на нее! — Маэстро быстро взглянул на Лео: — Видишь, какой цвет? Какой гриф? На своих скрипках Джузеппе Гварнери всегда ставил буквы I.H.S. — инициалы Христа, — Jesus Hominum Salvator[1], — он словно просил прощения за свою небезгрешную жизнь, просил спасти его несчастную душу, понимавшую, что такое совершенство, но не сумевшую воссоздать его на земле. Поэтому его называли дель Джезу, что означает «посвященный Христу».

Маэстро сделал паузу. Лео молча смотрел на инструмент, ему все еще было страшно.

— Ель для верхней деки Джузеппе выбирал сам, как и клен для нижней, и иву для пружины и подставки внутри скрипки. С лаком он экспериментировал десять лет. Этой скрипкой мы обязаны венецианцам. Да. То есть нет. Ею мы обязаны морю: по морю к нам с берегов Балтики пришел янтарь для лака; из Вест-Индии мы получили копал-канифоль, из Ост-Индии — шеллак, из Северной Африки — сандаловое масло, Зондские острова дали нам мастику, а Иллирия — скипидар... Все это пришло к нам по морю, поэтому скрипка по своей форме так похожа на судно, а завиток, венчающий гриф, свернут, точно домик морской улитки, точно ракушка! И на таком инструменте мы осмеливаемся играть!

Маэстро одним махом выхватил из футляра своего Гварнери и прижал к подбородку. На секунду они с Лео замерли, глядя друг другу в глаза, Лео чувствовал, как он покрывается испариной.

Наконец маэстро заиграл. Это был тот же каприс Паганини, который только что играл Лео. Непостижимым образом в его исполнении соединились лед и пламень. Опустив инструмент, маэстро снова устремил взгляд на Лео.

— Ты чего-то боишься? — спросил он. Теперь лицо у него было уже не такое строгое.

— Нет, — солгал Лео.

— Гм. Тогда сыграй этот каприс еще раз, а потом поговорим.

Лео сыграл. Теперь, когда родителей не было в комнате, он сыграл намного лучше. Но это было на пределе его возможностей. Закончив играть, он взглянул на стоявшего у рояля маэстро. Голова его была опущена, подбородок уперся в грудь.

— Хорошо, — сказал маэстро. — Чего же ты все-таки боишься? Что с тобой происходит? Теперь, когда мы с тобой остались наедине, ты боишься уже меньше. Слушай. Мне бы хотелось взять тебя к себе в ученики. Прямо сейчас. Я еду в Мюнхен. А на обратном пути мог бы заехать за тобой. Гм. Все, что тебе надо, это — серьезные занятия. И самые лучшие учителя. А не почти лучшие. Ты играешь хорошо, но еще недостаточно хорошо. Как я уже сказал: десять часов в день. Но боюсь, ты еще слишком мал. Я вижу,

---

[1] Иисус Спаситель людей (*лат.*).

что твои родители готовы на все, чтобы ты достиг цели, — они сегодня же упакуют тебя и отошлют со мной, если я попрошу их об этом. Поэтому мне нужно еще хорошо подумать. Ты меня понимаешь?

Лео кивнул.

— Как я уже сказал, упражнения. Я не был бы тем, чем стал, без ежедневных упражнений. Я работал так, что у меня носом шла кровь. Понимаешь: шла носом кровь! К концу дня у меня начиналось носовое кровотечение! Но ты еще слишком мал. Может, такая работа тебе еще не по силам. Может, я должен подождать год, прежде чем брать тебя к себе. Может, тебе лучше пока заниматься дома. Но с другой стороны, через год может оказаться уже поздно. Гм. Трудно, ты меня понимаешь?

Он замолчал, потому что с Лео случилось что-то необъяснимое. Все время, пока маэстро говорил, Лео ощущал внутреннюю дрожь. Он всегда ощущал внутреннюю дрожь, когда ему было страшно, когда приходилось фехтовать без маски или скакать галопом. Она начиналась у него и при виде зайца в прорези прицела, и перед выходом на сцену. Но внешне он всегда оставался спокоен.

Однако теперь все было иначе. Внутренняя дрожь вырвалась наружу. Сперва она была слабой, но постепенно усиливалась, у Лео тряслись руки, ноги, все тело. Дрожь набирала силу, он уже не мог ее скрыть.

Маэстро спокойно следил за ним. Ноги уже не держали Лео, он опустился на колени, сделал попытку встать, но не смог. В конце концов он рухнул на пол и стал биться, точно в судорогах. Это была даже и не дрожь, его словно раздирало на части. В нем что-то грохотало, в ушах шумела кровь, и он слышал, как громко стучит в груди сердце. Лео не сказал ни слова, не издал ни звука, лишь дыхание со свистом вырывалось у него из груди. И все время он был в полном сознании, его мысли, точно пузыри, плавали на ревущих волнах, бросавших его из стороны в сторону. Такого с ним еще не случалось. А этот Бог, этот маэстро находился как будто за тысячу миль отсюда. Лео видел его черные башмаки и ноги. Время текло бесконечно медленно и бесконечно быстро...

Вот-вот разверзнется великая тьма и поглотит все. Она уже здесь, притаилась за мебелью. И она шипит каким-то черным шипением. Вместе с тем эта тихая, немая чернота беззвучна. Я боюсь.

Боюсь, что отец с матерью увидят меня в таком состоянии. Он сейчас выбежит, скажет, что у их сына случился припадок падучей, что он умирает и они должны немедленно прийти в музыкальный салон... Они придут и найдут меня... Нет, нет, нет! Только не это! У Лео почернело в глазах.

Несколько секунд маэстро не двигался и наблюдал за Лео. На лице у него мелькнуло огорчение. Но он многое повидал за свою жизнь. Теперь он кое-что понял, хотя еще не мог облечь мысли в слова. Поэтому он спокойно опустился на колени рядом с Лео. Подождав, он сжал одну из трясущихся рук. Она тряслась так сильно, что маэстро с трудом поймал ее. Но, поймав, уже не отпустил. Другой рукой он осторожно похлопал его по щекам. Потом начал поглаживать плечи и грудь мальчика. Это помогло. Дрожь чуть-чуть утихла, и Лео испуганно уставился на маэстро.

— Не уходите, — прошептал он. Дрожь опять усилилась.

— Нет, нет, я не уйду, — сказал маэстро. — Хочешь, я позову твоих родителей?

Лео в отчаянии отрицательно замотал головой.

— Хорошо, не надо.

Маэстро долго сидел рядом и успокаивал Лео.

— Гм, — хмыкнул он через некоторое время. Лео все еще лежал на полу, его уже почти не трясло. — Гм. Это не судороги. Не падучая. Падучую я видел, это другое.

— Со мной никогда такого не было, — прошептал Лео. В глазах у него стояли слезы.

— Ты не должен меня бояться.

— Не буду, — прошептал Лео.

— Я знаю, ты боишься не меня. — Маэстро улыбнулся в первый раз с тех пор, как приехал, и обнажил в улыбке острые клыки. — Но ты не хочешь ехать в Париж, верно?

— Да, — прошептал Лео, — но это не все.

— Понятно. А что же еще?

— В Париже... упражняться по десять часов в день... — У Лео не хватало слов для того, что он хотел сказать.

Он никогда никому этого не говорил.

— Гм?

— Я хочу... Я по ночам сочиняю музыку. Больше некогда. Днем я столько занимаюсь, что мне уже не до сочинения... Только ночью...

Маэстро улыбнулся, и теперь его улыбка была почти теплой. В умных глазах вдруг загорелось дружеское участие.

— Вот в чем дело, — сказал он.

Лео глотнул воздуха. Потом кивнул. И стал рассказывать — о концертах, о родителях и о своих ночных бдениях. Когда он умолк, маэстро сказал:

— Если все обстоит именно так, я мало что могу для тебя сделать. — Он опять улыбнулся.

— Конечно, мне бы хотелось отточить технику...

— Но это для тебя не главное?

— Нет...

— Гм. Послушай меня. Тебе, конечно, известно, что есть композиторы, которые в то же время выступают как исполнители, и есть исполнители, которые сочиняют музыку. Но есть, так сказать, и более чистые типы: композиторы, которые прекрасно играют, но никогда не выступают с концертами. И великолепные солисты, виртуозы, которые едва ли способны написать даже поздравление ко дню рождения. Я сам, увы, принадлежу к последнему типу музыкантов. Но знай, благодатью Божьей отмечены именно композиторы. И не слушай, если тебе будут говорить другое. Музыку создает композитор.

Лео молчал.

— Но композиция — не моя область. У тебя есть все данные, чтобы стать превосходным скрипачом, возможно, даже одним из великих. Твои концерты здесь, в Вюртемберге, значения не имеют. Вундеркинды приводят людей в умиление, и не больше того. Они еще не умеют играть по-настоящему. Но я мог бы научить тебя этому. Если бы ты захотел.

— Не...

— Что ты хочешь сказать?

— Пожалуйста, не говорите этого им...

— Вот оно что! Понимаю. Хорошо, молодой человек. Пока что ты должен повиноваться отцу.

— Да, — прошептал Лео.

— Как ты привык.

Лео тихонько заплакал, он плакал совершенно беззвучно. Просто по лицу у него бежали слезы.

— Дай-ка мне твою руку.

Лео протянул руку маэстро. Тот взял ее, внимательно осмотрел, измерил длину пальцев по отношению друг к другу. Маэстро перевернул его руку ладонью вверх. Долго смотрел на нее. Потом отпустил.

— Хорошо, — сказал он. — Вытри, пожалуйста, глаза.

Лео сразу перестал плакать. Маэстро продолжал:

— Сейчас я позову твоих родителей. Но помни: у дарования, как у медали, есть оборотная сторона. Лицевая сторона — дар; это слышно в самом слове; оборотная — тяжкий жребий. Могу предсказать, что тебя ждет много одиноких ночей, полных мук, страданий и слез, и что жизнь твоя будет очень нелегкой. Ибо за наивысшее блаженство надо платить. В музыке ты беседуешь с Богом. Никто из людей этого не понимает. Почти никто. Но человек, которому дано говорить с Ним и который отдает себя языку и музыке этого разговора, пишет ли он музыку или исполняет, — такой человек обречен. Я не могу ничего сказать о твоих сочинениях, я их не слышал. Но по-прежнему хотел бы взять тебя в ученики. Не сейчас. С этим можно подождать. Сначала ты должен решить все сам, не позволяя, чтобы за тебя решали другие.

Он встал и пошел к двери:
— А сейчас я придумаю, что сказать твоим родителям.
— Можно мне что-то сказать?
— Пожалуйста.
Лео помолчал, потом проговорил:
— Спасибо.
— Не за что, братец.

Раннее утро; он едет верхом. Едет вдоль реки, через городок, медленно. Это его обычный маршрут. Но вот красные черепичные крыши остаются у него за спиной. Перед ним расстилаются поля. Стоит весна, ранняя весна, поля вспаханы. В воздухе чувствуется благоухание влажной глинистой почвы. Трава еще не зазеленела, она висит по краям придорожных канав, словно седые волосы. Теперь его никто не видит. И Лео пускает коня галопом.

Через полчаса и он сам, и конь устают, Лео пускает его рысью, и они углубляются в лес. В душе у Лео пустота. Он похож на прошлогоднюю траву. Конь всхрапывает и тяжело дышит. Лео осторожно гладит его по шее.

Он находит поляну с небольшим холмиком и соскальзывает с седла в жухлую траву. Садится у передних ног коня и смотрит на него снизу вверх. Отсюда конь кажется огромным. Глаза — большие красные шары; из-за спины Лео на них падает солнечный свет. Лео видна тонкая влажная пленка, покрывающая глаза коня. Конь дергает головой и храпит прямо Лео в затылок. Лео вздрагивает и отодвигается. Встает на колени и смотрит на морду Фиделио. На лбу у Фиделио звездочка, напоминающая латинское «s». Лео решительно бьет лбом в лоб Фиделио.

Ударь передней, думает он. Ударь передней!..

Все быстро вошло в свою колею. Бог, великий Бог и властитель концертных залов и салонов Европы, виртуоз, играющий с неподдельной страстью, исчез в тот же день, что и приехал. Но Лео помнит мимолетную улыбку, которой маэстро улыбнулся ему напоследок в музыкальном салоне. И другую, змеиную улыбку, обнажившую его клыки, когда он прощался с родителями. А ведь в музыкальном салоне в его улыбке было что-то человеческое. Лео избежал поездки в Париж. Родители были разочарованы — или обрадованы, сказать трудно. Еще год, самое меньшее, нужно подождать, сказал маэстро. Однако они быстро смирились с тем, что Лео не уедет прямо сейчас, особенно мать. Пока он жил дома, семья купалась в блеске его славы. Занятия продолжались по-прежнему, но теперь после ужина ему приходилось лишний час упражняться.

Скоро он отправится в свое первое настоящее турне.

— Он и слишком мал, и слишком велик для своего возраста, — сказал маэстро.

Интересно, какой смысл вложил он в эти слова? Нет, Лео не совсем понимал этого удивительного человека, который посетил их, чтобы познакомиться с ним. Вместе с пугающим холодом, с чем-то явно сверхчеловеческим в маэстро было что-то еще. Он сумел утешить Лео! Поэтому иногда Лео думал, что маэстро в черном — единственный человек, с которым он мог бы поговорить о важных вещах. Ведь он не мог говорить о них с родителями. Или с придворным капельмейстером Гёшем. Гёш походил на гнома, его лысый череп был усеян бородавками, играл он технически блестяще и преподавал прекрасно, но все это без исключения было мертвое, безжизненное.

Что сказал великий незнакомец, игравший как дьявол? Он сказал, что упражнялся до тех пор, пока у него не начинала идти носом кровь. Трудно себе представить, чтобы Гёш когда-нибудь так упражнялся. У Гёша в жилах вообще не было крови. Вместо крови по ним тек формалин.

Чтобы так упражняться, думал Лео, нужно уметь угадывать совершенное, видеть проблески невозможного. И эти проблески уже не дадут увидевшему их бедняге ни покоя, ни отдыха.

Необъяснимый припадок, случившийся с ним в тот день в музыкальном салоне, больше не повторялся. Родители так и не узнали о нем.

Что с ним тогда было? Лео не знал. Лишь иногда по ночам, когда он бывал особенно

утомлен и напряжен, Лео замечал слабую дрожь в груди и в плечах, такую же, с какой все началось в тот день. Но она не усиливалась. Он засыпал и словно опережал ее. После случившегося в музыкальном салоне Лео лишь через несколько дней более или менее пришел в себя. Сочинение музыки по-прежнему давалось ему с трудом. Но то немногое, что он все-таки сочинил, ему нравилось.

Лео перевернулся в траве. Над деревьями раскинулось высокое светло-голубое небо с белыми облаками. Можно полежать еще несколько минут, потом надо возвращаться...

Но вдруг что-то настораживает его. Он чувствует на себе чей-то взгляд. Сам не зная почему, он уверен, что за ним наблюдают. Лео медленно встает, отряхивает одежду, оглядывается по сторонам. Нет, никого. И все-таки его не покидает чувство — за ним кто-то наблюдает.

Он делает несколько шагов по направлению к Фиделио. Стоит полная тишина, только слышится слабый шорох леса. Должно быть, ему показалось. Лео еще раз осматривается по сторонам. И вдруг слышит тихое рычание.

Он замирает. Рычание доносится из леса у него за спиной. Он отпускает коня и идет к лесу. Рычание становится громче и наконец переходит в заливистый лай. Из кустов появляется собака, делает шаг, второй, она большая и черная, похожа на овчарку. Собака останавливается и лает на Лео. Он осторожно подходит к ней ближе. Собака не виляет хвостом, уши прижаты. Она совершенно черная и мохнатая, это не овчарка. Очень грязная, передняя лапа поранена, наверное, побывала в драке.

— Ну, ну, — ласково уговаривает собаку Лео. Она рычит и косится на него. Лео делает к ней еще шаг, шерсть у нее тут же встает дыбом, рычание становится низким и не предвещает добра.

Он не двигается. Собака замерла в двух шагах от него. Почему она остановилась? Лео вдруг понимает, что собака кого-то охраняет. В кустах кто-то сидит на корточках.

— Выходи, — спокойно говорит Лео.

Маленькая фигурка нерешительно поднимается; это девочка, она младше его, ей лет восемь, на ней рваная зеленая юбка и коричневый жакет. Лицо поцарапано, волосы нечесаные и грязные. Прикусив нижнюю губу, девочка большими глазами испуганно смотрит на него. На щеке у нее шрам, нет, просто царапина, идущая вверх от уголка рта, кожа по краям царапины сморщилась. Заячья губа. Потом Лео замечает, что девочка держит в руке двух кроликов. Браконьерство, думает он. Здесь охотиться запрещено.

— Это твоя собака? — спрашивает он. Глаза девочки становятся еще больше, она молчит. — Ты долго там стояла?

Девочка по-прежнему молчит, но отрицательно мотает головой. Она невероятно грязна и до смерти напугана.

— Не бойся, я тебя не обижу, — говорит Лео. Но до него вдруг доходит, что девочка не понимает его. Она тревожно оглядывается, потом открывает рот с заячьей губой и произносит несколько слов на неизвестном Лео языке. Он не понимает ни слова.

Лео улыбается и качает головой в знак того, что ничего не понял. И вместе с тем он все-таки понял ее, уловил смысл в этих незнакомых звуках.

Она снова говорит. Теперь спокойней. На этот раз она произносит немецкое слово:

— Мой брат. Брат. — Она повторяет это много раз.

— Ты ищешь своего брата?

Девочка энергично кивает. Собака успокаивается, однако сбоку продолжает напряженно наблюдать за Лео. Он улыбается еще раз, потом показывает на кроликов, которых она держит за уши. Одна рука у нее в крови. Силки, догадывается Лео и вздрагивает, вспоминая охоту с отцом. Показывая на кроликов, он хлопает себя по животу:

— Еда?

Она снова кивает, молчит, но не спускает с него глаз.

Лео вспоминает, что ему пора возвращаться.

— Прощай, — говорит он и машет рукой. Потом идет к Фиделио и садится в седло.

Девочка так и не шелохнулась, пока он не уехал.

Потом он еще дважды встречал эту девочку в лесу. Она всегда появлялась неожи-

данно. Он так и не узнал, как ее зовут и кто она. Собака всегда была с ней. Поскольку они не могли разговаривать друг с другом, девочка просто смотрела на Лео, пока он отдыхал после своей прогулки верхом. И он, всегда боявшийся посторонних глаз, удивлялся, что это его не смущает. Ведь она не знала, кто он. Не слышала о юном Левенгаупте. Образ вундеркинда не стоял между ними. В первый раз у нее было два кролика. Во второй — ничего. В тот день собака подошла к Лео и лизнула ему руку.

— Ну, нашелся твой брат? — спросил он. Девочка не ответила. Она как будто смотрела в себя.

— Брат, — повторила она, не понимая.

Лео подумал о Великом Учителе из Парижа.

В тот же день отец сказал за ужином:

— В лесу появились цыгане. Эти бродяги!

Мать:

— Какой ужас!

Отец:

— Я уже предупредил Шмидта и Штуба. Они опасаются, что цыгане занимаются браконьерством. Штуб нашел несколько силков.

— Наверное, надо что-то предпринять?

Лео навострил уши.

— Вечером Штуб и Шмидт возьмут с собой людей.

На другой день Лео не встретил маленькую цыганочку. Он поездил по лесу, поискал ее, ему уже ее не хватало. Но никого не нашел. Значит, накануне вечером их прогнали, ее вместе со всеми цыганами. Впрочем, это не имело значения, они и сами уехали бы через несколько дней. Но ему было грустно. К тому же, если она рассказала кому-нибудь из своих, что встречала в лесу немецкого мальчика, большого мальчика верхом на лошади, цыгане могли подумать, что он их выдал. Может, девочку наказали за это?

Лео услыхал, как конь беспокойно всхрапнул. Он поднял глаза.

Из чащи вышла большая черная собака. Одна. Она подошла к Лео и обнюхала его. Он погладил ее, она лизнула ему руку.

— Бедняга, — сказал Лео. — И ты тоже осталась одна? — Он крепко взял собаку за загривок. Постоял так, глядя вдаль. Потом почмокал губами: — Пошли.

Собака бежала за ним до самого дома.

С этого дня она повсюду следует за Лео. Это его собака. Протесты родителей ни к чему не приводят.

— Что это? — Мать показывает на собаку, лежащую на полу в холле рядом с нотным пюпитром. — Что это такое?

— Собака. Моя собака.

— Я вижу, что... Твоя собака?

— Да. — Лео играет упражнения, собака сонно лежит рядом и слушает. Все время, пока мать говорит, Лео продолжает играть, так ей труднее пробиться к нему, он углублен в арпеджио. Но голос его звучит твердо.

— Боже мой, кто тебе разрешил?.. Откуда ты взял?..

— Мне ее подарили. Теперь она моя. — Он играет.

Мать смотрит на Лео с недоумением, почти со слезами. Неужели это ее сын, который всегда был так покладист? Она с отвращением переводит взгляд на большую черную собаку.

— Она грязная.

— Я ее вымою.

— У нее кровь.

— Это царапина.

— А если она бешеная? — Мать в отчаянии. Лео перестает играть. Смотрит ей прямо в глаза:

— Собака останется у меня. — Тихо, отчетливо. Собака считает необходимым подкрепить его слова рычанием.

Он снова оборачивается к нотам, играет. Мать уходит.

Лео играет, собака лежит на полу.

Собака остается. Даже настойчивые попытки отца уговорить Лео вкупе с неопределенными угрозами не возымели действия. Собаке разрешено остаться. Лео сам удивлен, что осмелился на такое упрямство; он, всегда послушно выполняющий все приказы, советы и требования, всегда поступающий так, как ему велят, даже когда это ему не по душе, вдруг оказался непреклонным. Это его собака. Ее ему подарили. Она останется у него.

Каждое утро, когда Лео выезжает на Фиделио, собака бежит за ним. Она никогда не выпускает Лео из поля зрения, даже когда он скачет галопом. В первое время Фиделио нервничал при виде этого черного, лохматого существа, бегущего за ним по пятам, но постепенно привык к собаке или смирился, так же как родители Лео. Собака и Лео стали друзьями, а на всех прочих она рычала. Только Лео мог кормить и гладить ее. Родители, учителя и местные жители боялись собаки.

Родители были огорчены. Лео изменился. Хотя, быть может, он изменился уже давно, но они только теперь заметили в нем эту перемену.

Всю осень Лео дает концерты. Собака сопровождает его во всех поездках. Она лежит в артистической уборной и ждет, тяжелая, черная, безмолвная. Когда он возвращается после аплодисментов, она встает и подходит к нему. И он сразу забывает о концерте. Он не понимает, что выражают ее прозрачные, как стекло, глаза, глупость или мудрость. Она совершенно глуха к музыке, ей неизвестно, кто он. Она чужая.

Но перед концертами... Лео тоже замечает, что он изменился. Перед концертами его охватывает нервозность, граничащая со страхом. Это похоже на то, что с ним было, когда к ним приезжал маэстро. Иногда эта нервозность начиналась за несколько часов до концерта, и он погружался в черную бездну ужаса. Он думал о людях, собравшихся сейчас в зале. Они пришли послушать его игру. И всякий раз при мысли об этом его начинала бить дрожь. Он должен играть для них. Они будут слушать. Заметят каждую его ошибку, малейшую оплошность. Теперь он дает настоящие концерты, он уже не вундеркинд. Публика настроена критически. Теперь он отвечает за свою игру. То, что еще год назад он исполнял без всякого страха, пусть порой с отвращением, но без страха, теперь стало для него кошмарным сном, от которого он не мог пробудиться. Он должен выйти на эстраду и сыграть так, как от него ждут, даже те произведения, которые ему, может быть, еще не по плечу.

Перед выходом у него случались рвоты, его буквально выворачивало, во рту оставался привкус желчи. Лео склонялся над умывальником в артистической уборной, ему казалось, что все его внутренности рвутся наружу, и никто не мог помочь ему. Он не хотел, чтобы его видели в таком состоянии. И без того это было унизительно. А ведь ему вот-вот предстояло выйти на сцену и всей кожей ощутить на себе тысячеглазый взгляд публики. Даже собака не могла помочь ему в те минуты.

Только потом. Потом он всегда уходил с ней на прогулку в благодарность за то, что она ждала его.

Однажды он гуляет с ней после концерта по тихим вечерним улицам провинциального города. Где же это было? Кажется, в Гиссене: было влажно, душно и пахло грибами... Он идет по улицам со своей черной собакой, он спокоен, у него легко на душе, потому что концерт прошел удачно. Он благополучно миновал все опасные места. В тот вечер все окончилось хорошо. Ему легко, однако радости он не чувствует. Он уже забыл, как радуются.

Улицы темны, все ставни закрыты. Он идет и идет, наугад. При виде прохожих прижимается к стенам домов, прячется в тень. Лео не знает, куда он зашел. Но заблудиться не может, ведь с ним собака. Она ведет его.

Он заворачивает за угол и останавливается. Перед ним освещенный подъезд богатого особняка. У ворот стоит ландо. Из него выходят пять человек, две женщины и трое мужчин. Они нарядно одеты, наверное, были в театре или на концерте. Да, конечно. Это они. Он видел их, они сидели в третьем ряду. Две супружеские пары и молодой человек. Они останавливаются у подъезда; дальше, к своему дому, одна пара, очевидно, пойдет

пешком; они прощаются. Лео хочет пройти мимо, но замирает на месте. Слушает. Они беседуют. Говорят о нем.

—... Моцарт — изумительно!

— О да! И Паганини. Дивная музыка.

— Виртуоз.

Лео снова хочет уйти, все это он уже слышал. Однако слова молодого человека заставляют его остановиться:

— Но он очень нервничал.

— Вам так показалось?

— Да, он был очень бледен. Я никогда не видел такой страшной бледности. И верхняя губа у него блестела от пота.

— Да, Жан, теперь, когда вы это сказали...

— Вы согласны? — спрашивает молодой человек. — Он был так напряжен, подавлен. Удовольствия я, честно говоря, не получил. Во всем этом было что-то неестественное...

— Но музыка была прекрасна.

— Конечно, но понимаете, все было хорошо, пока я сидел с закрытыми глазами. Когда же я увидел этого мальчика... Не знаю... Вы не находите, что это напоминало цирк? Или зверинец, где звери выставлены напоказ?..

— Это искусство, Жан. Вспомните Моцарта, его тоже выставляли напоказ. Талант необходимо показывать...

—... как дрессированную лошадь.

Лео уходит. Он идет дальше, вперед, не глядя по сторонам. Их голоса остаются позади. По лицу у него бегут слезы, он их не вытирает.

Он шел долго и в конце концов вышел на открытую площадь в центре города, перед дворцом. Там он сел на скамейку.

Лошадь. Цирковая лошадь.

Ему вдруг становится ясно, что он просто лошадь из отцовской конюшни, цирковая лошадь, и уже давно. Лео сидит, не думая ни о чем, собака лежит у его ног. Но одна мысль все-таки бьется у него в голове: это уже не музыка, не искусство. А дрессировка. Как может дрессированная лошадь видеть смысл в том, что она делает? Как может он найти смысл в музыке, если ее исполнение превратилось для него в цирковой номер? Дрессировка. Он смеется сквозь слезы.

Настала ночь. Он все еще сидел на скамейке перед дворцом, было немного холодно, но возвращаться в пансион не хотелось, хотелось только раствориться в этой темноте. Часы на башне пробили половину второго.

И в это время... В тишине послышалась музыка. Трубы. Горны. Тромбоны. Музыка звала, торжествовала, плакали скрипки, и не умолкая били барабаны. Они грохотали, как копыта коней.

Лео выпрямился. Вот! Наконец-то! Он уже давно не мог сочинять, все его попытки оканчивались ничем. Для любого творца самое страшное, когда он не в состоянии творить. Все художники раньше или позже проходят через этот кошмар. Но сейчас музыка вновь завладела им, настоящая музыка. Он шарит в карманах сюртука и жилета. Нигде ни клочка бумаги. Ни огрызка карандаша. А музыка звучит все отчетливей, все громче. Лео вскакивает. В пансионе у него своя комната, там есть и бумага и чернила...

Лео бежал по улицам, впереди него бежала собака. Наконец он нашел свой пансион и потянул за шнурок колокольчика, его впустила экономка в подоткнутой ночной сорочке — ваша матушка была вне себя от волнения, да, да, где моя комната, там, благодарю вас, покойной ночи, нет, нет, не будите ее, утром я ей все объясню... Он вошел к себе, запер дверь, зажег лампу.

Это сон. Однажды, когда Лео был маленький, отец взял его в Штутгарт, в цирк. С удовольствием развалившись в кресле, отец смотрел на манеж, где шесть великолепных

белых лошадей выделывали всевозможные номера. Красные плюмажи на головах качались в такт движению.

Это сон. Лошадь идет на задних ногах, с трудом, неуклюже она движется вперед — почти как человек, шепчет чей-то голос. Дрессировщик в цилиндре, с поднятым бичом стоит перед ней. Лошадь с недоумением смотрит на эту черную фигуру, в глазах у нее панический страх, она храпит и выворачивает верхнюю губу, обнажая зубы. Туловище ее напряжено, она делает три шага, четыре-пять-шесть, медленно, неуверенно, для нее это мука, похоже, что она плачет.

А вот сон лошади: табун скачет белым утром, вдали лежит город с красными крышами, за одним из окон сидит мальчик и пишет. Потом сон прерывается щелканьем бича, она снова стоит на задних ногах, оскалив зубы.

Музыка красная, как качающийся плюмаж, из глаз лошади бежит струйка крови.

Лео проводит на нотной бумаге одну тактовую черту за другой. Пространство между ними он заполняет нотными знаками, проводит новую тактовую черту, потом еще одну.

Наконец в нем воцаряется тишина.

Он сидит еще несколько минут, вслушиваясь в исчезнувшие звуки, — почему они смолкли? Он выпрямляется, устало улыбается самому себе. Выглядывает из окна и видит, что уже очень поздно или еще слишком рано. Должно быть, часов шесть. Он быстро просматривает свое сочинение, оно написано для полного оркестра — раньше он на такое не замахивался. Просматривает, читает. Он не понимает, что это такое, не узнает в написанном себя. Совсем неплохо, думает он почти с удивлением. Это начало симфонии.

Больше Лео уже не тяготился своим турне. На него снизошел покой, он словно отстранился от всего, и теперь ему было легче выдерживать концерты, переезды, общество матери. Легче подчиняться, когда есть о чем думать.

Мать Лео всегда страдала астмой, иногда у нее случались не очень сильные приступы. Но в последнее время, особенно с тех пор, как в доме появилась собака, Лео казалось, что мать начала прибегать к своей астме как к оружию против него. Приступы участились и стали сильнее. Лео не хотел верить, что мать умышленно провоцирует их. Но выглядело это именно так.

Наутро после того, как его не было всю ночь, у матери случился такой приступ. Опустошенный, Лео помогал ей механически, по привычке. Молча стерпел ее упреки, сперва взгляды, потом выговор за его вчерашнее исчезновение.

Между ними словно оборвалась всякая связь. Они уже стали чужими. Он понимает это и знает, что мать чувствует то же самое. Что-то изменилось. Он заказывает для нее чашку бульона, помогает выпить его.

Потом они едут дальше. Больше у матери нет приступов.

По вечерам, в одиночестве, в очередной комнате — одной из многих, в которых он живет во время турне, — Лео достает сочиненное той ночью, кое-что исправляет, устраняет мелкие недостатки. Он все еще не понимает, что это написано им. Прежде он писал совсем иначе. Здесь звучит другой голос. Что он означает? Во время прогулок Лео размышляет над этим, садится где-нибудь со своим сочинением и пытается продолжить его. Но в душе у него тишина. Иногда он слышит мелодии, темы, звуки. Но ничего похожего на то, что он написал тогда.

Его окружает безмолвная осень. Сочинение обычных маленьких произведений больше не приносит ему радости. По сравнению с тем грозным наброском, что лежит у него на столе, все кажется ему бессмысленным, пошлым и традиционным, лишенным какой бы то ни было индивидуальности.

Неожиданно для себя Лео берется всерьез за литературу по гармонии и композиции. Читает старые номера «Neue Zeitschrift für Musik»[1], изучает партитуры. Но этого мало. После того наброска он шагнул в мир новых звуков и тем — туда, где нужно писать по-новому. И знания, которых ему не хватает, нельзя почерпнуть из книг.

---

[1] Новый музыкальный журнал (*нем.*).

Так что-то умирает.

Так что-то происходит. Наступает время осенней охоты. Далекие выстрелы разрывают на части чистый, холодный воздух. Утром на полях лежит иней, по ночам падают звезды.

Лео с отцом идут через лес. Ружья они, как всегда, несут дулом вниз, и, в соответствии со строгими охотничьими правилами отца, у каждого из них всего по два патрона, чтобы не палить впустую.

На поляне они видят зайца. Отец проворнее Лео, гораздо проворнее, одним движением он вскидывает ружье и прикладывает его к щеке. Гремит выстрел, и заяц мертв.

Они подходят к нему.

— Неплохо. — Отец поднимает зайца. — Хороший зверек.

— Отличный выстрел, — говорит Лео.

— Ну, не знаю. — Отец доволен. — Мы ведь близко подошли к нему. Даже очень близко.

— Все равно.

— Мне случалось стрелять и получше. В прошлом году на прогалине, помнишь, тогда заяц был от нас гораздо дальше.

— Да.

— К тому же он бежал.

— Все равно, это хороший выстрел, — настаивает Лео.

— Да. Конечно. Может быть.

— Ты прекрасный стрелок.

— Может быть. Конечно, я неплохо стреляю.

— Ты попал бы в него, даже если б он побежал.

— Ты прав. Я попал бы в него.

— Папа, мне хочется заниматься композицией.

Отец молчит. Потом свежует зайца на глазах у Лео.

— Разве ты не поедешь в Париж? К этому, как его... Ты должен ехать в Париж.

— Конечно, папа. Но композиция...

— Можешь заниматься чем хочешь в свободное время... Карьера прежде всего.

— Конечно, папа. Но...

— Я плачу за твое учение. И потратил на него уже целое состояние. О композиции не может быть и речи. Зачем она тебе? На что ты будешь жить? И довольно об этом. Ты едешь в Париж. Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо.

Потом он сидит в конюшне, он вернулся с охоты, но не может заставить себя войти в дом. Ему хочется побыть здесь.

Фиделио храпит и склоняет к нему голову, Лео сидит, прислонившись к стенке стойла. Черная собака дремлет у его ног.

Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо.

В теплой темноте конюшни Лео клянет себя. Теперь он поедет в Париж. Когда-нибудь он скажет отцу за это спасибо. Он смотрит на свои руки. Хватает ружье.

И стреляет в Фиделио и в черную собаку.

У него только два патрона.

*

Вздрогнув, Спот приходит в себя. Время вокруг него сгустилось. Сколько он тут просидел?

Он оглядывается по сторонам. Переборки как будто сдвинулись, срослись с ним. Монотонные корабельные звуки, шорохи, скрип, звон давили на уши.

Судно скользило в ночи. В иллюминаторе было черно. А он сидел тут — пассажир, путешественник, случайный музыкант, не имевший даже имени. Он путник, всегда только путник.

По правде говоря, это путешествие началось уже тогда, когда он сидел в ландо, уво-

зившем его из родного дома, когда сидел в купе и его трясло потому, что ему было страшно и он был один, — и вместе с тем он был счастлив, что уехал из дома. В тот день и началось его великое путешествие, которое привело его сюда и за время которого он лишился и своего имени и своего лица.

В Париже его не покидало чувство, что он в пути. Уютная комната, которую он снимал на Монмартре, была чем-то вроде кареты или корабля. Когда он закрывал за собой дверь и оставался в комнате один, он замечал, что она движется. Днем, бродя по улицам, он как будто плыл по рекам, по незнакомым порожистым водным путям, преодолевал не обозначенные на картах речные дельты, притоки и болота.

Он совершал путешествия и в мир музыки. Ходил на концерты, слушал музыку, о существовании которой даже не подозревал, музыку, о которой никогда не говорили в Хенкердингене и Штутгарте, посещал страны, еще не открытые и не нанесенные на карту ни одним немецким географом, знакомился с импрессионистами, живыми людьми, писавшими музыку, не похожую на ту, какую он знал. Сам он словно явился из восемнадцатого столетия, даже некоторые детали его одежды напоминали о прошлых веках — ему не хватало только парика! Он, точно камень, пролетел по воздуху через целое столетие и явился на праздник в неподходящем наряде...

Маэстро стоял как волшебник среди учеников и слушал их игру. В классе было двенадцать учеников — девять юношей и три девушки в возрасте от одиннадцати до девятнадцати лет, — страшно непохожих друг на друга; двенадцать новичков в искусстве ворожбы, двенадцать попутчиков по путешествию. С новыми друзьями Лео посещал концерты и выставки, плакал и смеялся, узнал, что есть и другие напитки, кроме ликера и портвейна. Они совершали загородные прогулки, обсуждали книги и картины, но главным образом говорили о музыке. Он влюблялся по очереди в своих соучениц, и они по очереди влюблялись в него. И это тоже было путешествие.

В это же время он совершил еще одно путешествие — путешествие сквозь лихорадку и туман болезни. Вскоре после приезда в Париж Лео заболел корью, потом ветряной оспой и свинкой. Когда он заболел оспой, его положили в больницу.

Лео уже стукнуло пятнадцать, и потому его болезни протекали медленно и тяжело. Он пролежал в больнице в общей сложности два месяца, покрываясь то сыпью, то волдырями; иногда у него сильно поднималась температура. Но он решительно не хотел сообщать родителям о своей болезни. Маэстро был с ним согласен. Он вообще отнесся к болезням Лео очень спокойно, хотя тот и заболел в разгар занятий.

Во время болезни Лео не хотел смотреться в зеркало. Одного раза вполне хватило: как-то взглянув на себя после ветрянки, он так испугался собственного вида, что ему даже стало хуже. Когда его выписали из больницы и он перед зеркалом переодевался в свою одежду, он вдруг увидел худого, бледного незнакомца с обтянутыми скулами, заостримшимся носом и серыми губами. Лео не сводил с него глаз, не понимая, кто это. Он поднял руку, и незнакомец в зеркале тоже поднял руку.

Волосы у него были почти черные.

Еще долго Лео вздрагивал, увидев себя в стекле витрины или в зеркальце для бритья. Только руки остались прежними. Их он узнал.

А вырос он так, что весь его гардероб пришлось сменить. Ему исполнилось шестнадцать, потом семнадцать. Он быстро стал одним из лучших учеников в классе маэстро.

Внешне маэстро всегда был спокоен и невозмутим. То, что он говорил Лео о занятиях, оказалось правдой: десять часов в день. Маэстро перестал концертировать и полностью посвятил себя преподаванию. Ученики знали, что их учитель великий скрипач. Они трепетали перед ним. Они знали его, но никто ничего не знал о нем.

Однажды в субботу вечером Лео шел домой с двумя товарищами по классу, Жан-Сиром, который был немного старше его, и Даниель, у которой густая грива рыжих волос то и дело падала на лицо.

Лео и Жан-Сир не заметили человека в черном, занятые своим разговором. Даниель с восторгом слушала их. Однако глаза ее, скрытые гривой волос, очевидно, следили за всем происходившим вокруг, потому что она вдруг остановила своих спутников.

— Маэстро! — беззвучно прошептала она.

Лео и Жан-Сир не сразу поняли, о ком она говорит. Потом остановились и с ужасом уставились на человека, который шатаясь вышел из боковой улицы. Он был грязен и страшен. Их он как будто не видел.

— Может, надо?.. — неуверенно начал Лео, но друзья поняли его. Едва ли маэстро хотел, чтобы они видели его в таком состоянии.

— Наверное, он предпочел бы обойтись без посторонних, — тихо сказал Жан-Сир.

Они услышали неразборчивое бормотание маэстро и остановились в растерянности. Первой опомнилась Даниель.

— Ему надо помочь, — сказала она. — Не дай бог его увидит полицейский. Или он повредит себе руки.

Они подошли ближе.

— Помочь вам, господин профессор?

— Постойте, никак это... — Он смотрел на них и не узнавал. Было видно, что он пытается взять себя в руки.

У своего профессора не спрашивают: «Вы не пьяны?» Спрашивают: «Вам плохо? С вами что-то случилось?»

Маэстро ответил не сразу.

— Да нет, все в порядке, — хрипло ответил он. — Ничего страшного не случилось. Ни-че-го. Но они улетели. К сожалению, они улетели! Все. Да-да...

— Кто улетел? — спросила Даниель, пока они медленно и почтительно вели маэстро по улице.— Что улетело?

— Всё. Все деньги.

— Что вы говорите, господин профессор? У вас украли деньги? — продолжала расспрашивать Даниель, оказавшаяся более практичной, чем ее друзья.

— Деньги? Я же говорю, что мои деньги улетели. Ха! Да плевать я на них хотел! Плевать мне на деньги!

Молодые люди переглянулись. Лео чувствовал, как при виде пьяного человека в нем поднимается тошнота. Эта картина что-то напомнила ему, вызвала тревогу.

Его вдруг озарило:

— Вы потеряли деньги, господин профессор?

Маэстро подозрительно посмотрел на него:

— Что вы меня все пытаете? А... юный Левенгаупт! Ведь вы юный Левенгаупт, если не ошибаюсь? Несчастный мальчишка из Швабии? Гм? Избалованный бархатный мальчик с локонами? Не отрицай! Я узнал тебя! Не забывай, мне известны твои самые сокровенные тайны! Что вы делаете в городе в это время суток, молодой человек? Гм? Разве вам не положено сидеть сейчас дома и готовить уроки? Вам следует больше заниматься, молодой человек. Больше заниматься. И меньше задавать вопросов.

Даниель и Жан-Сир в ужасе смотрели на учителя.

Маэстро стало плохо. К ним подошел полицейский и спросил, все ли в порядке. Даниель испуганно ответила, что все в порядке, просто господину нездоровится. Полицейский флегматично пожал плечами.

— Нездоровится, — буркнул он и ушел.

Лео машинально помогал друзьям вести маэстро. Наконец он понял, что произошло с учителем. Думать об этом было больно. Он надеялся, что маэстро не проговорится и не выдаст Даниель и Жан-Сиру его тайну. Не успели они пройти несколько шагов, как маэстро сказал:

— У нас составилась приятная партия в баккара. Я уже выиграл довольно крупную сумму. Сперва мне везло, но... Но теперь я разорен. Вот так.

Лео кивнул друзьям.

— На той улице есть игорный дом, — тихо сказал он.

— Понимаете, — едва ли не назидательно продолжал маэстро, — за последние шесть месяцев я умудрился проиграть все, что у меня было. Все, что я заработал за двадцать лет. Я... дайте-ка припомнить... нынче вечером я проигрался в пух и прах. И тогда дошла очередь до скрипки... Мне пришлось... гм... мне пришлось дать им расписку, что отныне

и на вечные времена моя скрипка принадлежит им, иначе меня бы оттуда не выпустили. Да-а...

Лео остановился.

— Но не Гварнери же! — воскликнул он. — Не Гварнери!

Даниель и Жан-Сир тоже остановились и уставились на маэстро так, словно впервые увидели его.

— Да. — Маэстро потупился. Даже показалось, что он протрезвел. Потом отрывисто сказал: — Скри-почка Джу-зеппе Гвар-нери...

— Это невозможно! — прошептал Лео. — Невозможно!

Маэстро поднял на него глаза. И если раньше друзья не понимали, что имеется в виду, когда говорят «человек раздавлен», то теперь, при виде маэстро, они это поняли. Неожиданно его лицо стало злобным, он нахмурился и мрачно поглядел на них.

— Вас это не касается! — процедил он сквозь зубы. — Вы забыли, кто я? Да что вы вообще понимаете? Мелюзга!

Они стояли, опустив головы.

— Впрочем... впрочем, это никудышная скрипка. Очень плохая. Не стоит жалеть. К тому же я ее отыграю. Завтра или послезавтра. Вот увидите!

— Черт подери! — вырвалось у Лео.

— Лео! — с укором воскликнула Даниель. Лео замолчал.

Они отвели маэстро домой.

Однако в понедельник утром, как всегда в восемь часов, маэстро был в классе, безукоризненно одетый, с непроницаемым лицом. Накануне Даниель, Жан-Сир и Лео решали, что им делать. Ясно было одно: надо держать язык за зубами. Они робко встретили его взгляд. Перед началом урока маэстро с каменным лицом оглядел своих учеников, но по нему ничего не было заметно; глаза его задержались на Лео, Даниель и Жан-Сире не дольше, чем на всех остальных. Он вежливо пожелал ученикам доброго утра и открыл футляр со скрипкой.

Сверкнул золотистый лак. Маэстро взял в руки Гварнери.

И начал урок.

Удалось ли маэстро отыграть свой инструмент, или кто-то из его многочисленных благодетелей помог ему выкупить скрипку, или он получил деньги под залог — этого они так и не узнали. В конце концов они почти забыли ту историю.

Но у Лео в душе остался осадок, какое-то тревожное предчувствие, пришедшее к нему, когда они нашли маэстро на улице.

Это был один из многих этапов его путешествия.

*

Занятия длились шесть лет, в течение которых студентам не разрешалось давать концерты — таково было требование маэстро. Публика не должна видеть сырую работу. Лишь два последних семестра включали студенческие выступления, чтобы студенты могли психологически подготовиться к дипломному концерту.

Лео было приятно вспоминать эти шесть лет. Он много работал, времени для сочинения почти не оставалось. Но тем не менее Лео был доволен. Прежде всего тем, что ему не нужно было играть перед публикой. Помогало и то, что он больше не жил с родителями и даже не видел их. Первые шесть лет в Париже оказались совсем не такими, как он опасался. Лео многому научился.

Иногда ему мучительно хотелось стать настоящим композитором, и он едва не заболевал от тоски. Но преподаватели теории музыки, посещение концертов и беседы с друзьями помогали Лео победить эту тоску. К тому же в нем вызывали неуверенность новые музыкальные течения, новые выразительные средства. Все новое воодушевляло и смущало его. Сочинял он мало и только мелкие вещи. Отложил композицию на будущее и остался со скрипкой. К наброску симфонии он больше не возвращался.

Время от времени Лео раздумывал о своей трусости, о слабоволии, о проклятье, которому сам предал себя. Однако главное решение своей судьбы Лео отодвигал на неопределенное время.

За эти годы молодой Лео Левенгаупт научился общаться с людьми. Многие ученики маэстро были такими же ранимыми, как он, все они пережили примерно одно и то же. С ними можно было разговаривать. В том числе и на серьезные темы. У них было много общего, и они хорошо понимали друг друга. Прежде у Лео не было друзей. Это объяснялось не только неестественной изолированной жизнью, какую он вел в детстве, но и тем, что он был не такой, как все.

Конечно, Лео совершал много ошибок, по крайней мере вначале, когда складывались его отношения с друзьями и учителями. В первое время он был слишком нетерпим, надменен, избалован и самовлюблен, а проще сказать — слишком высокомерен. Пребывание в больнице сгладило в нем много острых углов. Он вырос не только из домашней одежды, которую пришлось заменить более подходящей для молодого человека, — нет, он как будто вырос из самого себя. Как будто сменил кожу. Детство стерлось с него, исчезло так же, как исчез его прежний облик.

Прошлое спряталось в нем и превратилось в куколку.

Лео регулярно раз в месяц, точно исправный конторщик, писал домой. Он бесстрастно варьировал содержание своих писем, независимо от того, что случалось на самом деле, и сообщал родителям то, что, по его мнению, они хотели от него услышать. В последнее воскресенье каждого месяца он набрасывал черновик письма, а утром в понедельник переписывал его аккуратнейшим каллиграфическим почерком, зная, что матери нравится именно такой безликий почерк.

Ответы родителей приходили так же регулярно и содержали в основном одни и те же наставления и последние новости из Швабии. Отец на удивление мало писал о лошадях и об охоте: должно быть, ему было трудно писать об этом после того, что Лео сделал перед отъездом из дома. Мать обновила свой интерес к королевскому семейству и всегда могла сообщить что-нибудь интересное из своего запаса больших и малых сенсаций. Она никогда не писала о своей астме — с отъездом Лео астма у матери как будто прошла. Так, раз в месяц, они обменивались ложью и притворством.

Лео старался поменьше думать о родителях и о том, что оставил дома. Он не ездил на каникулы в Хенкердинген. К своему удивлению, он легко убедил родителей, что его удерживают занятия. Первое лето он провел в Париже один; несмотря на удушливую жару, он наслаждался каждым мгновением. Он был свободен, был один и совершал все безумства, какие приходили ему в голову. Лео начал со знакомства с злачными местами Парижа, сперва днем, а потом и вечером. Однажды вечером, вернувшись домой, он с удивлением обнаружил, что с трудом держится на ногах. На другое утро он торжественно обещал себе никогда больше не пить и с тех пор всю неделю напивался каждый вечер.

Так прошло первое лето. А уже следующие он проводил в обществе одного-двух друзей; они вместе ездили за город, или друзья приглашали его к себе домой. Жан-Сир был родом из местечка недалеко от Марселя.

Там Лео в первый раз увидел море. И понял, что его рождение в Швабии, лежавшей в глубине континента, с ее лесами и лошадьми, охотничьими ружьями и зайцами, было просто недоразумением. Очевидно, где-то допустили ошибку, его с кем-то спутали. Он должен был ездить верхом не на лошадях, а на волнах! И его инструментами должны были стать удочка и сачок для ловли рыбы! Он был частицей моря. В море отражалось солнце. Он принадлежал морю.

*

Спот поудобней устроился в койке. Прищурившись, огляделся вокруг. Потом улыбнулся, снова достал свою табакерку и карманное зеркальце и насыпал новую полосочку кокаина.

Почему, думал Спот, почему он тогда, в Париже, ни разу не спросил у себя, что с ним происходит? И почему у него так изменилось лицо? Может, все было бы по-другому, если б он задал себе этот вопрос? Предполагал ли он тогда, чем это кончится? Думал ли об этом? Может быть.

Он вспомнил море, каким оно было в первый раз, когда он плыл на ялике Жан-Сира. Он видел перед собой водную гладь в туманный сентябрьский день — море было совершенно спокойно, оно как будто притаилось в ожидании...

И он думал о Даниель. О том, какой она была в тот предпоследний год, уже после того, как он впервые увидел море. Он так любил ее!

Спот втянул в себя кокаин с зеркальца. И еще раз сдул оставшиеся крупинки на лампу, висевшую под потолком.

Опьянение быстро завладело им. Его слегка трясло. Он закрыл глаза. И думал о Даниель. Думал о той весне.

Теперь уже воспоминания приносили ему только боль.

*

Апрельский дождь в Париже. Легкая, моросящая влага, которая все отмывает до блеска, воздух пахнет уличной пылью и звездами.

Субботнее утро. Даниель возвращается мокрая от дождя, она запыхалась, взбежав по лестнице, в рыжих волосах сверкают капли, волосы окружают голову мокрым огнем, в руках у нее бумажные пакеты с продуктами и большой букет цветов.

— Смотри, Лео, смотри! — кричит она. — Я была на рынке. Смотри! Я купила молодую морковь и салат. И спаржу! И зеленый горошек! — Она начинает вынимать овощи. — А еще кабачки! И вот!

Она подходит к Лео — он сидит на кровати — и подносит к его лицу большой букет цветов.

— Я разорюсь на цветах. Смотри! Анемоны! Правда красивые? — Целое море синего, красного и фиолетового. — И нарциссы, — говорит она. — Нарциссы и тюльпаны.

Мокрые от дождя цветы пахнут сильней, чем обычно. Лео купается в их аромате.

— Это весна! — кричит Даниель.

Он слабо улыбается ей. Она ерошит ему волосы.

Цветы остаются у него на коленях. Она уже опять у стола. Начинает готовить. Даниель почти переехала к нему; свою квартиру она оставила за собой только для приличия и еще потому, что ей надо где-то заниматься.

Ему бы давно следовало встать, поставить цветы в воду, помочь ей готовить. Но он не двигается с места.

— Словом, у нас будет настоящий весенний праздник. — Он старается, чтобы в его голосе звучал восторг, но она слышит: что-то не так. Даниель хорошо его знает. Она откладывает спаржу и внимательно смотрит на него.

Потом садится рядом с ним.

— Лео! Лео... Не плачь.

— Я и не плачу.

Он весь дрожит в ее объятиях. Издалека он слышит ее тихий, осторожный шепот:

— Что случилось? Лео! Что случилось?

— Прости. Пока тебя не было, пришла почта.

— И что?

— В ней было письмо из дома.

— Там все в порядке?

— Да. Тебе это покажется глупым, но, понимаешь, они хотят, чтобы я на лето приехал домой.

— Ну и что?

— Я не был дома уже четыре года, так что теперь я просто обязан, но...

— Лео. — Даниель обнимает его.

— Мать пишет... Им хотелось бы, чтобы я дал концерт или два. Домашний концерт. Как в прежние времена.

— Что же в этом такого?

— Даниель, ты не понимаешь. Ты не знаешь, какие они. Я не могу отказаться. Но я знаю, что меня там ждет. Они уже все рассчитали и, бьюсь об заклад, уже разослали приглашения. Все будет как раньше. И я... Когда я прочитал это письмо, у меня потемнело в глазах, я думал...

— Но это всего лишь один концерт.

Он цепенеет, потом вырывается из ее рук.

— Тебе легко говорить! У тебя всегда все получалось. Ты просто выходишь и играешь, а потом кланяешься и уходишь. У тебя нет нервов.

Это неправда. Она опускает глаза, пытаясь скрыть, что он обидел ее.

— Ты их не знаешь! Помнишь, я рассказал тебе, как перед отъездом из дома застрелил свою лошадь и собаку? Пойми, их больше заботила эта несчастная лошадь, чем собственный сын, совершивший такой поступок. Их не интересовало, почему он это сделал. Они так трогательно горевали о погибшей лошади... Видела бы ты, как отец суетился вокруг трупа. Меня высекли и отправили спать. Мне не позволили даже смыть с себя кровь. Думаешь, их интересовало, почему я это сделал?

Она снова обнимает его.

— Я не давал концертов четыре года, — говорит он через некоторое время. И вдруг признается: — И надеюсь... надеюсь, мне больше никогда не придется их давать.

Лео начинает бить дрожь, как в тот раз, когда к ним приезжал маэстро. Его окружает холодная темнота. Он уже почти забыл, как это бывает, думал, что все изменилось. Но оказывается, все осталось по-прежнему; а он-то воображал... воображал, что он теперь свободен.

Словно сквозь вату он слышит ее голос:

— Лео. Милый Лео.

Постепенно мир успокаивается. Лео лежит в объятиях Даниель. Он открывает глаза и смотрит на нее. Даниель огорчена. Она такая хорошая, открытая, смелая, из хорошей семьи. А сколько она читала! Гораздо больше, чем он. И она так талантлива, маэстро считает ее одной из лучших. Даниель с грустью смотрит на Лео.

Он робко улыбается ей. Он уже почти успокоился.

— Я так хотел провести это лето с тобой, — шепчет он.

— Но ведь ты пробудешь дома не все лето?

— Боюсь, что все. Я их хорошо знаю.

Она гладит его лоб, внимательно смотрит ему в лицо.

— Я хочу, чтобы ты поехала со мной, — говорит он.

— Ты ведь знаешь, что приличия этого не допускают, — улыбается она.

— Знаю. Но если б ты захотела...

— Захотела что?..

— Цветы! — вдруг вскрикивает он и поднимает сломанный нарцисс. Цветы помялись в кровати под его тяжестью.

— Не думай о цветах. Так чего же я должна захотеть?..

— Честно говоря, Даниель, я не знаю, как делают...

Она улыбается:

— Обычно падают ниц перед своей избранницей, протягивают ей цветок и просят ее руки.

Он протягивает ей нарцисс и смотрит на нее. На большее он не способен.

— Наверное, это ужасно глупо, — говорит она. — По-моему, ты не в своем уме.

Он отрицательно мотает голóвой.

— Ты это делаешь только затем, чтобы не ехать одному?

— Нет! — говорит он. — Даниель!

Она сразу становится серьезной.

— Да, — говорит она. — Да! Да!

Он притягивает ее к себе, и они крепко обнимаются.

Потом, уже вечером, она спрашивает:

— Ты говорил это серьезно?

— Да. — У него все еще кружится голова. — Конечно серьезно, я прошу тебя...

— Я не об этом, Лео. Я о другóм. Ты действительно больше не хочешь давать концерты?

Она внимательно смотрит на него. Он растерян.

— Ладно, ладно, — говорит она. — Чему быть, того не миновать.

Они вместе поехали в Хенкердинген, и поездка оказалась неудачной. Все было так, как предполагал Лео. Мать была вне себя от гордости, волнения и любопытства. Родители едва узнали Лео. Мать ахнула и всплеснула руками, отец был немного смущен — Лео оказался выше его ростом. Родители придирчиво присматривались к Даниель. И тут же захотели всем ее представить. К сожалению, Даниель не владела немецким, а отец питал врожденное недоверие к уроженцам Галлии — ведь они едят лягушек! Он забавлял гостью кровавыми рассказами о войне... Все то лето было каким-то спектаклем, каким-то бесконечным представлением. Лео храбро исполнял свою роль и дал тот концерт, которого от него ждали, и даже еще два. Он видел, что Даниель держится из последних сил. И уже жалел, что взял ее с собой. Он знал, что она все терпит ради него, и у него сжималось сердце. Все здесь давило, душило и угнетало. Концерты прошли ужасно. Лео думал, что изменился, что все тяжелое осталось в прошлом. Но его старое «я» вернулось к нему, словно вырвалось из засады, его трясло, тошнило и мучил страх. Даниель принимала удары на себя.

Она всегда принимала удары на себя.

Когда они оставались вдвоем, Лео во всем винил ее. Он понимал, что это несправедливо, но сдержаться не мог. Понадобилось много лет, чтобы он понял, что натворил. Если бы Даниель не любила его так сильно, если б возражала ему... Но Даниель относилась к тому редкому типу людей, которые терпят. Она принимала удары на себя. В нем все еще жил прежний Лео, преображенный, замаскированный и куда более изощренный в своем эгоцентризме. Все то лето он был на первом месте. Даниель молчала. Но в поезде по дороге домой она плакала и под глазами у нее чернели круги.

Они поженились в конце сентября. Брак они зарегистрировали в мэрии, в Париже — никто из них не был религиозен. Родители Лео начали было строить планы относительно свадьбы, мать уже представляла себе это белоснежное торжество; но, увидев ужас в глазах Даниель, Лео сумел остановить их.

Всю осень в Лео бушевали бури, хотя внешне он был спокоен. После Нового года Даниель пришлось не одну ночь сидеть у постели Лео, когда его мучили приступы страха. Еще хуже стало, когда начались студенческие концерты. В связи с предстоящими концертами у Даниель появились и свои трудности, но Лео как будто не замечал их.

По временам он прикладывался к бутылке.

Однажды мартовским вечером он пригрозил, что сожжет себе руки в пламени газовой горелки, чтобы никогда больше не играть. Даниель силой помешала ему исполнить это намерение. Он чувствовал себя несчастным, сердился на нее за то, что она была свидетельницей его унижения, и теперь, и раньше.

— С меня довольно, — сказал он. — Я не хочу быть исполнителем. Я хочу только сочинять музыку. И ничего больше.

— Чему быть, того не миновать, — покорно сказала она, как в прошлый раз, и добавила: — С Божьей помощью.

Поэтому Лео не получил диплома. К большому огорчению маэстро, преподавателей и друзей.

Даниель сыграла свой концерт с блеском. Зимой у них родилась дочь.

Десять лет, Лео Левенгаупт. Десять лет ты был композитором. И это была ложь. Все было ложью.

Десять лет новых занятий. Упорной работы над замыслами, которые так и не воплотились в музыку. Счетов, которые все приходили и приходили. Родители после его окончательного разрыва с ними больше не помогали Лео. А Даниель была слишком горда, чтобы просить помощи у своих. Однако, если бы отношения между Лео и Даниель были добрые и у него ладилось с работой, они бы спокойно пережили эти тяжелые годы. Но Лео словно не принимал участия в собственной жизни; даже дочь оставляла его безучастным. Порой он пугался самого себя.

Даниель тихонько крадется с дочерью на руках. Жозефине три года. Лео, конечно, их слышит, но знает, что должен доставить дочери удовольствие — она хочет напугать

его. Они останавливаются у него за спиной. Жозефина прижимается головкой к его шее, и обе разом кричат:

— У-у-у!

Жозефина хохочет над его испуганным лицом.

— Еще раз! — кричит она. — Еще раз!

И все повторяется сначала. Золотистые кудряшки дочери щекочут Лео лицо. От нее вкусно пахнет.

— Еще раз!

— Нет, — говорит Лео, — сегодня я уже достаточно напуган. Я работаю.

Он смотрит на ее личико, ее глаза с мольбой устремлены на него, она чего-то ждет. Это его дочь. Чего она ждет от него?

— Пожалуйста, присмотри за Жозефиной, — просит Даниель. — Мне надо уйти.

— Ты надолго? — Он тяжело вздыхает.

— Нет, — тихо отвечает она. — Я скоро вернусь.

Жозефина сидит на корточках и снизу смотрит на него. Что ему с ней делать? Он тоже садится на корточки. Оба молчат. Проходит несколько минут, прежде чем они придумывают, чем им заняться. Они рисуют.

— Смотри, Жозефина, папа нарисовал лодку. Она плывет по морю.

— Не хочу лодку, — робко говорит Жозефина.

— Не хочешь рисовать лодку? — Лео смущен. — Смотри, какая красивая лодка. А в ней мальчик.

— Не хочу мальчика.

— Ну хорошо. Тогда нарисуем девочку.

— Не хочу девочку.

— Ну ладно. — Лео растерян. Он откладывает карандаш. — Что же тебе нарисовать? — Ничего-то он не умеет, ни сочинять музыку, ни рисовать.

Жозефина долго и внимательно смотрит на него. Ему почему-то страшно от ее взгляда.

— Папа хороший! — говорит она. — Хороший! — И обнимает его за шею.

Он держит дочь, не зная, что с ней делать. Неуклюже гладит ее по головке. Невольно вспоминает маленького мальчика, который играл с солнцем, но не умел играть в игрушки. Это было тысячу лет назад. Он вспоминает и другую маленькую девочку, она сидела в траве и серьезно смотрела на него. Они не понимали языка друг друга. И это тоже было тысячу лет назад. Все это проносится у него в голове, а он все гладит и гладит по головке эту маленькую чужую девочку.

Музыка переживала подъем, так же как живопись и литература. Музыку теперь писали по-новому, пользуясь новыми выразительными средствами. Шли жаркие споры. Программы менялись, премьеры освистывались или награждались бешеными аплодисментами. Художники искали новую правду, новый язык. Все подвергалось сомнению. Рушились мифы. Например, миф о Бетховене. Потом появлялись новые мифы и новые идеи.

Лео Левенгаупту приходилось несладко. Он сочинял музыку. Большие произведения и малые, имевшие больший или меньший успех; денег это приносило немного, но концы с концами он как-то сводил. Его считали многообещающим композитором, главные достижения которого еще впереди.

Однако сочинение музыки, то, к чему он всегда стремился, вопреки ожиданиям, не приносило ему покоя и не дарило свободы. Лео догадывался о причине, и именно это перевернуло его жизнь, а причина заключалась в том, что все было ложью. Абсолютно все. Он не имел собственных выразительных средств. От того, что было присуще только ему и иногда прорывалось наружу, веяло ушедшими временами. Это подавляло его, будило сомнения, порой он совершенно не мог сочинять и страдал от бессилия.

Довольно скоро Лео понял, что переоценил себя. Что он не в силах осуществить то, для чего был предназначен. Не нашел он и пути назад. Ему мешали гордость и трусость. Он мог бы вернуться, но он понимал, что такое совершенство, и был способен отличить

истинное и великое от подделки. Понимал, но не мог осуществить, и это доводило его до исступления.

Если бы он это понял, пока было не поздно! Но он не понял и загубил Даниель. Загубил лучшего человека, встреченного им в жизни, загубил почти умышленно, не желая понимать, что делает. Он был обязан понять. Но он закрыл глаза, как и тогда, когда вступал с ней в брак. Из страха перед одиночеством. Или не поэтому?..

Теперь чувство ответственности и вины будет мучить его до конца жизни: когда Даниель через шесть лет сумела найти в себе силы, чтобы возобновить концертную деятельность, она была уже сломлена. Все изменилось. Ее игре не хватало сосредоточенности и силы. И тогда она начала давать уроки, что всегда вызывало у Лео презрение, да и ей самой не очень нравилось. Так презрение Лео к самому себе и его эгоцентризм отравили все, что его окружало, в том числе и Даниель. Она еще храбрилась. Наверное, ей хотелось сдержать слово, которое она дала себе в тот раз, когда он сделал ей предложение. Он же, как ребенок, этого не понял. Сам-то он никакого слова не давал. И потому не чувствовал себя связанным обещанием.

Лео был человеком, не способным держать слово. Вся его жизнь состояла из невыполненных обещаний, все было ложью. И творчество, и семейная жизнь — все умерло, потому что ему недоставало главного — таланта...

Через девять лет Даниель ушла от него, забрав с собой дочь. Их разрыв произошел тихо и спокойно, в духе Даниель. Она оплатила все счета и разложила по местам все бумаги. Потом объяснила, что все еще любит его, любит больше, чем ей хотелось бы, но, кажется, он вообще не представляет себе, что значит кого-то любить.

Лео понял, что она имеет в виду, и устроил сцену. Он умолял ее остаться и в конце концов осыпал обвинениями и упреками.

Несколько месяцев Лео чувствовал себя лучше, чем все последнее время, и наслаждался свободой. Потом началась зима, и он мог уже только тосковать по Даниель. Он пытался вернуть ее, но она не отвечала на его письма. Он тосковал по дочери, на которую прежде не обращал внимания, — на деньги, отложенные для оплаты счетов за газ, он купил Жозефине фарфоровую куклу. В письме он солгал, что эти деньги — гонорар за его сочинения. И ему некоторое время пришлось обходиться без газа.

Но больше всего Лео тяготила утрата не жены и дочери, а самого себя. Он пестовал эту утрату. Ему было двадцать девять лет. У него появились седые волосы.

Потом он углубился в работу; в последнее, страшное путешествие по отчаянию. Каждое движение пера стало ему так же ненавистно, как раньше были ненавистны концерты и выступления.

*

— Кого я вижу? Никак молодой Левенгаупт?

— Маэстро! — Лео вскочил со стула, чуть не опрокинув бокал с абсентом, и пожал маэстро руку.

— Разрешите присесть? — Голос у маэстро был прежний, его не мог заглушить ни шум разговоров, ни звон бокалов. В тесном помещении было темно, но Лео видел, что маэстро тоже постарел. Хотя глаза остались прежними, как и насмешливая улыбка. Одет он был в черное, как всегда. Перчатки тоже были черные.

— Давно мы не виделись, — сказал маэстро.

— Лет пять, не меньше.

— Верно. Как дела?

— Спасибо, хорошо.

— Правда? Это меня радует. Должен сказать, Левенгаупт... Между прочим, давайте выпьем. Что вы пьете?

Лео показал на свой бокал.

— Прекрасно, — сказал маэстро. — Официант! Еще две порции того же. Так на чем мы остановились? Должен сказать, Левенгаупт, я многого ждал от вас обоих. От обоих. В самом деле многого.

— Боюсь, и мы тоже.

— И вот я встречаю вас здесь. — Им подали абсент. — Вы часто здесь бываете?

— Каждый вечер.

— Вот как. А ваши композиторские занятия?

Лео долго молчал.

— Маэстро, вчера я был на концерте и слушал Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», — сказал он наконец.

— Вот как? Я тоже там был. Почему же я вас не видел?

— Я стоял. В конце зала.

— Правда?

— Да, слушал и плакал. Его музыка как зонтик от солнца. Он держит его под мышкой, но у моря раскрывает — огненно-красный, большой, изумительный.

— Да...

— Я плакал. Помните... помните, вы когда-то предсказали мне много слез и много бессонных ночей?

— Да, Лео. Помню.

— Я уже много лет сочиняю музыку. Маэстро! Я знаю, вы кое-что из этого слышали. Скажите, что вы думаете о моей музыке?

Маэстро задумался.

— Честно говоря, все твои произведения говорят о незаурядном таланте и мастерстве. Но не больше того.

— Когда-то я владел языком, — сказал Лео после долгого молчания. — Это был музыкальный язык Европы. Язык Бетховена, Моцарта, Гайдна. Он был способен выразить сложнейшие движения души и вместе с тем был прост и доступен. Я рос с этим языком. Я жил его звуками, с самого детства. Потом я вырос и обнаружил, что этот язык перенят и опошлен мелкими буржуа. Господином и госпожой Бидермайер. Моими родителями. Им пользуются для создания маленьких, хорошеньких вещиц — он пущен на распродажу. Что сейчас пользуется успехом? Вальсы. Короли вальсов заимствуют обороты из нашего музыкального наследия для своей массовой продукции. Короли вальсов стали богачами.

— Еще какими, — согласился маэстро.

— А содержание... оно проглядывает в банальностях Оффенбаха. Язык, который был нашим, на котором я мог выражать свои чувства, изуродован. Бидермайеры сидят на нем своими жирными задами. Путь к истинной, художественной выразительности проходит сегодня в иных местах. И уже давно.

— Да, — согласился маэстро. — Это началось еще до твоего рождения.

— Да! Да! Я обнаружил это, когда приехал в Париж. Обнаружил, что был всего лишь безделушкой, не больше. Майсенской статуэткой. Меня просто возили по выставкам.

— Да. — Маэстро кивнул. — Ты выглядел неприглядно.

— Я думал, что смогу уберечься от лжи. Думал, что достаточно все разметать, разбить эту фарфоровую статуэтку. Думал, что достаточно проветрить, начать заново, следовать истине. Создать новый язык. Я хотел разделаться с этой ложью. Но я сам был ее частицей. У меня не получилось.

— Я не совсем тебя понимаю.

— Маэстро! Вчера я слышал новую вещь Дебюсси.

— Ну и что?

— Я не могу творить. У меня нет того, что для этого нужно. Того, что нужно теперь. Мои способности... Я их потерял.

— Я полагаю, ты говоришь искренне, Лео?..

— Да. Я больше не слышу музыки. Она исчезла. И я сам уничтожил ее.

Маэстро молчал.

— Тогда, у нас дома... — продолжал Лео, — вы... не сказали мне, что...

— Только не говори, что я не предупреждал тебя.

— Я этого и не говорю.

Маэстро осушил свой бокал.

— Что это за пакость? — скривившись, проговорил он. — Это для детей. А не для взрослых мужчин.

Лео его не слушал.

— Но я не могу не мечтать о музыке! — воскликнул он с жаром. — Ничего, кроме музыки, мне не надо! Мне всегда хотелось только сочинять музыку. Создавать великое, истинное!

Маэстро посмотрел на него. Его темные глаза зло сверкнули. Но он мягко сказал:

— Много званых, да мало избранных. — И усмехнулся.

— А вы?.. Вы из избранных?

— Лео. Братец. Ты мог бы стать замечательным скрипачом.

— Но тоже не из числа избранных?

— Наверное, нет.

— Но ведь я знал...

— Да, Лео. Ты знал все. У тебя все получалось. У тебя была великолепная техника. Ты владел ею в буквальном смысле слова до кончиков пальцев. Как, наверное, овладел техникой и теорией композиции.

— Но в чем же тут дело?

Маэстро поглядел на него. И засмеялся. Он смеялся долго и громко. Не успев рассердиться, Лео удивился. Он никогда не слышал смеха маэстро.

— Лео, Лео. Прости меня, смех неуместен, когда ты сам так строго судишь себя. Но мне уже за шестьдесят, а я так и не нашел ответа. Что отличает подлинное от фальшивого? Глубокое от поверхностного? Что делает одного человека художником, а другого ремесленником? Простым ремесленником. По правде говоря, я даже не знаю, по какую сторону этой границы нахожусь я сам.

— Мне хочется умереть, маэстро.

— Чепуха! Тебя донимают кредиторы?

— Когда я возвращаюсь домой, то всякий раз застаю у своей двери нового кредитора.

— Тебе нельзя умирать. Есть люди, которые нуждаются в тебе.

— Нет!..

— Ну-ну! Не горячись. У тебя есть жена. Есть... кажется, дочь?

— Да. Жозефина. Ей скоро десять.

— Они ждут тебя.

— Я не могу пойти к ним. Да и не думаю, что Даниель примет меня. Если б она и согласилась... Нет, мне это не по плечу. Мне нечего им дать.

— Лео, мое предсказание остается в силе. Впереди тебя ждет еще много слез и бессонных ночей. Твое путешествие только началось. Оно продлится дольше, чем ты думаешь. Но ты совершишь его!

— Даже если я не смогу сочинять музыку?

— Сможешь, Лео. Ты очень одаренный человек. Вопрос в том, что сочинять?

Лео покачал головой.

— Ладно... вот увидишь. Поживешь — увидишь. Между прочим, должен сказать, что я больше не преподаю.

Лео с удивлением поднял на него глаза.

— Смотри! — Маэстро с трудом снял перчатки. Его пальцы были изогнуты, как когти. — Ревматизм, — сказал он.

— Это... это очень больно?

— Да нет. Только когда играю. — Он снова усмехнулся, и опять его глаза зло сверкнули.

— Боже мой! — пробормотал Лео.

— Теперь мне осталось лишь думать и ждать. С игральными фишками я еще управляюсь. И деньги у меня есть, так что я обхожусь. У меня свои источники... Между прочим, это из-за рук я в свое время перестал давать концерты и начал преподавать. Я рано заметил первые признаки ревматизма. И потому всегда носил черный шелк. Для тепла. А вот теперь я здесь.

— Боже мой! — снова пробормотал Лео.

— Мой Гварнери все еще у меня. Я хотел его кому-нибудь подарить. Представь себе, еще в первую нашу встречу я решил, что со временем он достанется тебе.

— Нет! — воскликнул Лео. — Только не это!

— Не бойся. Ты его не получишь.

— Слава богу!

— Эта скрипка дороже любых денег. Но... может, ты знаешь кого-нибудь, кому она пригодится?.. Ведь она лежит у меня без дела...

— Нет, — ответил Лео. — Я никого не знаю.

— Ты глуп, Лео. Помнишь, когда ты занимался у меня в классе, я учил вас думать? И тебя в том числе. Я при вас обдумывал произведение вслух от начала и до конца, чтобы вы учились понимать замысел композитора, как математическое уравнение. Неужели ты этого не помнишь?

— Конечно помню.

— Теперь я снова буду учить тебя думать. Раз тебе самому он не нужен — я имею в виду Гварнери, — я хочу подарить его твоей жене. Можешь дать мне ее адрес?

— Дани?..

— Да, Даниель. Маленькой серьезной Даниель. Которая однажды подобрала меня на улице. И которая потом, насколько я понимаю, не раз за эти годы подбирала и тебя.

— Но она... она больше не дает концертов.

— Да, Лео, — грустно сказал маэстро. — Концертов она не дает. И я не понимаю почему. Мне не хочется думать об этом. Но — и я опять буду учить тебя думать — может, она начнет давать их?

Лео был поражен.

— Самые важные мысли находятся не здесь, — маэстро показал на лоб. — Главные мысли приходят сюда. — Он прижал к груди изуродованные ревматизмом пальцы.

Лео молчал.

— А теперь, — сказал маэстро, — теперь я ухожу. Я слишком долго пил с тобой эту гадость. Фу!

— Подождите, — попросил Лео. — Подождите.

— Ты боишься остаться один?

— Да. — Лео опустил глаза. — Куда вы пойдете?

— Не думаю, что тебе надо это знать. Пойду туда, куда всегда хожу, когда у меня начинают ныть руки.

— Куда?

Маэстро пристально смотрел на Лео.

— Не знаю, правильно ли это... Ты в таком состоянии...

— Возьмите меня с собой.

— Лео, послушай. Если ты пойдешь туда, то только на свой страх и риск.

— Да.

— Все, что ты отныне будешь предпринимать, ты будешь предпринимать на свой страх и риск. Никто не придет и не подберет тебя.

— На мой страх и риск, — повторил Лео.

Так Лео первый раз попал в Association des Assasins[1], укромно расположенную в ветхом здании в двенадцатом округе Парижа. Тихое, мрачное заведение с множеством отдельных кабинетов, выходящих в длинный темный коридор, помещалось на третьем этаже. Маленькое горбатое существо в чалме приняло у них пальто и шляпы и провело в салон. Мягкие ковры, восточные пуфики. У стола полукругом уже сидели несколько человек. Некоторых Лео узнал: одного художника, одного поэта — теперь он понял, куда попал.

На низком столике в центре круга стоял кальян.

— Незнакомец! Ты ищешь удовольствия или утешения?

---

[1] Ассоциация убийц (*франц.*).

— Он со мной, — сухо ответил маэстро. — Ему ничего не надо. Он хочет осмотреться.

— Простите, сударь... Вам известно, что сюда нельзя приводить гостей.

— Чепуха, — возразил маэстро. — Да знаешь ли ты, гном, кто я такой? Ступай в свой гардероб! И пусть доктор сменит повязку у тебя на голове. Давно пора.

— Утешения! Утешения! — воскликнул Лео. Кто-то из сидевших вокруг кальяна шикнул на него. Лео внимательно наблюдал за сидевшими — постепенно их лица смягчались и изменялись, зрачки расширялись и начинали блестеть. — Утешения, — повторил он почти с мольбой. — Утешения.

Горбатый развел руками и кисло улыбнулся маэстро.

Маэстро вздохнул. Они заняли свои места.

Лео затянулся первый раз, непривычно, неуверенно. Маэстро наклонился к нему:

— На твой страх и риск, Лео, — сказал он.

— Да. — Лео кивнул и улыбнулся. Он улыбнулся невольно, потому что у него пересохло во рту и губы прилипали к зубам.

— Ты ребенок, Лео.

— Да. — Это была правда. — Да, да. Я этого хочу.

— Так я и думал. — Маэстро тоже затянулся.

Потом Лео увидел, как воздух расплавился и замигали цветные пятна. Где-то вдали послышалась музыка, эхо того торжественного солнечного гула, который вознес его к великим мечтам, а потом дал упасть в темноту. Лео снова приблизился к солнцу. Снова стал ребенком. И больше не было границы между ложью и правдой, между тем, чего он хотел, и тем, чем он был.

Так Лео впервые посетил Association des Assasins. Забавно, думал он, что привел его туда именно маэстро. Лео часто потом приходил туда. Там он находил хоть какой-то покой.

*

Спот встал с койки и подошел к двери каюты. Надел пальто и шляпу. Он хотел выйти. Пройтись.

Он посмеивался про себя. Когда он думал о прошлом, все казалось таким простым. Но в глубинах своего похмелья он знал, что все, казавшееся сейчас простым, на трезвую голову станет тяжелым и непреодолимым.

Ладно, подумал он, отгоняя от себя эти мысли. Он потерпел поражение, поражение во всем. Оно только кажется таким большим, потому что его потерпел ты сам. Все, что касается тебя самого, всегда кажется большим и важным. На самом же деле я просто избавил мир от еще одного посредственного художника с большими претензиями. А Даниель и Жозефина? Мне не следовало жениться. Что я мог предложить Даниель? Хорошо, что она сама ушла от меня. Так лучше. Лучше поздно, чем никогда. Интересно, подарил ей маэстро свою скрипку? Может, она снова выступает?

Спот повязал шарф.

Поражение во всем. Вот моя история.

Он толкнул дверь.

*

В коридоре он чуть не столкнулся с невысоким человеком.

— Спот, — донеслось до него издалека, сквозь стены времени. — Спот.

Спот понимал, что должен подняться на палубу, увидеть звезды и море. Он засмеялся. И наконец узнал Давида.

— Идем со мной, — дружески позвал он. Давид колебался, пристально глядя на пианиста.

— Я сплю, понимаешь, — сказал Спот по-немецки. — Так сказать, пребываю во сне. — Он опять засмеялся, на этот раз над своими словами. Давид, испуганно глядя на него, что-то произнес, Спот разобрал только имя — Джейсон, но в ту минуту оно ничего не сказало ему. Этот Джейсон не имел к нему никакого отношения. Другое дело Давид,

этот симпатичный парень — кажется, они вместе настраивали рояль? Верно! Спот снова засмеялся. Надо кое-что объяснить этому юному Давиду... Что там музыканты говорили о нем? Что-то малоприятное. Надо бы немного помочь ему, подумал Спот. Он взял Давида под руку.

Давид, не понимая, что происходит со Спотом, чувствовал только исходящее от него тепло и дружелюбие.

— Хочу подняться на палубу, полюбоваться ночью, — объяснил Спот. — И ты должен пойти со мной! — Он без церемоний схватил Давида за руку и потащил за собой.

Давид охотно последовал за Спотом, хотя и был удивлен. Пока они шли коридорами и поднимались по трапам, Спот без умолку болтал и смеялся, его речь была совершенно бессвязна. Но Давид наслаждался этим неожиданным дружелюбием, хотя и не понимал, чем оно вызвано.

Они поднялись на палубу. В такой поздний час здесь было лишь несколько любителей ночных прогулок. В распоряжении Спота и Давида оказалась почти вся палуба и все звезды. Спот отпустил Давида и стал смотреть на море. Оно было черное и спокойное. На горизонте виднелись легкие облака, различить, где кончается море и начинается небо, было невозможно. Но над ними, в зените, небо было чистое и на нем сияли звезды.

— Смотри! — Спот повел рукой. — Слушай!

И Давид смотрел. И слушал.

Вот что ему открылось. Их судно — тоже звезда, плывущая в ночи, одна из многих тысяч других. У форштевня пенится вода. Корпус дрожит. Фонари пронзают черноту блестящими мечами. На борту судна за иллюминаторами и окнами салонов — люди. Миллионеры и подручные на камбузе. В глубине судна заступили в ночную смену кочегары. Вечерняя смена, тяжело топая, отправляется в душевую, чтобы смыть с себя угольную пыль и грязь. Кочегары переговариваются охрипшими голосами. Потом засыпают, едва успев добраться до койки. Судно — это звезда. Официанты и юнги играют в кают-компании в карты. Три музыканта из оркестра пьют чай с ромом. Пассажиры и команда готовятся отойти ко сну. Но на прогулочной палубе третьего класса, нежно обнявшись, прохаживается молодая пара. Они не хотят спускаться в каюту. Звезда мечтаний.

Давид и Спот ощущают это. Слушают. Слушают тихую песнь судна. Судно поет. Так же, как телеграфная антенна. Сквозь темноту ночи в эфире летят сигналы азбуки Морзе. Телеграф никогда не спит. Его обслуживает радист Джон Филипс. Это он посылает слова в ночь. Слова и мечты. Беспроволочный телеграф непостижим, так считает даже радист Филипс, хотя он — в отличие от большинства людей — имеет некоторое представление о том, что происходит, когда посылаются сигналы. Он выбрал эту профессию потому, что она сродни мечте. Трезвая, спокойная, в ней главное — слушать.

Совсем иное — неумеренный восторг, который вызывают у пассажиров, особенно у пассажиров первого класса, развлекательные возможности беспроволочного телеграфа. У помощника капитана по пассажирской части можно — совсем как на суше — заполнить телеграфный бланк; потом по пневматической почте его отправляют в радиорубку. Оттуда радист передает телеграмму — это стоит 12 шиллингов 2 пенса за первые десять слов и по 9 пенсов за каждое следующее слово. Пассажиры шлют приветы и сообщения, в которых большей частью ничего не сообщается, среди них почти нет важных; они шлют их до поздней ночи. Радист передает и принимает телеграммы со всех судов, которые в эту ночь бороздят мировой океан. Заботливая американка отправляет телеграмму своему племяннику на борт «Каронии», идущей на восток: ВЫХОДЯ НА ПАЛУБУ НЕ ЗАБУДЬ ШАРФ ТАМ ХОЛОДНО ТЕТЯ ДЖОРДЖИЯ. Профессиональный картежник, один из неистребимого племени заядлых любителей покера, телеграфирует коллеге на «Олимпик», тоже идущий на восток: ДЕЛА ПРЕКРАСНЫ ВСЕ ХОРОШО ХЭЛ. Радист Филипс послушно передает телеграммы на мыс Рейс, оттуда другие телеграфисты передают эти сообщения дальше уже через американскую телеграфную сеть. После полуночи сигналы в эфире звучат беспрерывно. Под глазами у Филипса черные круги — вчера ночью вышла из строя одна катушка, и, пока он со своим коллегой Брайдом менял ее, станция молчала. Гора бланков растет. Филипс не спал уже восемнадцать ча-

сов. Ссутулившись, он отстукивает на аппарате слова, которые складываются в шутки, остроты, сообщения. Антенна поет. В ночи на «Титаник» тоже летят сообщения с других судов, либо прямо, либо через мыс Рейс. Некоторые адресованы непосредственно капитану. «Ливия» и «Пак» сообщают о полосе тумана возле американского берега. «Бордерер» — о льдах, о том же сообщает и «Святой Олав»: ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ЛЬДАХ МЕЖДУ 41 И 42 ГРАДУСОМ СЕВЕРНОЙ И МЕЖДУ 49 И 50 ГРАДУСОМ ЗАПАДНОЙ ТОЧКА БОЛЬШОЕ ЛЕДЯНОЕ ПОЛЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ КРУПНЫМИ ДРЕЙФУЮЩИМИ ЛЬДИНАМИ И НЕСКОЛЬКО АЙСБЕРГОВ ТОЧКА ПРОСИМ СООБЩИТЬ КАПИТАНУ... Растет гора передаваемых и получаемых телеграмм. Ночь в Северной Атлантике наполнена звуками, с ирландского берега на Ньюфаундленд бегут в ночи сигналы, бегут обрывки слов о погоде, о льдах, бегут обрывки мечты.

Таково судно. И если слушать внимательно, можно услышать не только обрывки слов и разговоров, но и ночные мечты, освободившиеся от дневных оков, и сонное дыхание в темных каютах.

Спит капитан. Тяжелый, седобородый, со строгим выражением лица покоится он на своем ложе, словно фигура со средневекового надгробия, король или рыцарь, высеченный из камня над своей могилой. Капитан Смит спит чутко, как все капитаны. Он спит, но его мечта бодрствует. Его мечта — это судно.

А оно движется в пространстве. Курс проложен, и оно строго следует этим курсом. Время от времени в темноте мимо проходит другая блуждающая звезда, на мгновение над горизонтом поднимается фонарь и, сверкнув, исчезает снова.

А высоко на фок-мачте сидит впередсмотрящий и наблюдает за морем, спокойные, зоркие глаза глядят в темноту между морем и звездным небом. Он моряк, ему не холодно. Рядом с ним телефонный аппарат, связанный с капитанским мостиком. Рулевой словно распят на штурвале; неподвижный, освещенный неярким зеленым светом от приборной доски, он смотрит вперед, в никуда.

— Итак, — говорит Спот. Теперь он больше похож на себя. — Итак, Давид, откуда же ты явился?

— Из Вены, — помолчав, отвечает Давид.

— Вот как? И что же ты делаешь здесь?

Давид не отвечает.

— Джейсон, — говорит Спот, — наш добрый друг и руководитель Джейсон утверждает, будто ты сбежал из дому. Остальные тоже так считают.

Давид по-прежнему молчит.

— Не бойся, — дружески говорит Спот, — я не стану лезть тебе в душу.

Давид не смотрит на него.

— Но тебя что-то мучит, сейчас, в эту минуту. И это связано с девушкой.

— Да, — говорит Давид. — Вы правы.

Спот колеблется. Потом говорит:

— Ты уверен, что это следует принимать так близко к сердцу?

Давид поворачивается к нему. Глаза у него блестят. Он молчит.

— Значит, это любовь, — говорит Спот. — Настоящая любовь.

— Да, — соглашается Давид. — Настоящая любовь.

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло!

Старая венская песня

ИСТОРИЯ ДАВИДА

Шли последние дни жизни в летнем лагере. В большом желтом главном здании уже царило прощальное настроение.

Никто из всех ста двадцати мальчиков больше не желал слушаться; они как будто

спешили напоследок насладиться свободой, придумать что-нибудь этакое, прежде чем город и родители вновь закуют их в цепи будней.

Руководитель лагеря, ротмистр Риндебраден, мягко говоря, был расстроен. Особенно после того, что случилось сегодня.

Ротмистру, плотному человеку с закрученными усами, было лет шестьдесят пять. Как руководитель лагеря, он добросовестно старался воплотить в жизнь идеи англичанина Баден-Поуэлла[1], соединяя их с собственной теорией того, что он называл здоровым образом жизни.

Разумеется, на этом пути у ротмистра Риндебрадена возникали определенные трудности. Но в основном все шло гладко. Первые три недели из своего месячного пребывания в лагере столичные подростки были почти оглушены свежим воздухом, походами по полям и лесам, а также предписанными ротмистром гимнастическими упражнениями. После всего этого многие мальчики, к своему удивлению, засыпали, как только их головы касались подушек. Времени на проказы у них просто не оставалось. Но к последней неделе мальчики обычно так преуспевали в выполнении программы ротмистра Риндебрадена, что, к сожалению, у них появлялся избыток сил, которые они тратили на недозволенные экспедиции после отбоя, набеги на столовую, а главное, что было особенно неприятно, на вылазки на другой берег озера, где находился лагерь для девочек.

Оба лагеря имели одного и того же учредителя, и в них придерживались в основном одних и тех же правил. Между руководителями лагерей существовал уговор: держать мальчиков и девочек на расстоянии друг от друга. И тем не менее отдельные смельчаки сбегали из лагеря, чтобы принять участие в тайных встречах по другую сторону озера или — что еще хуже — просто чтобы подглядывать за девочками. Ротмистр Риндебраден понимал, конечно, что в мальчиках кипит кровь. Как офицер, он отдавал должное стратегической изобретательности участников этих экспедиций. Мужская часть австро-венгерской молодежи подавала неплохие надежды. Мальчики происходили из хороших венских семей. Этот избыток сил, это... стремление следовало обуздать и превратить в рыцарственность и сдержанность. Впрочем, никакого вреда от этих мальчишеских вылазок не было. И ротмистр Риндебраден был прав, наказывая за них... не слишком строго.

Но в тот день... В тот день это перешло все границы.

Началось с того, что в полдень, перед обедом, Ханнес Шахль спросил шепотом у Давида:

— Пойдешь со мной во время мертвого часа?

Давид растерялся. Они с Ханнесом были одногодки, но Ханнес был значительно крупнее и взрослее.

— Куда? — спросил он, чтобы выиграть время.

— А то ты не понимаешь! — Ханнес с Давидом учились в одном классе и хорошо знали друг друга.

— Туда?

— Туда. — Ханнес кивнул.

— Господи, мы попадемся!

— Как хочешь, пойду один. — Но он медлил и смотрел на Давида.

— У меня нет желания весь день полоть грядки.

— У меня тоже. — Ханнес Шахль широко улыбнулся, не разжимая губ, и скрестил на груди руки. За последний год он сильно вытянулся и теперь с удовольствием смотрел на своих товарищей сверху вниз. В глазах Ханнеса всегда сверкал опасный блеск, и приглашенние принять участие в его экспедиции считалось большой честью.

— Если мы пойдем только вдвоем, никто ничего не заметит, — сказал Ханнес.

— Ты уверен? — Давид взглянул на товарища снизу вверх. Давиду недавно стукнуло четырнадцать, и он считал, что детство кончилось слишком быстро. Осенью ему предстоит бармицва[2], и в этом году он последний раз приехал в летний лагерь.

— Подоткнем одеяла так, чтобы казалось, будто мы спим. Потом встретимся с то-

---

[1] Р. Баден-Поуэлл (1857—1941) — английский полковник, основатель скаутского движения.

[2] Согласно традиции иудаизма — обряд, символизирующий религиозное возмужание.

бой за сараем в кустах. Если нас будет двое, один все время сможет стоять на страже.

— Договорились! — сказал Давид и пожал Ханнесу руку.

Все прошло без сучка без задоринки. Они долго ползли по кустам вокруг площадки для игры в мяч, достигли опушки, а потом во весь дух помчались через лес к озеру.

— Теперь, — сказал Ханнес, — надо лесом пройти на тот берег.

Давид покорно повиновался ему. Ханнес то и дело командовал: «Ложись!», «Пригнись!», «Тихо!» И когда они в третий раз распластались по земле, Давид не удержался:

— Слушаюсь, господин ротмистр! — И засмеялся — его друг и в самом деле был похож на ротмистра Риндебрадена.

— Идиот! — рассердился Ханнес.

— А ты ни дать ни взять ротмистр!

— Повтори!

— Пожалуйста! Ни дать ни взять...

В драке победил Ханнес; он уже собирался потребовать, чтобы Давид безоговорочно признал свое поражение, но тут в лесу послышались голоса.

— Ложись! — На этот раз приказ отдал Давид, и Ханнес послушно бросился на хвою. Голоса раздавались совсем рядом, и что самое ужасное — это были голоса девочек. Давид и Ханнес учились в мужской школе и потому девочек видели только на улице, издали, или в Бургтеатер и знали о них очень мало. Конечно, в классе всегда кто-нибудь рассказывал, как целовался с девочкой, а некоторые свободомыслящие даже утверждали, что делали это, но доказательств ни у кого не было.

Правда, самые дерзкие не ограничивались лишь подглядыванием за девочками из другого лагеря. Два счастливчика недавно даже разговаривали с девочками и после захода солнца в укромном месте съели сообща три запретных пирожных. Остальные смертные довольствовались лишь тем, что открывалось их глазам, — ногой, на которую натягивался чулок, или плечом, когда девочка чесала комариный укус.

Поэтому неудивительно, что Ханнес и Давид чуть не задохнулись, увидев из-за кустов целую толпу девочек, идущих через лес. Все они были в купальных костюмах. Девочки прошли совсем близко, Давиду и Ханнесу стоило большого труда не выдать свое присутствие.

Когда девочки скрылись из виду, Ханнес посмотрел на Давида. Тот был бледный, как мертвец.

— Пошли за ними, — сказал он немного погодя.

Давид кивнул, он чувствовал, что сейчас произойдет что-то очень важное и для его жизни, и для его дружбы с Ханнесом.

Они поползли, стараясь, чтобы не хрустнула ни одна ветка.

— Куда они пошли? — шепотом спросил Давид.

— Понятия не имею, — ответил Ханнес. Они поползли дальше. — Знаю! — вдруг сказал Ханнес.

— Тс-с!

— Я знаю! Они пошли к озерку!

— К какому еще озерку?

— К лесному, из которого вытекает ручей. Мы ходили туда в прошлом году.

Теперь можно было не спешить. Через двадцать минут они подошли к маленькому озерку. Выбрали на склоне подходящее место, заняли удобную позицию и начали наблюдать.

Девочки уже купались. Давид удивился, что их не сопровождает никто из взрослых. Но Ханнес толкнул его в бок:

— Смотри... У них за старшую Волчица.

Волчица была взрослая девушка лет девятнадцати. Почему-то она каждый год приезжала в женский лагерь. Говорили, будто она приходится не то сестрой, не то племянницей одной из воспитательниц. Все знали: с Волчицей шутки плохи, она уже не раз ловила непрошеных гостей. Кроме того, она ходила в брюках. Даже девочки побаивались ее — по крайней мере так казалось со стороны.

Вскоре девочки вышли из воды. После недолгих переговоров Волчица пролаяла несколько приказаний, и девочки начали снимать с себя купальные костюмы.

Два сердца в кустах замерли...

Купальные костюмы повесили сушиться, несколько девочек снова прыгнули в воду, другие вытерлись и улеглись загорать на полотенцах или подстилках. Давид и Ханнес глядели во все глаза. По мере того как купальники высыхали, девочки снова надевали их. Они явно стеснялись, хотя и были уверены, что никто посторонний их не видит. Волчица стояла на камне и следила за ними. Когда девочки приближались к ней, она громко фыркала.

— Ты хотел бы попрыгать в воде вместе с ними? — шепнул Ханнес, и Давиду почудился подвох в его вопросе.

— Что? Нет. Да. Да, да, конечно.

Ханнес беззвучно усмехнулся и краем глаза посмотрел на товарища. И когда Давид вновь перевел взгляд на купальщиц, Ханнес отполз назад и присел на корточки. Давид не успел опомниться, как Ханнес схватил его за ноги и скинул со склона. От удивления Давид даже не вскрикнул. Ханнес мгновенно исчез. Девочки испуганно завизжали. И в ту же секунду прозвучал приказ:

— Мальчишка! Держите его!

Давид понял, что это Волчица и что он пропал. Две одетые девочки постарше схватили его. Голые девочки бросились к своим полотенцам и прикрылись ими, некоторые быстро натянули купальные костюмы.

— Итак...

Он поднял глаза. Волчица.

— Что ты здесь делаешь, поросенок?

Послышалось хихиканье — о боже, только не это! Еще не придя в себя, Давид смотрел на узкое, злое лицо Волчицы, на ее широкие загорелые плечи, холодные глаза.

— Ах ты наглец! — Опять смешки. Давид сглотнул слюну. — Садись! — Он сел. — Анна! Рези! Посмотрите, нет ли там еще кого-нибудь!

— Сейчас, фройляйн Шлингер, — подобострастно ответили девочки.

— Ах ты противный, грязный мальчишка! — Волчица стояла перед ним, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Девочки теперь смеялись открыто. Враг был у них в руках. Путь к бегству был отрезан. И самое обидное, что Ханнес, наверное, сейчас наблюдает за этим недостойным спектаклем из какого-нибудь укромного места.

— Больше никого нет, фройляйн Шлингер! — опять подобострастно крикнули девочки.

— Хорошо. Значит, у нас только один гость из мужского лагеря. Необыкновенный случай! — Снова взрыв смеха. — И как вас зовут, сударь?

Давид не ответил.

— Разве вам не известно, что положено вручать визитную карточку или представляться по всем правилам... когда вы попадаете в общество дам? — Волчица повысила голос, и глаза ее сузились еще больше.— Хорошо! Выясним позже. Это нетрудно. И долго ли вы лежали здесь в кустах?

Давид молчал. Он думал о записи, которая в самое ближайшее время появится у него в дневнике.

— Значит, долго, — заключила Волчица, схватив его железной рукой. — Как я понимаю, ты пришел сюда, чтобы подглядывать. Чтобы удовлетворить, — она ударила его по щеке, — свои грязные, гнусные желания! — Девочки возмущенно зашептались. — Или, — сладким голосом продолжала Волчица, — ты хотел полюбоваться своей подружкой? Хотел увидеть ее без юбки?

Давид отчаянно замотал головой. Но Волчица истолковала этот ответ как утвердительный.

— Ага! Теперь понятно. Пожалуйста, будь любезен и покажи нам свою избранницу. — Давид с ужасом смотрел на нее. Стиснув зубы, Волчица ткнула рукой в притихших вдруг девочек. — Ну-ка, покажи мне ее! А не покажешь — пеняй на себя!.. — Давид ни минуты не сомневался, что ей ничего не стоит вздуть его. Но он только слабо покачал головой. Взгляд его скользнул по лицам... Кого же выбрать?.. Что-то говорило ему, что он

не сможет этого сделать. Вдруг его глаза встретились с большими черными глазами. Довольно высокая, худенькая девочка, темноволосая, с белым лбом, смотрела на него совершенно открыто. Как только их глаза встретились, ее губы шевельнулись.

Давид отрицательно помотал головой.

— Ну хорошо! — прошипела Волчица. — Значит, мы тебя высечем. Рези! Найди подходящую хворостину. И побыстрей!

У Давида сердце ушло в пятки. Волчица остановилась перед ним с хворостиной в руке.

— Ну как? Сам спустишь штаны или тебе помочь?

Давид чуть не плакал, но шевельнуться не мог.

— Хорошо, — сказала Волчица, — тогда остается одно...

— Нет! — вдруг сказал чей-то голос. Это была та черноглазая девочка. — Он мой друг. И никто не посмеет тронуть его!

Тишина. Растерялась даже Волчица.

Черноглазая девочка подошла к Давиду. Она оказалась выше его ростом. Лоб у нее побелел еще больше. Она серьезно смотрела ему в глаза. Кто-то хихикнул.

— Прекрасно, София, — мрачно проговорила Волчица. — Раз это твой дружок, ты сама и высечешь его розгой. Понятно?

— Только по рукам, — сказала София, не спуская глаз с Давида.

— Хорошо, — согласилась Волчица. — Начинай!

София кивнула и начала стегать его по рукам. Давиду было больно, и он видел, что ей это неприятно. Однако никто из них не издал ни звука. Вернее, уже в самом конце у нее в груди что-то дрогнуло, она словно всхлипнула и быстро глотнула воздух. Наказание было окончено, она снова посмотрела ему в глаза и скрылась за спинами девочек.

Давиду пришлось назвать свое имя, чтобы Волчица отпустила его обратно в лагерь. Она все равно узнала бы его. Он шел через лес и плакал из-за предательства Ханнеса, из-за всего, что ему пришлось увидеть и пережить. Да и руки тоже болели. Но главной причиной его слез были черные глаза и короткий всхлип девочки, которую звали София.

Ротмистр Риндебраден мрачнее тучи ходил по своему кабинету и все больше распалялся. Окаменевший Давид слушал раскаты грома. В конце концов его высекли. Потом отправили спать. Без ужина.

В спальне он увидел Ханнеса. Тот сидел на своей кровати и, по-видимому, ждал Давида.

— Он очень сердился? — спросил Ханнес.

Давид не удостоил друга даже взглядом и начал спокойно раздеваться.

— Я же не знал, что так получится, — сказал Ханнес.

Давид натянул ночную рубашку.

— Я просто не удержался, — тихо сказал Ханнес. — И не бойся, я никому не расскажу о том, что... там произошло.

Давид по-прежнему молчал.

— Ты же сам сказал, что хотел бы оказаться в воде среди них. — Ханнес выжал из себя улыбку.

Давид лег.

— Какая она злобная, эта Волчица, правда?

— Покойной ночи, — сказал Давид.

— А как зовут девочку, которая стегала тебя по рукам?

Давид приподнялся на локте.

— Послушай, — мрачно сказал он. — Мне не разрешили ни с кем разговаривать и приказали сразу же лечь.

— Понятно. — Ханнес не спускал с него глаз. — Прости, что так получилось. Только это я и хотел сказать тебе.

— Ладно. — Давид задумался. — Да я и не сержусь.

— Спасибо. Он спрашивал, кто там был еще?

— Я не ябеда.

— Ну, я пошел, — помолчав, сказал Ханнес. — Покойной ночи.

Давид уснул не сразу. В спальне было непривычно тихо, за окнами синел ранний вечер. Так рано он не ложился уже очень давно. Что-то в этой синеве, в тишине большой комнаты и звуках жизни за окном заставило его вспомнить время, когда он был совсем маленький. Или лежал больной. Вместе с тем он чувствовал себя большим, почти взрослым, во всяком случае взрослее, чем был утром.

Давид открыл глаза. Он и в самом деле больше не сердился на Ханнеса. А может быть, и на Волчицу. Но на Ханнеса точно не сердился. И от этого он, как ни странно, испытал острую, ликующую радость. Давид лежал и улыбался. Потом закрыл глаза и стал думать о девочках. Он бы провалился сквозь землю, если бы снова встретил хоть одну из них...

Наконец перед ним возникла она. Большие черные глаза, темные волосы. Он быстро сел в кровати и покачал головой. От мучительного стыда его бросало то в жар, то в холод. Радость исчезла. Он опять испытал пережитое унижение. Он был рад, что больше не поедет в лагерь.

С этой мыслью он заснул.

И когда той же осенью в Вене пришло время бармицвы, это была уже ненужная церемония. Давид, сам того не сознавая, уже расстался с детством, расстался в тот самый день, когда вместе с Ханнесом отправился подглядывать за девочками.

Но ту черноглазую девочку, Софию, до возвращения в город он увидел еще раз. В последний вечер. Давид закончил прополку — это было одно из наказаний по системе ротмистра Риндебрадена — и пошел вместе с Ханнесом на озеро удить рыбу. Стемнело. Они перестали удить, просто сидели и беседовали. Их дружба по-своему укрепилась за эти последние три дня. И когда они возвращались в лагерь, настроение у них было прекрасное.

Впереди зашуршал гравий, и перед ними на тропинке неожиданно появилась девочка. Давид сразу узнал ее. Глаза у нее были такие же большие и серьезные, как тогда, и лоб такой же белый. Нет, теперь в темноте он казался еще белее. Давиду захотелось убежать. Просто дать дёру. Но Ханнес многозначительно и коротко, по-взрослому, кивнул девочке и пошел дальше, один.

Девочка сделала шаг по направлению к Давиду, потом еще один. И с каждым ее шагом он чувствовал, как его охватывает странное оцепенение. Наконец она остановилась рядом с ним.

— Ты тоже живешь в Вене? — спросила она.

— Мм... — От волнения у него пропал голос.

— Я улизнула из лагеря, понимаешь. — Она робко улыбнулась. Давид и не знал, что девочки тоже нарушают правила. Ему опять захотелось убежать.

Она бесцеремонно схватила его ладони и стала разглядывать. Должно быть, они выглядели неважно, потому что она нахмурилась.

— Тебе больно? — По ее лицу скользнула улыбка.

— Нет. Нет. — Он отрицательно помотал головой. — Совсем не больно. — Но она продолжала держать его руки в своих. Беги, Давид! Беги! В нем поднялась и опустилась волна стыда: он и не знал, что девочки могут быть такие... такие раскованные.

— По утрам в воскресенье я бываю в Шёнбрунне, — сказала она. — Но очень рано. Чтобы увидеть императора, если он поедет в Ишль.

— Угу, — буркнул Давид. Наконец она отпустила его ладони, положила руки ему на плечи и прижалась к нему.

На несколько мгновений весь мир сосредоточился только в этих руках, лежавших у него на плечах, в ее нежном лице и губах. Потом Давид вырвался и бросился бежать в лагерь...

На другой день Давид вернулся в Вену с письмом от ротмистра Риндебрадена.

Он передал это письмо отцу в конторе музыкального магазина. Отец вскрыл конверт и стал читать, поглаживая рукой свою седеющую пышную бороду.

Давид стоя ждал. Если он выдержал порку ротмистра Риндебрадена, он выдержит и то, что ему предстоит здесь. Правда, теперь он уже не был в этом уверен.

— Давид, — сказал отец, дочитав письмо. — Подойди ко мне. — Давид повиновался.

Отец грустно посмотрел Давиду в глаза. За окном грохотали экипажи, звенели трамваи.

Потом отец залепил ему оплеуху.

— Скоро тебе предстоит бармицва, — сказал он. — Наш дом никогда не был особенно правоверным, и, боюсь, сегодня все, связанное с религией, значит гораздо меньше, чем в мои детские годы. Тогда все было иначе. Мне бы хотелось, чтоб ты пережил то же, что в свое время пережил я. Проникся той же серьезностью... Раньше не было принято, чтобы еврейская молодежь так много общалась с другой молодежью. А насколько я понял из этого письма... Наверное, в наше время мораль была выше, обычаи строже. — Он замолчал, лицо у него было усталое.

Раньше отец никогда не говорил так с Давидом, особенно о вере и морали. У отца был музыкальный магазин, он продавал музыкальные инструменты и ноты, любил поговорить о музыке, водил детей в Бургтеатер, приглашал к себе домой коллег и музыкантов. Но, рассуждая о вере, иудаизме и морали, он, как правило, ограничивался прописными истинами. Таким, как сейчас, Давид отца еще не видел.

— Думаю, мы больше не будем к этому возвращаться, — помолчав, сказал отец. — Скоро ты будешь принят в нашу общину в качестве взрослого человека. Не знаю, придает ли этому значение нынешняя молодежь. Но с сегодняшнего дня я больше не буду тебя наказывать. Обещаю тебе.

Давид с удивлением смотрел на отца.

— Надеюсь, тебе со временем станет ясно, что это означает, — сказал отец. — Отныне ты будешь наказывать себя сам.

Давид, не понимая, кивнул. Лишь много времени спустя до него дошел смысл отцовских слов.

— Но больше этого не делай, — сказал отец. — Это не по-мужски, настоящие мужчины так себя не ведут.

— Я знаю.

— А теперь добро пожаловать домой. Тебе понравилось в лагере?

— Да. Но в этом году я был там последний раз.

Отец кивнул.

— Там было хорошо. И у меня появился новый друг.

— Кто же это?

— Ханнес... Иоханнес Шахль. Сын адвоката.

— Замечательно.

— В лагере было хорошо, — сказал Давид.

*

Детство Давида прошло в большой старомодной квартире в тринадцатом округе Вены, на втором этаже доходного дома на Розенхюгельштрассе. Это была одна из спокойных и тихих улиц, жители которых — венские буржуа — выращивали в своих палисадниках розы, тюльпаны и декоративные кусты. Улица гордилась своими розами. Отец Давида унаследовал от своего отца музыкальный магазин, который со временем должен был перейти к Давиду. Это подразумевалось само собой. Господин Бляйернштерн принадлежал к средней буржуазии, и его жилище было обставлено солидно, красиво и содержалось в образцовом порядке. Давид и его сестра Мира выросли в доме, где жизнь текла размеренно и устойчиво, напоминая ход хорошо отлаженного часового механизма. В воскресенье вечером мать с отцом подсчитывали доходы и расходы за прошедшую и будущую неделю. Оставшиеся деньги помещались в надежный банк или вкладывались в ценные бумаги. Доходы отец подсчитывал раз в год, как и его соседи. И всегда это было на столько-то крон и геллеров больше, чем в предыдущем году.

В детстве Давид учился играть на скрипке и фортепиано — на этих инструментах лучше всего играл отец, сестра же училась играть на виолончели и флейте, считавшихся инструментами матери. По вечерам семья занималась музицированием или родители по очереди читали детям вслух какие-нибудь известные произведения, обладавшие воспитательной ценностью. По праздникам отец читал вслух из Торы и семья посещала синагогу. Но, как и во всех венских буржуазных домах, вера была исключительно личным делом. Говорить о ней было не принято.

Лишь очень редко, как, например, после возвращения из лагеря с письмом от ротмистра, Давид понимал, что так было не всегда. В действительности отец был верующий человек. Если разум и здравомыслие уже не позволяли ему утверждать, что еврейский народ избран самим богом Яхве, вера в это еще жила где-то в глубине его сердца. Но выражалась она главным образом в соблюдении важнейших традиционных обрядов. Ни Давид, ни Мира никогда не учили идиш — женившись, их отец навсегда отказался от этого языка, — мать говорила только по-немецки. Рассказывая сыну о происходящих в мире событиях, отец говорил на том же диалекте и с теми же интонациями, что и тысячи других отцов в этом имперском городе:

— Будь ты иудей или христианин, лучший способ служить Господу — это честно трудиться, построить свой дом, вести торговлю. Созидают только трудолюбивые и осторожные, они созидают мир.

И, как тысячи других сыновей в этом городе, Давид задумчиво кивал, слушая Заповеди Отцов.

Мера во всем — такова была основополагающая аксиома Отцов. Надежность и прочность, и так будет во веки веков, пока течет Дунай. Однако сыновья понемногу менялись, даже Давид, когда придет время, совершит поступок, который потрясет его родителя и причинит ему боль. Давиду еще предстояло понять, что надежность и прочность для людей их круга связаны с сознательным стремлением к ассимиляции; по всей Австрии жили десятки тысяч еврейских граждан, таких же, как его отец, которых было уже трудно отличить от десятков тысяч их христианских братьев, входящих в то же сословие.

Сам Давид почти никогда не думал на эти темы. Он едва ли сознавал, что между ними есть какая-то разница. Сначала гражданин, потом иудей, говорил отец. Только странная грусть и нежность, прозвучавшие в голосе отца в тот день, когда Давид явился к нему с письмом от ротмистра, говорили о том, что отец знает что-то, чего не должен знать Давид.

Подошла бармицва, и, как уже говорилось, это была почти ненужная церемония.

Иоханнес Шахль конфирмовался той же осенью.

Тихо началась зима, выпало много снега, особенно на Новый год. На улицах лежали сугробы, они изменили внешний облик домов и деревьев. По утрам снег, как бельмо, лежал на оконных стеклах. Магистр Шульце, шепелявый учитель английского, вел урок, и его холеная седая эспаньолка ритмично опускалась и поднималась. Ученикам казалось, что магистр говорит бесконечно долго. Кафельную печь натопили еще до начала уроков, и в классе стояла гнетущая жара, от которой закладывало уши и клонило в сон.

Ханнес Шахль постепенно оседал на парте перед Давидом. Иногда он вздрагивал и выпрямлялся, но затем снова начинал оседать. Это зрелище было такое же скучное и однообразное, как движение эспаньолки магистра Шульце, который уже в десятый раз анализировал фразу из «Бури».

Давид вяло старался сосредоточиться и не смотреть на спину Ханнеса. Но его мысли, словно прорыв тайные туннели в толстом слое тепла и сонливости, разбегались в разные стороны.

Эта зима была для Давида совсем не такой, как прежние. Теперь он учился во втором классе гимназии, и все было уже по-взрослому. Учителя были строги и безлики; ученики сгибались под непосильным грузом домашних заданий.

Этой зимой окрепла и дружба Давида с Ханнесом Шахлем. Они были разные, и внешне и внутренне. Давид был спокойный и молчаливый, его многие считали маменькиным сынком. К тому же он был хрупкого сложения. Ханнес — высокий, сильный и порывистый, любил прихвастнуть большей частью выдуманными подвигами, Давид же строго придерживался правды. О чем бы ни зашла речь, их позиции всегда оказывались противоположными. Давид предпочитал Брамса, Ханнес — Вагнера. Они часами спорили на подобные темы.

Больше всего, пожалуй, их дружбу скрепляли книги. В ту зиму оба они открыли для себя поэзию. Оказывается, от чтения стихов можно было получать удовольствие! Эти стихи были написаны поэтами, молодыми поэтами, которые еще жили на этой земле. Может быть, даже в их городе.

Новые произведения появлялись также в музыке, драматургии и живописи; произведения, порывавшие со всем старым, консервативным и академичным. Давид и Ханнес скорее угадывали, чем осознавали это. Что-то менялось — они это чувствовали. И им это нравилось. Они еще довольствовались поэтами, не украшавшими книжных шкафов добропорядочных буржуа, поэтами, чьи строки еще не изучались и не анализировались в школах столицы императора Австрии и короля Венгрии. Они еще не созрели для чтения бунтарской литературы, неприличного Стриндберга и подозрительного Ведекинда. Еще не отдавали своих стихов, переписанных красивым почерком, на суд настоящим поэтам. Пробы пера и серьезные политические дискуссии — все это еще ждало их впереди.

Да и Бог тоже еще не стоял по-настоящему на повестке дня. Он притаился за кулисами и ждал.

Во время бармицвы Давид, собственно, не думал о Боге, Бог был для него только условным, символическим понятием. Больше всего он думал о любви, даже не понимая, что думает о ней почти все время.

Впрочем, непристойные открытки и грязные разговоры на переменах, напоминавшие школьный запах, терпкий и неприятный; постыдные желания, против которых мальчики были беспомощны; первые сексуальные опыты, чаще всего выдуманные, с кузинами и соседскими девочками; шарящие руки и шелестящая тафта на танцевальных вечерах плохо сочетались с тем, что говорили поэты. Но и то, что говорили поэты, плохо сочеталось с любовью, которую они видели на улицах, с любовью, выставленной на продажу. Ничто ни с чем не сочеталось.

И совсем иными были тихие ночи, когда слышался шорох листьев и башенные часы каждые пятнадцать минут осторожно стучали в окно Давида. Он просыпался, продолжая грезить наяву. Он так и не осмелился пойти в Шёнбрунн утром в воскресенье и вообще старался не бывать даже поблизости от Шёнбрунна, боясь взгляда больших черных глаз, видевших его насквозь.

Давид изо всех сил противился тому, что неизбежно должно было прийти. Но по ночам, когда его другом был лишь бой башенных часов, его охватывала тоска. И он шепотом говорил с окном. Возьми меня, шептал он идущему мимо Времени, возьми туда, где мне следует быть...

Магистр Шульце громко стукнул указкой по парте Давида. Давид виновато поднял глаза.

— В третий и последний раз, господин Бляйернштерн, в третий и последний раз, — сердито повторил магистр, и Давид весь напрягся, готовый ответить на вопрос. — Вы спите, господин Бляйернштерн, а вы не должны спать. Вы должны анализировать.

— Простите, что я заснул, господин магистр. Я не нарочно.

— Вы получаете замечание. Итак?..

Давид стоит в полутемном душном классе, снег за окном валит еще сильнее; что такое сегодня творится? Объяснить этого, конечно, нельзя, но когда Давид по дороге домой сердился, вспоминая полученное замечание, его гнев был неглубок, словно все это не имело к нему никакого отношения.

Ханнес шел рядом с Давидом. Под ногами у них похрустывал твердый блестящий снег. Мимо ехали повозки, запряженные гнедыми холеными лошадьми, у лошадей из ноздрей шел пар, на боках блестели полоски пота. Немного потеплело, снег было прекратился, но вскоре повалил снова. Над Веной нависло тяжелое серо-красное небо.

— Пойдем ко мне делать уроки? — спросил Ханнес. Давид и сам собирался провести этот вечер у Ханнеса — сделать вместе уроки, а потом что-нибудь почитать, но в нем словно шевельнулось какое-то предчувствие, и он, к собственному удивлению, ответил:

— Нет, спасибо, Ханнес, не сегодня. Мне надо зайти к отцу в магазин.

Ханнес кивнул, тоже немного удивленный, потом улыбнулся на прощание и свернул на свою улицу, обсаженную липами. Давид еще долго стоял и растерянно смотрел ему вслед.

Потом он пошел к центру города. У него не было обыкновения заходить к отцу после уроков, если они заранее не договаривались, и он не мог понять, почему солгал Ханне-

су, — у него не было такой привычки. Он мог бы сесть на трамвай, но решил, что спешить некуда. Снова повалил снег, и потому оживленное движение в центре города виделось словно сквозь тюлевый занавес в театре; отряд кавалеристов, телега с пивом, дамы в меховых шапках и с муфтами, темные фасады домов, рассыльные... Снег навеял на Давида странное состояние.

Он дошел почти до Грабена и свернул к отцовскому магазину, находившемуся на одной из боковых улиц. Давид взглянул на собор — узорчатая крыша была скрыта снегом.

В нескольких метрах от магазина Давид остановился. На улице он увидел отца. Отец был без пальто и без шляпы, он стоял к Давиду спиной и, оживленно жестикулируя, что-то говорил полицейскому в шлеме. Несколько прохожих остановились и наблюдали за происходящим. Стеклянная витрина магазина была разбита. В витрине лежала сломанная скрипка; в дыру залетали снежинки и ложились на музыкальные инструменты и нотные тетради.

Давид не сводил глаз с разбитой витрины. Ни отец, ни полицейский его не видели. Откуда-то донесся голос отца: «И как прикажете это понимать?» — и ответ полицейского, говорившего о каком-то митинге. Глядя на отца, Давид вдруг ощутил, что перед ним чужой человек. Надо подойти к нему, подумал он, спросить, не нужна ли моя помощь. Но стоящий на улице продавец музыкальных инструментов не имел к нему никакого отношения, и его магазин тоже. Давид был просто прохожим, задержавшимся на минуту из любопытства. Он надвинул фуражку на глаза и прошел мимо лыбящейся дыры в зеркальном стекле, удивленный и пристыженный своим поведением. Быстро свернул за угол и исчез в темноте.

Он шел не оглядываясь.

*

Она видит его, как только он сворачивает в переулок. Несмотря на толстое зимнее пальто и фуражку, она сразу узнаёт его. У него такой вид, будто он возвращается с собственных похорон.

Она громко окликает его, но он не слышит. Она бежит по снегу, чтобы не упустить его. Останавливается перед ним и загораживает ему дорогу.

Он не сразу поднимает глаза. Тяжело дышит. И наконец поднимает к ней лицо.

— Это ты! — тихо говорит она.

— Да. — Он смотрит на нее, нисколько не удивляясь.

— Это ты! — Она, как всегда, серьезна.

Она серьезна, даже когда улыбается, как теперь. И берет его под руку. Тут их никто не увидит. Дальше они идут вместе.

— Я каждое воскресенье утром ждала тебя в Шёнбрунне. Разве ты не знал?

— Знал. Я не мог прийти.

— Ничего страшного. Там так хорошо. Даже ждать.

— Да. Хорошо.

— Но больше я ждать не хочу. У тебя замерзли руки. Давай их сюда. — Она прячет его руки в свою муфту.

Так они и стоят. Стоят в белом от снега столетии. Он роняет ранец, не замечая этого, ранец раскрывается, и из него вываливается несколько книг.

— Я ходила покупать кисти. Мне хотелось написать твой портрет. По памяти. Я буду художницей.

Он кивает:

— А я еще не знаю, кем буду.

— Понятно.

— Но торговать музыкальными инструментами я не собираюсь.

— Понятно. Давай зайдем куда-нибудь и выпьем шоколада?

— Давай. Шоколада так шоколада.

Они идут. Она снова берет его под руку. Учебники остаются на снегу, на переплетах тают снежинки.

*

— Да, конечно, дети не слушаются родителей, но вот эта юная фройляйн желает заниматься только живописью. Так же, как ее мать. Хотя я бы предпочла, чтобы она нашла себе какое-нибудь другое занятие. Проявила больше непослушания.

— Ну мама!

— Вы меня понимаете? — Фрау Мельхиор многозначительно посмотрела на Давида. — Она пытается воспитывать свою мать.

Давид смущенно опустил глаза.

— Мама, ты пугаешь Давида, — вмешалась София.

— Вот видите? Согласна, может, мне и не хватает воспитания. После гибели мужа... я была, как бы это сказать, в совершеннейшей прострации... Да, думаю, так можно сказать. В прострации. София так и не получила надлежащего воспитания. Вам это следует знать, господин... Бляйернштерн. Вы не обидитесь, если я буду вас звать просто Давидом, у вас такая длинная фамилия... Давид, вы должны знать, что наш дом посещают исключительно актеры, художники, скульпторы и эти... ну, которые пишут. Бедная София так и не получила надлежащего воспитания. Простите мне мою откровенность. Но, полагаю, вас удивляет, почему она такая, какая есть. Она всего насмотрелась. И уж лучше я, ее мать, скажу вам об этом прежде, чем вы обнаружите это сами.

София огорченно наблюдала за матерью, которая с видимым удовольствием пила чай, не прерывая своего бесконечного монолога. Давид сидел красный как рак и односложно отвечал на ее вопросы.

— И вот теперь, — продолжала фрау Мельхиор, — она уже претендует на место в моей мастерской. Я прямо говорю ей, что это уж слишком. Неужели ты не можешь заняться чем-нибудь более разумным? Изучать французский, например, коллекционировать марки или посещать школу танцев, как все приличные девочки?

— Мама, ты же знаешь, что я терпеть не могу танцевать. И я вовсе не приличная девочка.

— Подумайте, Давид... я опять зову вас просто Давидом... она каждое утро занимается живописью, и это теперь, в такие дивные мартовские дни.

— А дождь, мама? Каждый день идет дождь.

— Чепуха!

— Но это правда, фрау Мельхиор. Каждый день идет дождь.

— Неужели? Вы видите, Давид? Это все моя прострация. Да, да. Надеюсь, София, ты не слишком похожа на меня. Надеюсь, ты пошла в своего покойного отца... Иначе я вам не завидую, Давид. — Она вдруг посмотрела ему прямо в глаза. Он снова покраснел.
— Так о чем это я...

— Мы говорили о живописи, мама. О мастерской. Я привела Давида, чтобы показать ему свои картины.

— Ах да, совершенно верно, — вспомнила фрау Мельхиор. — Совершенно верно. А я вас держу тут. София, дорогая, я понимала, что с тобой что-то происходит. Последние три месяца ты по вечерам почти не бывала дома. А ведь ты такая домоседка. Так что теперь, мне кажется, будет лучше, если ты станешь приводить Давида сюда, будем вместе пить чай. Между прочим, София очень талантлива, — фрау Мельхиор вдруг обратилась к Давиду. — Бог знает, от кого у нее талант. Я-то весьма посредственная художница. Может, это у нее от отца? Мой покойный муж Адальберт владел рудниками, вы только себе представьте! Звучит ужасно, не правда ли? Но душа у моего Адальберта была очень чувствительная, чего не скажешь о его братьях. Так вот, когда мой муж... словом, когда он умер и оставил нам и дом, и эти рудники... Тогда, разумеется, управлять рудниками стали два его брата, они все взяли на себя. Очень неприятные люди. Они здесь не показываются, кроме тех редких случаев, когда надо уладить дела с этим наказанием, с этими покаянными деньгами или как там называется то, что мы платим, чтобы получить отпущение грехов...

— Это называется «налоги», мама! Налог на капитал.

— А я называю это покаянными деньгами. Мы платим государству эти деньги, чтобы оно простило нам все наши дурные поступки.

— Не говори глупости, мама. Налоги мы платим государству, чтобы государство могло распоряжаться этими деньгами для общего блага. Ты это прекрасно знаешь.

— Общее благо, и ты туда же! — фыркнула фрау Мельхиор. — Как будто я не видела, какие книги ты читаешь по ночам! Кропоткин. Маркс. И этот, как его... Балдриан...

— Бакунин, мама.

— Так что, пожалуйста, не говори мне о государстве и всеобщем благе, моя маленькая террористочка.

Они сидели в гостиной фрау Мельхиор, большой комнате с высоким потолком, обставленной дорогой мебелью и увешанной бесценными картинами, однако все в целом выглядело довольно беспорядочно. Две картины были сняты и небрежно поставлены лицом к стене. Римский бюст на секретере служил в качестве пресс-папье. Комната очаровывала, приводила в замешательство и была похожа на свою хозяйку, восседавшую перед Давидом в плетеном кресле. Давид знал фрау Мельхиор по слухам, она была известна благодаря своим картинам, но больше благодаря своему салону, который привлекал самых известных людей искусства.

— Давид, налить вам еще чаю?

— Мама! Мы сидим с тобой больше часа и выпили уже целую бочку чаю. Можно я покажу Давиду мастерскую?

— Конечно, дружок. — Фрау Мельхиор с нескрываемой гордостью смотрела на дочь. — Давид?

— Большое спасибо, фрау Мельхиор, — Давид встал. — Надеюсь, вы нас извините?

— Конечно, Давид.

София уже шла к двери. На прощание фрау Мельхиор пожала Давиду руку, потом кивнула ему и улыбнулась.

— До свидания, фрау Мельхиор.

— До свидания, Давид, спасибо.

Пройдя по длинным темным лестницам и коридорам, они оказались в большой мансарде, служившей мастерской. София закрыла за ними дверь и с внезапно нахлынувшей нежностью обвила руками его шею.

— Она тебя очень напугала? — спросила София, уткнувшись ему в плечо.

— Напугала? — Такой Софию Давид еще не видел.

— Ее многие пугаются, — прошептала София. — Она не похожа на других. Я боялась, что она напугает тебя.

— Нет.

— Ведь ты вырос в доме, где все как у людей, а тут все такое необычное.

Он застенчиво погладил ее по голове.

— Конечно, у нас дома совсем не так.

— Но, кроме нее, у меня никого нет. И никогда не было. Она сказала правду: у нас бывают только актеры и художники. В детстве я считала, что так и должно быть, но потом поняла, почему мои дяди никогда не приходят к нам со своими семьями... Впрочем, меня это не огорчает, я тоже не очень люблю их... В прошлом году мама забыла про Рождество. Она стала такой после смерти отца.

— Я только не всегда понимал, что у нее было игрой, а что...

— Искренним? Все это была игра, все, от начала и до конца. Мама взяла себе такую манеру. И мы обе это знаем. И вместе с тем это неподдельное. Она уже не может снять с себя эту маску. Так с тех пор и идет.

— Когда умер твой отец?

— Я была еще совсем маленькая... Он упал в шахту. Так нам сказали.

Давид больше не спрашивал, только продолжал гладить ее по голове.

— Кажется, тогда произошла какая-то скандальная история, но ее замяли. После этого мама и стала такой... немного не в себе. Но она живет и дышит только искусством. Все это тебе, наверное, кажется...

— Нет, София. — Давид улыбнулся в ее волосы. — Совсем нет.

— Между прочим, ты ей понравился. Если бы ты ей не понравился, она, наверное, выставила бы тебя вон. Время от времени такое случается.

— Мне она тоже понравилась.

— Теперь ты можешь приходить к нам. Она не будет против. Можешь приходить сюда. И нам больше не придется все время слоняться по улицам.

О, эти прогулки по улицам! Иногда они заходят в кафе, но чаще гуляют по улицам и паркам, белым и тихим. Всю ту зиму они без конца гуляли, тесно прижавшись друг к другу, разговаривали, смеялись, молчали. Часто они опасались, что их увидят родственники или друзья. Прятались в подъездах и за деревьями. Из страха, что их кто-нибудь увидит, они не решались гулять в Пратере, но ездили в Венский лес. Давид поздно возвращается домой, и ему приходится по ночам готовить уроки, которые, как полагают его родители, он уже приготовил у Ханнеса. Но каждое утро он просыпается и бежит в школу. Потом София встречает его на углу липовой аллеи, где он прощается с Ханнесом. Ханнес кивает им обоим и уходит, он чувствует за них ответственность, ведь это он сам в буквальном смысле слова толкнул Давида к Софии. Он молчит, не выдает их.

Они много разговаривают. Читают друг другу стихи, говорят о книгах, о деревьях, о людях, которые идут мимо, придумывают их истории. София не такая, как все девочки. Давида переполняет чувство благодарности за то, что на их долю выпало это счастье. Давид покупает ей серебряное колечко, продавец с улыбкой смотрит, как Давид, красный от смущения, быстро покидает магазин со своей покупкой. В этот день они были в музее, и их едва не выгнали оттуда за то, что они все время обнимались.

— Покажи мне свои картины, София.

Они ходят по мастерской мимо многочисленных ярких натюрмортов фрау Мельхиор. Давид принюхивается и понимает, чем всегда пахнут руки Софии, — это запах масляных красок и скипидара.

София занимает в мастерской один угол. На мольберте стоит картина, написанная в холодных тонах. София проворно прикрывает ее и достает папку.

— Сначала ты должен посмотреть мои рисунки, — говорит она.

*

Темная, тихая комната с эркером, почти монашеская келья. Давид не сразу понимает, что свет здесь такой странный из-за витража в окне; витраж полукруглый — синий крест, окруженный семью розами.

Ты здесь живешь? Здесь, наверху?

Да.

Как... как здесь красиво. Стул, стол. И кровать.

Раньше я жила в другой комнате. Когда была маленькая. А здесь, я думаю, было что-то вроде капеллы. Мой дедушка занимался алхимией, он опоздал с этим на триста лет. Это его комната. Мне захотелось в ней жить.

И ты здесь спишь?

Я здесь сплю.

София, София. Рассказывай. Свет все время меняется. Рассказывай.

О чем?

О тишине. Меня всегда окружала тишина, а тебя?

И меня тоже. Вокруг меня всегда было тихо. Всегда, все годы. Хотя внизу я окуналась в шум и веселье.

Внизу.

Все приходили туда. Все знаменитости. Актеры, художники... Всех, кого ты видел на сцене Бургтеатер, я видела здесь. Они разговаривали со мной.

О чем?

Обо всем. И ни о чем.

Ты показывала им свои картины?

Нет. Свои — никогда.

Они поднимались сюда?

Нет. Любимый. Обними меня.

София! Что с тобой?

Однажды сюда пришел один из них... Мне было не больше двенадцати.

София.

Он прикасался ко мне. Нарушил мою тишину. Я испугалась. Мне не хочется говорить об этом. Он был актер. В то время у нас в доме многое случалось. Он прикасался ко мне. После этого я изменилась. Обними меня крепче. Мне не хочется говорить об этом. Все изменилось, Давид. Я испугалась. Обещай мне одну вещь.

Что?

Обещай, что никогда не уйдешь от меня.

Обещаю.

Никогда не отпускай меня.

Обещаю.

Тихие городские улицы, освещенные солнцем. Город просыпается после долгой зимы, по улицам, держась за руки, прогуливаются влюбленные. Смеются дети.

Городские улицы детства и юности. Что может быть прекраснее для молодого человека, чем жить в большом и красивом городе! Карнизы и розетки, резные парадные двери, качающиеся уличные фонари — о, как красив город, он красив и в дождь, и в ясную погоду. Мягкий гул голосов в кафе, сероватые разводы мраморных столиков, официанты дружески кивают тебе и приносят утреннюю газету и кофе с молоком, школьный ранец ты оставил на каменном крыльце, в парке уже распустилась и благоухает сирень.

Но все становится еще красивее, если ты не один: двое, держась за руки, идут по улице. Он молодой, у него бледное, еще детское лицо и густые черные вьющиеся волосы. На нем смешной синий костюм и почему-то шляпа, которая словно по недоразумению попала к нему на голову. А она? На ней красное пальто с черной отделкой, туфли на низких каблуках. Она отмечает и его шляпу, и мешковатый костюм; почему мужчины не умеют одеваться по-человечески? Или пальто велико, или галстук похож на петлю самоубийцы. Но она молчит о том, что видит. Она улыбается.

— Ты такой элегантный, — говорит она и поправляет ему галстук. Он смущенно улыбается — он до сих пор робеет в ее присутствии.

О господи! Как хорошо быть семнадцатилетним! В семнадцать лет город кажется особенно красивым. Все памятники, все здания так и светятся от избытка чувств, дома влюблены друг в друга. Линии и изгибы фасадов столь откровенно ласкают друг друга, что можно впасть в пуританское негодование, но никто не негодует, потому что дома так невинны в своей чувственности, так молоды и чисты. Архитектура города, как зеркало, показывает, способны или не способны люди любить. Молодая пара идет по Грабену к собору Святого Стефана. Собор — монумент любви, страшный, вечный, незыблемый.

Собор так красив, что эти двое останавливаются и медлят. Они смотрят на башню, которая уходит ввысь, на каменные арки, на суету голубей.

— Подумай, сколько крови стоило построить его.

— Да. И страданий.

— Власть церкви. Как это страшно.

— В новом государстве церкви будут превращены в музеи. В дома для собраний, в народные дома.

— Как люди с этим мирились? Они не роптали, хотя столетие за столетием тесали камень и платили налоги, чтобы священники могли возводить свои храмы.

— В новом государстве церкви будут приносить настоящую пользу.

— Значит, все они были построены не напрасно.

Давид и София любуются собором Святого Стефана, а их уста произносят слова, вычитанные из книг.

— Давай войдем внутрь и полюбуемся витражами, — предлагает она.

Их опьяняет обилие красок внутри собора. Они молча ходят от одной цветной стены к другой. Он снимает шляпу и держит ее в руке, словно только что нашел. Она хватает его за руку.

— Смотри!

Перед ними окно с розами. Очарованные, они долго любуются им. После этого они уже не говорят о страданиях народа. Собор все-таки слишком красив. Они выходят на улицу.

Когда мы еще не могли говорить друг с другом,
все вокруг было игрой света, преломленного в цветном стекле.

*

Говорить? Беседовать? Ну разумеется! И не только наедине, но и в образовавшемся кружке сверстников, одни из которых хотели заниматься искусством, другие отдавали предпочтение политике, третьи были еще на распутье. Они облюбовали маленькое кафе, где регулярно собираются после выставок, спектаклей и концертов. София и Давид влились в этот кружок. Все сидят за круглыми столиками, уже не такие робкие, как раньше, более уверенные в себе, более открытые. Когда они до хрипоты спорят там на самые разные темы, через них проходит ось мироздания. Теперь к ним присоединился и Ханнес. Он опубликовал в одном маленьком журнальчике свои первые стихи, опубликовал под псевдонимом, но все знают, кто автор, и, как положено добрым друзьям, превозносят его до небес. Все медленно приобретает форму. Здесь беседуют о чем угодно. Дома Софии уже приходилось участвовать в интеллектуальных спорах и беседах, и она свободно чувствует себя в этом обществе. Давид больше помалкивает. Она тихонько пожимает под столиком его руку — ручеек тишины течет от нее к нему. Потом эти разговоры представляются Давиду примерно так:

— Кьеркегор, — говорит один. — «Страх и ужас».

— Шеллинг, — говорит другой. — Боже мой!

— «Критика чистого разума». — Третий с таинственным видом стучит по столу.

— Освобождение масс, — врывается из другого разговора, идущего одновременно за тем же столиком. — Маркс и Энгельс.

— Я думаю, что Ведекинд... — громко и смело вмешивается какой-то толстяк, заглушая голоса политиков. Имена и слова. Имена и слова.

Щуплый, болезненный на вид юноша за угловым столиком кричит:

— Ницше!

Все вздрагивают и почтительно кивают головами. Они забыли о Ницше! Некоторое время они говорят о нем. Потом общий разговор распадается на диалоги.

Здесь можно сидеть, навострив уши, и слушать, как это делает Давид, а потом бежать в библиотеку — искать те имена, которые назывались в тот вечер. Таков их кружок. Их реторта, в которой все теории, взаимосвязи и смеси проходят испытание. Постепенно становится ясно, кто будет заниматься живописью, кто — писать, кто — философствовать. А кто вообще ничего не хочет добиться в будущем.

Давид не знал, что предпочитает он сам. И по правде сказать, это мало огорчало его. Он восхищался Софией, ее глубокими знаниями, ее интересом ко всему. Свои решения она принимала спокойно, серьезно и без громких слов — по искреннему убеждению.

Больше всего он любил ездить с нею в Венский лес. Там они не разговаривали ни об искусстве, ни о политике. Зато много говорили о цветах и растениях. София хорошо знала растительный мир, не путала валериану с калужницей и сосну с елью. Гуляя, она произносила странные, таинственные названия цветов: кошачья лапка, водосбор.

Часто они просто ходили молча. Такая прогулка была похожа на сон. Однажды София показала ему, как изменяются лепестки розы, от внутреннего до внешнего, и он, вернувшись домой, подошел к фортепиано и, не задумываясь о том, что делает, сочинил короткую мелодию — мелодию розы.

Потом, играя ее уже на свежую голову, Давид не мог понять, нравится она ему или нет. Он никому не показал ее, даже Софии — так же, как и свои стихи. Отнести же их по примеру Ханнеса в какой-нибудь журнал...

(Окончание следует).

ШЭРОН ОУЛДС

Стихи из книги «Умершие и живые»

Перевод с английского ЕЛЕНЫ ПЕЧЕРСКОЙ

«Нескромно говоря...»

«Когда женское нутро начинает высказываться — говорит ли оно стихами?» — иронизировали американские газетчики в середине 70-х. И доиронизировались — то самое «нутро» заговорило. Сейчас литературные критики различают в феминистской поэзии уже несколько «школ». Поэтесса Шэрон Оулдс, родившаяся в 1942 году в Сан-Франциско, — одна из самых интересных представительниц этого направления. Подруга Шэрон (и тоже поэтесса-феминистка) Ева Солцман в большой статье о ее творчестве относит Шэрон к направлению, изящно называемому «поэзия кишок и крови». Между прочим, это не шутка, это реально существующее и дефинированное добрым десятком критиков поэтическое направление.

Что до «кишок и крови», американская поэзия не боится этого со времен Уитмена. С классиком сим — «певцом своего электрического тела» — и сравнивают Шэрон Оулдс критики. Ее стихи полны глубинной силы и разительно отличаются от того, что в нашем отечестве называется «женской поэзией».

Я возлегла — и облилась потом, и тряслась, и
прошла сквозь кровь, фекалии и воду, и
медленно вышла в центре кольца, и
прошла через него, чтобы стать новым существом, —

так писала Шэрон Оулдс в своем известнейшем стихотворении «Нескромно говоря», самое название которого вошло в обиход.

Я сделала то, что ты хотел, Уолт Уитмен.
Аллен Гинзберг, я сделала это, —

там же заявила поэтесса. «Нескромно говоря», ее голос стал хотя и не первым по времени, но одним из самых громких голосов женского раскрепощения. Уже первая книга поэтессы, «Словами сатаны» (1980), была замечена литературной общественностью. «Шокирует, но талантливо», — отозвалась пресса. Иные вздыхали: «Интенсивно эротический поэт».

Однако Шэрон Оулдс не захотела ограничиваться только подобным кругом тем, как, например, ставшая известной раньше ее, в 70-х, Эрика Джонг. Вторая книга Шэрон, «Умершие и живые» (1983), показывает ее поэтом гражданским, не замыкающимся в кругу интимных переживаний. Герои ее стихов — русская девочка, умирающая с голоду в 20-х годах, жертвы турецкого геноцида армян, жертвы резни в Родезии... Замечателен в Шэрон ее дар сопереживания — не лучшее ли свойство настоящей женщины? Наряду с этим есть стихи и чувственные. Что ж, это уже ее «фирменный знак».

Следующая книга поэтессы, «Золотая клетка» (1987), принесла ей общеамериканскую известность. Шэрон «электризует аудиторию» в американских городах, отправляется в поэтическое турне по Англии, в начале 90-х посещает Москву. Два ее стихотворения появляются в «Литературной газете» в переводе Николая Мойкина. Шэрон — человек открытый и несколько импульсивный, с незаурядным чувством юмора. «Меня поймет только женщина», — сказала она, даря книгу своей будущей переводчице. Но Шэрон Оулдс поскромнича-

---

© 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 by Sharon Olds
© Е. Печерская. Перевод, 1998
© А. Кудрявицкий. Вступление, 1998

ла — ее понимают многие и многие читатели в англоязычных странах, не говоря уже о студентах-филологах Нью-Йоркского университета, которым она рассказывает о современной литературе. Книга избранных стихотворений «Знак Сатурна», вышедшая в конце 80-х, была признана одной из лучших поэтических книг десятилетия. «Песенку поет мое тело», — как-то иронизировал (по другому поводу) известный американский поэт Марк Стрэнд. У Шэрон Оулдс уже не песенка. Песнь.

АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ

Из цикла «СТИХИ УМЕРШИМ»

В день рождения моей бабушки

Л. Б. М. С., 1890—1975

Сегодня я стояла на крыльце... В какую сторону
повернуться, чтобы говорить с мертвыми? Я подумала
о новорожденной розе и побрела по серому
газону — ночью все действительно
теряет цвет. Я спустилась
по каменным ступеням, словно точно знала
место, отведенное для бесед с умершими. Роза стояла
полураскрытая, блистая белизною
в черном воздухе. Я вспомнила
о твоем дне рождения. Тебе исполнилось бы
девяносто, и я принесла бы тебе
розы. Стоят ли мертвые
рядом, если мы не разговариваем с ними?
Когда я приходила к тебе, ты всегда
тихо сидела в кресле. Ты не вязала из-за артрита,
ты не читала из-за слепоты, ты просто сидела.
Мне не дано было угадать твои мысли. Теперь
я иногда сижу на крыльце, стараясь уловить
твое присутствие, словно пытаясь разглядеть
цветы в темноте.

Фотография девочки

Девочка сидит на голой земле.
На раскаленной сковороде России —
засуха, 1921 год.
Девочка неподвижна,
рот полуоткрыт, глаза закрыты. Горячий суховей
швыряет песок ей в лицо. Голод
вкупе с переходным возрастом делают свое дело.
За ее спиной мешок, одежда
трепещет в горячем воздухе, рука согнута в локте.
Девочка не может не быть красивой, но голод
терзает ее. С каждым днем она теряет в весе,
хрупкие кости вытягиваются в длину.
Подпись под фотографией гласит, что зимой

она умрет с голоду вместе с миллионами других.
В глубине ее тела появляются
первые яйцеклетки, золотистые, словно зерна.

Невский проспект

(июль 1917 г.)

Это старая фотография, контрастная,
черно-белая. Женщина
приподнимает на бегу тяжелую юбку.
Мужчина в белом пиджаке, со связанными
за спиной руками, пытается убежать,
его подбородок смотрит вверх. Старуха в черном
оборачивается, глядит назад.
Человек падает на мостовую.
Ребенок в тяжелых ботинках, убегая,
смотрит через плечо на черно-белую
груду тел.
Широкий квадрат мостовой испещрен
чернильно-черными телами и белыми
пятнами шляп. Все остальное
вздымается, словно море,
от грохота, который мы читаем
в безмолвии фотоснимка, — так глухонемые
видят звук. Голоса пулеметов говорят:
ваши жизни — ничто по сравнению с этим.

Газетные новости

(Родезия, 1978 г.)

Не обсуждайте со мною газеты.
Я вижу новорожденную девочку на газоне,
с головкой, похожей на брюшко паука,
с тоненькой паутинкой вен на бледной
коже и следом штыкового удара
посередине груди.
Я вижу ее мать, избитую,
опрокинутую на кактус,
растение с серыми шипами
и большими темно-красными цветами.
Я вижу ее руку, лежащую
на тельце ребенка, такую тяжелую
на фоне крошечных ребер.
Не говорите со мною о
политике. Я не слепая.

Лучшей подруге

Элизабет Юэр, 1942—1951

Когда моей дочери исполнилось десять, в памяти
всплыли длинные золотистые пряди
твоих волос. В последнюю неделю твоей жизни
я каждый день после школы шла по дорожке
к твоим дверям. Кирпичи под ногами
были уложены плотно, и в их узоре
я пыталась уловить
некий знак.
В последний день не было
письмён, ни один кирпич не сдвинулся с места...
Сиделки не впустили меня в дом.

Нам было по девять лет. Мы никогда не говорили
о смерти, о взрослой жизни. Я совсем не думала,
что ты умрешь,
как и ты не думала обо мне как о будущей
матери. Но когда появилась дочь,
я назвала ее твоим именем, словно пытаясь
пробиться к тебе сквозь щель между кирпичами.
Сегодня ей исполнилось десять, Лидди.
Она пережила тебя, и волосы ее черны,
подобно земле под кирпичами дорожки —
дорожки к тебе.

Из цикла «СТИХИ ЖИВЫМ»

Жертвы

Когда мать подала на развод, мы обрадовались. Она
молча терпела и сносила твои выходки все эти годы, отец,
а потом одним пинком выбросила тебя из своей жизни,
и дети были на ее стороне. Затем ты потерял работу,
и мы усмехались в душе, как усмехались люди, когда
Никсон на вертолете покидал навсегда Белый дом. Нам
приятно было думать, что ты
лишился привычного положения
и нет у тебя больше секретарш,
и ленчей с двойным бурбоном,
и авторучек, и гор бумаги. Интересно,
не заберут ли у тебя твои костюмы,
что так торжественно чернели у нас в шкафу,
и черные ботинки с лакированными носами?
Она приучила нас молчать и терпеть, ненавидя,
пока мы вместе с ней не захотели
избавиться от тебя, отец. Теперь,
проходя мимо бродяг в парадных,
видя, как их тела просвечивают сквозь прорехи
в одежде, глядя на их руки,

подобные грязным плавникам, на тусклый огонь
в их глазах — как будто корабли затонули,
не погасив фонарей, — я думаю: кто же
молча терпел и терпел этих людей,
чтобы затем все отобрать,
оставив лишь то, что осталось?

Покинутый

Он проходит мимо меня на улице
и бормочет что-то бессвязное —
волосы спутаны, кожа черна от сажи,
одежда в пятнах, затвердевшая от грязи.
И все же он молод, силен,
и светлая борода украшает его. Однако руки
висят вдоль тела, безжизненно покачиваясь при ходьбе,
словно он перенес полиомиелит. Бесполезные руки.
От него пахнет мочой, борода торчит колом.
Я думаю о моем младшем брате,
о его красоте, царственной осанке,
ухоженной бороде, о его жизни,
проходящей впустую, точно у скрипача,
которому сломали руки, чтобы он не мог играть, —
я, присутствовавшая при выламывании его рук
и помогавшая их ломать.

Моему первому любовнику

Теперь, когда я способна понять,
я представляю себе твой ужас:
девушка, обезумевшая от любви,
сама предложила тебе себя —
свое длинное, бледное, словно обмылок,
нетронутое тело с высокой округлой грудью,
похожей на мыльные пузыри, — невинная,
восемнадцатилетняя. Я представляю себе,
с каким ужасом ты взял ее,
лишив девственности, точно выпотрошив рыбу,
и покинул утром, заговорив о жене.
Теперь, когда я способна понять
страх перед любовью, я представляю себе
это тело, добела раскаленное страстью
и зеленоватое, будто рыба, выброшенная на сушу.
Женщина, обезумевшая от любви,
острая, словно неиспользованная бритва,
пала на твои чресла, содрогаясь в такт
твоему пенису, а ты, охваченный ужасом,
смог лишь вырвать ее жемчужину
из темных глубин раковины —
и позорно бежать. Я в ужасе,

когда представляю себе твой ужас.
Но мне нравится девушка,
предложившая тебе свою нежную плоть,
подобно лакомству на блюде, —
о да, да,
я одобряю такой дар.

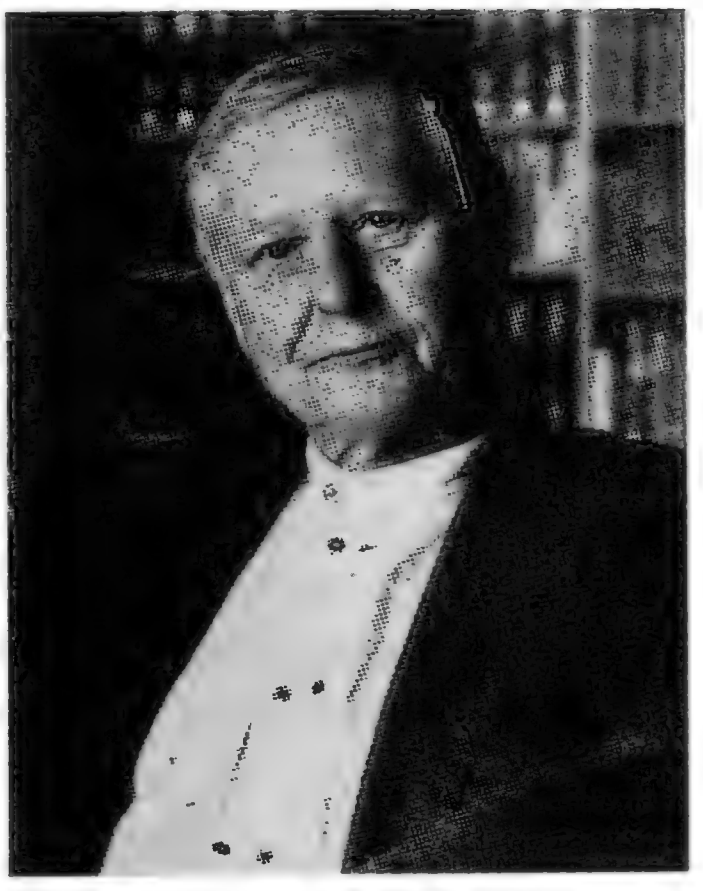
Пижама

Пижама дочери лежит на полу,
вывернутая наизнанку, тонкая и сморщенная,
словно кожица персика,
разом сдернутая с плода.
Легко угадать, где у нее талия,
ноги, руки, шея...
Точь-в-точь скукоженная оболочка гусеницы,
когда та начинает жизнь куколки.
Тонкая складка материи
пролегла между ягодицами,
будто трещина посреди плода.
Округлости ягодиц,
очертания треугольника под животом
почти осязаемы. Сброшенные покровы
белеют у моих ног, и в воздухе —
едва уловимый аромат персика,
нежный и пряный аромат ее выскользнувшей жизни.

35 и 10

Расчесывая черные шелковистые волосы дочери
перед зеркалом, я вижу
серебро седины в моих волосах —
как будто у девочки за спиной стоит
старый слуга. *Мы* еще не ушли,
а *они* уже здесь,
и чем женственнее линия ее бедер,
тем резче складка у меня на шее,
чем суше становится моя кожа,
тем больше расцветает дочь —
подобно маленькому цветку на верхушке кактуса.
Мое тело, обтрепанное, как одежда,
упускает последнюю возможность понести дитя;
недра же девочки уже готовы выпустить
первые тугие, округлые яйцеклетки. Я расчесываю
ее спутанные мягкие волосы перед сном. Это
старая история, самая старая на нашей планете —
история *замещения*.

■



ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Племянник Вольтера

Мистификация в стиле Дидро

Перевод с немецкого Л. БУХОВА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПЛЕМЯННИК — около сорока лет. Лучшие времена для него уже в прошлом. Музыкально одарен, превосходный мим и имитатор голосов. Склонен к полноте. Желателен незначительный физический недостаток.

ФИЛОСОФ — старше Племянника приблизительно на десять лет. Авторитетная личность. Его трудно представить себе в роли профессора, скорее он походит на обычного писателя. *Philosophes* эпохи французского Просвещения были интеллектуалами чуть ли не в современном понимании, хоть и стремились выглядеть так же достойно, как их античные прототипы; и светский салон, и рабочий кабинет для них привычная среда.

САНОВНИКИ

АШОА — чернокожий вождь

ПОЖИЛОЙ ГОСПОДИН, БАНКИР БЕРНАР

ДВА ЛАКЕЯ

ДВА ЖАНДАРМА

ДВЕ МОНАХИНИ

Время действия — между 1760 и 1777 гг.

Фойе перед некой аудиторией в Париже. Слева — очень высокие двустворчатые двери, ведущие в большой зал, в глубине сцены — небольшая задняя дверь. Строгая, старомодная мебель: стулья в стиле Людовика XIV, диван, консоли, зеркало. На столике предмет, прикрытый тканью.

Музыка: *Les fanfares du roi*[1].

Справа появляется небольшая процессия: **государственные деятели, вельможи, чиновники**, среди них **Философ** и чуть сгорбившийся **Племянник**, за ними — **дряхлый старик**, которого поддерживают **две дамы в длинных черных платьях**.

Два лакея распахивают высокие двустворчатые двери, и процессия исчезает в зале, двери которого лакеи закрывают изнутри.

Музыка смолкает. Из зала слышится, как господа с шарканьем рассаживаются по местам, как председательствующий начинает свою приветственную речь. В зале возникает легкий шум. Затем открывается задняя дверь. Лакеи грубо вышвыривают сопротивляющегося **Племянника** из аудитории и возвращаются назад.

Племянник отряхивается и садится. Негромко ругается про себя. Из носа у него течет кровь. Пауза. Немного спустя задняя дверь приоткрывается. Появляется **Философ**. Он украдкой осматривается и на цыпочках покидает зал.

Философ. Вы, друг мой? Вот, возьмите. (*Подает ему свой носовой платок.*) Что вы потеряли в обществе этих высокочтимых господ?

Племянник. Тот же вопрос я хотел бы задать и вам. Философ — среди расшитых золотом сановников? Неужели вам так необходимо везде присутствовать?

---

[1] Королевские фанфары (*франц.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996
© Л. Бухов. Перевод, 1998

Философ. Вы же видите, я не смог вынести их общества. Горе тому, кто свою жизнь вынужден проводить на заседаниях! А вы?

Племянник. Все произошло на ваших глазах. Меня просто вышвырнули.

Философ. О, мне весьма жаль. Но подобное случилось с вами наверняка не впервые.

Племянник. А что терять такому человеку, как я! Я, разумеется, возмущаюсь, чувствую себя оскорбленным, из носа течет кровь. Но ведь в конце концов нам выпала лучшая доля. Здесь хотя бы можно поболтать.

Философ. Зачем же тогда вы пробирались к этим господам?

Племянник. То есть как? У меня приглашение. Вот! (*Читает.*) «Академия имеет честь просить господина Вольтера принять участие в дискуссии о мерах, которые отныне и навеки станут гарантией процветания наших Вест-Индских колоний». Одежду я одолжил у ростовщика. Четыре луидора. И все напрасно!

Философ берет у него приглашение и читает текст, который Племянник опустил.

Философ. «...Господина Вольтера, прославленного члена Академии, Chevalier de l'Ordre du Pavillon[1], Gentilhomme de la Chambre du Roi[2], придворного поэта и историографа его величества...» Ваша дерзость меня восхищает, но неужели вы всерьез рассчитывали, что вам удастся проникнуть в зал вот с этим?

Племянник. Делаю, что в моих силах.

Философ. А что бы сказал ваш дядюшка, узнай он, что вы роетесь в его письменном столе?

Племянник. Это уж моя забота. Мне просто хотелось развлечься, вот и все. Нужно постоянно находиться в обществе важных особ. Это никогда не мешает. И еще я подумал: весьма забавно наблюдать, как они нагоняют тоску друг на друга. Среди них нет выдающихся мыслителей, сплошь бездари.

Философ. Как же так? А канцлер Тайного совета, а военно-морской министр, а статс-секретарь по делам колоний...

Племянник. ...и он же — ваш друг Сартэн, который уже не раз выручал вас в трудных ситуациях!

Философ. ...секретарь Академии, светила науки из Collège royal[3]...

Племянник. Ничтожества, все ничтожества!

Философ. Не знал, мой дорогой, что вы столь требовательны.

Племянник. Ну, по меньшей мере в том, что касается литературы, искусства, музыки, кухни и политики. Здесь допустимо все, только не посредственность.

Философ. Вы слишком строги. Что бы с нами стало, если бы мы признавали только лучших? То, что мы называем цивилизацией, может развиваться только на большой куче навоза. Иначе говоря, если выражаться более деликатно, пусть не будет исключений без правил, и наоборот. Но оставим это. Где вы пропадали так долго? Что поделывали? Я не видел вас целую вечность.

В то время, когда он говорит, обратившись к Племяннику, справа входит **чернокожий вождь** в африканском национальном костюме. Его вводят **два жандарма**.

Но вы меня вовсе не слушаете.

Племянник. Да это же Ашоа. Ашоа, здесь я!

Философ. Ах, так вы, господа, знакомы?

Ашоа не реагирует.

Жандарм. Вперед!

Философ. Минутку! Я бы хотел с ним переговорить.

Жандарм. Не разрешается.

---

[1] Кавалера ордена Павильона (*франц.*). Орден был учрежден Людовиком XV в 1723 г. И просуществовал лишь до конца его правления, имея полуофициальный статус. Король награждал им только своих приближенных.

[2] Камергера короля (*франц.*).

[3] После 1795 г. — Collège de France.

Племянник. Ашоа, это же я, племянник Вольтера! Не узнает. Плохи мои дела. Теперь и дикари не удостаивают меня вниманием.

Жандарм. Нам приказано немедленно его доставить.

Философ. Погодите!

Племянник. Он слишком избалован. Его повсюду приглашают, даже сюда.

Философ. Вы называете это приглашением? На мой взгляд, это больше напоминает арест.

Племянник. Его принимали и в Версале. Герцогиня де Шуазель[1] брала его с собой в оперу. В салонах он произвел фурор. Дамы чуть не передрались из-за него. (*К жандармам.*) Будьте с ним повнимательней! Он важная фигура на Береге Слоновой Кости, нечто вроде князя или короля.

Философ. Скажите, друг мой, — вы ведь позволите называть вас Ашоа? — какого вы мнения о наших нравах?

Ашоа молчит.

Он, наверное, не понимает по-французски.

Племянник. Ерунда. Давай, дружок, выскажись! Этот господин — знаменитый философ.

Жандарм. Ну и что, если философ. Вперед, да пошевеливайся.

Племянник теребит африканца за рукав. Тот стряхивает его руку и, не произнося ни слова, устремляет на него свой взгляд. Племянник начинает дрожать. Затем он неуверенно отступает шаг за шагом, пока не наталкивается на мебель и не падает. Ашоа отворачивается и, сопровождаемый жандармами, исчезает в аудитории.

Племянник. Проклятая горилла!

Философ (*помогая ему встать*). Он же ничего вам не сделал.

Племянник. Этот малый умеет нагнать страху. Как он смотрит своими налитыми кровью глазами...

Философ. А жаль. Я бы с удовольствием побеседовал с ним.

Племянник. Эти господа в зале не вытянут из него ни слова. Он молчит из упрямства или из коварства. Да будет вам известно — все они людоеды.

Философ. Глупые россказни! Разве вы не читали, что пишет Бугенвиль[2] о туземцах?

Племянник. Все это происходило в южных морях, а не в Африке.

Философ. Как бы то ни было, нам бы следовало у дикарей многому поучиться.

Племянник (*смеется*). Что ж, раз вы так считаете... А знаете, что устроил этот негр в салоне герцогини? У всех на глазах он набросился на ее младшую дочь, которой нет и пятнадцати, задрал ей юбки и намеревался прямо тут же уложить на кушетку. Пришлось позвать трех дюжих лакеев, чтобы усмирить это чудовище.

Философ. Нет ничего более естественного, чем подобное проявление чувств. Принцесса была, несомненно, польщена. А я, кстати говоря, нахожу, что вы поступаете довольно рискованно, беря на себя роль блюстителя нравственности.

Племянник. И вы правы. Ах, порой я и сам мечтаю уехать на какой-нибудь цветущий тропический остров. Возможно, там я стал бы важной персоной. Здесь же, в Париже, я никто.

Философ. Справедливо. Я, например, никогда о вас не вспоминаю, если не вижу вас. Но сейчас, раз уж вы здесь... Что вы поделываете?

Племянник. То же, что поделываете вы и все другие. Кое-что хорошее, кое-что дурное, короче, ничего существенного. Порой я испытывал голод, и тогда я ел, или жажду, и тогда пил. А когда у меня отрастала борода, я брился.

Философ. Словом, дела ваши идут хорошо.

Племянник. Напротив. Я весьма удручен.

Философ. С чего бы это? Вы, кажется, даже поправились.

---

[1] Супруга герцога Этьена Франсуа де Шуазеля (1719—1785), который, будучи приближенным мадам де Помпадур, стал одним из ведущих политиков при дворе Людовика XV. Поддерживал дружеские отношения с Вольтером и энциклопедистами.

[2] Луи Антуан де Бугенвиль (1729—1811) — французский мореплаватель, автор книги «Путешествие вокруг света» (1770).

Племянник. Это все от забот. Мой богатый дядюшка все сохнет, а я толстею.

Философ. Что, собственно, вы имеете против вашего дяди? Он вас наверняка не оставит в беде.

Племянник. Он? Да он ради меня пальцем не пошевелит. От этого его оберегает его философия, а она непреложна: думать только о себе. Весь остальной мир ему безразличен. Да, он счастливый человек. Тут уж ничего не поделаешь.

Философ. Но говорят, он очень болен.

Племянник. Ничего страшного. Всего лишь его кишечные колики, его беды с мочевым пузырем, его подагра.

Философ. Прекратите!

Племянник. Из-за стоматита у него выпали зубы, а импотент он уже давно. Но ему все нипочем. Он живуч. Сколько раз мне казалось: все, долго он не протянет. Ничего подобного! Ему всегда удается выкарабкаться. И ни капельки стыда — это в его-то годы!

Философ. Вы, я вижу, тешите себя надеждой!

Племянник. Детей у него нет. Не могу себе представить, чтобы все свои миллионы он оставил монахиням.

Философ. Вы преувеличиваете. Столько он наверняка не получил за свои труды.

Племянник. Ах, оставьте — его труды! Здесь пенсия, там синекура. С этого все началось. Но потом пришло время и для крупного дельца. Он же спекулянт, ростовщик. А сколько он заработал на одних только армейских поставках! Сто процентов! У него даже есть доля в Вест-Индской судовой компании, а что это означает, вам известно так же хорошо, как и мне.

Философ. Вольтер — работорговец? Вы уверены?

Племянник. Двадцать пять процентов годовых.

Философ. Никогда бы не подумал. Ужасно. Но не будем забывать, как часто он вступался за правое дело. Его борьба против суеверия, против господства клира, против иезуитов. Достойно восхищения! Вспомните только дело Каласа[1].

Племянник. Еще бы. Cause célèbre[2]. На подобные вещи у него безошибочный нюх.

Философ. А неприятности, которые из-за всего этого обрушились на него?

Племянник. Без скандала он бы ничего не добился. Того, кто во Франции не владеет бойким пером, всегда будут считать тюфяком. Мы любим, чтобы нас пощекотали. Интерес вызывает лишь то, что запрещено. И он это умеет лучше любого другого. Что с вами?

Философ. Вы говорите о вашем дяде, а подразумеваете меня?

Племянник. С чего вы взяли? У вас же нет денег. А вот он — он в состоянии себе это позволить. Сидит себе в Швейцарии, где невозможно его арестовать. К тому же, когда риск становится слишком велик, он просто прячет когти. Вы ведь знаете, как он пресмыкался перед своим другом, королем Пруссии. Вольтер — страдалец за истину! Не смешите меня.

Философ. Хорошо, согласен: время от времени он оступается, и каждый раз, когда с ним подобное происходит, он оказывается в нравственной навозной куче. И тогда у меня возникает желание обтереть его губкой и хорошенько закутать, подобно музейному реставратору, который очищает драгоценную статую.

Племянник. Разве? Вы, должно быть, забыли, как сами набросились на него за его спиной? Утверждали, что он завистник, интриган, что он мелочен, труслив и мстителен. Называли его разбойником с большой дороги.

Философ. Я так говорил?

---

[1] Жан Калас (1698—1762) — купец-кальвинист, казненный по клеветническому обвинению иезуитами в убийстве своего сына, якобы намеревавшегося принять католичество. Благодаря настояниям Вольтера (трактат «О веротерпимости», 1765) дело Каласа было пересмотрено и он был посмертно признан невиновным.

[2] Громкое дело (*франц.*).

Племянник. Люди, подобные мне, должны всегда держать ушки на макушке. Я без сплетен не выживу.

Философ. Ладно, допустим. Но тогда вам наверняка известно, как он поступил по отношению ко мне. Несколько лет тому назад — у меня как раз возникли новые сложности с цензурой — моему дорогому коллеге вдруг приходит в голову, что я должен выставить свою кандидатуру в Академию. Именно я, в это стадо гусаков! Разумеется, он точно знал, что у меня нет ни малейшего шанса. Просто захотел подставить ножку. Он даже писал моим друзьям. Одно такое письмо я сохранил: «Позаботьтесь о том, чтобы он познакомился с какой-нибудь влиятельной дамой — чем глупее, тем лучше. Пусть его в понедельник ей представят, во вторник они вместе помолятся Господу Богу, а в среду он ляжет с ней в постель. Тогда я гарантирую вам, что его изберут». Кто его просил обо мне заботиться? Плевать мне на его поддержку. Короче, я его не выношу, а уж он-то меня просто терпеть не может. Мы никогда не встречаемся. Только обмениваемся дипломатическими нотами. Мы не вправе позволить себе роскошь вести войну друг против друга. У нас слишком много врагов.

Племянник. Видите? Господа философы всегда заодно, если им что-то угрожает.

Философ. Вы вольны упрекать его в чем угодно, но не станете же вы отрицать, что он гений.

Племянник. Это-то и ужасно.

Философ. И почему, позвольте спросить?

Племянник. Потому что все гении — чудовища. Не желают оставить этот мир в покое. За любой катастрофой кроется гений. Знай я историю получше, я бы доказал вам это в пять минут. Но, как вам известно, я полный невежда, потому что никогда в жизни ничему не учился, и, как видите, мне это нисколько не мешает. Однажды, когда меня еще везде приглашали, я сидел как-то вечером за столом с одним министром. Исключительно умным человеком! И всем, кто желал его слушать, он объяснял, что для процветания народа нет ничего более благотворного, чем ложь, и ничего более губительного, чем правда. Я не помню его доказательств, но из них с абсолютной ясностью следовало: все великие мыслители — это чума. Если бы по кончику носа новорожденного ребенка можно было узнать, что в нем есть задатки гения, то его следовало бы тут же утопить.

Философ. А ваш министр? Он, по-видимому, считал себя совершенным тупицей?

Племянник. Не думаю.

Философ. Видите? Никому не хочется быть глупцом, и однако все они неистовствуют при виде тех, кто их превосходит. Нет ничего более раздражающего, чем гениальный человек. У великих мыслителей дело редко обходится без нарушений психики. Большинство из них резки и своенравны, склонны к высокомерию и мании величия, словом, они невыносимы. Ну и что? Что из этого следует?

Племянник. Что неплохо бы их передушить.

Философ. Вы, разумеется, опять имеете в виду вашего дядюшку. Но чего вы, собственно, хотите? Будь он честнейший человек, который каждое утро отправляется в свою контору или мелочную лавку, пунктуально каждый год делает своей жене по ребенку, добрый отец, добрый дядя, добрый налогоплательщик — что получил бы от него мир? Мы же взамен имеем дело с изворотливым соглашателем, человеком двуликим, натурой предательской — не буду утверждать, что он таков на самом деле, я привожу только худший вариант. Зато им создан целый ряд шедевров, достойных того, чтобы ими гордиться. Ну, что скажете?

Племянник. Для него самого, возможно, было бы лучше, если бы он прожил жизнь честного торговца чулками.

Философ. Здесь вы, сами того не ведая, изрекли глубочайшую истину.

Племянник. Чего еще от вас ждать. Да, таковы уж вы, господа философы! Если наш брат изречет нечто разумное, так разве только случайно. Но смею вас заверить, я вполне отдаю себе отчет в том, что говорю, по меньшей мере, так же, как и все вы.

Философ. Тогда объясните, почему стать чулочником было бы лучше для него самого?

Племянник. Но это же абсолютно ясно. Он и я, мы бы вели развеселую жизнь. Ему не

пришлось бы сражаться с сильными мира сего. Никто бы не освистывал его пьес, ему не нужно было бы рыться во всевозможных фолиантах, и шевалье де Роан[1] не приказывал бы, чтобы его поколотили. Будучи торговцем шелком с улицы Сент-Оноре, он бы не смог обойтись без меня. А я устраивал бы для него великолепные забавы — аппетитных девиц, чтобы отвлечься от монотонной семейной жизни, увеселительную поездку на лоно природы, первоклассное шампанское, партию в рулетку. Все это вещи, в которых я знаю толк!

Философ. Ноль по имени Вольтер — вот что было бы для вас предпочтительнее. К счастью, природа мудрее, чем племянник, она создает не только торговцев чулками, но и личности феноменальные.

Племянник. Но раз уж эта самая природа так мудра, как вам кажется, то почему она сотворила из него не эталон добродетели, а настоящего разбойника с большой дороги? Это ваши слова, господин философ.

Философ. Кто знает! Пожалуй, одно невозможно без другого. Смелость без страстности и искусство без сумасбродства. Все зависит от того, каково единое целое, какова совокупность, а о ней мы знаем слишком мало, чтобы прославлять ее или бранить. Возможно, она — ни то ни другое, ни хороша ни дурна.

Племянник. При всем желании я не понимаю, что это должно означать — совокупность. Наверное, это философия, но тогда я должен вам сказать: подобные вещи меня не занимают. Для меня главное, чтобы в этом едином целом, о котором вы говорите, присутствовал *я*. Мир без меня не слишком бы мне нравился. Лучше быть личностью ничтожной, беспардонным болтуном, чем вообще не существовать. И все же... Все же...

Философ. Продолжайте.

Племянник. И все же я бы желал быть другим.

Философ. Вот как!

Племянник. Невзирая на риск стать значительным, выдающимся, гениальным человеком.

Философ. Так я и думал.

Племянник. Великое творение, мировая слава, бессмертие! Ах, какие слова! Все эти восхваления способны привести меня в неистовство. Да, черт побери, я завистлив. Ничего не читаю я с таким удовлетворением, как писания какого-нибудь тупого рецензента, поносящего великих людей. Ничего я не слушаю с такой радостью, как сплетни об их грешках, их болезнях, их поражениях. Тогда мне становится легче сознавать, что из меня ничего не вышло. Да я наконец и сам писал критические статьи, да, было время, когда меня побаивались. Не смейтесь! Я даже стихи сочинял. Этого никто не может отрицать.

Философ. Разумеется, нет.

Племянник. А почему об этом не говорят? Почему никто меня не печатает? Потому что я посредственность. Совершеннейшая посредственность. И по этой причине я ненавижу своего дядю. Когда он в конце концов умрет и я найду в его письменном столе несколько рукописей, знаете, что я сделаю? Я без колебаний поставлю под ними свою подпись, и издатели будут из-за них драться.

Философ смеется.

Всякий раз, когда я смотрю какую-нибудь его пьесу, мне хочется рыдать от бешенства, ибо приходится признать: тебе таких стихов не написать никогда. (*Декламирует.*)

Постой, я клевету и зависть сам познал.
Ах! Честный человек где оных избегал?
С младенчества гоним, в напастях возрастая
И с мужеством одним скитаясь в край из края,

[1] Издавая в 1719 г. свою первую пьесу, «Эдип», Мари Франсуа Аруэ впервые воспользовался псевдонимом — Вольтер и присвоил себе дворянскую частицу «де». Претензия Вольтера на дворянство привела к бурной ссоре с шевалье де Роаном, после которой лакеи аристократа прямо на улице побили философа.

Я зрел, как зависти везде шипят уста;
Я зрел от юных лет, что мрачна клевета
Равно в республиках, как в царствах, обитает
И из нечистых уст яд черный извергает[1].

Философ. «Яд черный извергает»? Что ж, это, наверное, не лучшая его пьеса. Несколько высокопарно, если хотите знать мое мнение. Несколько пустовато.

Племянник. А его оперы! Его либретто! Помните это место? Какая утонченность! *(Он вдруг начинает петь, весьма патетично, арию из оперы «Le Temple de la Gloire»[2]. При этом он подражает отдельным музыкальным инструментам, так что его исполнение завершается неким подобием попурри. Философ аплодирует.)*

Философ. Ведь это Рамо? Я имею в виду музыку.

Племянник. Его я знаю только по рассказам. Он и мой дядя постоянно враждовали. Этот Рамо был, наверное, истинным чудовищем. Знаете, что он себе позволял? Вольтер передает ему свое либретто, кстати говоря — по заказу короля! И что делает композитор? Он топчет полученный текст, поручает его переделку первому попавшемуся голодному писаке, какому-то бедному родственнику, который пресмыкается перед ним и во всем ему поддакивает...

Философ. Племянник, наверное.

Племянник. Наконец дядя приходит на репетицию. Его либретто исковеркано до неузнаваемости. «Рамо, вы сошли с ума? Я не намерен терпеть подобное поведение. Это же фальсификация!» С той поры между ними было все кончено.

Философ. А вы восхищаетесь вашим дядей. Вы к нему привязаны. Пытаетесь ему подражать.

Племянник. Где там. Только иногда, и это быстро проходит.

Философ. Но ведь вы стремитесь к самой вершине.

Племянник. Меня бы вполне удовлетворило, если бы мне пришла в голову хоть одна из его острот, какой-нибудь анекдот, песенка. *(Напевает про себя «I can get no satisfaction»[3]).* Да, если бы ты сумел, говорю себе я, сочинить всего лишь несколько подобных строк — их бы распевал весь мир. И люди говорили бы: это же он написал ту песню...

Философ качает головой.

Я бы стал сказочно богат, женщины висли бы на мне, сотня борзописцев ежедневно пела бы мне осанну... Никому бы и в голову не пришло сказать: это племянник знаменитого Вольтера. Наоборот, мой дорогой! «Старый пройдоха, что сидит в своем замке[4], там, на юге, слышали о таком? Говорят, он его дядя». — «Чей дядя?» — «И вы еще спрашиваете?» Все стали бы утверждать, что *я* великий человек, меня бы избрали в Академию, и каждый вечер я бы засыпал в убеждении, что весь мир вращается вокруг меня. И храпел бы, как важная персона.

Философ. Стало быть, вы думаете, что у людей значительных спокойный сон?

Племянник. Конечно! Я же зачастую не смыкаю глаз целую ночь.

Философ. С каких это пор?

Племянник. Я конченый человек.

Философ. Искренне вам сочувствую.

Племянник. И вам действительно интересно меня выслушать?

Философ. Рассказывайте же.

Племянник. Вы желаете узнать мою историю, хоть я и никчемная личность, которую вы в глубине души презираете? Почему, собственно, вы тратите на меня время?

Философ. На безрыбье...

---

[1] *Вольтер.* Танкред. Перевод Н. И. Гнедича.

[2] «Замок славы» (*франц.*), Музыка Жана Филиппа Рамо.

[3] «Я не могу получить удовлетворения» (*англ.*) — популярный шлягер английской рок-группы «Роллинг стоунз».

[4] С 1758 г. Вольтер жил в своем замке Ферне, расположенном на границе Франции и Швейцарии.

Племянник. Я вас развлекаю.

Философ. Не стану отрицать. Итак?

Племянник. Итак. Доказывать вам, что я невежда, безумец, негодяй, нет особой нужды.

Философ. Великолепный панегирик.

Племянник. Не надо возражать! Я лучше знаю. Но тогда почему я был всеобщим любимцем, баловнем женщин, почему меня повсюду встречали с распростертыми объятиями?

Философ. В самом деле, почему?

Племянник. Именно потому, что я обладаю всеми теми прекрасными свойствами, которые только что перечислил.

Философ. Удивительно.

Племянник. А для меня — нет. Моя каминная полка была всегда завалена приглашениями. От дипломатов и финансистов, издателей и налоговых откупщиков, председателей судов и миллионеров — сколько душе угодно. Не говоря уж об их супругах. «Разве он не очарователен?» Я был на вершине своей карьеры.

Философ. На что же тогда вы жалуетесь?

Племянник. Я все потерял.

Философ. В самом деле?

Племянник. Потерял, потерял, потерял.

Философ. Жаль.

Племянник. Один только раз в жизни проявил неосмотрительность — и навсегда все потерял. Как только я мог! Стоит мне подумать об этом, и я гото́в себя убить.

Философ. А по-моему, вам стоит сказать лишь слово, и вы снова будете в милости. Возможно, им вас уже недостает.

Племянник. Наверняка. Без меня они подыхают со скуки.

Философ. Тогда вам нельзя терять времени. Кто знает, не возникнут ли в конце концов у ваших друзей более серьезные интересы.

Племянник. Исключено.

Философ. Не хочу быть назойливым, но если вы не поспешите, вам могут вскоре найти замену.

Племянник. В этом я сомневаюсь.

Философ. Что ж, тогда отправляйтесь к ним с покаянной миной, киньтесь в ноги хозяйке дома и скажите ей: «Мадам, простите меня! Впредь это не повторится, я больше никогда не произнесу ничего разумного».

Племянник. Вы совершенно правы. Это лучший выход. Именно так и следует себя вести с подобными скотами. Но легче сказать, чем сделать.

Философ. Ну уж извините, для такого мастера, как вы, это мелочь.

Племянник. Как? Я, племянник Вольтера, этого светоча столетия, я, с легкостью сочиняющий стихи, которых, правда, никто не читает, но, как знать, может, потомки оценят их по справедливости, — я, Вольтер, должен этой салонной потаскухе целовать задницу? Нет, сударь мой, об этом не может быть и речи. Здесь (*кладет руку себе на сердце*), здесь, в глубинах моей души, поднимается голос, который говорит: «Нет, тебе не пристало так поступать. Это ниже твоего достоинства». Вы смеетесь?

Философ. Извините. Ваше представление о достоинстве производит на меня немного странное впечатление.

Племянник. У каждого свое представление. Что же до моего достоинства, то мне на него плевать, но только в тех ситуациях, когда это *меня* устраивает. А принуждать себя я не позволю. Думаете, достаточно приказать мне: «Ползи!» — и я поползу? Никогда! Любой червяк встает на дыбы, если ему наступают на хвост.

Философ. Но, возвращаясь к заднице вашей любезной хозяйки дома, — неужели она настолько лишена прелести? А вы, мой дорогой, вы всегда столь разборчивы?

Племянник. Поймите меня правильно. Поцелуи в задницу следует различать. Я говорил о них только в переносном смысле. А с голой реальностью я при необходимости еще смирился бы. Хотя...

Философ. Хотя — что?

Племянник. В действительности она уже не молода и очень широкая.

Философ. Хорошо, оставим это.

Племянник. Ах, просто мне слишком везло. Я был избалован. А это порождает заносчивость. Везение не могло длиться вечно. И не забывайте — конкуренты не дремлют. Это же голодные волки! Освистанные актеры, писаки, которых никто не хочет издавать, сутенеры и шулера, аферисты и мелкие, гнусные аббаты. Слышали бы вы, как они говорят о вас! Низкие, злобные подонки. Настоящий зверинец! И с такой публикой мне приходилось изо дня в день мериться силами.

Философ. При этом вы, судя по всему, остались в проигрыше.

Племянник. Тяжелый упрек. И я вынужден его принять. Да, я грешил. Но вы себе даже не представляете, сколь тяжкой была моя работа.

Философ. Подобострастная мина, несколько льстивых комплиментов — этого, мне кажется, вполне достаточно.

Племянник. Как раз нет! Одной лести здесь мало. Это может утомить. Нет, вы должны перечить своим покровителям. Тут целая наука. Этих людей надо ошеломлять, раздражать до самого их нутра. Без надлежащей дозы наглости здесь не обойтись. Она — действенное средство против скуки. Но — быть начеку! Главное — точно отмерить дозу. Горе вам, если вы не дойдете до нужной границы, но еще хуже зайти слишком далеко! Это как танец на острие ножа. Приходится балансировать над пропастью. В этом и состоит все искусство.

Философ. Совсем как у вашего дяди.

Племянник. Но у него миллионы, а у меня за душой ни гроша. Вот и вся разница.

Философ. Понимаю. А теперь поведайте наконец, в чем вы допустили ошибку.

Племянник. То был роковой творческий просчет, его никогда уже не исправить.

Философ. Ну же! Выкладывайте.

Племянник. Вы ведь знакомы с мадам Бертэн.

Философ. Не имел удовольствия.

Племянник. Хозяйка самого гостеприимного дома в Париже. Ее муж — смотритель личной сокровищницы короля. К тому же ради жены он приобрел театр, чтобы она получила возможность иногда сыграть в нем роль. Могу лишь сказать — тех, кого не приглашают к Бертэнам, можно только пожалеть.

Философ. Вот как. И столь очаровательной даме вы наотрез отказываете в известном поцелуе?

Племянник. Вы себе не представляете, что это за капризная, избалованная, извращенная дрянь. Она требует, чтобы все ее боготворили. А я... Вы действительно хотите узнать?

Философ. Хочу.

Племянник. Вы настолько любопытны?

Философ. Да.

Племянник жестом подзывает его ближе к себе и говорит что-то на ухо.

Невозможно! И вы ей сказали это прямо в лицо?

Племянник огорченно кивает.

Племянник. Но и это еще не все. (*Говорит на ухо Философу что-то еще*).

Философ. Потрясающе! Вы, должно быть, в тот момент лишились разума. Что же было дальше?

Племянник. Меня, разумеется, вышвырнули вон. При этом я набил шишку на голове и вывихнул ногу. С тех пор меня больше никуда не приглашают. Настоящая трагедия. Я проявил полную и весьма плачевную профессиональную несостоятельность. И теперь мне конец. Вы опять смеетесь?

Философ. Не обижайтесь, но для меня просто непостижимо, что вы смотрите на свое занятие как на профессию. Ведь вы же не более чем... чем...

Племянник. Говорите, я не слишком чувствителен.

Философ. Ну хорошо. Вы — паразит.

Племянник. Разумеется. Но оглянитесь вокруг, мой дорогой господин философ. При дворе состоят на службе три смотрителя королевских нужников, семь мозольных операторов, семьдесят пять исповедников. Люди утверждают, что все они дармоеды, иначе говоря — паразиты. Однако если вы захотите устранить все излишества, что будет тогда с золотильщиками, белошвейками, кузнецами и носильщиками паланкинов? И с их женами и детьми? Сто сорок тысяч цирюльников умрут в Париже с голоду, я уж не говорю о проститутках — не знаю, сколько их, тридцать или сорок тысяч? — а кучера и конюхи и сто пятьдесят тысяч лакеев? При этом я, из прирожденной скромности, еще не посчитал себя.

Философ. Черт побери! Да ведь то, что вы сейчас произвели, — настоящая перепись населения. Ваша статистика — это превосходная статья для *Encyclopedie*.

Племянник. Сразу видно, что вы слишком много времени проводите в кабинете. Поверьте, на каждом вельможе висят тридцать созданий, подобных мне, перед которыми он раскрывает кошелек, и это справедливо.

Философ. Боюсь, что вы говорите серьезно.

Племянник. Еще как серьезно. Когда вор обкрадывает вора, дьявол только посмеивается.

Двустворчатые двери приоткрываются, появляется **дряхлый старик**. **Две дамы в черном** поддерживают его слева и справа. С их помощью, едва семеня, он пересекает сцену и выходит направо. Философ и Племянник смотрят им вслед.

Вы его знаете? Это Николя Бернар, королевский банкир. Во всей Франции нет ему равного. Он — величайший. Мой дядя по сравнению с ним бедный сиротка. Да, приступать к делу следует как можно раньше. А Бернар был вундеркиндом. Еще восьми лет от роду он уже знал, как забить ягненка, как его выпотрошить. Его отец владел бойней в Эперне, пока не поскользнулся, угодив ногой в лужу крови. И так нехорошо упал! Умер на месте. Такое везение! Сын продал бойню и отправился в Париж. Здесь он раздобыл сутану и стал выдавать себя за аббата. Вскоре у него на крючке оказалась герцогиня де Кастень, сказочно богатая вдова. Целыми днями он своим елейным голосом заверял ее в том, что ее ожидает царствие небесное, а по вечерам отводил ее единственного сына к Крупенскому. Вы ведь его знаете?

Философ. К кому?

Племянник. К Крупенскому, это на улице Святой Анны, там, где до самого рассвета сидят за игорными столами.

Философ. Кажется, что-то слышал.

Племянник. За углом от кафе «Де ла Режанс». Мне, кстати, рассказывали, будто вы совсем недавно оставили там за одну ночь восемьсот ливров.

Философ. Триста.

Племянник. Пусть так. Ну а юный герцог находит вкус в игре, постоянно увеличивает ставки, подписывает один вексель за другим. Их-то в один прекрасный день и предъявляет великий мясник его матери, и ей приходится смириться с тем, что отныне владельцем ее состояния становится он. Она не смогла пережить такой удар. Но то было лишь начало.

Философ. Прекратите! Достаточно.

Племянник. Как? Неужели вам неинтересно? А лавина новых бумажных денег? А трюк с индийскими акциями? Великая была идея. И еще — «Олений парк»[1], мадам Помпадур! Ну, вы понимаете. Даже сводник может оказаться гениальным. Разумеется, все предоставлялось в кредит. С той поры король оказался в руках у банкира. Без его кредитов всем радостям пришел бы конец. Да, дорогой мой, все дело в кредите. А кредит нужно иметь. Это великое таинство, и Бернар его верховный жрец.

Философ. Если существует пекло, он будет первым, кого там поджарят.

Племянник. Ничего подобного! Не успел он сколотить состояние, от которого разило за версту, как тут же обратился к Богу. Вы ведь видели его монахинь.

---

[1] Так называли небольшое здание, построенное в 1755 г. на территории Версальского парка, где размещался «гарем» Людовика XV.

Философ. Каких монахинь?

Племянник. Тех двух, что должны таскать его от исповедальни к столу, от стола к кровати и от кровати туда, куда каждый ходит в одиночестве. Когда он, старый потаскун, одряхлел и стал походить на мумию, то из фальшивого аббата превратился в самого подлинного святошу. Благодетеля человечества! Целый монастырь пожертвовал он этим бабам, и теперь они живут под его игом. Им приходится обслуживать его постоянно, с утра до вечера, они обязаны его мыть, причесывать, одевать. Но что самое забавное — став беспомощным, он уже не в состоянии противиться их нежным заботам. Так он превратился в раба собственных рабынь.

Философ. Поучительная история. И этому человеку вы завидуете?

Племянник. Нет. Я его изучаю. И это помогло мне узнать, откуда берется богатство наших дипломатов, шелковых фабрикантов и архиепископов. Спекулируют, наследуют состояния, проворачивают дела на чужие деньги. И в конечном счете всегда один разоряет другого. Все паразиты! Кого ни возьми. А что касается господ ученых — я не хочу быть бестактным...

Философ. Я догадываюсь, к чему вы клоните. Нашего брата вы тоже не намерены щадить.

Племянник. Возможно.

Философ. Но вы тем самым подгоняете все и вся под одну мерку: вора и судью, сутенера и философа, шлюху и гофмаршала.

Племянник. А почему нет? Если вы готовы признать, что гость тянет соки из хозяина дома — и наоборот, богатый из бедного — и наоборот, тогда почему взаимосвязь между умником и глупцом должна быть иной? Мы занимаемся метафизикой или играем в марьяж, мы открываем отдаленнейшие острова южных морей и выстраиваем хитроумнейшие аферы с акциями — и какова при этом наша цель? Только одна — добыть себе пропитание.

Во время этого монолога возвращается **старый господин**, опираясь на **двух монахинь**. Он останавливается. Философ и Племянник, привстав, кланяются ему. Затем все трио возвращается в зал.

Чтобы было что жевать и переваривать. Капитал в тридцать три миллиона золотом сколотил он грабя, мародерствуя и доводя до банкротства других. И что это ему дало? Ведь главное в жизни — это легкое, регулярное, приятное отправление естественных надобностей. Блажен тот, кто каждый вечер может спокойно усесться на свой стульчак. Вот где истинное равенство. Там великий Бернар оставляет практически столько же, сколько и я, но при этом, готов спорить, ему приходится затрачивать больше усилий, чем вашему покорному слуге.

Философ. Порой я спрашиваю себя, кто из нас философ — вы или я?

Племянник. Я не осмелюсь ответить вам. Но в одном я твердо убежден: знатные люди нуждаются в таких, как я. Мы им помогаем искупать грехи. Куртизанка мстит финансисту за принца, мошенник, камеристка, повар мстят куртизанке за финансиста. Мне же судьба предопределила вершить высшее правосудие над этим тюфяком Бертэном и этой бестией — его женой. В этом мире все получают по заслугам.

Философ. А вам не кажется, что вы довольно неблагодарны по отношению к вашим покровителям?

Племянник. Разве я виноват, что они спутались с таким типом, как я? Нет, нет. Им было известно, чего я стою, а я все знал о них. Мы заключили молчаливый договор, которым устанавливалось, что они будут моими благодетелями, а я за их добро рано или поздно отплачу злом.

Философ. Я нахожу, что он несколько односторонен, этот ваш договор.

Племянник. Дело не во мне. Возможно, в один прекрасный день я получу большое наследство, и тогда тем, кто транжирит миллионы, стану я. И тут уж я не собираюсь мелочиться. Готов вернуть все, что мне досталось, до последнего гроша — за игорным и обеденным столом, у женщин...

Философ. Боюсь только, что до этого дело никогда не дойдет.

Племянник. Кто знает.

Философ. Ну хорошо, допустим, что наступит день, когда вам достанется большое состояние. Что вы собираетесь с ним делать?

Племянник. То же, что делают все нищие, на которых свалилось богатство. Я бы хотел стать самым беспардонным парвеню, которого видел мир. Тогда моими паразитами станут другие, и я уж им за все отплачу. Мне нравится повелевать людьми, и я буду помыкать этими негодяями. Я люблю лесть, и меня станут превозносить. Всех писак, всех сплетниц я возьму на содержание и обходиться с ними буду так же, как прежде обходились со мной. Ну-ка, паршивцы, я требую развлечений! И они будут меня развлекать, иначе я их прогоню за дверь. Они доставят мне любых девиц, каких я только пожелаю, и мы будем вместе с ними напиваться до чертиков. А за бокалом шампанского мы перемоем косточки всем добрым людям, которые возомнили себя образцом добродетели. Это так сладостно. Первым на очереди окажется мой дядюшка. Мы докажем, что Вольтер — это самодовольный пачкун, что Монтескье сам не понимает, о чем говорит, что Дидро лишь толчет воду в ступе. А мелких моралистов вроде вас мы просто обойдем, пожав плечами, потому что прекрасно знаем вам цену. Вы презираете нас из чистой зависти, ваша скромность призвана скрывать ваше высокомерие, а живете вы неприхотливо только потому, что вам не остается ничего другого.

Философ. А вы и вправду умеете делать комплименты.

Племянник. Я говорю вам лишь то, что богатые и влиятельные люди всех сословий думают о философии. На людей, подобных вам, смотрят просто как на странных чудаков — как мне кажется, с полным основанием. Вы хотите доказать всему миру справедливость ваших фантазий, которые вы называете добродетелями. Но представьте себе, что вам вдруг удалось обратить все человечество в приверженцев вашей философии. Получилось бы чертовски грустное зрелище! Нет, лучше уж я буду следовать заветам Соломона: пить лучшие вина, поглощать изысканнейшие яства, спать с красивейшими женщинами, покоиться в мягкой постели, а все остальное — суета сует.

Философ. Я вас правильно понял? По-вашему, выступать за права, принадлежащие любому человеку от рождения, — пустая трата сил?

Племянник. Суета! На этой земле, от одного полюса до другого, я вижу только тиранов и рабов.

Философ. И вы не пошевелили бы пальцем ради вашего лучшего друга?

Племянник. Суета! Разве у нас есть друзья? Но даже имей я друга, неужели я должен добиваться, чтобы он начал меня избегать? Благодарность — тяжкое бремя. И потому любой человек сторонится того, кто помог ему в беде.

Философ. А как бы вы поступали с вашими родителями, женой, с вашими детьми?

Племянник. Суета! Вы хотите, чтобы каждый из нас брал на себя семейные обязанности. Но к чему это приводит? К ревности, к разводам и тяжбам из-за наследства, к сплошным огорчениям. Вам это известно так же хорошо, как мне.

Философ. Нет.

Племянник. Значит, вы искренне считаете, что следует быть хорошим человеком?

Философ. Почему нет? Бывают роли и похуже.

Племянник. А мне какая с того выгода?

Философ. Как только я делаю что-то правильное — такое случается, — я сразу же чувствую себя лучше.

Племянник. Ощущаете свою исключительность.

Философ. Глупости. Я не говорил, что *становлюсь* лучше, но — *чувствую себя* лучше. Между прочим, совершенно безразлично, кто творит добро. Важно, что оно существует и что оно гораздо долговечнее, чем вам кажется. А вот у вашей подлости короткие ноги. Разумеется, когда вам удается кого-нибудь облапошить, у вас тут же загорается взгляд. Мне это знакомо. Вас распирает от злорадства. Вы торжествуете. Однако наутро вы смотритесь в зеркало, и вас охватывает неприятное чувство. И тогда вам остается лишь одно — усиливать дозу, придумывать еще более худшую подлость, и так это продолжается, пока в конце концов вы не замечаете, что в дураках остаетесь вы сами.

Племянник. Вот как? Почему же тогда в мире полно порядочных людей, которые несчастны, и счастливых, не имеющих с порядочностью ничего общего? Взгляните на меня: один-единственный раз я дал себе волю, всего на пять минут приоткрыл слабый проблеск того, что вы называете добродетелью и нравственностью, и сразу же погубил себя. И вы пытаетесь меня убедить, что этот путь и ведет к блаженству? Нет, нет. Люди прославляют добродетель, но ненавидят ее. Вышвыривают ее на мороз. А в этом мире, сударь мой, ноги нужно держать в тепле.

Философ. Здесь, на этом диване, вы не замерзнете.

Племянник. Да, пока я еще здесь! Вы сами видели, как со мной обошлись лакеи. Почему порядочные люди так мелочны, так угрюмы, так неприятны? Я вам отвечу. Порядочные люди подвергают себя самоистязанию. Они грешат против собственной натуры. Отсюда их страдальческая мина, а человек страдающий причиняет страдания другим. Это не для меня. Я хочу быть жизнерадостным, непринужденным, веселым. Добродетель требует к себе уважения, а я его не испытываю. Она жаждет восхищения, а это обременительно. Люди, с которыми я общаюсь, все время скучают, стало быть, я должен их развлекать. Мне следует быть в добром настроении, остроумным, взбалмошным — любой ценой, даже если на душе кошки скребут. Словом, ваше представление о спокойном, добропорядочном счастье не для меня. Сейчас вы наверняка думаете, что я испытываю неприязнь к моралистам. Напротив! От них можно многому научиться. Я их основательно изучал.

Философ. Неужели? Кого же вы читали?

Племянник. Лабрюйера, Ларошфуко, но охотнее всего — божественного Мольера.

Философ. Что ж, превосходные книги.

Племянник. Но большинство людей не умеет их читать.

Философ. Зато уж *вы-то* знаете, что в них главное.

Племянник. Мне кажется, знаю. По ним я учусь, как нужно себя вести, чтобы другие не замечали твоих намерений. Когда я, например, смотрю «Скупого», я говорю себе: будь сколь угодно скуп, но остерегайся и никому этого не показывай. Если же я изучаю «Тартюфа», то затверживаю навсегда: лицемерь, если необходимо, но изъясняйся так, чтобы никто не счел тебя лицемером. Оставайся таким, какой ты есть, но веди себя так, чтобы тебя не разоблачили.

Философ. Бедный Мольер!

Племянник. Только не думайте, что я единственный читатель такого рода. Моя заслуга лишь в одном — благодаря своей проницательности и своему интеллекту я действую осознанно и последовательно, в то время как тупицы рассчитывают только на свой инстинкт. А на инстинкт, должен вам сказать, полагаться нельзя. В этом и состоит мое преимущество. Я даже способен отказаться от собственных правил, если это необходимо. Возьмите, к примеру, принцип, согласно которому никогда не следует выглядеть смешным.

Философ. Вполне понятный принцип.

Племянник. Еще бы. Но возникают порой ситуации, когда лучше его нарушить, когда оказывается выгоднее быть шутом или по меньшей мере играть роль шута. Трудно придумать лучшую роль. В прежние времена при каждом дворе был человек, которому доверяли эту должность. Но доводилось ли вам когда-нибудь слышать, чтобы кому-то присваивали титул придворного мудреца? Ни за что и никогда. Так я служил шутом при тупоголовом господине Бертэне, а сейчас я, наверное, ваш шут, или вы мой. В конечном счете и король может стать шутом своего шута.

Философ. Кто знает.

Племянник. Да, все это настолько зыбко и расплывчато, что просто голова кругом идет! Разве вы не читали вашего Монтеня? Черным по белому он доказал: в наших нравах и обычаях нет ничего абсолютного, истинного или ложного, есть лишь непрестанное стремление быть или прикидываться тем, чего требует наше благополучие: мудрецом или шутом, добрым или злым, прямодушным или коварным, достойным или смешным. Окажись случайно, что добродетель приносит нам счастье — я был бы первым, кто попытался бы встать на ее путь. Но при нынешнем положении ве-

щей мне пришлось отдать предпочтение пороку. Говоря о пороке, я, разумеется, пользуюсь вашими понятиями просто из уважения. Если же, однако, мы попытаемся проникнуть в глубь проблемы, может оказаться, что порок в вашем понимании для меня обернется добродетелью, и наоборот.

Философ издает стон.

Ну, что скажете? Вы и сами не знаете, что обо всем этом думать, не так ли?

Философ. Я знаю только, что вы пытаетесь меня одурачить! Оставьте наконец ваши уловки!

Племянник. Мне лишь хотелось убедить вас, что я существо всеядное, неисправимый паразит, мерзкий, вероломный, подлый субъект. Вам, правда, все это давно известно. А может, я вас напугал?

Философ. Ах, оставьте! Но эта манера, в который вы очерняете себя, кажется мне подозрительной. В подобных признаниях сквозит своего рода лицемерие. Вы мне напоминаете моего старого друга Руссо, эту гнусную личность. Он тоже, унижая самого себя, стремится торжествовать над другими. Плевать я хотел на вашу фальшивую откровенность! Если же вы нуждаетесь в исповеднике, будьте добры поискать кого-нибудь другого. Я не гожусь на эту роль.

Племянник. Боже упаси! Приношу вам тысячу извинений. Вы правы. Я зашел слишком далеко. У меня всегда так: то захожу слишком далеко, то проявляю нерешительность. Да, мои возможности ограниченны. Обладай я вашим талантом, я бы столько из него извлек! А моих способностей не хватает даже, чтобы казаться негодяем крупного масштаба. Я стараюсь изо всех сил, но, увы, слишком добродушен. Плохи мои дела! На мелких мошенников всем наплевать, зато великие преступники вызывают всеобщее восхищение. Да что там! Их почитают, и чем они более бессовестны и жестоки, тем большие им оказывают почести.

Пауза.

Вы ведь знаете, о ком я?

Философ. О тех, кто сидит в зале?

Племянник усмехается, но не отвечает.

Да, их было бы полезно послушать. Нужно следить за каждым словом, ими произнесенным, а потом передать услышанное потомкам, которые с трудом поверят, что мы были такими варварами. А я вместо этого попусту трачу свое время на вас.

Он встает и направляется в зал, но Племянник берет его за рукав и удерживает.

Племянник. Не стоит. Оставайтесь здесь. Я покажу вам, что там происходит.

Философ снова садится. В следующем монологе Племянник выступает как имитатор голосов, он также копирует мимику того или иного участника конференции, поначалу несколько сдержанно, а к концу все более утрированно.

«Уважаемые господа! Думаю, мы едины во мнении, что негр по своей природе склонен к воровству, распутству, лености и предательству. И потому весьма невразумительными представляются нам протесты некоторых писателей против строгого с ними обращения». — «Справедливо! Но разве нельзя улучшить условия их перевозки? Судовладельцы Нанта предприняли за последние тридцать лет пятьсот сорок одну экспедицию, вывезли на своих судах из Африки сто сорок шесть тысяч семьсот девяносто девять голов, однако в Вест-Индию прибыло и было продано только сто двадцать семь тысяч сто тридцать три головы, таким образом, потери составили девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть голов. Это огромные финансовые потери! Дальше так продолжаться не может.» — «В связи с этим я позволю себе напомнить о королевском указе тысяча шестьсот семидесятого года, который по сей день остается в силе. В нем говорится, я цитирую: «Его величество повелевает всемерно развивать торговлю черными рабами, ибо ничто не может в большей степени способствовать процветанию наших колоний». (*Племянник сам*

себе аплодирует.) И потому клеветнические утверждения, будто работорговля противоречит принципам человеколюбия, следует считать государственным преступлением, ибо она, напротив, вполне безобидна и абсолютно законна. Величайшим несчастьем для этих достойных сожаления африканцев стало бы упразднение работорговли. Ведь они находят в утрате свободы свое спасение, ибо мы приобщаем их к благодати истинной римско-католической апостольской церкви». — «Прошу прощения! И все же, если рабство должно приносить ощутимый доход, следовало бы несколько облегчить их положение». — «Что вы хотите этим сказать?» (*Следующие пассажи Племянник исполняет с музыкальным сопровождением. Постепенно он переходит на мелодекламацию. К концу он начинает имитировать музыкальные инструменты, его интермедия становится все более неистовой и громкой.*) — «Я себе это представляю так: нужно разрешить негру танцевать и петь. Музыка поможет обуздать его прирожденную глупость и побудить его к работе». — «Да, но как быть, если музыка пробудит его звериные инстинкты, даст волю его похоти? Если он, ударяя в барабан, забудется, если он поднимет нож, станет им размахивать, пошатнется в припадке ярости, покроется пеной, взбесится?» (*В заключение он самозабвенно исполняет танцевальный номер. Затем в изнеможении опускается на скамью.*)

Наступает очередь Философа. Произнося следующую тираду, он возбужденно ходит взад и вперед. Говорит серьезно. О Племяннике он забыл. Обращается прямо к публике.

Философ. Ложь! Все ложь! Уже целое столетие наша Европа повсюду трезвонит о своих благородных принципах. Призывы к человеколюбию гремят со всех сцен и кафедр так назойливо, что хочется заткнуть уши. И только судьба рабов нам безразлична. Негров истязают, калечат, сжигают, убивают, и мы хладнокровно принимаем это к сведению. Если я высаживаюсь на чужом берегу, захватываю женщин, детей, землю туземцев, если я покушаюсь на их свободу, если вершу насилие над их верованиями, если превращаю их в рабов — кто же я тогда, как не дикий зверь? А как действуют европейцы? Не успеют их мореходы ступить на сушу, как сразу же вкапывают в землю кусок жести, на котором написано: эта местность принадлежит нам. А почему она должна им принадлежать? По какому праву? Едва успев пересечь экватор, наши земляки перестают быть англичанами, испанцами, голландцами, французами, они превращаются в диких зверей — да что там, они хуже, потому что ими движет не только жажда крови. Здесь жажда наживы, которую утолить невозможно. А губернаторы, которых мы посылаем в наши колонии, — ведь это настоящие деспоты, которых следовало бы перевешать без долгих разговоров! Взгляните на судовладельца, как он, склонившись с пером в руке над своим письменным столом, спокойно подсчитывает, сколько штук ситца отдаст он за чернокожего раба из Гвинеи, во что ему обойдутся цепи, в которые несчастного закуют, и как дешево придется ему уступить работорговцу негритянку, которую этот подлец хочет заполучить для своей постели. А священник! Посмотрите, как он из рук судовладельца принимает пожертвования за то, что благословляет это кровавое дело! Будь проклято мгновение, когда первый француз увидел берег Вест-Индии!

Во время этой речи Племянник начинает дремать, чего Философ не замечает. Но, начав говорить о судовладельце, Философ садится на скамью рядом с Племянником и хлопает Племянника по колену, отчего тот в испуге просыпается.

Вы меня поняли?

Племянник. Конечно, конечно. Вы человек совести, вы хотите как лучше, вы не желаете быть соучастником в торговле живым товаром. Но не кажется ли вам, что вы несколько эгоистичны? Что станет с нашими судовладельцами, нашими финансистами, со всеми их секретарями, капитанами, писарями и матросами? Кто будет оплачивать чиновников, когда перестанут поступать налоги и пошлины? Да, согласен, все они — никому не нужный балласт, скажете вы, паразиты, пусть проваливают ко всем чертям! Ладно, однако следовало бы вспомнить об их родителях, их вдовах и

сиротах. А вы подумали обо всех остальных, у кого вы намерены отнять последний кусок хлеба? О плотниках на верфях, о кузнецах, о канатчиках и парусниках, о пушечных и оружейных мастерах? Если вы положите конец этому промыслу, кому будут нужны стеклянные бусы, ножи, зеркальца, шелковые платки, колокольчики и алкоголь, посредством которых мы несем счастье в Африку? Кроме того, откуда, если не из наших колоний, должен поступать хлопок для мануфактур Лилля и Лиона, индиго, которым окрашена ваша рубашка, кофе, который вы по утрам пьете в кафе «Прокоп», сахар, прежде всего сахар, придающий сладость вашему десерту? Невозможно себе представить, чтобы вы обходились без всех этих приятных вещей. Да вы просто неблагодарный человек, дорогой философ.

Тем временем задняя дверь приоткрывается. В ней стоит **один из лакеев** и напряженно прислушивается к словам Племянника, стараясь казаться равнодушным. Через приоткрытую дверь из зала доносится обрывок выступления очередного оратора.

Оратор в зале. ...ибо она, напротив, вполне безобидна и абсолютно законна. Величайшим несчастьем для этих достойных сожаления африканцев стало бы упразднение работорговли. Ведь они находят в утрате свободы свое спасение, ибо мы приобщаем их к благодати нашей церкви...

Племянник торжествует. Лакей тем временем на цыпочках подходит к Философу. Он что-то шепчет ему на ухо и показывает на открытую дверь. Философ отрицательно качает головой. Лакей отходит от него и возвращается в зал.

Философ. И не подумаю! Об этом не может быть и речи. Я не позволю командовать мной.

Племянник. Чего он хотел?

Философ. Они требуют, чтобы я выступил в дебатах.

Племянник. Но ведь для того вас и пригласили.

Философ. Это ловушка!

Племянник. Ловушка? Как это?

Философ. Им доподлинно известно, что я не смогу сдержаться. Они только и ждут, что я не стану скрывать своих суждений и сам суну голову в петлю, к тому же при свидетелях. Им нужно все это документально запротоколировать, черным по белому, и дело закончится...

Племянник. Чем же?

Философ. Венсеном или Бастилией.

Племянник. А вы стали осторожны.

Философ. Нескольких недель тюрьмы мне вполне хватило.

Племянник. Но ведь это случилось довольно давно. Тогда вы были никем. А сегодня императрица Екатерина платит вам внушительное жалованье и приглашает в Петербург. С шефом полиции вы на дружеской ноге. Словом, вы теперь европейская знаменитость. Не понимаю, чего вы опасаетесь. Хотя...

Философ. Хотя — что?

Племянник. Хотя вышеупомянутая книга могла бы послужить поводом. Черт побери! Должен признать... Шляпу долой!

Философ. Не знаю, о чем вы.

Незаметно для собеседников открывается дверь в зал. Появляется **старый банкир**, поддерживаемый **двумя монахинями**. Он бредет через сцену, останавливается, выслушивает следующую реплику, качает головой и уходит направо.

Племянник. «Верховный суд настоящим постановляет: вышеупомянутую книгу руками палача разорвать и сжечь у подножия лестницы Дворца правосудия как безбожное, кощунственное, подстрекательское сочинение, преследующее целью возмутить народ против королевской власти и ниспровергнуть основные принципы общественного устройства». Желаете слушать дальше?

Философ. Мне знаком этот текст. Но что он имеет общего со мной?

Племянник. «Относительно автора, Гийома Томаса Рейналя[1], чье имя указано на титульном листе вышеупомянутой книги, верховный суд постановляет...»

Философ. «...взять его под стражу и заключить в тюрьму Консьержери». К счастью, он уже давно сидит в Готе или в Невшателе, где его уже не достать.

Племянник. Да, Рейналь! Но вы...

Философ. Что вы хотите этим сказать?

Племянник. Но послушайте! Самые сочные страницы вышеупомянутой книги никогда не выходили из-под пера бедного Рейналя, этого педанта. Создать нечто столь пламенное ему просто не под силу. Написать такое могли только вы.

Философ. Откуда вы можете знать?

Племянник. Такова моя профессия.

Философ. Профессия! Профессия! У вас, на мой взгляд, слишком много профессий. К чему вы клоните? Вы что, шпион? Доносчик? Намерены меня шантажировать? Предостерегаю вас. Все это плохо для вас кончится.

Племянник. Но к чему такое недовольство, такое раздражение?

Философ. Мне слишком хорошо известно, что все мы барахтаемся в невидимой сети. В сети тайной полиции. Мы окружены шпиками. Любой, даже самый честный человек может в этой стране в одно мгновение потерять все: свое состояние, ибо эти чиновники — банда разбойников; свою честь, ибо о праве и законе здесь говорить бессмысленно; свою свободу, ибо, по убеждению наших правителей, цена ей грош; и даже свою жизнь, ибо эти люди не останавливаются ни перед чем.

Племянник. Вам бы следовало придерживаться заветов Эпикура и Демокрита. Душевное равновесие, стоическая невозмутимость — вот главные качества, отличающие философа.

Философ. Оставьте меня в покое.

Племянник. Я лишь хотел сделать вам комплимент. Ваша речь о рабстве, которую вы только что произнесли, была прекрасна!

Философ. Да ведь вы спали!

Племянник. Я только прикрыл глаза, чтобы не упустить ни единого слова. Некоторые ваши формулировки показались мне знакомыми. Они мне напомнили вышеупомянутую книгу, «Политическую историю обеих Индий».

Философ. Гийома Томаса Рейналя.

Племянник. Странно. Дело в том, что бедный Рейналь долгие годы был на содержании у военно-морского министерства, именно того самого учреждения, которое ответственно за колонии. И посему возникает законный вопрос: кому принадлежат кощунственные, подстрекательские места, столь прославившие это сочинение? Неужели тому, кто получал жалованье?

Философ. Мне вы ничего не сможете доказать.

Племянник. И еще кое-что, вызывающее мое удивление. То, что у вас есть возлюбленная, говорит, разумеется, в вашу пользу, но у этой дамы имеется племянник, — Париж сегодня буквально кишит племянниками, не правда ли? — которому вы устроили теплое местечко. Насколько мне известно, он назначен секретарем губернатора Гайаны. Да, связи — весьма полезная вещь. «А губернаторы, которых мы посылаем в наши колонии, — ведь это настоящие деспоты, которых следовало бы перевешать без долгих разговоров!» Ваши слова!

Философ. Все, я сыт вами по горло.

Племянник. И еще эти племянники повсюду, не так ли? Просто беда с ними.

Философ. Вы недооцениваете меня. Я могу вас раздавить!

Племянник. Вот как?

Философ. Я знаю о вас больше, чем вам хотелось бы.

Племянник. По принципу взаимности.

---

[1] Г. Т. Рейналь (1713—1796) — французский историк и социолог. Его книга «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (1770) была осуждена на сожжение, автор подлежал аресту, но бежал.

Философ. Я был терпелив с вами. Я выслушивал ваши стенания по поводу дядюшки. «Всему свету я известен только как племянник, племянник великого, славного Вольтера». Ха! Но ведь вы даже не племянник, мой дорогой. Даже не племянник!

Племянник. Что вы хотите этим сказать?

Философ. Вы были молоды и голодны, и он отнесся к вам благосклонно. Тогда вы, должно быть, выглядели весьма аппетитно. (*В следующей сцене Философ подражает Вольтеру.*) Не понимаю, Мари-Луиза, что ты имеешь против юноши! Я нахожу его очаровательным. К тому же он может быть мне полезен. Ты слишком ленива и необразованна, чтобы приводить в порядок мои бумаги, милая племянница. Впрочем, он пробудет у нас всего несколько недель. Не собираешься же ты ревновать к нему — только потому, что я позволяю ему спать в моей приемной? (*Снова в образе Философа, обращаясь к Племяннику.*) А вы угнездились там как клещ. Вы его обобрали до нитки, и тогда... (*Снова в образе Вольтера, обращаясь к племяннице.*) Он крадет все, что только можно унести. Мои письма, мою бриллиантовую брошь. (*Изображает голосом и пластикой племянницу.*) Я могла сразу тебе сказать, что он просто крыса. Но ты же не хотел меня слушать.

Племянник. Да как вы посмели! Вы лжете!

Философ (*как племянница*). Да, пока он был твоей постельной собачкой, но теперь, когда стал жирным и лохматым...

Племянник. Не было этого!

Философ (*теперь он подражает Племяннику*). Вы мой благодетель! Я преклоняюсь перед вами! (*Голосом Вольтера.*) Поклонение мне привычно, но от вашего поклонения, да еще в подобной манере, прошу меня избавить. (*Как Племянник.*) Простите меня! Молю вас! Это никогда не повторится. (*Как Вольтер.*) Прочь! Прочь! Не прикасайся ко мне! Это омерзительно! (*Бросает ему деньги.*) Вот, возьми! Забирай и вон отсюда! И больше не показывайся мне на глаза!

Племянник зажимает уши.

Племянник. Хватит! Прекратите!

Философ (*как Вольтер*). Мари-Луиза! Мари-Луиза! Слышала последнюю новость? Теперь он бегает по Парижу и повсюду выдает себя за моего племянника. За моего племянника! Дальше некуда! Но не беспокойся, дорогая племянница, я уже пригласил нотариуса. Он не получит ни гроша. Я лишаю его наследства!

Племянник. Что?! Откуда вам это известно?

Философ. Это уж моя забота.

Племянник. Нет. Он не может так со мной поступить.

Философ. Я вас предостерегал. Но вы думали: он же всего лишь философ, а в ваших глазах это означает — наивный простак.

Племянник. Да, да, да. Я готов это признать. Боже мой, сам не знаю, что со мной происходит. В последнее время я совершаю ошибку за ошибкой.

Пауза. Из-за сцены справа доносится шум спускаемой воды. Оба собеседника в изнеможении глубоко опускаются в кресла.

Философ. Ну да ладно. Порой мне надоедает играть роль философа. Ведь рассудок так хрупок. Следует проявлять осторожность, чтобы не сойти с ума, философствуя о философии. И еще вечные неприятности с издателями, этими отъявленными мошенниками. Что ни день — любопытные, просители, соглядатаи, которые не дают мне работать. Ведь я затворник. Да, я сижу из года в год, как арестант, разница лишь в том, что у моей камеры стены бумажные.

Не замеченный собеседниками, появляется **старик с двумя** сопровождающими его **монахинями** и семенит обратно в зал. Теперь на нем надет, поверх шелковых панталон до колен, пиджак в узкую полоску и галстук.

Повсюду рукописи, aide-mémoires[1], счета, протоколы... И все это постепенно зарастает плесенью. И еще политика! Она нагоняет на меня тоску. До чего унылое занятие. И почему я? Почему я должен вечно подставлять голову?

[1] Памятные записки (*франц.*).

Племянник. И со мной так же. Придя сюда, я был свеж и бодр. А теперь? Вы же видите, я больше ни на что не гожусь.

Философ. Это пройдет. А сейчас нам обоим нужно немного взбодриться. (*Он сдергивает ткань, которой прикрыт предмет, стоящий на столике. Под тканью оказывается кофейник-эспрессо. Он наливает кофе себе и Племяннику.*)

Племянник. Спасибо. Между прочим, вы сейчас были несправедливы ко мне. У меня и в мыслях не было делать вам пакости. Я просто хотел увидеть вашу реакцию. Прекрасный был момент, когда вас охватила паника. Из-за такой мелочи! Подумаешь, мелкое противоречие... Никогда прежде не были вы мне столь симпатичны.

Философ. А ведь вы тоже не на шутку перепугались, когда я вам сказал, будто ваш дядя, который вовсе не ваш дядя, лишил вас наследства. (*Смеется.*)

Племянник. Так это неправда? Вам хотелось только подурачить меня?

Философ. Я этого не сказал. Помучайтесь еще. Так вам и надо.

Звучит телефонный сигнал. Племянник достает из кармана мобильный телефон и отвечает.

Племянник. Мадам Бертэн! Какой сюрприз! Как я рад!.. Ну что вы, с чего вы взяли... Нисколько... Как, простите?.. Разумеется... Не премину... Когда только пожелаете... Прямо сейчас?.. Как вам угодно. Поспешу... Вы же знаете, я преклоняюсь перед вами... Мое почтение и наилучшие пожелания вашему уважаемому супругу. (*Выключает телефон.*) Тупая корова! Я должен идти.

Философ. К вашей покровительнице, задницу которой вы отказывались целовать.

Племянник. Иначе с ней опять случится истерика.

Пауза.

Да, чем больше я затрачиваю сил, тем быстрее вращается мое чертово колесо.

Философ. Если бы вы не мчались так стремительно за кусочком сала, и к тому же впустую...

Племянник. И если бы у вас постоянно не возникали новые идеи относительно совершенствования человечества... Plus ça change, plus c'est la même chose[1].

Философ. В том-то и ужас, что вы и я — мы остаемся такими, какие есть.

Племянник. А почему бы и нет, господин философ? Так что будем, пока это возможно, черпать наслаждение в наших несчастьях.

Из зала доносятся заключительные аплодисменты. Та же музыка, что вначале. Двустворчатые двери распахиваются. Заседавшие **сановники** проходят через сцену слева направо, но теперь они одеты в современные костюмы и, насколько это возможно, походят на сегодняшних государственных деятелей, банкиров и советников; не беда, если кого-то из них можно узнать. Среди них и **чернокожий вождь**, но теперь на нем пышная генеральская форма и сопровождают его не жандармы, а телохранители с автоматами. **Монахини**, которые выводят **банкира**, превратились в медицинских сестер в белом одеянии.

Философ в нерешительности. Племянник поднимается. Оба они — единственные, на ком костюмы восемнадцатого века. Племянник тянет Философа за собой, и они присоединяются к процессии.

Занавес

[1] Чем больше перемен, тем больше все остается по-старому (*франц.*).

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

ФРЭНСИС БЭКОН, или ДИЕГО ВЕЛАСКЕС В КРЕСЛЕ ДАНТИСТА

ПОЭМА

Перевод с польского АСАРА ЭППЕЛЯ

тридцать лет назад
я пустился по следу Бэкона

стал его искать
в пабах галереях мясных лавках
в газетах альбомах на фотографиях

столкнулся с ним в Вене
в Kunsthistorisches Museum
оказавшись перед портретом
инфанты Маргариты
Infantin Margarita Teresa im blauen Kleid
Diego Rodriguez de Silva y Velázquez
вот он — решил я — попался
но это оказался не он

после смерти
после кончины Бэкона
я поместил его под колпак
собираясь разобраться
основательно и досконально

учитывая
привычку объекта
удирать исчезать
напиваться
перемещаться
во времени и пространстве
от пивной к пивной
наподобие барочного путто
посеявшего шляпу
и красный носок

© Tadeusz Różewicz, 1995
© Асар Эппель. Перевод, 1998

я вынужден был
беглеца обездвижить
несколько недель
ходил в Tate Gallery
запирался с ним
и глядел глядел

переваривал жуткое его
мясо искусства совокупление падали
уйдя в себя
длил диалог
с Сатурном поглощенным
пожиранием собственных детей
человека убивают всё равно как животное
я видел фургоны порубленных
которым не будет спасения
сочинял я в 1945 году

в подпитии Бэкон
бывал милым компанейским
добрым свойским
угощал знакомых
шампанским икрой
преображался в ангела
с обмакнутым
в пивную кружку
крылом

большинство моих работ — говорил он —
создано человеком
одержимым Тревогой

работая над одним триптихом
я выпивал для храбрости
помогло только раз
бормотал он
рисуя пальцем на стекле
Lager Beer Lager Beer
в 1962 году
когда писал распинание
иногда с перепою
не понимал что делаю
но тогда помогло

Бэкону удалось пресуществить
распятую особь
в подвешенное мертвое мясо
встав из-за столика он внятно сказал
а мы и есть мясо
потенциальная падаль
по дороге в мясную лавку
я бывает думаю как странно
что на крюке не я

это ж чистая случайность
Рембрандт Веласкес
ну да они верили в воскресение
плоти они молились берясь за кисть
а мы забавляемся
нынешнее искусство сплошь игра
со времени Пикассо играют все —
лучше хуже

помнишь рисунок Дюрера
ладони сложенные для молитвы
ясное дело пили ели убивали
насиловали и пытали
но веровали в воскресение плоти
в жизнь вечную
жаль что... мы...
и оборвал и ушел в известном себе одному
направлении
минули годы
отлавливать Бэкона
помогал мне Адам
поэт переводчик
рубрикотворец во «Творчестве»
проживающий в Лондоне
и Норидже
(упасающийся в Дельфте)

12 июня 1985 года
он сообщил:
Дорогой Тадеуш
я сегодня был на большой выставке Бэкона
и подумал, что тебе она доставила бы массу
удовольствия. Я-то пошел неохотно.
Однако не жалею — ранние малость объеденные головы
по колориту и композиции
весьма эффектны. Зато новая живопись
меня не убедила. Как я уже писал,
приеду во Вроцлав (...)
(на обороте репродукция Head IV
1948 — 1949)

но я же Адам
не могу объяснить
Бэкону
Он не знает польского
я английского

передай ему я дебютировал «Тревогой»
в 1947-м:

розовые
четвертованные идеалы
повисли в мясных лавках (...)

А в 1956-м писал:

еще дышащее мясо
наполненное кровью
служит пищей
этим совершенным формам

они таково смыкаются над добычей
что и молчанью не пробиться
наружу (...)

the breathing meat
filled with blood
is still the food
for these perfect forms

оба мы
влеклись по «Бесплодной земле»

Бэкон говорил что любит
глядеть на свои работы под стеклом
даже Рембрандта
предпочитает под стеклом
ему не мешает народ
отражающийся
проходя мимо
в стекле и смазывающий картину
я
не выношу полотен под стеклом
вижу там себя вспоминаю как однажды
озирал нескольких японцев
наложенных на улыбку Моны Лизы
они были весьма подвижны
Джоконда в стеклянном гробу
оставалась недвижной
с тех пор
я не хожу в Лувр

Джоконда улыбалась в усы
Бэкон запер в клетке
папу Иннокентия VI
потом Иннокентия X
Пия XII
инфанту Маргариту в голубом
еще какого-то судью прокурора
все вышепоименованные стали вопить

в 1994 году
14 февраля
в Валентинов день
на стеклянном экране
он явился мне Фрэнсис Бэкон
круглая голова овальное лицо
помятый костюм

слушаю Бэкона
гляжу на портрет
на красное лицо папы Иннокентия VI
на милое личико инфанты

я намеревался изобразить
пейзаж полости рта
не получилось
говорил Бэкон
в полости рта я нахожу
все неповторимые краски
Диего Веласкеса

стекло заглушает крик
подумал я
Бэкон проводил свои операции
без обезболивания
так работали
дантисты XVIII века
Zahnextraktion
еще вскрывали нарывы чирьи карбункулы
это не больно говорил он инфанте
откройте пожалуйста ротик
я увы без наркоза
так что придется потерпеть
инфанта в гинекологическом кресле
папа Иннокентий VI на электрическом стуле
папа Пий XII в приемной
Диего Веласкес
в кресле дантиста
друг «George Dyer
before a Mirror — 1968»
или на стульчаке...

я писал открытый рот
крик Пуссена в Шантильи
вопль Эйзенштейна на лестнице
я писал по газетной канве
по репродукции с репродукции
в углу мастерской
скопилась кипа газет фотографий
в молодые годы
купил в Париже
книгу о болезнях ротовой полости
Бэкон беседовал с Давидом Сильвестром
и не обращал на меня внимания

чтобы его раззадорить
я спросил слышал ли он
о гниющем рте Зигмунда Фрейда
под конец даже верный
пес убегал от хозяина
не умея вынести смрада
почему Вы не написали

нёба пожираемого
роскошным раком
Бэкон делал вид что не слышит

ваши модели кричат
точно тучи в падучей
вы опять посадили
Иннокентия какого-то
в духовку
снова вознамерились тишайшей
полусонной превосходно воспитанной и написанной
инфанте
прописать
«die Applizierung» des Klistiers

я опять стал упрашивать Адама
помочь но тот
усмехнулся
он ел «бутерброд» с тунцом
под «Хайнекен»

скажи ему Адам
скажи ему
пожалуйста «по-английски»

что закрытый рот
для меня прекраснейший из пейзажей

уста Незнакомки во Флоренции
Андреа делла Роббиа
Ritratto d'Ignota
Portrait of Unknown Woman

и еще скажи
что Кафка боялся открытых
уст и зубов в золотых коронках и мясе десен
я вставил это в пьесу «Западня»
сыгранную в Норидже
жаль что Бэкон не написал
портрета Элиота страдающего
воспалением надкостницы
с лицом замотанным в клетчатый
платок

Адам жевал теперь бутерброд
с копченым лососем
Тадеуш! Это третья кружка
я предупреждал что «Гиннесс»
подействует
спроси пана Франтишека
знает ли он что сказал Вондрачек
о рте и зубах
Адам спрятал кубик рубрики

Der Mund ist plötzlich
der Zähne überdrüssig
говорил Вондрачек

Бэкон буркнул в пивную кружку
никогда мне не удавалось
схватить улыбку
я всегда полагал
что могу написать уста
как Моне
солнечный закат

а получался
рот полный зубов и крику
распятие? еще раз повторяю
это единственное
что писалось в подпитии
но алкоголь и наркотики
в живописи не помогают
разве что делаешься разговорчивый
и даже болтливый

прощай Фрэнсис Бэкон
я сочинил о тебе поэму
больше не стану тебя искать
довольно конец
ага! еще название
«Фрэнсис Бэкон
или
Диего Веласкес
в кресле дантиста»
правда неплохо
ни один из ирландских
. и английских критиков
или поэтов
не додумался
до такого
и напрасно наверно к названию
я приписал
эту нескончаемую поэму
но за пивом человек
разговорчив
и даже болтлив

Февраль 1994 — март 1995

■

Трансатлантическая любовь

Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену (1947—1964 гг.)

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Вступление, перевод с английского и французского
ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Публикация трехсот с лишним писем Симоны де Бовуар к американскому писателю Нельсону Олгрену (1909—1981) стала для французов неожиданным подарком к концу века. Бурная литературная жизнь двух послевоенных десятилетий, политические столкновения, приметы времени и ушедшие детали быта описаны, при всей непринужденности эпистолярного стиля, так основательно и объяснены так подробно, что потомкам не придется ломать голову над малопонятными аллюзиями или отсылками к потерявшим свою значимость событиям. И дело не только в том, что Симона де Бовуар, писатель, философ, автор нескольких книг мемуаров, прекрасно владеет пером. Эти письма обращены к американцу, для которого Европа — почти другая планета: парижские знаменитости, литературные сплетни, даже новые направления — такие, к примеру, как французский экзистенциализм, — ему практически неизвестны.

Симона де Бовуар не раз говорит в письмах о том, что их встреча с Олгреном — это встреча Старого и Нового Света, двух миров, разделенных Атлантикой. Мир Олгрена — Америка, а точнее, Чикаго, где он вырос и куда вернулся после университета и долгих скитаний по южным штатам. Этот город в писательской судьбе Олгрена сыграл примерно ту же роль, что Петербург для Гоголя или Достоевского. Его новеллы, романы, даже поэма в прозе — все посвящено Чикаго, пронизано духом Чикаго, наполнено мутной поэзией чикагского «дна». Эта поэзия, отчетливо помеченная маркой «сделано в Чикаго», принесла Олгрену славу, официально подтвержденную Национальной литературной премией. Его главные персонажи — люди, которых гигантский дождливый город сломал и подмял, в основном воры, проститутки, наркоманы. Любопытно, что эпиграф к самому известному своему роману «Человек с золотой рукой» он взял из купринской «Ямы». Куприна, как и Достоевского, он, в отличие от французской литературы, знал и любил.

Вне Чикаго Олгрен своей жизни не мыслил, Симона де Бовуар не могла покинуть Париж, и их любовь вылилась в переписку, длившуюся семнадцать лет. В какие-то периоды они обменивались лишь новогодними поздравлениями, но прочная связь между ними продолжала существовать, и переписка неизменно возобновлялась.

Причиной окончательного разрыва стала книга воспоминаний Симоны де Бовуар «Сила вещей» (1963). «Надеюсь, ты останешься доволен страницами, посвященными тебе, я вложила в них все свое сердце», — пишет она Олгрену. Однако его реакция оказалась неожиданной и резкой. Желчно, зло, почти с ненавистью обрушивается он на книгу в печати и никогда больше, до самой своей смерти в 1981 году, не пытается восстановить прерванные отношения. Он умер в одиночестве, в своем доме в Чикаго, и не нашлось человека, который взял бы на себя заботу о похоронах. «Тело Олгрена не востребовано!» — гласили заголовки газет.

© Éditions Gallimard, 1997
© И. Кузнецова. Перевод, 1998

Симона де Бовуар, пережившая его на пять лет, была поражена, узнав, что, несмотря на публичные проклятия, он сохранил ее письма. Они попали на аукцион, где их приобрел университет штата Огайо, и через некоторое время к ней обратились за разрешением на публикацию. Вряд ли, когда эти письма писались, они были рассчитаны на издание — слишком они личные и исповедальные. Но для Симоны де Бовуар самораскрытие, пусть даже шокирующее, было одной из принципиальных установок: правда, рассказанная о себе, способствует самопознанию человечества, у писателя не может быть тайн ни от современников, ни от потомков. Она дала разрешение на публикацию при условии, что сама подготовит письма к печати и переведет на французский язык. В 1986 году она умерла, так и не успев этого сделать.

Расшифровкой и окончательной реконструкцией текста с самоотверженной скрупулезностью занялась Сильви Ле Бон де Бовуар. Она же подготовила полное французское издание этих писем и снабдила их необходимыми комментариями, частично воспроизведенными в нашей публикации. Из трехсот четырех писем Симоны де Бовуар, написанных в разные годы, мы представляем тридцать, в том числе самое первое и самое последнее. Поскольку на издание переписки Олгрена наложен его наследниками и литературными агентами категорический запрет, в пояснениях, дающихся курсивом между письмами, а также во фрагментах из упомянутой книги Симоны де Бовуар «Сила вещей» восстанавливаются недостающие звенья ее отношений с Олгреном и приводятся отрывки из его писем, сохранившихся у нее в архиве и ждущих своего часа.

В январе 1947 года Симона де Бовуар по приглашению нескольких американских университетов приехала в Соединенные Штаты. Находясь проездом в Чикаго, она, по совету нью-йоркской знакомой, встретилась с Нельсоном Олгреном. Он водил ее по городу, показывал чикагское «дно», районы трущоб и притонов, польский квартал, где он вырос, а вечером следующего дня она уехала в Лос-Анджелес.

1.

Суббота, вечер [23 февраля 1947[1]]
В поезде, по пути в Калифорнию

Дорогой Нельсон Олгрен!

Делаю попытку писать по-английски. Прошу прощения за грамматику. Если ошибусь в употреблении каких-то слов, то постарайтесь все-таки понять. Вдобавок почерк у меня ужасный и в поезде сильно трясет.

Вчера, расставшись с Вами, я вернулась в гостиницу, дописала статью — боюсь, что плохо, но бог с ней, — и поужинала с моими соотечественниками, мысленно проклиная их. Они были и в самом деле противные, к тому же из-за них я не смогла поужинать с Вами. Потом я Вам позвонила, и они проводили меня на поезд. Я улеглась на полку, раскрыла Вашу книгу[2] и читала, пока не уснула. Сегодня продолжала читать, одновременно любуясь видами из окна: день прошел на редкость спокойно, и, прежде чем лечь спать, хочу сказать Вам, как нравится мне Ваша книга и Вы сами. Наверно, Вы это почувствовали, хотя времени было мало и мы даже не успели толком поговорить. Не стану повторяться и снова благодарить Вас, но мне было с Вами хорошо, и хочется, чтобы Вы это знали. Как-то грустно говорить Вам «до свидания», а может быть, и «прощайте». Я хотела бы еще раз приехать в Чикаго в апреле, рассказать Вам о себе и чтобы Вы мне о себе рассказали. Удастся ли мне выкроить время? Кроме того, я в некоторой нерешительности: если нам было так трудно расставаться вчера, то не будет ли еще труднее после того, как мы проведем вместе несколько дней и почти наверняка станем друзьями? Не знаю.

В общем, до свидания или прощайте, но я не забуду этих двух дней в Чикаго, иначе говоря, не забуду Вас.

С. де Бовуар

---

[1] В квадратные скобки заключены даты и географические названия, отсутствующие в письмах и восстановленные публикатором. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Сборник рассказов «Неоновые дебри» (1947).

3.

[24 апреля 1947]
Пенсильванский университет,
Филадельфия-колледж

Дорогой Нельсон!

Я снова в Нью-Йорке после большой поездки с лекциями по окрестным колледжам и университетам. Пробуду здесь недели две. У меня билет в Париж на десятое мая, но было бы жаль улететь, не повидавшись с Вами. Приехать в Чикаго мне необычайно сложно: я должна сдать еще кучу статей, у меня назначено несколько выступлений и две лекции непосредственно в Нью-Йорке. Может быть, Вы сами приедете сюда после двадцать седьмого? Тут мы бы часто виделись и успели бы наговориться вдоволь. Если Вы согласны, я готова позвонить в любое время, чтобы условиться о дате Вашего приезда. Если нет, то постараюсь приехать к Вам сама дня на два. Ответьте мне. И пожалуйста, привезите, если сможете, экземпляр Вашего романа[1]. Я вчера видела его в одном доме, со скверной фотографией, где Вы совершенно на себя не похожи. У меня было искушение его украсть, но не получилось.

До свидания. Надеюсь, до скорого.

С. де Бовуар

Симона де Бовуар позвонила Олгрену из Нью-Йорка. Ее отъезд во Францию откладывался, поэтому она решила все-таки навестить его в Чикаго. Потом они вернулись вместе в Нью-Йорк, где провели последнюю неделю до ее отъезда.

4.

[17 мая 1947]
В самолете,
Суббота, вторая половина дня,
Ньюфаундленд

Мой милый, чудесный, любимый «молодой абориген», ты опять заставил меня плакать, но нежными слезами, нежными, как все, что исходит от тебя. Я села в самолет, открыла твою книгу, и мне захотелось увидеть твой почерк. Я взглянула на титульный лист, жалея, что не попросила написать мне что-нибудь на память, и вдруг увидела твою надпись, красивую, ласковую, полную любви. Я уткнулась носом в иллюминатор и расплакалась прямо над синим морем, но это были сладкие слезы, слезы любви, нашей любви. Я тебя люблю. Шофер такси спросил: «Это ваш муж?» — «Нет». — «А, значит, друг? — и добавил сочувственно: — Как он переживает!» Я не удержалась и ответила: «Нам тяжело расставаться, ведь Париж так далеко!» Тогда он с большой теплотой заговорил со мной о Париже. Хорошо, что ты не поехал со мной: на Мэдисон авеню и в Ла-Гуардиа были какие-то знакомые — один бог знает, до чего противными бывают иногда французы, и тут оказался как раз худший вариант. Я была не в себе, не могла даже плакать. Потом самолет наконец взлетел. Люблю самолеты. Когда внутри все бурлит, то самолет, по-моему, самый подходящий способ передвижения: он гармонирует с состоянием души. Самолет, любовь, небо, боль, надежда — все сливается в одно. Я думала о тебе, перебирала в памяти каждую мелочь, читала твою книгу, которая, кстати, мне нравится больше, чем предыдущая. Нам подали виски и прекрасный обед: курица в сметане, шоколадное мороженое. Ты пришел бы в восторг от этих видов: облака, море, берега, леса, деревни — все как на ладони, и ты улыбался бы своей теплой мальчишеской улыбкой. Над Ньюфаундлендом уже сумерки, а в Нью-Йорке было только три часа. Остров необычайно красив, весь в темных соснах и тихих печальных озерах, а кое-где — вкрапления снега. Тебе бы наверняка понравилось. Мы приземлились и теперь должны ждать два часа. Интересно, где ты сейчас? Может быть, тоже в самолете? Когда ты вернешься в наш маленький дом, я буду ждать тебя там, спрятавшись под кроватью, да и просто везде. Теперь я всегда буду с тобой — на унылых улицах Чикаго, в надземке, в твоей комна-

[1] «Утро не настанет» (1942) с предисловием писателя Ричарда Райта.

те. Я буду с тобой, как преданная жена с любимым мужем. У нас не будет пробуждения, потому что это не сон: это чудесная реальность, и все только начинается. Я чувствую тебя рядом, и, куда бы я теперь ни пошла, ты последуешь за мной — не только твой взгляд, а ты весь, целиком. Я тебя люблю, вот все, что я могу сказать. Ты обнимаешь меня, я к тебе прижимаюсь и целую тебя, как целовала недавно.

Твоя Симона

11.

Среда [4 июня 1947]

Мой любимый муж! Как я была счастлива, спустившись сегодня вниз, найти от тебя письмо, да еще такое чудесное! Я как будто снова услышала твой милый насмешливый голос, увидела твою улыбку, ты был рядом, и мы весело болтали. Оказывается, переписка может быть очень приятным занятием: если ответы приходят быстро, то получается как бы разговор. Кажется, будто ты где-то близко, я чувствую, что ты меня любишь и словно смотришь на меня в эту минуту, чувствую, что и ты чувствуешь, как я тебя люблю. Милый мой, ты не представляешь себе, как я счастлива, я и не предполагала, что ты можешь подарить мне столько счастья. Весь день был солнечным, радостным, светлым благодаря твоему ласковому письму, согревшему мне душу. Мне завидно, что ты можешь писать такие письма, это нечестно: я ведь не в состоянии выразить все, что мне хочется, на чужом языке. Ты остришь, красиво описываешь свои впечатления, с блеском рассказываешь истории. А я вынуждена обходиться своим скудным детским английским, хотя тоже, как ты, надеюсь, знаешь, не дура. Вдруг ты возомнишь себя тоньше и интереснее, чем я, и станешь меня презирать за мое косноязычие?..

Вечером

Милый, у нас сейчас полночь, интересно, который час в Чикаго? Наверно, время ужина. Чем ты занят? Грызешь кости, как написал в предыдущем письме? Я сижу в своей гостиничной комнате[1], запущенной и обшарпанной, мне было бы стыдно привести тебя сюда. Стены еще ладно, они хоть недавно выкрашены — в цвет розовой зубной пасты, но потолок немыслимо грязный, и вообще вся комната в таком плачевном состоянии, все так неудобно и некрасиво, что тут не обойтись без опытного хозяйственного мужчины, который «женской рукой» навел бы уют. Но я привыкла к этой конуре, я прожила в ней всю войну, варила здесь лапшу и картошку и теперь не могу с ней расстаться, как того требует здравый смысл.

Правда, здравого смысла у меня нет ни капли, сегодня вечером я чувствую себя очень несчастной, позволь мне немного поплакать. Чудесно было бы поплакать у тебя на груди, но я оттого и плачу, что не могу поплакать у тебя на груди, и это полный бред, потому что у тебя на груди я бы не плакала. Страшно глупо писать любовные письма, ведь любовь в письмах не передать, но что же делать, если между тобой и человеком, которого любишь, лежит этот проклятый океан? Что еще я могу тебе послать? Цветы вянут, поцелуи и слезы по почте не доходят. Остаются слова, но английские слова плохо выражают мои чувства. Можешь гордиться, ты даже из-за океана умеешь довести меня до слез! Я очень устала и очень сильно скучаю по тебе. Мне тяжело далось возвращение домой. Во Франции есть что-то необычайно грустное, хотя я люблю эту грусть. И потом, в Америке я была как бы в отпуске, ничего от себя не требовала, а тут должна что-то делать, но что — сама толком не понимаю и не уверена, смогу ли. Я провела сегодня странный вечер, мне пришлось много выпить, чтобы это вынести, но я все равно до сих пор не могу успокоиться. Я рассказывала тебе про одну очень уродливую женщину[2], которая влюблена в меня. Помню даже, когда и где рассказывала — на двуспальной кровати в Нью-Йорке: мы говорили о женщинах, я видела твое милое лицо и была счастлива. Так вот, с ней я сегодня ужинала. Четыре дня назад я ее встретила — она выслеживала

---

[1] С. де Бовуар много лет (до 1948 г.) жила в гостинице «Луизиана».
[2] Писательница Виолетта Ледюк (1907—1972), сама называвшая себя «уродиной».

меня и сама в этом призналась. Я сидела в кафе, и она вошла туда, дрожа как осиновый лист. Я пообещала с ней поужинать. Она принесла рукопись, что-то вроде дневника[1], где во всех подробностях, не стесняясь, описывает свою любовь ко мне, — причем написано прекрасно, она большой писатель, очень глубоко все чувствует и замечательно умеет передать. Читать это — занятие тяжелое и почти невыносимое, тем более что речь идет обо мне. Она вызывает у меня своего рода восхищение и острое сочувствие, но видимся мы не чаще раза в месяц, и то, если я в Париже. Я не слишком дорожу ее обществом, и она это знает. Поразительно, что мы можем спокойно обсуждать ее любовь ко мне и говорим об этом, словно о болезни. Но, как ты догадываешься, вечер в ее обществе — испытание нелегкое. Она всегда приглашает меня в лучшие рестораны, обязательно заказывает шампанское и самые дорогие блюда. Я болтаю не закрывая рта, рассказываю всякие истории, стараюсь держаться непринужденно и весело. А она сидит и пьет как лошадь. Потом мы идем в бар, там она начинает произносить трагические речи, мне делается не по себе, и я откланиваюсь. А она, я знаю, идет домой плакать, биться головой об стенку и строить планы самоубийства. Она не желает иметь никаких друзей, кроме меня, сидит целый день одна, а меня видит раз шесть в год. Мне ужасно тяжело бросать ее одну на улице, в полном отчаянии, с мыслями о смерти, но что же я могу поделать? Чрезмерная мягкость и участие с моей стороны были бы еще хуже. Как бы хорошо я к ней ни относилась, я ведь не могу с ней целоваться. Какой же выход?

Сегодня утром я принесла из «Тан модерн»[2] груду рукописей и весь день их просматривала. Там есть одна душераздирающая исповедь: проститутка рассказывает свою жизнь. Боже, как подумаешь, что мир представляется ей таким, что она вот так проживет свою единственную жизнь и умрет, не узнав ничего другого! Это очень страшно! Она пишет настолько откровенно, таким грубым, неприглаженным языком, что почти невозможно публиковать. Вот над чем надо плакать, а не над своими маленькими переживаниями. И у нее еще хватает сил шутить!

Все, любимый, иду спать. Я слегка утешилась, написав тебе. Мне придает силы мысль, что ты есть, ждешь меня, что счастье и любовь вернутся. Ты мне как-то сказал, что я для тебя значу больше, чем ты для меня, но это не так, совсем не так. Я скучаю по тебе, люблю тебя, я твоя жена, а ты мой муж. Я засну в твоих объятиях, любовь моя.

Твоя Симона

12.

Суббота, 7 июня [1947]

Милый Нельсон, с утра льет дождь, на железной дороге забастовка, и я не знаю, как добраться до моего загородного пристанища. Мне бы очень хотелось после этих суматошных дней в Париже поехать туда отдохнуть и поработать. В среду вечером, когда я тебе писала, у меня было что-то вроде депрессии, но теперь все прошло. Главное, я снова могу работать. Зря я пыталась сразу же по возвращении сесть за книгу о женщинах[3], которую начала перед отъездом. Для меня она на время умерла. Я не могу продолжать писать как ни в чем не бывало с того места, где остановилась. Я вернусь к ней, но потом, а сейчас мне надо разобраться со своими впечатлениями от поездки, я не хочу их растерять, что-то надо сохранить непременно, хотя бы на бумаге, раз по-другому невозможно[4]. Буду писать об Америке и о себе, хочу представить это как личный опыт: «я в Америке». Показать, что стоит за словами «приехать», «уехать», «посмотреть страну», что-то в ней подметить, почувствовать, уловить и т. д. Одновременно попытаюсь осмыслить реалии американской жизни сами по себе. Понимаешь, что я имею в виду? Боюсь, я не очень ясно выражаюсь, но этот замысел очень меня увлекает.

---

[1] Опубликовано в 1948 г. под заглавием «Алчущая».

[2] «Тан модерн» — литературно-политический журнал некоммунистической левой интеллигенции, основанный в 1946 г. Ж.-П. Сартром в сотрудничестве с С. де Бовуар, Р. Ароном, М. Мерло-Понти и др.

[3] «Второй пол».

[4] Впоследствии эти записи составили книгу «Америка день за днем».

В Париже я чудесно провела время. Вчера утром Сартр взял меня на просмотр первого варианта фильма по его сценарию, который снял Деланнуа[1]. По-моему, получается хорошо. Я тебе рассказывала, что французское кино сейчас очень далеко шагнуло вперед, потому что режиссеры стремятся выразить собственный оригинальный взгляд на жизнь, пытаются сказать нечто свое — как мы в книгах. Очень интересно смотреть еще не смонтированный материал. Начинаешь понимать, как делается фильм, как поразному можно снять один и тот же эпизод и как сложно выбрать окончательный вариант. К тому же я знакома почти со всеми, кто там снимался: любопытно видеть на экране молодого человека или девушку, которых чуть не каждый день встречаешь в кафе на Сен-Жермен-де-Пре. Потом был коктейль у Галлимара, это мой издатель. Он так разбогател, эксплуатируя нищих писателей, что каждую неделю устраивает коктейли. Я пошла впервые. В саду и в комнатах было не протолкнуться, я встретила массу друзей, с которыми не виделась с самого отъезда. Они обрадовались мне, расспрашивали об Америке, рассказали последние парижские сплетни. Мы договорились встретиться вечером. Так что около полуночи я отправилась в одно совершенно безумное, но очень милое место, куда молодые французские интеллигенты — или считающие себя таковыми — приходят выпить и потанцевать с юными и красивыми псевдоинтеллигентками. Это длинный узкий погребок под небольшим баром, темный, с красноватыми стенами и потолком, весь заставленный столами и табуретами и забитый танцующими, которых там человек сто или двести, хотя нормально может поместиться не больше двадцати. Зрелище симпатичное, хотя и немножко странное, потому что эти мальчики и девочки одеты совершенно немыслимо, в какие-то ослепительно пестрые наряды, и пляшут как сумасшедшие. Кое-кто из них, однако, очень неглуп, а у девушек попадаются милые личики. Музыканты там отличные, играют лучше, чем большинство белых в Америке, и буквально живут этим. Особенно мне нравится трубач[2], необычайно интересный парень, инженер (для заработка), а вообще писатель и музыкант. Играет он потрясающе, хотя у него больное сердце и он может умереть, если будеть играть много. Он издал скандальную книгу[3] — ее якобы написал американский негр, а он только перевел — и заработал на ней кучу денег, потому что этот роман (садистский и чудовищно непристойный) пользуется бешеным успехом у публики.

В общем, мы выпили, от души поговорили, послушали джаз и посмотрели, как народ танцует (сама я не танцую, никогда этого не любила). Вечер получился приятный, хотя не думаю, что скоро увижусь с этими людьми снова. Я не собираюсь общаться с ними часто, но мне приятно знать, что они существуют где-то недалеко — во Франции, в Париже, — пишут, слушают джаз, смотрят на те же улицы, на то же небо, что и я.

Думаю еще месяц прожить так же, между Парижем и деревней, наезжать в город раза два в неделю, писать книгу об Америке и письма тебе. Жду, самое позднее в понедельник, твоего письма № 4. У меня была слабая надежда получить его сегодня утром, но нет! Пиши мне, любимый, и лучше отсылай письма не раз в неделю, а два. Я со многими говорила о твоем романе, и мне все время казалось, будто я держу тебя за руку и улыбаюсь тебе. В Париже полдень. А ты в Чикаго, наверно, плаваешь или, облачась в «пеньюар», возишься на кухне? А может, уже спишь? Я предпочитаю последнее, чтобы подойти и разбудить тебя поцелуем.

Целую тебя еще и еще.

Твоя Симона

16.

Пятница, 20 июня [1947]

Дорогой мой! Я тоже живу, как крокодил в тине, своей тихой жизнью и сама понимаю, что так нельзя, особенно когда смотрю на огромный мир вокруг. Вчера я бросила свое зеленое гнездышко и приехала в Париж, в комнату цвета зубной пасты, откуда от-

---

[1] «Ставки сделаны» Жоржа Деланнуа с Мишлин Прель и Пальеро в главных ролях.
[2] Борис Виан.
[3] «Я приду плюнуть на ваши могилы».

правилась в один из шикарных погребков, где теперь пьют и танцуют посвященные. Я уже описывала тебе такие заведения, и это еще одно, совсем недалеко от меня, на моей улице. В прошлом году там был закрытый клуб антильцев, а теперь каждую ночь собираются интеллектуальные сливки Сен-Жермен-де-Пре. Около одиннадцати вечера люди с заговорщическим видом стучатся в кафе. Дверь открывает жгучая брюнетка, вы спускаетесь по лестнице и попадаете в изысканный зальчик: ковры, темно-красные кресла, бар, пианино, пластинки. Кого тут только не встретишь! Все таинственно стучатся, и все с вызовом потрясают знаменами своих кланов — естественно, непримиримых. Здесь была Мишлин Прель, красавица кинозвезда, которая снималась в фильме «Дьявол во плоти» — я тебе писала о нем, — а сейчас играет в картине Сартра. Она пришла со своим партнером Пальеро, итальянским актером из фильма «Рим — открытый город», и еще двумя знакомыми киношниками. Они ни к какому клану не принадлежат. Зато остальные воинственно провозглашают себя либо экзистенциалистами (в том числе и я), либо коммунистами, либо фашистами. Был там один мерзкий тип, настоящий псих и подонок, которого чудом не расстреляли после Освобождения. Он танцевал с какой-то пьяной женщиной, такой же омерзительной, как и он сам; с ними пришли еще несколько коллаборационистов и фашистов, в общем, атмосфера постепенно накалялась. Под конец вечера фашисты очень громко выкрикнули какую-то гадость в адрес евреев, один из коммунистов спросил: «Чем вам не угодили евреи?» А несколько экзистенциалистов подошли к коммунистам и предложили заключить временный союз, чтобы набить фашистам морду. Но коммунисты отказались и вместо этого затеяли нервный спор с экзистенциалистами, причем каждый размахивал своим флагом предельно агрессивно. Потом коммунисты встали и ушли — к великому возмущению экзистенциалистов. Один из наших не выдержал, подошел к фашисту и нарочно наступил ему на ногу. Фашист закричал: «Вы мне отдавили ногу!» — и они принялись друг друга поносить. Тут уж все, перегруппировавшись, разделились на два клана (не считая трех-четырех пьяных, лежавших в бессознательном состоянии в красных креслах) и отправились на улицу драться. Женщины остались их дожидаться и сидели зевая, потому что было уже четыре часа утра. Наконец мужчины вернулись, и выяснилось, что драка не состоялась. Говорят, в этом изысканном заведении такое происходит чуть ли не каждый вечер.

Я легла спать в пять часов, прекрасно выспалась и вернулась в свою желто-зеленую деревенскую гостиницу, где сейчас и пишу. Милый, я представила тебе лишь беглый обзор того мира, в котором я существую и где постоянно развеваются боевые знамена. Буду рада, если тебя это развлечет. Но как же приятно знать, что где-то есть счастливый мир, где живет очаровательный крокодил, — мир корней, червей и скелетов, твой мир. В твоем болоте чувствуешь себя в безопасности. Меня греет мысль, что оно существует, что в нем погряз человек-крокодил и он пустит меня улечься с ним рядом на солнышке, в теплой тине, как только я его попрошу. Так мы и будем жить: то вместе отправляться в светлый и зеленый мир хищников, то зарываться в ил и лежать обнявшись, среди корней.

Я знаю, что на свете есть и покой, и счастье, надо только оказаться в твоих объятиях, любимый мой. Если ты появишься без предупреждения, войдешь, не разбудив меня, и ляжешь рядом... нет, милый, ты все-таки меня разбуди. А дальше? Сам придумай... Давай об этом мечтать, потому что это будет.

Я чувствую себя так, словно открыла глаза, увидела тебя и улыбнулась.

Твоя Симона

Что ты думаешь об этих ужасных авиакатастрофах? Я прочла в «Таймс» массу подробностей и, полагаю, мы никогда больше не рискнем сесть в самолет. Тебе хочется сгореть заживо, а? До сих пор нам просто очень везло.

Звонил редактор воскресного выпуска «Нью-Йорк таймс», но я не смогла с ним встретиться.

24.

Среда, 23 июля [1947]

Любимый мой, от тебя нет новых писем после тех двух, что пришли на прошлой неделе, поэтому я решила их перечитать. Да будет тебе известно, я вовсе не осуждаю

твое пристрастие к картам. Если ты проработал целый день, почему вечером не поиграть? Главное, чтобы шла работа, а когда встаешь из-за стола и хочется расслабиться, то, по-моему, можно заниматься чем угодно. Я предпочитаю немножко выпить, и это ничуть не лучше, чем карты, одно другого стоит. Я вообще в последнее время стала пить многовато — потому что очень по тебе скучаю, больше, чем могла себе представить. Нельсон, дорогой, ты самый заботливый и милый человек в мире, мне так приятно, что ты хочешь все идеально подготовить к моему приезду, но пусть это останется только желанием. Если ты жив и любишь меня, то что мне еще нужно? Ничего специально не делай. Конечно, если тебе удастся за десять долларов купить автомобиль, это будет чудесно, но мы вполне можем обойтись автобусом и самолетом, и даже только автобусом, и если на кухне у нас будет кусок мяса и кукуруза — или даже только кукуруза, — для счастья этого вполне достаточно, разве нет? Ты же знаешь, что я не капризная, могу питаться хлебом и картошкой, водой и любовью, так что ни о чем не беспокойся.

В каком-то смысле, да, я немножко боюсь. Я видела сегодня фильм Сартра — он уже закончен и получился неплохо, хотя мог бы быть и лучше. Но дело не в этом. Дело в сюжете, который меня взволновал. Мужчина и женщина знакомятся после смерти и влюбляются друг в друга. Им дают возможность вернуться на землю: если они сумеют превратить свою любовь в настоящее, живое, человеческое чувство, то им будет снова дарована целая жизнь, а если не сумеют — умрут навеки. Они не сумели. Это производит сильное впечатление, и я подумала о нас. Мы любим друг друга в воспоминаниях и надеждах, заочно, в письмах. Сможем ли мы превратить эту любовь в живое и счастливое человеческое чувство? Должны. Думаю, у нас получится, но это будет непросто. Нельсон, я тебя люблю, но заслуживаю ли я твоей любви, раз не могу посвятить тебе жизнь[1]? Я уже пыталась объяснить тебе почему. Понимаешь ли ты меня? Не затаишь ли обиду? Не оттолкнет ли это тебя? Будешь ли ты всегда верить, что я действительно тебя люблю, люблю по-настоящему? Наверно, не стоит касаться таких вещей в письме, мне больно говорить все это так прямолинейно. Но зато так мне труднее увильнуть, ведь я и самой себе задаю те же вопросы. Я не хочу тебя обманывать или что-то от тебя скрывать. Один из этих вопросов не дает мне покоя уже два месяца, мучает меня, терзает мое сердце: можно ли дарить часть себя, зная, что не собираешься подарить все? Вправе ли я его любить и говорить, что люблю, раз не готова отдать ему свою жизнь, если он попросит? Не возненавидит ли он меня в один прекрасный день? Нельсон, любовь моя, мне было бы легче не касаться этой проблемы, поскольку ее не касаешься ты, но ты так трогательно говорил мне, что для нас невозможно лгать друг другу или что-то скрывать. Я бы не вынесла между нами никаких недомолвок, невысказанного недовольства, затаенных обид. Теперь все написано. Не отвечай, если не хочешь, мы обсудим это, когда увидимся. Помнишь, я говорила однажды, как я тебя уважаю: именно уважение к тебе и заставило меня написать эту страницу. Я не имела в виду, что ты чего-то от меня требуешь, и вообще неизвестно, как все сложится, когда мы встретимся, я только хотела сказать одно: я никогда не смогу отдать тебе все, и поэтому на душе у меня неспокойно. Милый, это настоящий ад — быть далеко друг от друга и не иметь возможности посмотреть в глаза, когда говоришь о таких важных вещах. Чувствуешь ли ты, что именно от любви я стараюсь говорить правду любой ценой и в этом настоящей любви больше, чем в словах «я люблю тебя»? Чувствуешь ли ты, что я хочу быть не только любимой, но и достойной твоей любви? Прочти это с любящим сердцем, представь себе, будто моя голова лежит у тебя на плече. А может быть, ты и не воспримешь мое письмо так серьезно, ведь я пишу о том, что ты и без того знаешь. Но не написать я не могла, потому что наша любовь должна быть честной, наша встреча не должна обернуться разочарованием. Тут я возлагаю надежду и на тебя, и на себя. Как бы ты к этому ни отнесся, все равно обними меня крепко-крепко.

Твоя Симона

---

[1] Олгрен в последнем письме выразил надежду, что в следующий раз она приедет навсегда.

Олгрен ответил, что собирался просить ее выйти за него замуж, когда она приедет. Он предпочел бы дождаться встречи для столь серьезного разговора, но письмо от 23 июля заставило его взглянуть на вещи трезво: брак вынудил бы их обоих к невозможному разрыву с тем миром, от которого каждый из них неотделим. Разве можно обрубить корни, которые привязывают ее к Парижу, а его — к Чикаго, не обрекая себя на ностальгию и не совершая своего рода духовного самоубийства? Тем не менее он чувствует себя связанным с ней узами брака, более крепкими, чем те, что связывали его некогда с законной женой. А насчет будущего... Не возненавидит ли он ее в один прекрасный день? Сегодня ему это кажется невозможным. Он благодарен ей и готов ради нее отказаться от общепринятой формы совместной жизни: они поживут какое-то время вместе, и она уедет. Если он сможет, то приедет во Францию, а потом уедет назад без трагедий и сцен.

25.

Суббота, 28 июля [1947]

Нельсон, любимый, пишу на ярко-голубой бумаге, потому что сердце мое полно такой же ярко-голубой надежды: нас ожидает большая радость. Если все будет в порядке, то я приеду к тебе в Вабансию[1] в начале сентября, а точнее, седьмого, и пробуду до двадцатого. Почти две недели мы сможем провести в нашем пастушьем пристанище в объятиях друг друга. У меня будет прямой рейс Париж—Чикаго, я сяду в самолет шестого вечером и прилечу седьмого в восемнадцать часов (по чикагскому времени). Не приезжай в аэропорт, все эти ужасные пограничные формальности длятся бесконечно, и я буду нервничать, зная, что ты где-то близко, а я не могу тебя увидеть. К тому же аэропорт не лучшее место для встречи мужа и жены после долгой разлуки. Жди меня дома с хорошим виски, ветчиной и вареньем, потому что я буду усталая и голодная. И запаси побольше любви, скупи все лучшие марки любви местного производства в бутылках и банках, какие есть у вас в бакалее. Милый, я не могу и даже не пытаюсь выразить, как я счастлива. Все решилось внезапно. Я знала, что у меня будут в сентябре две свободных недели, но Чикаго казался таким далеким, мысль о том, чтобы туда отправиться, пугала меня так же, как тебя — мысль о поездке в Нью-Йорк, когда я тебя звала. Я знала, что, если буду настаивать, смогу получить деньги от своего издателя[2]. И вдруг я подумала: что значит «далеко»? Что значат двадцать четыре часа полета, если по-настоящему хочешь увидеть любимого человека? Едва я задала себе этот вопрос, как тут же на него и ответила: раз я могу ехать, значит, еду. Решено. Я бросилась в туристическое агентство и заказала билет туда и обратно — на шестое и на двадцатое. Моя виза еще действительна, мне остается только выкупить билет и сесть в самолет. Денег у меня с собой будет немного, всего пятьдесят долларов, но это не важно, даже если ты сидишь на мели. Не заказывай мне никаких гостиниц, ладно? Мы будем есть на кухне и целыми днями сидеть дома — разговаривать, немножко работать, слушать пластинки и любить друг друга. Я выкуплю обратный билет на французские деньги — не могу думать ни о чем, кроме этих практических мелочей, не могу ни о чем другом писать, я слишком взбудоражена. Вчера получила твое письмо, где ты пишешь: «Теперь ты знаешь, что должна вернуться ко мне». Да, я так хорошо это знаю, что возвращаюсь и не могу иначе. Но удивительно: ведь в тот момент тебе еще ничего не было известно. Еще я получила от тебя толстую книгу, проспект с видами Чикаго и стихи, спасибо, мне было очень приятно.

Да, я читала почти все романы Драйзера. Твое название «Мертвец, пьяница и доходяга» звучит неплохо, и даже, пожалуй, великолепно. Нельсон, мой любимый муж, через полтора месяца я смогу обнять тебя.

Твоя Симона

9 сентября, во вторник, Симона де Бовуар вылетела в Чикаго. Этот перелет она не забудет никогда: двенадцать часов от Шаннона до Азорских островов на старом дергающемся самолете, у которого в воздухе отказал один двигатель: разворот над Атлантикой, возвращение в Шаннон, пять часов страха. Задержка на два дня из-за ремонта. На Азор-

---

[1] Улица и район Чикаго.

[2] Ехать ее уговорил Сартр, он же предложил денег на поездку.

ских островах при посадке что-то случилось с шасси: восемнадцать часов ожидания в холле аэропорта. И, наконец, перелет через океан, с грозами, бурями и падением в воздушную яму на 1500 метров.

Из Чикаго она улетела 23-го. В этот приезд она по-настоящему посмотрела город. Они с Олгреном договорились, что весной она приедет надолго.

33.

Пятница, 26 [сентября, 1947]

Нельсон, любимый. Все начинается сначала: я скучаю по тебе. Я опять тебя жду, жду благословенного дня, когда ты снова обнимешь меня сильными и ласковыми руками. Мне очень больно, Нельсон, но я не жалуюсь, потому что эта мука — от любви, и ты тоже любишь меня, я знаю. Ты так близко и так далеко, так далеко и так близко, любимый мой.

Такси тронулось, проехало мимо похоронного бюро Раго, мимо пиццерии, где я с таким удовольствием пила кьянти и улыбалась тебе, мимо множества лавочек и незнакомых улиц, которые были еще частью Чикаго. В аэропорту у меня оставалось много времени, я села и закрыла глаза. Вскоре ко мне подошел какой-то парень и сказал: «Мисс Бовуар, у вас, наверно, тут есть друзья. Это вам». Я посмотрела на чудесные белые цветы, они так прекрасно пахли, и я положила их на грудь. Я не заплакала. Я позвонила тебе. Твой дорогой голос, такой близкий, такой далекий. Когда я повесила трубку, что-то разбилось во мне, умерло, онемело, застыло и не оживет, пока ты снова не обнимешь меня. Мне трудно писать, потому что я плачу и не могу остановиться. Я тебя люблю.

Ладно. В одиннадцать мы сели в самолет, но нас очень скоро высадили: мотор не желал заводиться. Мы вылетели только в полночь. Целую вечность летели между облаками и звездами, между морем и небом, а цветы потихоньку вяли у меня на груди. Мне было страшновато и не спалось. Я читала детективы, пьесы, книгу о Филиппинах, которую ты мне купил перед отъездом. И понемножку отхлебывала виски из твоей бутылки. Ты так трогательно обо всем позаботился! Твоя любовь была во всем: в запахе цветов, во вкусе виски, в красках книжных обложек — любовь такая драгоценная, такая сладостная и такая мучительная. Всего за двадцать три часа мы долетели до Парижа и приземлились на рассвете. Измученная двумя бессонными ночами, я выпила кофе и приняла две таблетки, чтобы выдержать этот бесконечный день. Париж, чуть затуманенный под теплым серым небом, встретил меня запахом опавших листьев. У меня тут собралась куча дел, так что я поеду в деревню только в следующем месяце. Во-первых, нашему журналу «Тан модерн» дают на радио целый час для еженедельных передач: можем говорить о чем хотим и как хотим. Понимаешь, что это значит? Это возможность обратиться сразу к тысячам людей, попытаться объяснить им нашу позицию. Но нужна тщательная подготовка, и сегодня мы долго совещались по этому поводу. Во-вторых, лидеры социалистов хотят встретиться с нами и обсудить связь между философией и политикой. Люди постепенно начинают понимать, что философские идеи имеют реальное значение. Наконец, скопилась масса самой разной корреспонденции, и еще колоссальная работа для журнала. Но я очень рада, я хочу работать, хочу работать как каторжная. Ведь главное, из-за чего я не остаюсь навсегда в Чикаго, это моя неутолимая потребность в работе — она придает моей жизни смысл. У тебя тоже есть такая потребность, поэтому мы хорошо понимаем друг друга. Ты хочешь писать книги, хорошие книги, и тем самым помочь миру стать чуть-чуть менее уродливым. Я тоже. Мне хочется поделиться с людьми образом мыслей, который мне кажется правильным. Я могла бы отказаться от путешествий, от любых развлечений, бросить друзей и все прелести Парижа, лишь бы всегда быть с тобой. Но я не смогу заполнить жизнь только любовью и счастьем, не смогу отказаться от возможности писать и работать в единственном месте на земле, где мои книги и работа имеют смысл. Это очень тяжело. Особенно потому, что, как я тебе уже говорила, наша работа здесь почти безнадежна, тогда как любовь и счастье реальны. И все-таки работать необходимо. Надо, чтобы все, кто может и хочет, боролись против коммунистической и антикоммунистической лжи, против подавления свободы, которую сейчас теснят во Франции почти повсюду. Любовь моя, это не должно порождать конфликта между нами, наоборот, я чувствую, что мы рядом в этой борьбе, ведь и ты тоже борешься. Но хотя я

знаю, что все правильно, я сегодня весь вечер рыдаю и не могу остановиться. Я была так счастлива с тобой, так любила тебя, а теперь ты так далеко. <...>

Твоя Симона

34.

Воскресенье, 28 сентября [1947]

Нельсон любимый, проспав четырнадцать часов в пятницу и двенадцать сегодня, я пришла в себя, перестала плакать, тепло и радость нашей любви переполняют меня, разлука больше не кажется нестерпимой. Да, ты прав, это огромная удача — любить так сильно, удача — что у меня в груди вдруг оказалось молодое сердце. Я то счастлива, то страдаю из-за тебя, как в пятнадцать лет. Это страдание и это счастье и есть молодость, ты подарил мне ее среди других твоих роскошных даров.

Я страшно занята. Сегодня в двенадцать за нами приехали социалисты на огромной машине и увезли Мерло-Понти (это один из редакторов «Тан модерн»), Сартра и меня за город. Там мы обедали и обсуждали со старыми бонзами возможность сближения между экзистенциализмом и социализмом. Не думаю, чтобы у нас что-то вышло: французская социалистическая партия слаба и беспомощна, она давно отстала от жизни, но сейчас это единственная лазейка между консервативным МРП[1] и ФКП, поэтому мы просто обязаны как-то с ними сотрудничать. Будем устраивать дискуссии, встречи и тому подобное. Ты все узнаешь из моих писем.

Потом я написала несколько страниц «Америки»: хочется закончить ее до того, как снова к тебе поеду. А после ужина мы побродили с Сартром по набережным Сены — осенью, в лунном свете, в них есть что-то удивительное. Естественно, опять говорили о социалистах. Потом пошли в гости к одному симпатичному художнику, Андре Массону, я тебе рассказывала про него: он какое-то время совсем ничего не ел, потому что ему казалось, будто он ест краски. Он развлекал нас невероятными историями про привидения. Представь себе, он в них верит, хотя во всем остальном вполне нормальный человек. Еще он рассказывал забавные байки про сюрреализм — когда-то это было необычайно интересное направление, но теперь отжило свое, устарело — в общем, пройденный этап. Я вернулась домой, в розовую комнату, и села тебе писать. У меня осталось немного твоего виски, турецкие сигареты и гигантские спички, которые ты мне преподнес, и мне все время кажется, что мы увидимся совсем скоро, завтра или послезавтра. Ладно, пусть не завтра, главное, я знаю, что это будет: я увижу тебя, твою улыбку, услышу твой голос.

Завтра пошлю тебе перевод моей пьесы[2]. Ее поставили в 1945 году, моя русская приятельница[3] играла там Кларису. В этой пьесе масса недостатков, но мне хочется, чтобы ты хоть что-то мое прочел. Напиши честно свои впечатления, даже если сочтешь ее чудовищной. В Чикаго сейчас шесть, ты, наверно, сидишь за машинкой, печатаешь новеллу, и я знаю, что ты видишь в окне, знаю, какое у тебя выражение лица. Любимый, постарайся, пожалуйста, до весны ни на ком не жениться, мне так хочется побыть с тобой долго, как следует, — где хочешь, как хочешь, мне все равно. Спать рядом с тобой каждую ночь, видеть утром, как ты улыбаешься... Мы должны сделать себе такой подарок, Нельсон, должны, я готова ради этого на все. Спокойной ночи, милый мой друг, муж, любовник. Мы были счастливы и еще будем счастливы. Я люблю тебя, мой «абориген», мой крокодил, мой Нельсон.

Вторник

Утра мучительны, любовь моя: я открываю глаза, а тебя рядом нет. В прошлом году моя жизнь была яркой и заполненной, сегодня все пусто.

---

[1] МРП — Народно-республиканское движение, партия, основанная в 1944 г. на принципах христианской демократии. Вместе с Французской коммунистической партией (ФКП) одержала победу на выборах 1945 г.

[2] «Лишние рты».

[3] Актриса Ольга Казакевич, временно оставившая сцену из-за туберкулеза. С. де Бовуар чаще всего называет ее в письмах к Олгрену «моя русская приятельница».

Вчера, когда я сидела и работала в кафе «Дё маго», туда зашел Кёстлер, ты знаешь, кто это, он написал «Ноль и бесконечность» и «Испанское завещание» (прекрасная вещь). Не помню, что ты думаешь о нем как о писателе, но, по-моему, я тебе рассказывала про странный вечер, когда он, Сартр, Камю и я напились и плакали над нашей дружбой, которую губят политические разногласия, это было очень смешно. Мне нравится и он, и его хорошенькая милая жена. Мы пошли вместе на выставку Моне, Мане, Ренуара и Тулуз-Лотрека — ту самую, что мы видели с тобой в Чикаго, и сердце мое заныло. Но одного я тебе не сказала: в прошлом году я провела с ним ночь, весьма странную, потому что, хотя нас очень тянуло друг к другу, нас разделяли «политические разногласия». По его мнению, я недостаточно рьяная антикоммунистка. Меня эти расхождения не волнуют нисколько, но его они делают агрессивным, а я терпеть не могу агрессивность, особенно когда дело происходит в постели, поэтому второго раза у нас не было. Но вчера, встретившись с ним, я поняла вот что: ты был прав, мы вовсе не обязаны «хранить верность» в общепринятом смысле слова. Что до меня, то я просто не смогу ни с кем лечь в постель до встречи с тобой. Я не перенесу, чтобы меня касались чьи-то руки или губы, кроме твоих, по которым я так тоскую. Я буду верна тебе, как примерная жена, потому что просто физически не могу тебе изменить. Это правда.

Вернувшись в «Дё маго», я наткнулась на Жана Жене[1], вора-педераста, который был страшно любезен и остроумен, но не дал мне работать; потом появились еще какие-то знакомые, короче, день пропал. Теперь я решила писать по утрам дома, и вот сейчас я у себя, пью чай, ем хлеб с вареньем и собираюсь сесть за работу — так оно будет лучше.

Сартр и я встречались с редактором с радио: нам дают полчаса в неделю начиная с ближайшей субботы, чтобы высказывать свои взгляды на политические и общественные проблемы. Я упомянула о передаче, которую вы сделали вместе с Мотли[2], о детской преступности, все загорелись, это ведь примерно то самое, что нам предстоит делать по антисемитизму, колониализму и т. п. Но работы будет очень много, даже если нам помогут наши молодые друзья. Теперь уже не только социалисты, но и анархо-синдикалисты просят нас помочь им выработать идеологическую платформу — эти ребята поинтереснее социалистов, они моложе, смелей и понимают необходимость таких вещей. Как жаль, что возможности конкретной, полезной работы открываются только сейчас, когда надеяться больше не на что. Ведь самое позднее года через два будет война, так все говорят. А ты что скажешь?

В Париже волшебная погода. Мы немного посидели в кафе на Монпарнасе, за уличным столиком: обсуждали Гегеля, которого сейчас изучаем, он ужасно труден. Весь день я работала, довольно неплохо. Это единственное, что действительно поддерживает меня. Я забежала в «Тан модерн» ответить на письма, быстро вернулась и села за книгу. Статьи Сартра, Мерло-Понти и мои были напечатаны в номере «Политикс» за июль—август, прочти. Мне так много нужно тебе сказать, я все время думаю о нас с тобой — очень приятные мысли, напишу про них завтра. До свидания, иду отправлять письмо. В этом тонком конвертике столько любви, что самолет может не выдержать и рухнуть под ее тяжестью. Жду не дождусь письма от тебя.

Спокойной ночи, милый, не хватает слов, чтобы выразить всю мою любовь.

Твоя и только твоя Симона.

40.

Вторник, вечер [21 октября 1947]

Нельсон милый, я дважды забегала сегодня домой, но на этой неделе добрые духи не помогли нам: письма нет. По дороге в кафе, где я сейчас пишу тебе, я думала о том, что этот красивый туманный вечер чем-то напоминает мне тебя: если ты сам не чув-

---

[1] Жан Жене (1910—1986) — французский писатель. В «ИЛ» был опубликован журнальный вариант перевода его книги «Дневник вора» (1993, № 1).

[2] Уильям Мотли, американский писатель, негр, друг Олгрена, автор книги «Постучи в любую дверь».

ствуешь почему, то объяснить не смогу. Вечер, грустный в минуты счастья и улыбающийся в печали, как у Вийона:

От жажды умираю над ручьем,
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя...[1]

После ясного, прозрачного дня темная резная листва и ярко-желтый месяц на небе пронизаны какой-то особой тайной, сумерки полны непонятного смысла, прекрасного и важного. Как описать, да еще по-английски, теплый и туманный парижский вечер? Я люблю такие вечера больше всего на свете.

Наша передача вызвала бурю, которая никак не уляжется. Я очень довольна, это была потеха, как у вас говорят. Выборы оказались успешными для РПФ[2], и я, когда узнала, пала духом, я тебе об этом писала. Однако наутро выяснилось, что все не так скверно. Консервативные партии объединились в блок, но на самом деле не получили ни одного голоса сверх того, что имели; коммунисты ни выиграли, ни проиграли, а социалисты скорее выиграли. Днем мы выступили по радио против де Голля, очень резко, очень зло. Но, как мне кажется, лихо, честно, смешно, в общем, передача получилась. Редактор на радио страшно перепугался, что поднимется шум. И правда, тут же появились огромные статьи разъяренных голлистов, где все они хором нападают на Сартра и льют на нас ушаты грязи. Их лидеры потребовали дискуссии с Сартром в прямом эфире и устроили перед микрофоном свару. Кажется, никто еще так грубо не бранился по радио. Думаю, долго мы там не продержимся, нас, конечно, выставят, но очень приятно во всеуслышание, на всю страну высказывать то, что думаешь. <...>

Среда

Я очень сильно тебя любила сегодня утром, когда чистила зубы и причесывалась, и вот! — обнаружила внизу письмо, невероятно милое, как и все твои письма. Последнее всегда самое лучшее, так как вновь подтверждает, что ты существуешь и любишь меня. Я сейчас совсем не успеваю читать, наверстаю упущенное через месяц, когда уеду за город, поэтому ничего из того, про что ты рассказываешь, не читала.

Пожалуйста, пожалуйста, не пускай крашеную блондинку в наш с тобой дом. Она будет пить мое виски, есть мои ромовые пироги, спать на моей кровати, может быть даже, с моим мужем. К тому же, поскольку лучше Вабансии места в мире нет, то она не захочет уходить и уйти придется мне — тогда я тоже начну колоться морфием, как она, что будет весьма прискорбно, тебе не кажется? Бейся до последнего и сбереги мне мой дом — я эгоистично на этом настаиваю. Я шучу, милый, поступай, как сочтешь нужным, я не хочу быть помехой твоей свободе.

Буря вокруг нашей передачи не утихает, даже наоборот. Всю ночь какие-то люди звонили на радио директору и грозили расправиться с ним и с Сартром. Утренние газеты вышли с огромными статьями про нас. Коммунисты не написали ни слова в нашу защиту, они ненавидят Сартра не меньше, чем де Голля. Правые ругаются на чем свет стоит. Только две или три прогрессивные некоммунистические газеты нас поддержали. Появилось множество наших фотографий, но мои такие уродливые, что я их тебе не пошлю, а карикатура на Сартра, может быть, тебя позабавит. Во Франции радио не частное, оно принадлежит правительству, и масса людей, лишенных чувства юмора, были оскорблены в своих верноподданнических чувствах. Да, как ты говоришь, отсутствие чувства юмора — худший из пороков. Зато все друзья в восторге. И даже не друзья, а просто чужие люди, которые думают так же, как и мы, улыбались нам сегодня на улице. Официант в ресторане горячо пожал мне руку. В общем, первая вылазка в политику нам понравилась. <...>

Целую тебя, как подобает любящей супруге.

Твоя Симона

---

[1] Перевод И. Эренбурга.
[2] РПФ — Объединение французского народа, партия де Голля.

41.

[26 октября 1947]

<...>

Воскресенье

На улицах пахнет зимой. Да, зима должна наступить и пройти, чтобы поскорее была весна и мы встретились.

Бедняга Сартр получает каждый день пачки писем, сообщающих, что его следует линчевать. В четверг дюжины две молодых офицеров накануне отправки в Индокитай искали его по всем клубам Сен-Жермен-де-Пре, чтобы избить. Пришлось принять меры предосторожности. В пятницу Сартр ночевал у наших друзей, у которых мы в тот вечер были в гостях[1]. Я тоже решила там остаться. В этом доме мы ночевали в последний месяц оккупации, когда на всякий случай прятались от гестапо, и во время Освобождения. Из окон, выходящих на набережную Гран-Огюстен, я тогда видела, как убивали молодых немецких солдат, я тебе рассказывала. В общем, с этим домом у меня связана масса воспоминаний.

Честно говоря, я не думала, что у де Голля столько почитателей, это меня поразило. В Латинском квартале студенты опять выталкивают из кафе и травят студентов-евреев, пишут антисемитские статьи против евреев-преподавателей и т. д. Такое впечатление, что опять зреет опасность фашизма. Будем надеяться, что они не победят. Хорошо, что Соединенные Штаты не слишком довольны успехом де Голля. Но какой ужас ваши проверки на «лояльность» и преследования «красных» в Голливуде! Мне хочется уехать работать за город, но нужно довести до конца дела с манифестом относительно войны и Европы и, конечно, на радио. Сейчас я туда иду, завтра у нас запись, и надо, чтобы получилось хорошо. Ты нас послушать не можешь — говорят, в США Франция не ловится. Но поскольку ты все равно по-французски не понимаешь, это не страшно.

До свидания, крокодил моего сердца, я счастлива и горжусь нашей любовью. Целую тебя, милый, еще и еще. Я скучаю по тебе, Нельсон, скучаю каждый день и буду скучать, пока мы не увидимся.

Твоя Симона

47.

[19 ноября 1947]

<...>

Среда, вечер

Нельсон любимый, пишу тебе при свечах, это очень романтично, даже слишком. Опять перегорели пробки, вечная история. Не гостиница, а кошмар. Когда Сартр жил здесь со мной, он один раз заболел, мать пришла его навестить и ушла в слезах, настолько ее ужаснуло наше жилье! Потом, когда умер ее муж, она стала умолять Сартра переехать к ней, и он в конце концов сдался. Стены совершенно отсырели, по утрам стоит лютый холод, и каждую зиму я думаю, что надо срочно куда-то перебираться. Но зимой в Париже квартиру не найти, поэтому я терплю до весны, а летом мне уже не до того. Так все и тянется из года в год. Я не способна заниматься устройством собственного уюта, хотя очень ценю его, когда он создан кем-то другим, как, например, у тебя в Вабансии. <...> Приятно было вчера обнаружить в почтовом ящике пакет — я ведь ничего не ждала, поскольку письмо за эту неделю уже пришло, а для следующего еще рано. И вдруг получаю красно-синее поздравление с наступающим 1946 годом — в 1946-м, сердце мое, мы еще не были знакомы, ты, вероятно, имел в виду 1948-й, но все равно приятно. Наконец-то я могу нормально поблагодарить тебя, ибо я жажду, Нельсон милый, быть — или хотя бы казаться — нормальной. Благодарить тебя за то, что я тебя люблю, что ты такой, какой есть, и любишь меня, нормальный человек не может. Зато если ты посылаешь мне книгу, я вправе сказать спасибо и дать волю всей огромной признательности, запертой в моем сердце. Спасибо, милый, спасибо большое, спасибо за книгу и не только за книгу, даже если это книга самой Эдит Уортон[2].

Я радуюсь, что скоро поеду за город, последняя неделя была очень трудной. Целыми днями обсуждали передачи и готовили политический манифест. Бедному Сартру это

---

[1] В доме известного писателя и ученого Мишеля Лейриса.

[2] Эдит Уортон (1862—1937) — американская писательница.

нравится не больше, чем мне, просто он считает это своим долгом, раз его попросили, хотя, естественно, предпочел бы плескаться в голубых лагунах в твоем обществе! Ты уверен, что Чикаго и вообще ваш континент — такое уж безопасное место? По-моему, скорее тебе надо бежать в Париж, потому что на Чикаго атомную бомбу сбросят наверняка, а Париж — город маленький, кому он сейчас нужен, чтобы бросать на него бомбу? Приезжай сюда, милый. День и ночь я мечтаю о нашей следующей встрече в Вабансии и о твоем приезде в Париж через год. О, я устрою тебе роскошную жизнь! Ты будешь здесь так же счастлив, как я в Чикаго, я покажу тебе все, что люблю, и ты тоже это полюбишь. Да, так будет, будет весной следующего года, не так уж долго осталось ждать. Работай как следует, работай для нас. Работай из любви к работе и чтобы я тобой гордилась. Работай, чтобы в залитом солнцем Новом Орлеане у нас был спокойный, радостный отпуск. Не огорчайся, что сейчас твоя жизнь кажется тебе тусклой, я внесу в нее много суматохи, я еще надоем тебе. Пользуйся временным затишьем и одиночеством, долго они не продлятся.

Получилось глупое, пустое письмо, где нет ничего, кроме любви. Прости, милый, но мне не удастся для разнообразия возненавидеть тебя черной ненавистью, я не способна даже на равнодушие. Как ни стараюсь, не нахожу в себе ничего, кроме любви. Прими ее, милый. Спокойной ночи. Кровать моя выглядит очень холодной, очень одинокой.

Твоя Симона

Летом 1948 г. Симона де Бовуар путешествует с Олгреном по Соединенным Штатам, Гватемале и Мексике. Она собиралась провести в Америке три месяца, но в связи с делами Сартра планы ее изменились: еще во Франции она узнала, что ей придется уехать на месяц раньше.

«Я не заговаривала об отъезде. У меня не хватило мужества сказать правду сразу, неделя шла за неделей, а я все не решалась. С каждым днем сделать это становилось труднее и труднее. Наконец во время долгой поездки на машине из Мехико в Морелию я как бы невзначай, с плохо сыгранной непринужденностью сообщила, что должна быть в Париже к четырнадцатому июля. «А, ну что ж!» — сказал он»[1]. Через несколько дней он объявил, что ему надоела Мексика и вообще путешествия, и они вернулись в Нью-Йорк. Олгрен стал раздражителен, демонстрировал недовольство по любому поводу. «Однажды мы ужинали в Центральном парке, а потом пошли послушать джаз в «Кафе Сосайети». В тот вечер он вел себя как-то особенно недружелюбно, я не выдержала и сказала: «Могу уехать хоть завтра». Мы наговорили друг другу резкостей, и вдруг он пылко сказал: «Я готов сию же минуту жениться на тебе». Тут я поняла, что мне не за что на него сердиться: вся вина лежит на мне одной. Я рассталась с ним четырнадцатого июля, не зная, увидимся ли мы когда-нибудь еще»[2].

87.

Понедельник, вечер, 19 июля [1948]

Нельсон, любовь моя! Получила ласковое письмо от тебя, спокойное и нежное. «У тебя счастливое лицо!» — говорили мне сегодня знакомые. Да. Сейчас полночь, но я не падаю с ног, я выпила капельку джина с грейпфрутовым соком (виски достать невозможно) и перед сном хочу тебя поцеловать. Африканец, который преподнес мне сумку из крокодиловой кожи, подарил еще два больших одеяла: одно я пошлю тебе, поскольку то, гватемальское, потерялось. Оно, конечно, было лучше, но это тоже хорошее. Отправлю сразу, как только смогу, хотя терпеть не могу зашивать посылки.

Жан Жене сказал, что я великолепно выгляжу, похвалил мое платье, мою последнюю книгу и в конце концов занял у меня денег. Он завел нового любовника, начал новую пьесу, но сам ничуть не изменился, как, впрочем, и большинство людей. Я ходила прощаться с моей русской подругой — она едет отдыхать в деревню. У нее теперь новые переживания: через два месяца она собирается вернуться на сцену и должна снова играть в «Мухах»[3], поэтому заранее изводится. Готова поспорить, что на первых репети-

[1] Из книги воспоминаний Симоны де Бовуар «Сила вещей».
[2] Там же.
[3] Пьеса Ж.-П. Сартра.

циях она будет не в себе и просто не сможет играть. Я пыталась уговорить ее отдохнуть еще год, прежде чем снова начинать работать, но все впустую: она исходит от нетерпения и хочет знать как можно скорее, провалится она или нет. Это страшно глупо, но остановить ее не может никто. Я ужинала с ее мужем, молодым писателем Бостом, автором романа «Последнее ремесло». На Монмартре была большая ярмарка. В этот сырой пасмурный вечер от «американских горок», волшебных вагончиков, лотерей, фокусников веяло такой тоской, что у меня заныла душа. С Бостом, пока я не встретила тебя, у меня много лет был роман, но в прошлом году, вернувшись из Нью-Йорка, я сказала ему, что все кончено, сам знаешь почему. К этому моменту наши отношения уже не значили для меня так много, как вначале, соответственно и разрыв тоже, поэтому я не стала ничего тебе говорить. Мы с ним остались друзьями, по-прежнему близкими. Сейчас он не очень счастлив в любви, и я не удивляюсь: такая жена, как у него, — серьезная помеха для любовных похождений. Поэтому ужин у нас получился довольно грустный. Он не таит на меня никакой обиды, он и раньше знал, что я уже не люблю его, но ему все равно неприятно, что я его бросила, и некоторая напряженность между нами осталась. Ты просил сообщать тебе, что происходит в моей безумной голове, вот я и пишу про все это. И вообще, мне хочется, чтобы ты знал обо мне как можно больше.

Ради тебя я могу отказаться не только от очаровательного молодого человека, а практически от всего на свете, но я не была бы той Симоной, которая тебе нравится, если бы отказалась от нашей жизни с Сартром: я была бы тогда последней дрянью, предательницей и эгоисткой. И какое бы решение ты ни принял, я хочу, чтобы ты твердо знал: я не остаюсь жить с тобой в Америке вовсе не потому, что недостаточно тебя люблю. Больше того, мне расставаться с тобой тяжелее, чем тебе, и я намного мучительнее переношу разлуку; нет, любить сильнее невозможно, невозможно сильнее желать и больше скучать по тебе, чем я скучаю сейчас. Наверно, ты и сам это знаешь. Но ты должен знать и другое: до какой степени — может быть, это звучит нескромно — я необходима Сартру. Внешне он очень независим, но внутри у него вечная буря и смута, а я его единственный настоящий друг, единственный человек, который его по-настоящему понимает, по-настоящему ему помогает, работает с ним вместе и приносит ему покой и душевное равновесие. Я ему обязана всем, на протяжении почти двадцати лет он поддерживал меня, помогал мне жить, искать себя, пожертвовал ради меня очень многим. И вот недавно — наверно, года четыре назад — настало время, когда я наконец могу отплатить ему за все, что он для меня сделал, могу тоже помочь ему, как он когда-то помогал мне. И я никогда не смогу его бросить. Уезжать от него, пусть даже надолго, это да, но оставить совсем и связать свою жизнь с другим человеком — нет. Мне не хочется говорить об этом снова. Я знаю, что страшно рискую — рискую потерять тебя, — и знаю, каково мне придется, если это произойдет. Ты должен понять, Нельсон! Мне необходима уверенность, что ты действительно понимаешь все правильно: я мечтала бы каждый день и каждую ночь быть с тобой — до самой смерти, в Чикаго ли, в Париже или в Чичикастенанго. Нельзя любить сильнее, чем я люблю тебя — люблю сердцем, телом, душой. Но я готова скорее умереть, чем причинить глубокое страдание, непоправимое зло человеку, который столько сделал для моего счастья. Я не хочу умирать, но мысль о том, что я могу потерять тебя, так же для меня непереносима, как мысль о смерти. Может быть, ты подумаешь: надо же, сколько сложностей! Но мне моя судьба небезразлична, она очень важна для меня. И точно так же важна наша любовь — поверь, она стоит того, чтобы покопаться в сложностях. И поскольку ты меня спрашиваешь, что я думаю, а я испытываю к тебе огромное доверие, то я и выкладываю тебе все, что у меня на душе. А теперь иду спать, но перед сном целую тебя — нежным-нежным поцелуем. <...>

Твоя Симона

90.

Воскресенье [8 августа 1948]

Здравствуй, мой любимый! Мы проснулись вместе, ты показал мне кулак, а потом... Ладно, не могу. О, эти холодные, одинокие пробуждения в круглой комнате!

Сегодня спокойный день, воскресенье, на улице ветерок. Сартр с матерью уехали на

неделю и оставили мне свою квартиру. Сидя за столом, я вижу из окна церковь и кафе «Дё маго». Сейчас десять часов утра, и я не собираюсь никуда выходить до восьми вечера. Я приняла тонизирующую таблетку — хочу закончить главу. Ты тоже, думаю, будешь работать сегодня весь день. Мое эссе «Мораль двойственности» выйдет скоро в Америке, «Твайс э иер» уже опубликовал оттуда отрывки. Я снова видела того же фокусника (я почти разгадала некоторые его фокусы) и побывала еще в одном погребке, настолько забитом американскими туристами, что я еле протиснулась. Он находится в подвале «Дё маго», очаровательно оформлен в экстравагантном, но приятном стиле, там лучший в Париже джаз, действительно великолепный, и молодежь танцует божественно. Главный там — молодой трубач, про которого я тебе писала, он только что кончил переводить «Большие часы» твоего друга Кеннета Фиринга[1]. Странно: мой друг переводит книгу твоего друга, и это два разных мира, таких далеких, а мы с тобой так близки. Я упорно придерживаюсь заведенного распорядка: днем работа, вечером друзья — обычно в кафе, где есть виски, иногда под тентами на улице, иногда внутри. Друзья все те же: Сартр, красавец Бост, Джакометти, Ричард Райт — очень отлаженная жизнь. По-прежнему скучаю по тебе, бесслезно, трудно, лучше бы иногда поплакать, но я слишком много плакала тут как-то ночью, и с тех пор осталась только сухая, жесткая боль. И все-таки я чуть не разрыдалась, когда нашла у себя в чемодане носовой платок с буквой «О» и когда надевала маленький черный свитер, который так тебе нравится.

Вчера ходила в кино на «Огненный шар» Хоукса с Гари Купером и Барбарой Стенвик — местами забавно, но в целом — ерунда. Поскольку у меня впереди еще целый день, мне хочется с тобой спокойно поговорить. Не имея таланта писать, как ты, красивые выдуманные истории, я лучше расскажу тебе подлинные. Я перечитала твое последнее письмо и хочу к нему вернуться. Во-первых, я упомянула про красивого молодого человека вовсе не для того, чтобы похвастаться. Мне кажется, в наших отношениях хвастовство неуместно. Если мне и есть чем хвастаться, так это нашей любовью. Просто я очень хочу, чтобы мы были не только любовниками, но и друзьями и как можно больше знали друг о друге. А хвалиться в моей любовной биографии особенно нечем, сегодня я тебе все про себя расскажу, как ты рассказывал мне про себя в тот чудесный вечер в кафе «Каса контента». Как ты уже знаешь, я родилась в мещанской католической и косной семье, воспитывали меня очень строго, запрещали читать массу книг — я прочла их только в студенческие годы, когда перестала верить в Бога. Но все равно я оставалась самой что ни на есть «нравственной» девушкой. В семнадцать лет я влюбилась в красавца кузена, умного, обаятельного, моего ровесника, он казался мне идеалом мужчины. Он был очень привязан ко мне, открыл мне современную литературу и помог психологически освободиться от семейных предрассудков, но он меня «уважал», как может человек с мещанскими взглядами «уважать» кузину, а в жены взял богатую и глупую уродину, хранившую невинность до свадьбы. Потом стал пить и испортил жизнь себе и своим близким. В общем, банальная детская идеалистическая любовь. Его женитьба была для меня ударом, но не слишком сильным, потому что как раз в то время у меня появились новые друзья, студенты, как и я, и среди них Сартр.

Нас с Сартром очень скоро потянуло друг к другу, мне было двадцать два, ему двадцать пять, и я с восторгом отдала ему свою жизнь и себя самое. Он был первым мужчиной, с которым я легла в постель, — до этого я даже ни с кем не целовалась. С тех пор у нас общая жизнь, и, как я тебе уже говорила, я очень его люблю, но скорее как брата. В сексуальном смысле у нас не было полной гармонии, в основном из-за него: его не слишком интересует секс. Он человек пылкий, темпераментный — но только не в постели. Я интуитивно поняла это очень быстро, несмотря на свою неопытность, и постепенно мы сочли излишним — чтобы не сказать неприличным — продолжать спать друг с другом. Мы перестали это делать лет через восемь или десять, признав свою полную неудачу в этой области. Тут-то и появился молодой и красивый Бост, десять лет назад. Он намного моложе меня и был любимым учеником Сартра. Я обожала ходить с ним по горам. К тому моменту у него начинался роман с моей русской приятельницей, но он уже жалел об этом

[1] Кеннет Фиринг (1902—1961) — американский поэт, известный в 30-е годы. Впоследствии — автор детективных романов.

и собирался ее бросить. А она была когда-то моей ученицей, и я, в общем-то, хорошо к ней относилась, но она и со мной, и с ним вела себя довольно неприятно. Она из тех женщин, которые слишком много требуют от других, всем врут и вынуждают других врать им. В результате, когда мы с Бостом в Альпах ночевали как-то в одной палатке и нам вдруг очень захотелось заняться любовью, у нас не возникло угрызений совести. Ей мы ни слова не сказали ни тогда, ни потом. Бост хотел порвать с ней, но просто не мог: она к тому времени уже была без ума от него, и он не решался причинить ей боль. Потом началась война, после войны она заболела туберкулезом, и ему уже некуда было деться: он женился на ней и, как ты знаешь, живет с ней по сей день. Но нашей близости это не помешало. У нас были чудесные, легкие отношения, никаких безумных страстей, но зато и никакой ревности, никакой лжи, как бы одновременно и дружба, и огромная нежность. Меня полностью устраивала моя жизнь: мне хватало этих отношений — очень, в сущности, глубоких, — и я не тосковала по настоящей любви. Я считала, что уже стара для нее, и могла бы продолжать так считать всю оставшуюся жизнь, деля время между работой и дорогими мне людьми. А потом, как ты знаешь, любовь пришла. Не считая Сартра и Боста, я за всю жизнь провела по одной ночи с тремя мужчинами, которых хорошо знала и которые мне нравились, но сблизиться по-настоящему мы не смогли. Когда я приехала второй раз к тебе в Чикаго, я думала, это будет приключение в том же роде, ты мне нравился, мы могли бы провести вместе несколько приятных дней. Поэтому я и говорила, что ты поймал меня в западню. Я никак не ожидала настоящей любви, не предполагала, что могу увлечься, но ты! — ты заставил меня влюбиться в тебя, вернуться в Чикаго и любить тебя все сильней и сильней. Теперь ты понимаешь, что я должна была сказать об этом Босту. Я все объяснила ему, это было не очень приятно, но мы остались друзьями и часто видимся, иногда втроем — вместе с Сартром или с Ольгой, — иногда с ним одним. У нас позади длинная история, поэтому я и написала о ней в предыдущем письме. Но, как ты верно почувствовал, наши с ним отношения в последние годы были уже не такими бурными, как вначале, когда мы действительно были без ума друг от друга.

Все это, Нельсон, лишь способ сказать тебе, что только с тобой я узнала любовь настоящую, всепоглощающую, где сердце, тело и душа не разделены. Не было у меня в прошлом году молодых красавцев, не будет их и в этом году, не будет больше никогда, я думаю.

Вот мое прошлое, дорогой, вот мое настоящее. Понимаешь, у меня в Париже есть как бы семья: я так давно и так близко знаю этих людей, мы столько вместе всего пережили и хорошего, и плохого, что они для меня уже не просто друзья, а настоящая семья. Моя биологическая семья для меня ничто, я выбрала себе другую, сама. Это, в сущности, счастье — иметь семью, она помогает жить. Хотя и не спасает от одиночества, особенно если любишь (безумно). Тут она помочь не может. Не знаю, вполне ли ты меня понимаешь, но мне хочется, чтобы, когда я в следующий раз напишу: «Я виделась с Сартром, Бостом, Ольгой», ты хоть отчасти представлял себе, что это означает. А мне ведь еще много предстоит написать писем, пока я не отброшу слова, чтобы снова соединиться с тобой.

До свидания, Нельсон, мне легче, оттого что я поговорила с тобой. Целую твои губы в мечтах.

Твоя Симона

Из книги «Сила вещей»:

«В Париже я каждую неделю находила в почтовом ящике конверт с чикагским штемпелем; я только потом поняла, почему так редко получала известия от Олгрена в Алжире: он писал мне в Тунис вместо Тенеса. Одно письмо вернулось, он отправил мне его снова. Счастье, что оно тогда затерялось: в тот момент оно оказалось бы для меня тяжелым ударом[1]. Он пишет, что, выступая на митингах в поддержку Уоллеса[2], влюбился в некую

---

[1] Осенью 1948 г. С. де Бовуар была с Сартром в Алжире. Сентябрьское письмо Олгрена, о котором идет речь, она получила в ноябре.

[2] Генри Эгард Уоллес (1888—1965) — вице-президент США в 1941—1945 гг.; в 1948 г. — кандидат на пост президента, проиграл Гарри Трумэну.

молодую особу, которая в тот момент разводилась с мужем, и даже начал подумывать о женитьбе. Она лечилась у психоаналитика и не хотела принимать решений до конца курса. В декабре, когда я получила письмо, они уже почти не встречались, однако он счел нужным объяснить: «Я не собираюсь связывать себя с этой женщиной, сейчас она больше ничего для меня не значит. Но это не меняет дела, я по-прежнему хочу иметь то, что, как мне казалось в течение этих трех-четырех недель, она могла бы мне дать: теплый, уютный дом, где я жил бы со своей семьей — с женой и даже с ребенком. Нормально, что мне этого хочется, ничего необычного в моем желании нет, просто раньше мне это было не нужно. Возможно, дело в том, что мне скоро сорок. У тебя все иначе. У тебя есть Сартр и совершенно особый образ жизни: вокруг тебя все время люди, ты способна жить идеями. Ты погружена в культурную жизнь Франции, испытываешь удовлетворение от своей деятельности и от каждого прожитого дня. А Чикаго от всего далеко, примерно как Юкатан. Я веду бесплодное, пустое существование, сосредоточенное исключительно на себе самом: меня это совершенно не устраивает. Я прикован к Чикаго, потому что, как я тебе уже говорил и ты меня поняла, моя работа — писать про этот город, а писать про него я могу только здесь. Нет смысла все повторять сначала. Но в результате мне практически не с кем поговорить. Иными словами, я попался в собственный капкан. Я бессознательно выбрал жизнь, наиболее подходящую для того рода литературы, который мне лучше удается. Мне скучно с политиками и интеллектуалами, они какие-то неживые. Люди, с которыми я сейчас общаюсь, кажутся мне более подлинными: шлюхи, воры, наркоманы и т. п. Но моя частная жизнь оказалась принесенной в жертву. Роман с этой женщиной помог мне понять, что происходит между нами с тобой. Год назад я не решился бы изменить тебе, боясь все испортить. Теперь я знаю, что это было глупо: руки, находящиеся за океаном, не могут согреть, а жизнь слишком коротка и холодна, чтобы лишать себя тепла на многие месяцы».

В другом письме он возвращается к той же теме: «После того несчастного воскресенья в ресторане Центрального парка, когда я начал все портить, у меня осталось ощущение — я писал тебе о нем в последнем письме, — что мне хочется иметь наконец что-то свое. В огромной степени оно возникло благодаря этой женщине, которая несколько недель казалась мне очень близкой и дорогой (теперь все уже не так, что не меняет сути). Не она, так другая. Это вовсе не значит, что я тебя разлюбил, но ты была так далеко и ждать оставалось еще так долго... Казалось бы, нелепо говорить о том, что давно можно считать пройденным этапом. И все-таки стоит, ведь ты не можешь навсегда сослать себя в Чикаго, равно как и я не могу жить изгоем в Париже, я обречен неизменно возвращаться сюда, к своей пишущей машинке и одиночеству, и испытывать потребность в ком-то, кто был бы рядом, потому что ты так далеко...»

Мне нечего было ответить, он был абсолютно прав, но меня это не утешало. Мне было бы нестерпимо жаль, если бы наши отношения прекратились. Этот преждевременный внезапный конец свел бы на нет счастье всех дней и ночей в Чикаго, на Миссисипи, в Гватемале. Постепенно, однако, письма Олгрена потеплели. Он рассказывал мне свою жизнь изо дня в день. Посылал газетные вырезки, поучительные брошюры о вреде табака и алкоголя, книги, шоколад, а один раз прислал даже две бутылки старого виски, запрятанные в огромные пакеты с мукой. Он написал, что приедет в июне в Париж и уже заказывает билет на пароход. Я успокоилась, но временами с болью чувствовала, что наша история обречена и конец наступит вот-вот».

Пятница [3 декабря 1948]

Дорогой мой любимый ты! Я рада, что получила сентябрьское письмо, потому что оно заставляет нас поговорить по существу. Не могу сказать, что и последнее твое длинное письмо меня порадовало. Конечно, я знала — с той ночи, когда пролила столько слез, — что наша история, видимо, идет к концу и что-то в некотором смысле уже умерло, но для меня все равно было шоком осознать, что конец мог наступить так скоро, уже осенью, что он может наступить, например, завтра, — нет, меня это, конечно, не радует. Но ты совершенно прав, и все сказаное тобой подтверждается. Я вполне понимаю, что тебе нужна жена, твоя и только твоя, и ты заслуживаешь этого. Ты — прекрасная судьба для женщины, и я бы от всего сердца желала избрать такую судьбу для себя, но не имею права. Да, я понимаю тебя, Нельсон. Мне бы только хотелось, чтобы ты не жалел о своей прошлогодней верности — она не была бессмысленна. Для меня так много значила твоя

верная, подлинная, согревающая любовь, она так глубоко волновала меня и я с таким счастьем платила тебе тем же, что если я еще хоть что-то для тебя значу, то не жалей. Не жалей о том, что отдал мне так много, ведь благодарность моя не знала предела. Да, жизнь коротка и холодна, поэтому не стоит пренебрегать такой сильной и горячей любовью, как наша. Нет, не было безумием любить друг друга, жертвуя всем остальным, мы были счастливы, по-настоящему счастливы, многим за всю жизнь не выпадает и десятой доли нашего счастья, я никогда не забуду этого, и, надеюсь, ты тоже будешь иногда вспоминать. А пока, милый, я мечтаю только об одном — чтобы мы еще хоть один раз побыли вместе: приезжай в Париж между апрелем и сентябрем. И о том, чтобы дружба наша не оборвалась, даже если у тебя появится жена. <...>

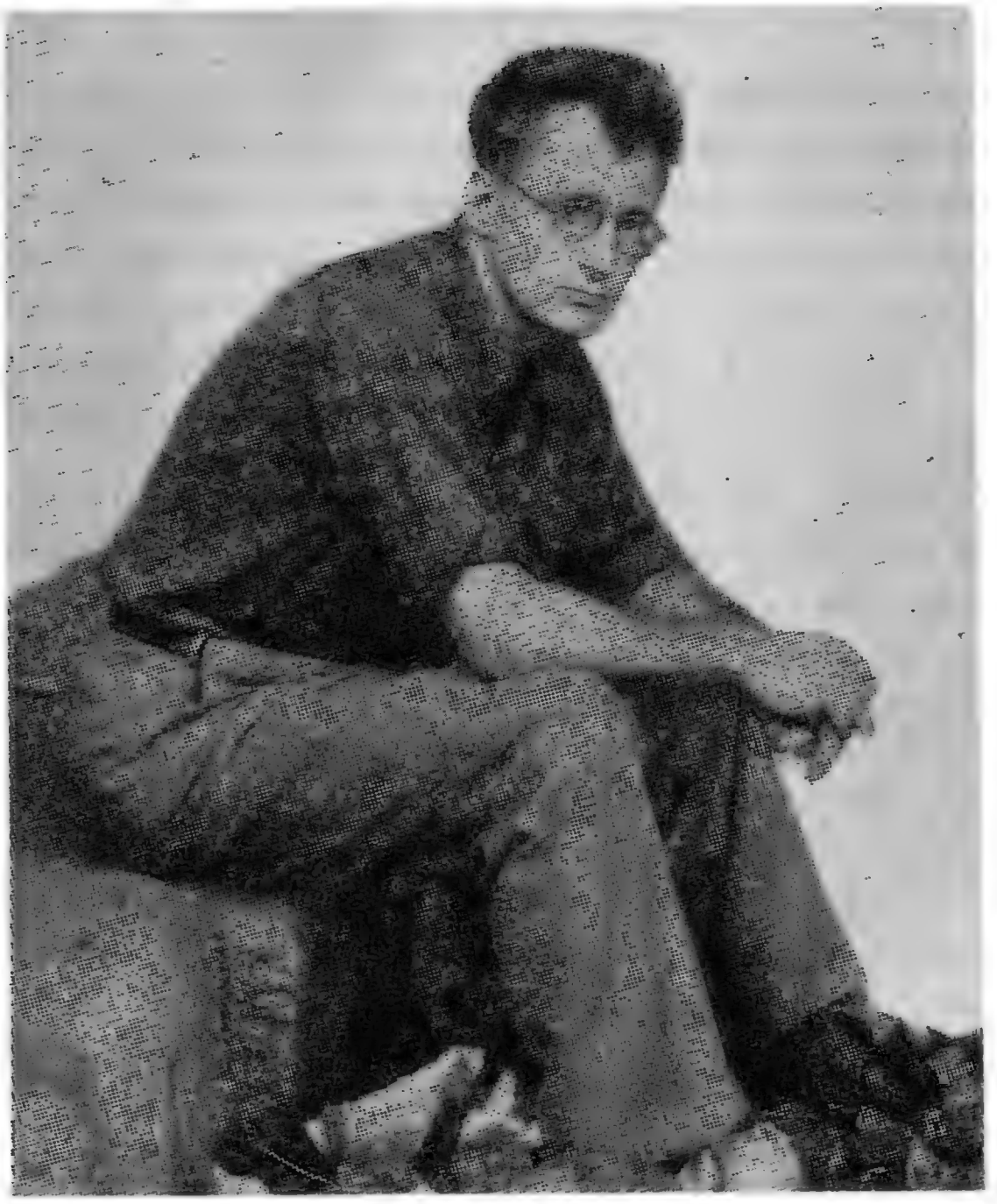
Люблю тебя по-прежнему.

Твоя Симона

121.

Суббота [29 января 1949]

Милый мой дорогой! В Париже промозглая погода, туман и холод. Но мне все равно, я жду весны и чувствую себя прекрасно. На днях мы с Диком Райтом ходили есть его любимый кускус. У него только что родилась очаровательная дочка (так он сам говорит, я ее не видела), и он очень счастлив, но явно не слишком утруждает себя работой. Переселение в Париж и рождение ребенка истощили его силы, и он на месяц уезжает в Рим.



Нельсон Олгрен. Чикаго, 1949 г.

Он развлекал меня рассказами об африканских неграх. Оказывается, американские и африканские негры друг друга терпеть не могут. Помнишь Дайопа, который подарил тебе одеяло, — он издавал журнал, и ты говорил, что ничего там не понимаешь? Райт сотрудничал с ним некоторое время, а сейчас его ненавидит. Так вот, по его словам, этот негр, такой с виду милый и услужливый, обращался со своей белой секретаршей хуже, чем любой плантатор с черным рабом. Он состряпал целую историю о налете на его редакцию — про это писали во всех газетах. На самом деле редакция располагалась в квартире некоей многодетной женщины, которая никак не могла заставить его выехать и однажды ночью выкинула все его вещи на улицу. Тут-то он и заявил ради рекламы, что произошло ограбление. История, как видишь, темная. Еще одна темная и нелепая история — это процесс Кравченко[1], взбудораживший парижскую элиту. Ты, наверно, в общих чертах знаешь, в чем дело: коммунистическая газета «Леттр франсез» заявила, что автор книги «Я выбираю свободу» вовсе не Кравченко, а какой-то американец. Книга, конечно, плохая, и ни единому слову в ней верить нельзя, поскольку Кравченко — предатель. Возможно, ему действительно помог какой-нибудь американский писатель по части стиля, но сочинил он ее, несомненно, сам. Коммунисты не в состоянии доказать, что

[1] Виктор Андреевич Кравченко (1905—1966) — сотрудник советского торгпредства в Вашингтоне. В 1944 г. попросил политического убежища на Западе, в 1946 г. выпустил книгу «Я выбираю свободу», на которую обрушились все коммунистические западные газеты.

автор книги не Кравченко, поэтому вся их затея — бред, и процесс проигран заранее. Они доказывают, и временами успешно, что он лжет, но это уже проблема ситуации в России, а вовсе не авторства Кравченко. Он тоже называет их лжецами, говорит, что их обвинения бездоказательны, и хотя так оно и есть, книга его все равно никакого доверия не вызывает. Все врут наперебой, все не правы, и все кипят от ярости. Кравченко ведет себя как настоящий русский: кричит, стучит кулаком по столу, кипятится и ни на один вопрос не отвечает прямо. Коммунисты расставляют ему ловушки, но действуют нечестными методами, например, спрашивают: «Чем кончается «Кукольный дом?» (он упоминает эту пьесу в книге). Он недоумевает: «Что? Какой дом?» Они злорадно смеются и делают вывод: он не знает Ибсена, следовательно, книгу написал не он. Но это ровно ничего не доказывает, потому что в русском переводе пьеса называется «Нора». И все в таком духе. Интересно, у вас в Штатах об этом говорят? <...>

До свидания, дорогой, мне надо работать. Я безумно устала от такого количества дел, но постараюсь вернуть себе форму к твоему приезду. В крайнем случае ты мне ее вернешь. Люблю тебя как никогда, мой дорогой-предорогой ты.

Твоя Симона

122.

Среда [9 февраля 1949]

Как я могла так долго не писать тебе, дорогой мой ты? Мне стыдно. Никакой особой причины нет, просто время как-то незаметно пробежало. Наверно, отсутствие событий не располагает к писанию писем. Зима потихоньку переходит в весну, моя любовь к тебе не переходит никуда, процесс Кравченко продолжается, русские непостижимы (еще более непостижимы, чем индейцы Вабансии): они орут друг на друга, врут без зазрения совести и вдруг ни с того ни с сего все дружно хохочут. В центре внимания — жена Кравченко. Ее появления ждали, дрожа от любопытства: как она будет одета? Оказалось, как обычная француженка или американка. О муже она сообщила, что у него скверный характер и он не хочет иметь детей. Кравченко, конечно, наврал с три короба, но русские сталинисты, которые приехали на суд свидетельствовать против него, врут ничуть не меньше. Все они омерзительны и глупы. <...>

Зато кого я повидала с удовольствием, так это старого Андре Жида — думаю, он старше всех ныне живущих французских писателей (он получил Нобелевскую премию за то, что всю жизнь писал, как хорошо и правильно быть гомосексуалистом). В молодости он был женат, но с женой никогда не спал, зато от другой женщины у него есть дочь, и он сумел выдать мать своей дочери замуж за своего же любовника — теперь она может похвастаться, что спала даже не с одним, а с двумя педерастами. Сейчас он живет с очаровательной пожилой дамой, бабушкой собственной дочери, — неплохая семейка, правда? Но он явно чувствует себя счастливым в ее лоне, и все его холят и лелеют. Он ужасно смешно рассказывает всякие истории. Его пригласили в Чикаго получить премию Гёте — пять тысяч долларов, такие деньги на дороге не валяются, но он считает, что слишком стар для подобного путешествия, Штаты его пугают. Интересно дожить до глубокой старости и до такой славы. Вот когда начинается настоящая жизнь: можно говорить и делать что хочешь, и все поддакивают, восхищаются. Тебе бы хотелось так? <...>

Пожалуйста, займись основательно предотъездными хлопотами. Запаси побольше пленки для Франции и Италии. До свидания, милый, до свидания, до скорого. И не забудь привезти побольше любви американского производства, посмотрим, чья лучше.

Твоя Симона

В мае 1949 г. Нельсон Олгрен приезжает в Париж. Они с Симоной отправляются путешествовать (Рим, Неаполь, Тунис, Алжир, Марокко), сентябрь проводят в Париже, после чего он самолетом возвращается в Нью-Йорк.

«Первое письмо Олгрена было невероятно радостным. Во время посадки в Гандере он узнал из газет, что получил Национальную премию. Коктейли, интервью, радио, телевидение — его чествовал весь Нью-Йорк. Потом друг отвез его в Чикаго на автомобиле.

Он был счастлив во время путешествия по Европе и счастлив, что вернулся на родину. Он писал мне: «Мы ехали всю субботу и все воскресенье, чудесно было снова увидеть американские деревья и огромное американское небо, большие реки и равнины. Америка не такая яркая страна, как Франция, ничто в ней не пронзает сердце с первого взгляда, как маленькие красные крыши, когда подъезжаешь к Парижу поездом или летишь на самолете. И не вселяет трепет, как пугающе грозный серо-зеленый свет Марракеша. Она всего лишь просторная, теплая и легкая, надежная и сонная, и неторопливая. Я радовался, что родился здесь, и мне было легко от мысли, что, куда бы я ни уехал, в эту страну я могу вернуться всегда». Он написал, что ждет меня, и я вновь обрела уверенность»[1].

В июле 1950 г. Симона де Бовуар, несмотря на страх оказаться отрезанной от Франции из-за войны в Корее, едет к Олгрену в Америку. Там он объявляет, что больше ее не любит и намерен вновь жениться на своей бывшей жене Аманде, с которой развелся в 1945 г. Они проводят вдвоем тягостное лето на озере Мичиган, где Симона, плохо умевшая плавать, едва не утонула. Улетая в сентябре из Чикаго, она считает, что больше они не увидятся.

203.

Пятница [8 декабря 1950]

Нельсон, любимый! Душа не лежала писать письма целую неделю, слишком все кругом плохо. В каком-то смысле могу понять тебя, когда ты радуешься развитию событий: наверно, американцам полезно потерпеть поражение, может быть, их чему-нибудь научит война, в которой их разгромят китайцы. Но это грозит серьезными последствиями для нас лично, так как война означает русскую оккупацию, и все наши друзья уверены, что Сартра коммунисты либо уничтожат, либо сошлют в Сибирь (меня, разумеется, тоже). Это нас просто убивает, потому что, видит Бог, мы настроены совсем не проамерикански, а уж сейчас меньше, чем когда-либо. Наоборот, нам очень интересно, что́ могли бы предпринять здесь русские, но мы этого никогда не увидим. Придется бежать. Только куда? Уж никак не в Америку, потому что мы против ее политики. В Бразилию? В Африку? А Бост? А Ольга? А другие наши друзья? Нет, страшно подумать. Однако если не сегодня, то через год или два этого все равно не избежать. Знаешь, Нельсон, я впервые порадовалась, что ты меня разлюбил: если мы больше не увидимся, мне будет уже не так тяжело. И все-таки мысль, что я никогда больше не увижу ни Вабансию, ни Форрест авеню, ни тебя, разрывает мне сердце. Что за буйнопомешанные правят вашей страной! Что за грязные свиньи!

Спасибо, милый, за длинное письмо. Каким образом ондатра сумела угнать твою лодку? По мнению Боста, ловко придумала не ондатра, а автор письма... Твой двор в снегу наверняка выглядит изумительно. Здесь настоящего снега нет, так только, что-то белое, и хмурое небо. Твоя книга, которая наконец-то вышла, выглядит очень внушительно[2]. Посылаю тебе ее вместе с книгой Сартра и журналом, где ты сможешь почитать коммунистического «поэта камней», Понжа. Там его портрет и несколько стихотворений, но, к сожалению, не о камнях. Почитай заодно статьи о Лотреамоне, Аполлинере и на странице 136 — о молодом монахе Мурре, который на Пасху проповедовал в соборе Нотр-Дам, — помнишь, я тебе писала?— и обличал Церковь, а сумасшедший психиатр объявил его сумасшедшим. У Галлимара многие называют твою книгу блистательной. Готовятся самые хвалебные отклики, буду держать тебя в курсе.

Пытаюсь писать дальше свой роман, но не могу сосредоточиться. Париж живет в страхе и дурных предчувствиях. Надеюсь, хоть тебе не грозит тюрьма. Где бы я ни оказалась, буду любить тебя до самой смерти. Целую тебя с грустью и нежностью.

Твоя Симона

---

[1] «Сила вещей».

[2] «Утро не настанет».

205.

Четверг [14 декабря 1950]

Милый, дорогой ты! Да, твое огромное письмо очень меня порадовало. Правда, оно пришло с большим запозданием, поскольку ты упорно не желаешь клеить столько марок, сколько положено, но все-таки пришло, и, как ты выражаешься, у меня теперь есть что почитать. Твои рассказы о Харольде, Бетти и маленькой шлюшке и о том, как ты бессмысленно суетишься вокруг них, просто упоительны. Спасибо за газетные вырезки, ладно, я готова засесть за Библию в ближайшие дни. <...> В ответ посылаю статью о тебе из «Комба» — когда-то это была газета Камю, а теперь стала проамериканской и гнусной. Их критик, честный и очень неглупый, посвятил тебе центральный материал на еженедельной литературной полосе. Попытайся сам прочесть по-французски или попроси Нила перевести. <...>

Теперь, милый, отвечу серьезно на серьезную часть твоего письма. Во-первых, мне было приятно узнать, что ты собираешься сделать меня несчастной на долгие годы, если все пойдет хорошо. Согласна! Я не хочу, чтобы ты совсем исчез из моей жизни, и готова присутствовать в твоей хоть в таком качестве. Спасибо за эту новость, я снова испытала чувство спокойной нежности к тебе, когда-то такое привычное, но теперь почти исчезнувшее. Оно вернулось, и мне хорошо, ты так дорог мне, милый.

Но теперь я тоже буду тебя ругать! По-твоему, я истеричка... Да ты просто слишком самоуверен! Когда мы только познакомились, ты сам признавался, что обращаешь в псевдомудрость свое самодовольное нежелание ничего знать: крокодил в тине. Да, у тебя уютный, засыпанный снегом дом, тебе там хорошо вместе с твоими чокнутыми приятелями-наркоманами, но это еще не основание для такого безоблачного оптимизма. Допустим, мир продлится еще несколько лет, хотя я сомневаюсь. К тому же для вас это будет мир, а для нас — русская оккупация. Может быть, война и не вспыхнет, даже если русские захватят Париж, но нам-то легче не будет. Считать, что коммунисты в первую очередь расправятся с Сартром и его сторонниками, вовсе не тщеславный бред, как ты выражаешься. Так считают все без исключения наши знакомые. Коммунисты ненавидят его смертельно, среди интеллигенции он для них враг номер один. Вполне вероятно, что нам действительно придется уезжать, как это ни ужасно, и истерия тут ни при чем. Знаешь, я сейчас вспоминаю, как году в тридцать девятом — сороковом, когда моя подруга-еврейка в панике говорила о еврейских концлагерях, у меня тоже было ощущение, что это истерия, но ведь она оказалась права. Когда человек не ощущает опасности нутром, она кажется ему не вполне реальной. Моя подруга видела, что французы без еврейской крови не понимают ее, она чувствовала себя одинокой и беспомощной, я хорошо это помню. Точно так же сейчас ситуация видится нам с тобой по-разному, и тебе проще не замечать, что самое худшее действительно может произойти (точно так же, как ты обратил все в шутку, когда я летом чуть не утонула).

Симона де Бовуар и Нельсон Олгрен. 1950

Теперь второе: приезжайте в Штаты, пишешь ты. Сартр и я считаем, что сразу же угодим там за решетку, но дело даже не в этом. В глазах французов искать убежища в Штатах есть политический выбор, и он для нас неприемлем. Предположим, в один прекрасный день война кончится и мы захотим вернуться: представь себе, как на нас дома будут смотреть, если в момент, когда Сталин захватывал Францию, мы бросились в объятия Трумэна? Конечно, мы должны писать, но сохраняя доверие тех, для кого пишем, а

бегство в Штаты сразу же превращает нас в предателей. Если человек там родился, дело другое: он там живет, и проблема выбора перед ним не стоит. Но эмигрировать туда означает одобрение и согласие. Это вопрос не гордыни, а порядочности. Пойми, левых французов, даже либеральных, выворачивает от нынешней американской политики, и меня в том числе. Мы презираем богатеев-капиталистов, которые бегут в Нью-Йорк, дрожа за свои кошельки. Выбрать Америку значит выбрать капитализм, а это противоречит всему, что мы всегда писали и говорили. Конечно, для судеб мира наш выбор не важен, но для нас он важен очень. К тому же возникает проблема материальная, и она тоже тесно переплетается с моральной. Чем мы можем в Америке зарабатывать? Статьями, выступлениями по радио и т. д., иначе нам просто нечего будет есть. В 1940—1944 годах французы в Штатах, чтобы прокормиться, вынуждены были работать на пропаганду (чего коренные американцы могли не делать). Но тогда была другая ситуация, а сегодня это совершенно для нас исключено. Мы можем ехать разве что в Бразилию. Бразилия — богатая страна, она, скорее всего, останется наполовину нейтральной, и там ценят французскую культуру.

Постарайся понять меня, у нас не должно быть разногласий в таких важных вещах. Поверь, мы говорили со всеми нашими друзьями, обдумывали ситуацию много дней без всякой истерии. Видимо, ты чего-то не улавливаешь в нынешнем положении Франции, не можешь уловить, живя в Америке, иначе ты бы так не рассуждал. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой. Ответь, пожалуйста, но не обрушивайся на меня с ходу, не принимай высокомерный тон, попытайся поставить себя на наше место. Вот, любовь моя, видишь, какое письмище? Ты сделал мне чудный рождественский подарок, отстукав свое огромное послание. Счастливого Рождества, счастливого Нового года тебе! Я с тобой всем своим гадким сердцем.

Твоя Симона

209.

Воскресенье [14 января 1951]

Любимый! Видимо, с моей стороны было не так уж глупо выбрать именно тебя из имеющихся в мире мужчин и отдать тебе свое дурацкое сердце и бренное тело в придачу. Ты действительно лучше всех и своим «экстренным» кратким посланием сумел выжать две скупые слезинки из моих давно уже высохших глаз. Береги свой горшок с золотом, любимый, береги хорошенько: надеюсь, раньше чем через год-два он нам не понадобится, ведь, кажется, ситуация потихоньку улучшается, ты не находишь? Но я согласна: если самое страшное все-таки случится, я попрошу у тебя долларов сто-двести, чтобы добраться до Мексики или до Рио, потому что французские деньги не будут стоить ничего. Думаю, в Бразилии можно подрабатывать преподаванием, лекциями и т. д., потому что у бразильцев куча денег и многие из них знают французский, но поначалу нам наверняка придется туго. Я сказала о твоем предложении Сартру, который хотя и не прослезился, но был глубоко тронут. Он тоже согласен взять у тебя взаймы сто долларов и считает тебя настоящим другом. Мы действительно ценим, что ты принял наши проблемы близко к сердцу и предлагаешь свой золотой горшок. Спасибо, любовь моя. <...>

215.

Понедельник [5 марта 1951]
[Сен-Тропез]

Мой милый звероподобный зверь! Только я успела отправить свою засыпанную снегом корреспонденцию, как мне вручили твое длинное письмо, такое милое и пухлое от газетных вырезок, спасибо, огромное спасибо. Интересно, что ты такое мог рассказывать Роберту Лаури[1] о любви? Имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что значит это слово для человекоподобного человека? А он, интересно, что понимает в любви? Приятно узнать, что ты держишь в Вабансии свободное спальное место на слу-

[1] Роберт Лаури (род. в 1919 г.) — американский писатель.

чай моего приезда. Ты думаешь, такое может случиться? Все зависит от тебя, от Сталина и от Трумэна. Умер Андре Жид, газеты пишут о нем в самом омерзительном тоне, хотя и отдают ему должное как писателю. Мирно скончаться в восемьдесят один год в окружении преданных друзей — вот поистине умная смерть. Жида люто ненавидели два ревностных католика: прозаик Мориак и поэт Клодель. Наша приятельница Кассуле придумала великолепный розыгрыш. На следующий день после смерти Жида она послала Мориаку телеграмму: «Ада нет. Гуляй на полную катушку. Извести Клоделя. Андре Жид». Мориак в ярости (он не знает, кто это сделал).

Собираюсь завтра сесть за работу после двух недель отдыха. Колено мое прошло, Бост, который тоже повредил колено, уже давно перестал хромать, и мы с ним целыми днями катались с гор на лыжах под ослепительным солнцем. Правда, в воскресенье наш очаровательный тихий уголок превратился в сумасшедший дом: понаехали машины и автобусы с побережья, сотни людей хлынули на спуски, где в будни бывает не больше двадцати человек. Все сбивали друг друга с ног: за день — шесть переломов и несчетное количество вывихов. Когда это случается, пострадавшего сразу же отправляют на санях вниз, потому что в нашей деревне нет врача. Ближайший врач в пяти милях. Ты, конечно, был бы возмущен, так же как и нашими пляжами, где людям позволяют тонуть в свое удовольствие.

Вчера мы спустились вместе с Бостом на побережье, в прелестный портовый городок Сен-Тропез, где, надо сказать, довольно холодно. Собираюсь провести тут месяц. Дома почти не отапливаются, зато вид великолепный. Сен-Тропез считается модным и изысканным местом, летом сюда съезжается весь Сен-Жермен-де-Пре, но сейчас тут пусто и жизнь течет как в обыкновенной средиземноморской деревне.

Я прочла биографию Мелвилла, какой человек! Он мне очень нравится — ты знаешь, что в Риме он останавливался в нашей «Минерве»? И очень хорошую американскую книжку о Джойсе. Не заглядывал ли ты случайно в его «Поминки по Финнегану»? Париж готовится пышно отпраздновать в этом году свой двухтысячелетний юбилей. По сравнению с ним Чикаго кажется совсем юным, ты не находишь? Кстати, самый красивый дом в Сен-Тропезе, над пристанью, принадлежит Маккормикам, старинной чикагской семье. Они каждый год обновляют обстановку, и это всегда чудесная старинная провансальская мебель.

Тут арестовали массу бабушек, накормивших внуков отравленными пирожками, и десяток молодых людей, поубивавших своих папаш, — вот тебе новый французский стиль. Мы уже меньше боимся войны, но, по мнению Вашингтона, это опасное легкомыслие: нам следует продолжать нервничать. Нет уж, хватит, надоело жить трясясь от страха. <...>

Вторник

Письма нет. Наверно, на сей раз ты наклеил столько марок, что оно унеслось в Германию или в Италию. Жаль, в такое затишье было бы очень приятно получить письмецо, особенно из моего любимого Форреста, хотя в свое время я предпочитала Вабансию.

Бост уехал в Париж. Ольга, как он пишет, решила бросить театр, поэтому ходит мрачная, и ему приходится нелегко. <...> Раймон Кено стал членом Гонкуровской академии — поступок странный и, в общем, огорчительный, потому что это своего рода мафия, конформистская, приспособленческая и никому не интересная. Камю, Сартр и я всегда отказывались в нее войти. Сартр уже не знает, есть ли у него во рту хоть один зуб, который бы не болел.

Понедельник

Письма все нет. Я ждала, ждала, больше не жду и отсылаю свое. Небо проясняется, погода хорошая. Я очень много работаю. Пишу книгу — твою книгу, — роман о Франции первых послевоенных лет[1]. Пытаюсь передать атмосферу радостного возрождения, когда все казалось возможным, и постепенное разочарование. Роман будет очень длин-

[1] «Мандарины».

ный, с огромным количеством персонажей, множеством сюжетных линий. И среди них некое подобие нашей с тобой истории: 1) потому что такая любовь — между Чикаго и Парижем — кажется мне типичной для нашего времени, когда самолеты сближают города, но не делают их реально ближе и т. п., 2) а главное, потому что мне приятно ее вспоминать и воссоздавать на бумаге. Сейчас я как раз пишу эту часть, она будет короткая, но мне очень хочется, чтобы получилось хорошо. Я очень тщательно ее отделываю. Это, конечно, неосторожно с моей стороны, потому что память у меня хорошая и, когда я вспоминаю, все для меня оживает, становится абсолютно реальным и я впадаю в тоску. В такую тоску, что мне даже тяжело писать тебе. Слишком много любви скопилось во мне и не находит выхода. Ты такой милый в моих воспоминаниях.

Мне нисколько не жаль, что на твоем бедном девственном сердечке навеки останется темное пятно. Можно размассировать колено или лодыжку, но с сердцем это не получается: я чувствую, что мое покалечено безнадежно и больше мне не послужит. Но оно вполне сгодится для тебя, мой бедный дикий зверь. Оно твое навсегда, как и

твоя Симона.

216.

27 марта [1951]
[Сен-Тропез]

Нельсон, дорогой мой ты! Так долго не было писем, и вот вчера — какое облегчение, какое счастье — получила наконец вместе с фотографиями известия от тебя. Очень смешные фотографии, особенно ты с противными поросячьими глазками. Что ж, раз ты любезно приглашаешь меня в гости, с моей стороны невежливо было бы отказаться. И потом, должна же я полюбоваться сверкающими красками Вабансии и новыми красотами на Форрест авеню![1] На самом деле, для меня сильное потрясение осознать, что мы скоро опять увидимся. Я впервые за много времени счастлива. Обещаю в этом году вести себя прилично, плакать не больше двух раз в день, кричать не чаще двух раз в неделю и кусаться разве что раз в месяц.

Но есть одна сложность: конечно, если иного выхода нет, я могу приехать и в сентябре, но если Аманде все равно, то, может быть, она возьмет себе август и начало сентября, а я — конец сентября и октябрь, потому что для меня так намного, намного удобнее. Если это невозможно, то я найду способ приехать раньше, в конце августа, и пробуду до ее приезда. Продумай, как будет лучше для всех. В любом случае знать, что мы скоро встретимся, необычайно радостно для меня.

Женщина, которая стоит рядом с Сартром на фотографии в газете, — это фантастическая шлюха, я тебе много рассказывала и писала о ней. В молодости она жила в гареме султана в Марракеше (помнишь этот огромный дворец, где мы с тобой были?). Потом вышла замуж за очень богатого генерала, сменила несметное количество любовников, снималась в кино и была певицей, пока ей не пришлось бросить петь из-за болезни горла, спала с немецкими офицерами, за что была острижена во время Освобождения, потом вышла замуж за еврея, известного борца с нацизмом, и это слегка подправило ее репутацию. Она миллионерша и владеет театром, где идут пьесы Сартра. Эта женщина — само бесстыдство. Однажды она вдруг выдала Сартру, Босту и мне: «О, полный блеск, сегодня мой муж трахнул меня в задницу! Что, разве неправда?» Муж ответил: «Правда, но не надо говорить так в присутствии слуг, ты их шокируешь!» На прошлой неделе она пригласила нас с Сартром на свою огромную уродливую виллу, но из-за больного горла не могла говорить, и это доводило ее до исступления — тут я ее хорошо понимаю.

Работаю без передышки. А ты? Спасибо, милый, за ромовые пироги, хотя я их еще не попробовала. У меня голова идет кругом от перспективы встречи с тобой. Я решила серьезно заняться изучением кулинарии и привезу дюжину бутылок коньяка — это оживит любое блюдо.

До свидания, милый, целую тебя от всего своего гадкого сердца.

Твоя Симона

[1] Осенью 1950 г. Аманда, бывшая жена Олгрена, снова переехала к нему и сделала везде ремонт, о чем Олгрен сообщил Симоне, и та отреагировала не без сарказма в одном из писем.

В сентябре 1951 г. Симона де Бовуар в последний раз приехала на Форрест авеню. На сей раз месяц в доме на озере прошел спокойно, хотя Олгрен не изменил своего намерения снова жениться на Аманде. Однако перед самым отъездом в ответ на слова Симоны о том, как хорошо, что они остались друзьями, он сказал: «Это никакая не дружба. С моей стороны всегда будет только любовь».

229.

Вторник [30 октября 1951]
Отель «Линкольн», Нью-Йорк

Нельсон, бесконечно любимый! Я умираю от усталости, но не могу лечь, не написав тебе. Было так трудно расставаться, особенно через полчаса после того как я услышала, что по-прежнему небезразлична тебе, так горько сознавать, что можно было бы отложить мой отъезд, знай я об этом раньше. Я не нахожу себе места и не смогу успокоиться, пока не выскажу тебе все, что чувствую. Всю дорогу — в поезде, в такси, в самолете — я плакала и мысленно говорила с тобой. Я знаю, ты не любишь слов, но дай мне хоть раз поговорить с тобой, и пусть тебя не пугают мои слезы.

В том предисловии, которое ты мне дал вчера прочесть, Томас Манн пишет, что перед каждым припадком Достоевский переживал мгновения неописуемого блаженства, которое стоит десяти лет жизни. Так вот, ты умеешь за одну секунду вызвать у меня лихорадку, которая стоит десяти лет здоровья. Наверно, твое гадкое сердце, хотя оно глубокое и горячее, не вспыхивает так легко, как мое, и ты не можешь понять, в какой шок ты меня поверг, вернув мне внезапно свою любовь. Я буквально больна. И чтобы прийти в себя, мне просто необходимо тебе написать, поэтому прости, если мое письмо покажется сумбурным и глупым. К тому же мне часто хочется тебе сказать, высказать, рассказать все, что я думаю о нашей с тобой истории.

С самого первого дня я испытывала чувство вины перед тобой. Я слишком мало могла тебе дать, хотя моя любовь так велика. Ты верил мне, я знаю, ты понял и принял мои объяснения. Ты никогда бы не согласился навсегда переселиться во Францию, хотя у тебя в Америке нет и не было ни перед кем таких обязательств, какие удерживают меня в Париже. Не хочу опять оправдываться, но я не могла бросить Сартра, писательскую работу, Францию. Думаю, ты веришь мне, когда я говорю, что не могла. Но понимание не меняет самого факта: я не отдала тебе жизнь. Я отдала тебе сердце — это все, что я могла, — но не жизнь. Да, я приняла твою любовь и обрекала ее навеки оставаться заочной. Все, что ты по этому поводу мог сказать и говорил, я тоже говорила себе, обдумывала и передумывала сотни раз. Я чувствовала себя виноватой постоянно — поверь, это очень тяжело, особенно когда чувствуешь себя виноватой перед самым любимым человеком. Я причиняла тебе боль разлукой, но мне было не менее больно. Я все время боялась, как бы ты не решил, что я спокойно беру себе самое приятное в нашей любви, не заботясь о том, что все неприятное достается тебе. Это не так. Мне не удалось дать тебе счастье, которое должна приносить большая любовь, но и я была очень несчастна. Я тосковала по тебе каждую минуту, испытала все формы и виды этой тоски, и сознание собственной вины, мысль о том, что ты можешь не простить меня, совершенно меня добивали.

И раз я могла дать тебе так мало, я сочла вполне справедливым, что ты решил освободиться от любви ко мне. Но справедливость твоего решения не сделала его менее жестоким. Первый раз, в Нью-Йорке, мне было невероятно тяжело, а в прошлом году еще тяжелее. Пойми, я столько плакала и вела себя, в общем, как ненормальная, потому что ты нанес мне глубокую рану, и она не затягивалась весь год. Ведь нестерпимо больно, когда у тебя отнимают любовь, хотя ты сама любишь так же сильно, как прежде, и никак не ожидаешь, что тебя вдруг отвергнут. Однако со временем я приняла все как свершившийся факт и в сентябре, когда мы снова увиделись, изо всех сил старалась как-то приспособиться к ситуации, примирить для себя твою дружбу и мою любовь. Это не приводило меня в восторг, но постепенно стало казаться переносимым.

А сегодня мне страшно, страшно по-настоящему, смертельно, потому что ты снова, уже в который раз, разрушил мою оборону. В твоем сердце опять есть для меня ме-

Ольга Казакевич, Нельсон Олгрен и Симона де Бовуар. 1949 г.

сто, сказал ты. Мне не нужно больше бороться с твоим равнодушием, и вот я обезоружена, совершенно обезоружена. Теперь новый удар может обрушиться на меня беспрепятственно, если ты решишь изгнать меня снова. Для меня невыносима даже мысль об этом. Я полностью в твоих руках, абсолютно беззащитна перед тобой и впервые в жизни умоляю тебя: или оставь меня в своем сердце, или изгони навсегда, но я не могу больше цепляться за твою любовь и вдруг обнаруживать, что ее больше нет. Я отказываюсь еще раз переживать эту муку, не могу даже вообразить такое.

Но я не совсем еще потеряла голову, и если ты влюбишься в другую женщину, то все понятно. Только когда ты будешь решать, бросать меня или нет, подумай и о том, что э́то означает для меня. Не отнимай у меня свою любовь прямо сейчас, оставь все как есть до нашей следующей встречи... Сделай, чтобы мы увиделись поскорее. Впрочем, и ты и я знаем: все будет так, как ты решишь, я не доставлю тебе никакого беспокойства. Это письмо — самое страшное, что может от меня исходить. Просто я на сей раз кое о чем тебя прошу. Я прошу постараться меня не гнать, а оставить. Как недолго я знала, что дорога тебе, как недолго! Всего полчаса, надо хоть немного продлить это время. Я хочу, чтобы ты поцеловал меня с любовью еще хоть раз. Я так люблю тебя. Я любила тебя за твою любовь ко мне, за остроту и постоянную новизну физического желания и счастья, но даже когда все это исчезло — или наполовину исчезло, — я упрямо продолжаю любить тебя за то, какой ты есть. Потому что ты — это ты, независимо от того, что ты мне даешь или не даешь, и ты в моем сердце останешься навсегда. Забрезжившая надежда сделать опять нашу любовь счастливой меня сломила. Я просто жалкая груда развалин, поэтому не сердись на меня за безумное письмо.

Я уже в отеле «Линкольн», сейчас постараюсь поспать. Ночь пугает меня. За всю свою жизнь я ничего не хотела так сильно, как опять увидеть тебя. <...>

Твоя Симона

233.

<...>

Понедельник [3 декабря 1951]

Я получила твое письмо. Нет, оно меня не обидело. Я сама просила тебя объяснить, что происходит в наших отношениях, и лучше мне знать все, как оно есть. Но ты несправедлив. Вспомни, в этот приезд я за все время не вымолвила ни слова о любви, зато ты перевернул мне всю душу, сказав за полчаса до расставания, что любишь меня. В Нью-Йорке я почувствовала, что больше не в состоянии выносить эту игру, когда ты то броса-

ешь меня, то зовешь назад, и так год за годом. Поскольку ты сам и таким нежным тоном сказал, что не разлюбил меня, я попросила тебя быть последовательным и не говорить мне сегодня одно, а завтра другое. Но именно это ты и сделал. Ладно, сочтем это твоим окончательным решением, и я буду из него исходить.

Несправедливо утверждать, будто я хочу прибрать к рукам твою жизнь, не отдавая свою. Я постоянно (на протяжении последних трех лет) была готова к тому, что ты можешь полюбить другую, и даже в Гэри, в последний день, опять повторила, что хочу сохранить твою дружбу, даже если ты женишься. Не понимаю, каким образом я «связывала тебя по рукам и ногам целый год», когда я даже не предлагала встретиться, пока ты сам меня не позвал. Не вижу, какими эмоциональными обязательствами я тебя обременила: мы провели приятный отпуск, и никаких обременительных эмоций не возникало до последней минуты. В чем я виновата перед тобой, я знаю, но причина в нашем положении, во всей моей предшествующей жизни, и я говорила тебе, как мне тяжело. Но я знаю и в чем я не виновата. Я действительно никогда не стремилась связать тебя какими-то обязательствами. Может быть, мое письмо из Нью-Йорка было чересчур бурным, но ты сам вызвал этот взрыв. Мне необходимо было знать твой окончательный выбор: продолжать все, как есть, пока ничто не мешает, или убить нашу любовь. В нью-йоркском письме я хотела сказать только одно: не убивай ее, пока не полюбишь другую женщину, но если ты решишь иначе, то скажи это наконец ясно, мне так будет легче. И несправедливо винить меня в том, что мы провели вместе всего месяц — ведь ты только на месяц меня и звал. Если бы ты захотел, если бы согласился приезжать иногда в Париж, мы могли бы проводить вместе по три-четыре месяца в году, и все было бы по-другому.

По-моему, ты был зол, когда писал. Но я не давала тебе повода для злости, и если бы считала иначе, то не пыталась бы так упорно сохранить твою дружбу. Я отдала тебе все свое сердце и уже давно почти ничего не просила взамен. Не мог же ты ожидать в прошлом году, что я поведу себя как заводная кукла и не буду страдать, узнав, да еще так внезапно, без всякой подготовки, что ты меня больше не любишь. А в этом году я в точности придерживалась тобою же установленных правил. Нет, твое негодование несправедливо.

Ладно. Больше я к тебе не приеду, если ты сам не попросишь. И всегда буду счастлива приехать, если позовешь, даже просто в качестве приятельницы. Все равно я рада получить последний поцелуй от тебя, чья любовь была для меня бесценна. Я не стану делать усилий, чтобы разлюбить тебя, но это не доставит тебе больше неприятных минут. Надеюсь, твое раздражение против меня пройдет и ты вернешь мне свое дружеское расположение. Остаюсь навсегда

твоей Симоной.

257.

15 февраля [1954]

Дорогой мой Нельсон! Ты просто чудо, как всегда: пишешь такие длинные письма. А я все никак не соберусь ответить. На сей раз, правда, у меня есть оправдание. Во-первых, я уезжала. А когда вернулась неделю назад, хотела сразу тебе написать, но заболела — ничего серьезного, просто грипп или что-то вроде того — и валялась в постели с пустой головой. Сейчас мне лучше, пришло уже третье твое письмо, и я хочу ответить непременно. Я приняла бензедрин, чтобы немножко взбодриться, села за стол и взялась писать, пусть даже у меня не хватит сил сегодня закончить.

Спасибо, милый, от всего сердца спасибо за то, что ты так со мной откровенен[1]. Кое о чем я догадывалась, и твой рассказ подтвердил мои догадки. Грустно. Боюсь, ты не щадишь и Аманду тоже. Взять и уехать в Чикаго, ни слова не говоря и даже не написав

[1] Олгрен мечтает расстаться с Амандой и приехать в Париж, но американские власти с 1953 г. отказывают ему в паспорте, мотивируя это былыми связями с компартией. Финансовые дела тоже обстоят плохо. Работа ради денег его тяготит. Надежды на выгодную работу для Голливуда рухнули после процесса над супругами Розенберг, в поддержку которых он выступал. Он пишет Симоне длинные письма, подписывая их «Американский пленник».

оттуда, — по-моему, это нехорошо, если говорить честно. Чего ты добьешься таким поведением? Ситуацию так не разрядишь. На мой взгляд, лучший выход сейчас — работать, заработать денег, чтобы спокойно сесть за книгу, и искать счастье в этом. Главное — опять увидеть в работе не ловушку, а источник радости. И тогда было бы чудесно приехать в Париж, как только появится возможность, и пожить здесь. А побеги ни к чему не ведут — я не слишком много морализирую? Ты спрашиваешь, «не исчезла ли магия из моей жизни». Про свою жизнь я уже давно ничего тебе не пишу, потому что, как ты сам однажды сказал, трудно говорить правду, всю правду. Нужны долгие прогулки вдоль Сены или еще каких-нибудь рек, чтобы мы могли все рассказать друг другу по порядку. Но я сделаю над собой усилие, потому что его сделал ты. Так вот, магия, конечно, исчезла. И больше не вернется. В первую очередь — а может быть, и не в первую, не важно, — из-за моего возраста. Окружающий мир все настойчивее берет власть надо мной, и от него не исходит больше никаких чар. А во-вторых, — и это, по сути, главное, — я не смогу больше никого полюбить той любовью, какой любила тебя, я люблю, но по-другому. Что-то кончилось навсегда. Однажды я уже приводила этот пример: Ван Гог мог жить без отрезанного уха, но это была жизнь без одного уха. Так и я живу жизнью без магии. Однако я счастлива. Счастлива тихо, но безоговорочно. Молодой человек, которым я сейчас увлечена, настолько моложе меня, что я воспринимаю его скорее как сына, нежели как любовника. Но этого он от меня и ждет, ему нужнее материнская нежность, чем что-либо еще. Наверно, поэтому мы и сблизились. Ничего подобного у меня в жизни не было, наши отношения не похожи ни на какие другие, их даже не с чем сравнить. Он покорил меня своей любовью, преданностью и беззаветным доверием, с которым вручил мне себя, — действительно как ребенок, хотя в нем нет ничего инфантильного. Это трудно передать в письме. Но думаю, ты сумеешь понять, отчего я с ним счастлива, хотя и без магии. И кажется, это надолго. Возможно, безумие так говорить при нашей разнице в возрасте, но он и сам слегка безумен, как все, кто был мне дорог и интересен. Пока он любит меня, я буду отвечать на его любовь.

Ну а что касается остального, то, как ты знаешь, жить в Париже намного приятнее, чем в Чикаго. Работа временами идет туго, я пустилась в очень трудное предприятие и не уверена, что у меня получится. Но меня поддерживают друзья, и прежде всего Сартр, который играет такую же роль в моей жизни, как и прежде. Словом, да, у меня все сейчас хорошо. И было бы совсем замечательно, если бы ты тоже был безоговорочно счастлив, а не просто «не очень несчастлив», и мы наслаждались бы нашей дружбой, не заочной, чернильно-бумажной, а живой и зримой.

Теперь быстро расскажу, как провела этот месяц. Мой друг раздумывал, что делать на зимние каникулы, а я мечтала куда-нибудь сбежать из Парижа после трех месяцев каторжной работы. И мы, как-то неожиданно для самих себя, вдруг сорвались с места и укатили на моей новой машине. За день доехали до Марселя, погрузили машину на пароход, а утром проснулись уже в Алжире, дождливом и мрачном: масса нищих, страшная бедность. Мы двинулись на юг, к Сахаре, потом в Тунис. Это была целая эпопея — дороги ужасные, песок и камни, колею почти не видно. Но каждый раз, когда мы застревали, неожиданно появлялась какая-нибудь машина и нас вытаскивали.

Милый, я снова увидела Меденин и Джербу. Да, они еще существуют, евреи и арабы Меденина, такие же живописные и удивительные, как раньше. Только магия исчезла, исчезла совсем. В темной сводчатой кофейне на Джербе никто не курил гашиш, не прыгал в бассейн, чтобы охладить бутылки с пивом, никто вообще не сказал нам ни слова. Нет больше Амера Хассина, нет наргиле. Да, пейзажи все те же, и верблюды так же тянут повозки, но нет больше маленьких ночных слонов, нет чуда. Тунисцы ненавидят французов еще больше, чем прежде, и они по-своему правы, но неприятно испытывать это на себе. Грязь, нищета, убожество, голод слишком бросаются в глаза, трудно на это не реагировать. Обратно я села на самолет, а машину отправила морем, она ждет нас в Марселе. Я ничего не сделала, ничего не написала за эту поездку, зато много читала, главным образом переписку Ван Гога. Прочти обязательно, если появится перевод. Потрясающий кусок, где он сходит с ума, сам понимает это и живет между отчаянием и надеждой! Какой художник, какой человек! Мне бы хотелось когда-нибудь написать о нем! <...>

Ладно, милый, я падаю от усталости. Если забыла ответить на какие-то твои вопросы или рассказать о чем-то важном, сделаю это потом, на сегодня все. Есть ли хоть малейший смысл в том, что я накатала, и если да, то какой? Но ты разберешься, ты ведь умный — если вообще не самый умный на свете. До свидания, самый умный, самый чудесный человек, мой маг. Я помню магию, я никогда ее не забуду.

Твоя Симона

262.

12 июля [1954]
[Барселона]

Дорогой мой Нельсон! Как видишь, мне не сидится на месте — сначала Лондон, теперь Барселона. В Лондоне я долго не выдержала, всего четыре дня. Я люблю этот город, хотя там довольно неуютно — все закрывается в одиннадцать часов, а по воскресеньям в десять. Сартр должен был вернуться в Париж почти одновременно со мной, но в субботу Бост с мрачным видом сообщил: «Только что звонили из Москвы в редакцию одной из коммунистических газет. Оттуда нам передали, что Сартр заболел и лежит в больнице в Москве». Как я перепугалась! Я решила, что у него от переутомления случился удар, как у Тореза. Мы пытались связаться с Москвой через эту газету и через советское посольство, а там нам сказали: «Да вы позвоните в Москву сами!» Мы думали, что это нереально, но оказалось проще простого. В гостиницу, где Сартр остановился, мы дозвонились за пять минут, там нам дали телефон больницы, и я позвонила туда. Сартра позвали к телефону. «Как ты себя чувствуешь?» — «Очень хорошо». — «Наверно, все-таки не очень хорошо, раз лежишь в больнице». Он растерялся: «Откуда ты знаешь?» — «Знаю, и все». Тогда он признался: русские непрерывно поили его водкой и грузинскими винами, все время куда-то возили — на поезде, на самолете, на машине, — не давали выспаться, и в результате он свалился с гипертонией. Тогда ему дали наконец неделю покоя, чтобы прийти в себя и отоспаться. Через пять дней после моего звонка он уже был в Париже, усталый, но безумно довольный — и тем, что съездил в СССР, и тем, что вернулся во Францию. Я свозила его ненадолго за город, и теперь он здоров. Клянется, что просто не мог меньше пить и есть. Русские держались с ним поначалу очень настороженно, пока на каком-то обеде кто-то вдруг не крикнул: «Ребята, это же свой человек, и я готов спорить, что честный! Он ест и пьет от души». После этого бедняга Сартр чувствовал себя просто обязанным обжираться и пьянствовать «от души», доказывая свою честность. К тому же они невероятно гостеприимны, постоянно хотели сделать ему приятное, как можно больше показать, и приходилось на все соглашаться, чтобы их не обидеть. В общем, он в восторге от своей поездки. Они там по-настоящему хотят мира, стараются улучшать постепенно условия жизни. После смерти Сталина подул ветерок свободы. Конечно, до идеала еще далеко. В смысле интеллектуальной жизни, литературы картина пока довольно жалкая, и они это понимают. Ситуация парадоксальная: писатели получают бешеные деньги и печатают всякую халтуру, пекут по книге в год, хорошо ли, плохо ли — как правило, плохо, — чтобы сохранить свое положение. Вдобавок они бдительно следят, чтобы все писали в одном и том же стиле, словом, никакого настоящего творчества не допускается. Живопись тоже никуда не годится, но Сартр привез замечательную музыку: узбекские народные песни и великолепные русские хоры. И симфонию Шостаковича, но не ту, что есть у тебя. Он целыми днями говорил только про СССР и не мог остановиться, я просто не в состоянии все тебе пересказать. На будущий год он собирается в Китай, и я почти наверняка поеду с ним, вот это будет потрясающе!

Я правлю верстку моей книги, которая будет называться «Мандарины». Не знаю, как называются по-английски эти китайские сановники — их принято считать косными, но они составляют интеллектуальную верхушку Китая, и из них вышли многие вожди революции. Для французского слуха название хорошее. Книга выйдет в начале октября. Интересно, как ее примут?

В Париже лета нет, дождь, холод, я рада, что могу взять свое в Испании: мы приехали сюда два дня назад на машине, вместе с моим другом. Барселона совсем не изменилась

с тех пор, как я была здесь с Сартром двадцать лет назад. Какой живой, симпатичный город! Я имею в виду жизнь улицы, потому что буржуа и церковники здесь на редкость противные. Ложатся здесь поздно, в два часа ночи все кафе и магазины открыты, люди сидят, болтают или гуляют по Лас-Рамблас и тоже говорят без умолку. Потрясающий китайский квартал — Баррио Чино, невероятно грязный и бедный. Он специализируется на «развлечениях»: страшное количество борделей, кабаков с проститутками и т. п. Всюду в маленьких магазинчиках продаются нарядно упакованные презервативы — в ярких обертках, в фольге или в прелестных коробочках, как конфеты или леденцы. На каждом шагу висят огромные вывески: «ГОНОРЕЯ, СИФИЛИС», а на пороге стоит человек в белом халате и ждет пациентов. Венерических клиник вообще не счесть...

Я думала о тебе, о том, как бы тебе здесь понравилось. Ты бы пришел в восторг от чудовищных местных толстух, зазывающих клиентов. Может быть, ты еще сюда попадешь и наверняка будешь без ума от Барселоны.

Но сначала, милый, приезжай в Париж. Эллен держит для тебя твой гонорар, приезжай его тратить. Объясни, что у тебя в Париже куча денег и ты желаешь ими воспользоваться. Можешь писать в Мадрид «до востребования», так будет быстрее. С любовью

твоя Симона

267.

3 января 1955

Милый! Отвечаю сразу, чтобы успеть поздравить тебя с Новым годом, пока это еще не потеряло смысл. Желаю тебе поскорее дописать книгу, заработать на ней много денег, начать новую, которую тебе хочется, и получать от работы только удовольствие! Не проигрывай слишком много в покер, выигрывай иногда. Оставайся здоровым, сильным и очаровательным, словом, таким, как всегда. Пусть не ослабевает в тебе желание приехать в Париж: никогда не поздно выпить за моих «Мандаринов» вместе с французскими друзьями, которые очень по тебе соскучились. И последнее: лучше всего, если бы ты приехал в этом году. Может быть, так и случится? Пусть по ночам тебе снятся прекрасные сны, а дни будут полны радости. Вот мои новогодние пожелания, и я шлю их тебе от всей души.

Известно ли тебе, что «Тан модерн» печатает странный роман неизвестного автора «Человек с золотой рукой»[1]? Мы не можем опубликовать все целиком, но взяли очень много и разделили на три номера: декабрьский, январский и мартовский. Перевод так себе, вечная история: мы слишком мало платим Виану, чтобы требовать по-настоящему хорошей работы. Переводить тебя очень трудно, объем большой, а денег почти никаких. Виан хотел поскорее отделаться и схалтурил. Я чуть-чуть подправила, но недостаточно — слишком мало времени. Зато, надеюсь, в этом году книга выйдет наконец полностью!

Посылаю тебе авиапочтой, вместо новогоднего подарка, «Все люди смертны»[2] в переводе на английский и свои фотографии. Среди них есть одна, которая мне нравится, сделанная на днях. А на большой я снята два года назад, она не такая хорошая, зато, по-моему, забавная.

9 января

Я опять не отправила письмо сразу и пишу уже в день своего рождения: мне сегодня сорок семь, дорогой, мы уже действительно немолодые люди. Получила твое маленькое письмецо с предсказаниями гадалки — я в эти штуки не верю. Она точно ничего про тебя не знала? Например, про твою женитьбу? Но главное, она предсказала тебе долгую жизнь, и это замечательно.

Несколько смешных историй про Гонкуровскую премию. У нас лауреату положено являться на торжественный обед, чтобы поблагодарить жюри; потом издатель устраивает большой коктейль, куда приходят журналисты, берут интервью, фотографируют

[1] Роман Олгрена.
[2] Роман С. де Бовуар.

— в общем, наверно, как у вас, когда присуждается Пулицеровская премия. Только в Штатах это церемония обязательная, а у нас можно и уклониться. Обычно, правда, никто не уклоняется, писатели всегда жаждут популярности. А я решила не ходить[1]. Во-первых, потому что газеты постоянно обливают грязью нас с Сартром. Во-вторых, после «Второго пола» меня во Франции и так все знают. И... короче, я не хотела выступать в роли гориллы в зоопарке, на которую глазеют все кому не лень. Поэтому я решила поиграть с журналистами в прятки. За два дня до премии они засели в бистро, хорошо тебе известном, напротив моего дома, и установили наблюдение за дверью. А я нашла в подъезде черный ход и в воскресенье вечером тихонько вышла через него и перебралась в никому не известную квартиру по соседству, которую мне устроил на несколько дней мой приятель: она принадлежит подонку-генералу, одному из виновников бойни в Алжире, но зато там никто не стал бы меня искать. Я преспокойно входила и выходила под самым носом у репортеров. В торжественный день мы с Сартром, Ольгой, Бостом и еще несколькими друзьями устроили маленький пир, а журналисты в это время торчали на лестнице у меня на улице Бюшри. Они околачивались там до ночи, жуя бутерброды и прислушиваясь к каждому шороху, уверенные, что я дома и рано или поздно выйду. Кто-то позвонил моей консьержке: «Это говорит Жан-Поль Сартр. Сейчас к вам зайдет молодой человек, будьте так добры, впустите его, пожалуйста, в квартиру мадемуазель де Бовуар». Но с моей консьержкой такие номера не проходят. «Впущу, если меня попросит сама мадемуазель де Бовуар». — «Ее нет дома, но она хочет, чтобы вы открыли». — «Пусть сама позвонит». Так они с ней и не справились. Целую неделю ее фотографировали, писали про нее, и она была страшно горда. Потом они пристали к моей прачке (той самой, что нашила на твое белье метки «С. Б.»): «В котором часу мадемуазель де Бовуар выходит обедать?» — «Мадемуазель де Бовуар не обедает никогда». Чистая правда, потому что я обычно работаю часов до трех-четырех, перекусываю наспех и ем уже потом, поздно вечером. Это их доконало.

Крупные воротилы — я имею в виду издателей газет — бесятся от злости: мое поведение означает, что я не считаю их такими уж всемогущими и могу без них обойтись. Один из них, редактор известного иллюстрированного журнала, так разозлился, что напечатал мой портрет в изуродованном виде: взял хорошую фотографию и нарочно ее испортил — дорисовал круги под глазами и т. п. Я получилась такая старая и страшная, что знакомые не могли понять, что со мной стряслось. К счастью, появилось много других фотографий, хороших, и они перевесили. Были и хорошие статьи. Вообще, рецензии были почти все отличные, и книга продается даже лучше, чем обычно после Гонкуровской премии. Я получаю кучу писем. Это очень приятно, потому что давно забытые люди вдруг на несколько минут воскресают, чтобы меня поздравить. Друзья детства, однокашники, мои бывшие ученики из тех времен, когда я еще была начинающим преподавателем. Спасибо, что прислал такую милую статью Дженет[2]. Мне интересно, как американская пресса реагирует на мою книгу. Кнопф пишет мне гневные письма, потому что я обещала роман другому издателю. Но где они были до премии? Очень бы хотелось узнать твое мнение. Все расхваливают «историю любви с американцем». Но на самом деле это вовсе не наша с тобой история, такое было бы невозможно, я просто попыталась кое-что из нее взять и описать настоящую любовь между мужчиной, немного похожим на тебя, и женщиной, немного похожей на меня. Я старалась вызвать к ним симпатию, и большинство читателей считает, что в этом я преуспела. Но так хотелось бы узнать твои впечатления!

Ладно, меня ждет важная работа — отобрать фрагменты «Золотой руки» для мартовского номера, поэтому прощаюсь. Напиши поскорее, даже если собираешься на охоту за призраками в какие-нибудь фантастические края.

Ты для меня никогда не станешь призраком.

Твоя Симона

---

[1] Гонкуровская премия была присуждена С. де Бовуар в 1954 г. за роман «Мандарины».

[2] Американская журналистка, критик.

В 1955 г. в Голливуде по роману «Человек с золотой рукой» выходит фильм, собравший около миллиона долларов, но Олгрену не причитается из них ни гроша. Он зарабатывает на жизнь игрой в покер, и ему едва хватает, чтобы платить за жилье. В дом на озере он вернуться не может, так как единственным основанием для развода, на который Аманда не согласна, может служить его уход из семьи. Два года он скитается между Чикаго, Нью-Йорком и Флоридой, пока не получает наконец долгожданный развод. Это не освобождает его, однако, от необходимости содержать Аманду, хотя денежные дела его по-прежнему плохи. Он заканчивает новый роман, но издатель неожиданно отказывается его публиковать и требует вернуть аванс — восемь тысяч долларов.

В Америке тем временем выходит перевод «Мандаринов», и Олгрен отзывается о них в печати довольно резко, а потом просит прощения в письмах, ссылаясь на то, что журналисты исказили его слова. Он безуспешно хлопочет о заграничном паспорте, но получает его только в 1959 г.

279.

[Сентябрь 1959]

Очень дорогой, ничуть не изменившийся ты! Почему я пишу в Гэри? Я думала, домик на озере, сад с комарами и лагуна больше тебе не принадлежат. Да, конечно, обязательно приезжай весной в Париж подновить свои запасы магии! Не знаю, далеко ли мы заберемся в наших странствиях, но мой спутник жизни никак нам не помешает, поскольку я как раз подвела под этим черту. Почувствовала потребность опять стать свободной и стала. Так что можешь остановиться у меня, в твоем распоряжении будет отдельная маленькая комната. Ладно, разберемся на месте. Главное, приезжай. Сколько всяких историй, правдивых и не очень, я расскажу тебе, а ты мне! Приезжай, милый. И вовсе не нужно много денег, если ты будешь жить у меня, путешествовать на моей машине (страшно?) и есть мою стряпню (это уж точно страшно, я знаю). Приезжай, и мы чудесно, постариковски, поживем вместе. Жду.

Твоя Симона.

Сартр, Бост и вообще все требуют, чтобы ты появился до того, как облачишься в саван.

Весной 1960 г. Олгрен приезжает в Париж. Живет у Симоны де Бовуар, на улице Шельшер. Потом они отправляются вместе путешествовать по Европе. В августе Симона де Бовуар уезжает с Сартром в Бразилию. Олгрен остается во Франции до сентября. Это их последняя встреча.

283.

28 октября [1960]
Кубинский «Отель Насьональ»,
Гавана

Дорогой мой зверь, мой Нельсон! Столько всего произошло с тех пор, как я сделала попытку отправить тебе письмо из Белена (интересно, что из этого вышло?). Оттуда мы полетели в Манаус, это на Амазонке. Очень странный город. Когда-то он ненадолго разбогател на каучуке, экспортируя его во все страны мира. В те годы здесь выстроили огромный экстравагантный театр и массу не менее экстравагантных и очень уродливых зданий. А потом все разом кончилось: англичане украли семена каучуковых растений и стали разводить их в Индии. Манаус за каких-нибудь полгода оказался разорен, пришел в упадок, и теперь это мрачный нищий город, зажатый между непроходимыми джунглями и огромной рекой. Настоящее пекло с влажной жарой. А Амазонка! Миссисипи по сравнению с ней — жалкий ручеек. У меня там вдруг поднялась температура, но я ни за что не хотела болеть в Манаусе, и мы первым же самолетом, в четыре часа утра, улетели в Ресифи (пятнадцать часов лету). Когда мы приземлились, я была полумертвая. В Ресифи тоже пекло, хотя и не такое ужасное, там дует приятный ветерок, но температура у меня продолжала подниматься, пришлось вызвать врача, и он поставил диагноз «тиф» — которого, естественно, не было, иначе я бы не выздоровела так быстро. Меня отпра-

вили в больницу и пичкали антибиотиками, убивая болезнь, а заодно и меня, — слабость была такая, что я провалялась там неделю. Я лежала в отдельной палате, но все равно это был ад. Очень шумно, невозможно сомкнуть глаз, есть почти ничего нельзя и страшная скука! В довершение всего спятил Сартр. Мы выбрали Ресифи, потому что оттуда собирались вылетать во Францию, но отчасти и потому, что там живет рыжая бразильянка, в которую втрескался Сартр. И пока я маялась в больнице, он водил ее на прогулки. Ты не представляешь себе, что такое северный бразильский город, такой, как Ресифи. Девушки обязаны хранить невинность до свадьбы, иначе на них никто не женится. Гулять с мужчиной можно, только если собираешься за него замуж, иначе прощай репутация. Эта девушка достаточно сильная и независимая, ей очень нравится Сартр, и она часто и помногу с ним виделась, хотя ее осуждала семья и весь город. Но она по-настоящему верующая и, когда поняла, что Сартр не прочь с ней переспать, пришла в такой ужас, как будто увидела самого черта. Они разругались. Сартр, один в этом мрачном, враждебном городе, жил кошмарной жизнью, разрываясь между больницей, где я лежала, и своей затерроризированной красоткой, каждый день напивался и, чтобы заснуть, глотал огромные дозы гарденала. В результате утром он едва стоял на ногах, передвигался держась за стены и весь день ходил по кривой. Когда он являлся ко мне, его осоловелый вид приводил меня в ярость, но я ничего не могла сделать. Девушка пила вместе с ним, и когда я наконец выздоровела, мы провели втроем кошмарную ночь: она давила в руках стаканы, обливалась кровью и грозила покончить с собой от любви и ненависти к Сартру и оттого, что мы завтра уезжаем. Мне пришлось спать рядом с ней, держа ее за руку, чтобы она не выбросилась из окна, и дать ей тоже хорошую дозу гарденала. Она очень мила и хороша собой, собирается приехать в Париж, и Сартр говорит, что женится на ней. А как же его алжирка? Ладно, там видно будет. А тогда я была больна, а он безумен, и вдруг из Парижа начинают сыпаться звонки и телеграммы, чтобы мы ни в коем случае не приезжали, не получив подробного письма от наших друзей, так как это вопрос жизни и смерти. Мы, в общем, понимали, что в Париже над нами сгущаются тучи, поэтому решили подождать, но письмо, посланное через Нью-Йорк, никак не приходило. Короче, мы застряли в этом проклятом Ресифи, и мне уже чудилось, что навсегда. В конце концов письмо пришло. Дело оказалось вот в чем: ты, наверно, знаешь из газет, что Сартр послал очень смелое, вызывающее обращение в связи с «процессом Жансона»[1], мы призвали молодежь отказываться воевать в Алжире, и власти за это намерены засадить Сартра за решетку (на самом деле не посмеют в нынешней ситуации), но главное, французские фашисты серьезно собираются с ним расправиться, и наши друзья считают, что он должен скрываться. Они советуют не прилетать на парижский аэродром, где нас поджидают полиция и ОАС, а взять билет до Испании, где кто-нибудь встретит нас и спокойно привезет домой на машине. Хорошо. Но тут нас похитила революционная Куба... В Бразилии так трудно связаться с кем-то по телефону или телеграфу, что кубинский консул не поленился проделать путь от Рио до Ресифи (2000 км), чтобы умолить нас приехать в Гавану. Как тут откажешь? Пришлось опять лететь на юг, в Рио, оттуда снова на север, в Белен, оттуда в Каракас и уже из Каракаса в Гавану. Хорошенькое путешествие! В Каракасе нас чуть не арестовали. Ладно, короче, мы на Кубе, в том же отеле, что и в марте, но атмосфера уже совсем не та. Кубинцы живут в ожидании американской агрессии, они напряжены, готовы драться, но очень подавлены, и их можно понять. У нас за всю неделю не было свободной минуты. Кончаю писать, потому что мы сейчас едем осматривать завод, обедать с рабочими, встречаться с Фиделем, а потом будем укладываться. Мы летим в Барселону, где нас встретит Бост с друзьями, и они увезут нас на машине. В следующий раз напишу уже из Парижа, где, надеюсь, меня ждет большая стопка нельсоновских писем. Пиши, любимый мой зверь. Боюсь, в квартире на улице Шельшер без тебя будет очень пусто.

Целую тебя крепко и долго, как хотела бы поцеловать на самом деле.

Твоя Симона

---

[1] Сартр был инициатором известного «Манифеста 121», который призывал французов отказываться от прохождения военной службы в Алжире и который подписали многие знаменитые деятели культуры Франции.

304.

[Ноябрь 1964]

Дорогой мой ты! Целую вечность не получала от тебя писем и не писала сама. Кое-какие сведения просачиваются: превосходная статья в «Нэйшн» об авторе сценария «Доктор Стрейнджлав»[1] (выскочила из головы фамилия). Забавное интервью, уже не помню в каком журнале, о женщинах, любви, браке и пр. То ли Ален, то ли Серж сообщили, что ты теперь невероятно элегантно одеваешься, — ты ли это?

Я провела два месяца в Риме и на Сардинии — нищий остров, печальный, прекрасный, созданный специально для тебя. Бездельничала, созерцала мир и читала детективы. За что теперь взяться? Я в нерешительности, и это меня слегка нервирует, потому что очень хочется писать. <...>

Сартр чувствует себя великолепно. Он невероятно строен (результат строгой диеты). Недавно видела Боста, а Ольгу пока нет. У них ситуация все та же. Она беснуется, скандалит и даже кусается. Конечно, она страдает, но отчасти виновата сама.

Я собираюсь в мае в Штаты и разыщу тебя, где бы ты ни прятался. В конце концов, меня заполучил Билл Тарг[2], и книга[3] выйдет к весне. Дай о себе знать, милый старый зверь, если только ты не слишком занят составлением своего гардероба. Как всегда с любовью

твоя Симона

■

[1] «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу» (1963) — знаменитая комедия Стэнли Кубрика. Сценарий Т. Саутерна.

[2] Уильям Тарг — американский писатель.

[3] «Сила вещей» в английском переводе. Олгрен обрушивается на книгу в печати, не считая нужным даже объясниться с Симоной лично. Переписка их на этом обрывается.

ЖОРЖИ АМАДУ

Каботажное плаванье

**Наброски воспоминаний,
которые никогда не будут написаны**

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

Незаконная радость бытия

На исходе двадцатого века в мировую литературу хлынул сущий поток масштабных произведений автобиографического жанра, написанных теми, в ком мы привыкли видеть властителей дум минувшей эпохи. Подытоживая прожитую жизнь, они заодно подводили итог и этой бурной эпохе, властно определившей их судьбы. Книга, фрагменты которой мы печатаем, должна, казалось бы, относиться к числу таких монументальных жизнеописаний. Но нет! Она упрямо и дерзко выламывается из этого ряда, вызывая недоумение уже тем заглавием, которое пожелал дать ей автор.

«Каботажное плаванье»? Ну кто усомнится, что бразильский писатель Жоржи Амаду в сознании миллионов людей, если прибегнуть к любезным ему мореходным терминам, — подлинный *капитан дальнего плаванья*, избороздивший чуть ли не все океаны нашего света, совершивший удивительные открытия, претерпевший жестокие штормы и счастливо избегнувший кораблекрушений? И что же? Вместо последовательного и обстоятельного рассказа о проложенных им маршрутах, вместо глубокомысленных раздумий о себе и своем времени, вместо хотя бы истории создания прославивших его книг автор предлагает читателю беспорядочную и нестройную россыпь случайных эпизодов, трогательных и забавных, порой чисто анекдотических, а подчас и не очень пристойных, бессистемную антологию житейских подробностей, схваченных на лету впечатлений, беглых (но метких) характеристик, — словом, этакую вереницу моментальных снимков, сохраненных цепкой памятью за долгие и стремительные годы *каботажного* (на этом термине он особо настаивает) плаванья вдоль берегов собственной жизни.

Вы не обнаружите здесь ни тщательно обдуманного плана, ни хронологической точности, ни, в особенности, того, что принято именовать ученым словом «концепция». И много еще чего из пережитого Жоржи Амаду демонстративно оставляет за бортом повествования, заявляя не без язвительности: «Описание событий грандиозных и ужасных, острую боль и безмерное ликование ищите в чванных и чинных мемуарах какого-нибудь знаменитого писателя, а меня — увольте!»

Уж не лукавит ли автор, категорически отказываясь считать себя известным писателем, выдающейся личностью? Против такого утверждения восстанут сотни тысяч — если не миллионы — читателей, которым Жоржи Амаду открыл свою, им увиденную и воспетую родину, заставил полюбить сотворенных им вольнолюбивых и беспутных героев, хохотать над их похождениями, плакать над их горестями.

А кто не знает, что Жоржи Амаду смолоду принял активное участие в освободительной борьбе своего народа, стал дисциплинированным коммунистом, разделял вместе с партией

© Jorge Amado, 1992
© А. Богдановский. Перевод, 1998
© Л. Осповат. Вступление, 1998

надежды ее и иллюзии, а нередко и сам поддерживал их и проповедовал? Коммунистическое учение долгие годы вдохновляло его творчество, и никому уж не вычеркнуть из литературы, а главное — из памяти людей, такие плоды этого творчества, как романы «Жубиаба», «Город Ильеус», «Бескрайние земли», «Красные всходы», исполненные любви к народу и веры в его победу над угнетателями.

Мы помним Жоржи Амаду участником и организатором Всемирного движения сторонников мира, развернувшегося в послевоенные годы. Вместе со своим закадычным другом Пабло Нерудой он стал глашатаем мира в Латинской Америке и был награжден Международной премией «За укрепление мира между народами», тогда еще называвшейся Сталинской.

И все же автор не так уж лукавит, когда, подчеркнуто игнорируя свою действительно мировую славу писателя и общественного деятеля, отмахивается от нее словами: «Я — просто писатель, просто личность». Да, просто личность, такая же единственная и неповторимая, как и любая из множества людей, его окружающих, разве что богаче других одаренная ненасытным жизнелюбием, неистребимой витальностью, художественной зоркостью да еще редкостным талантом дружбы и верности, — словом, всем тем, что сделало его таким, каков есть. С детства впитавший самые животворные соки родной баиянской земли, где смешались европейцы, индейцы, негры, мулаты, создавшие небывалую общность, в которой Амаду видит прообраз грядущего всечеловеческого братства, он сумел усвоить и претворить в слово специфическое мирочувствование своих земляков.

Что же это за мирочувствование? Вспоминаю слова великого грузинского философа Мераба Мамардашвили, выросшего в условиях, казалось бы, совсем иных и все-таки разительно сходных с теми, в которых возник феномен Жоржи Амаду:

«У меня было ощущение одного таланта, свойственного пространству, в котором я родился и вырос. Я бы назвал это талантом жизни или талантом незаконной радости. Я ощущал его в людях, меня окружающих, и в воздухе, и в себе я это ощущал... Радость наша была легкой и воистину незаконной: вот нет никаких причин, чтобы радоваться, а мы устраиваем радостный пир из ничего».

Неотъемлемой чертой этого мирочувствования, противостоящего сухому и трезвому прагматизму, было и остается народное мифотворчество, неразлучное с игровым, а то и смеховым началом.

В игровом — стало быть, вольном и фамильярном — общении с мифами, естественно рожденными гением народов, вырабатывался у Жоржи Амаду стойкий иммунитет к тем искусственным мифам, посредством которых овладевали массами и становились материальной силой политические идеи, нашедшие воплощение в тоталитарных режимах двадцатого века. Кстати сказать, такие мифы, исполненные «односторонней серьезности», категорически не допускают игрового к себе отношения, да и не располагают к нему.

Писатель смолоду был заклятым врагом человеконенавистнической мифологии расизма, которую он развенчивал и высмеивал во многих книгах. Куда трудней оказалось преодолеть другую политическую мифологию — ту, в которую выродилась марксистская идеология, изначально преследовавшая самые благие цели, хоть и не очень разборчивая по части средств для их достижения. И Жоржи Амаду отдал немалую дань этому вероучению, которое апеллировало не к низменным инстинктам толпы, а к братской солидарности трудящихся.

Сумев на какое-то время ослепить Жоржи Амаду, мифология эта все же не смогла его оскопить, а главное — ничего не смогла поделать с органически присущей ему человечностью, которая в конце концов вывела писателя на путь прозрения. Вехами на этом пути стали 1950—1952 годы, которые Амаду в качестве политического эмигранта провел в Чехословакии. Став очевидцем кровавых судебных процессов и массовых репрессий, он содрогнулся, но не изменил дружбе, не отвернулся от прежних, объявленных врагами товарищей. Затем на весь мир грянула правда (хотя и неполная) о преступлениях Сталина и его сподвижников. А в 1957 году Жоржи увидел маоцзэдуновский Китай, где уже вовсю бушевал культ «великого кормчего». Путешествовавший с ним по Янцзы Пабло Неруда рассказывает: «У Жоржи именно там, на борту парохода, среди причудливых береговых скал, началась другая полоса жизни. Не то чтобы он утратил веру в революцию, нет, он целиком ушел в литературное творчество, и его новые книги потеряли былую политическую направленность. В нем вдруг раскрылся истинный эпикуреец, и он принялся писать свои лучшие вещи, начав с «Габриэлы» — блистательного романа, в котором льется через край чувственность и радость бытия».

Так вернулся Жоржи Амаду к себе самому, к породившей его земле, которую он как бы впервые увидел свободными от идеологических шор глазами. И тут пошли одна за другой появляться книги, в которых действительность расцветает праздничной сказкой, где любят, страдают и пускаются в немыслимые авантюры бесшабашные, а порою и плутоватые люди, каким вот уж вправду не чуждо ничто человеческое. Книги эти сложились в целый мир, который стал достоянием миллионов, познакомившихся с ними в оригинале, в многочисленных переводах на разные языки, в кинематографических и телевизионных экранизациях.

Сегодня их автор — воистину народный писатель, один из последних, быть может по-настоящему народных писателей двадцатого века.

А когда, миновав восьмидесятилетие, Жоржи Амаду решил подвести итоги и собственной жизни, он понял, что не традиционные мемуары помогут ему «дать ответы на некоторые «как» и «почему», но именно «обломки и осколки воспоминаний», запечатленные так же свободно и прихотливо, как всплывают они в памяти.

Стоит ли их комментировать? Ведь они-то и есть лучший комментарий к той жизни, о которой я попытался дать самое общее представление. И при всей их обрывочности (а может, именно благодаря ей) они как нельзя лучше свидетельствуют о том, сколь любовно и благодарно умеет ценить этот человек каждое мгновение — смехотворное или скорбное, — подаренное судьбой, каждое впечатление, каждую встречу. Его веселая мудрость, в сущности, та же незаконная радость бытия, о которой так хорошо сказал грузинский философ. Этой мудростью и делится здесь с читателями наш старый, но навсегда молодой друг Жоржи Амаду.

ЛЕВ ОСПОВАТ

Посвящается:
Зелии — возлюбленной и сообщнице
Моим детям — Жоану Жоржи, Паломе, Педро и Ризии
Николь Занд, Жозе Карлосу де Васконселосу и Отто Лара Резенде

Когда все дружным хором говорят «да», я говорю — «нет». Таким уж уродился.
Ж. А. «Большая засада», 1984

...история рассказывается, а не объясняется...
Ж. А. «Исчезновение святой», 1988

Я — баиянец, романтичный и чувственный
Ж. А. Интервью журналу «Паратодос», 1958

Я стал записывать всплывающие в памяти эпизоды далекого и недавнего прошлого по чистой случайности: нежданно-негаданно выдалось свободное время. В январе 86-го мы с Зелией прибыли в Нью-Йорк на конгресс Международного ПЕН-клуба. Прибыли — и тотчас одновременно свалились с высоченной температурой. Супругов Амаду сразила жестокая пневмония. Поговаривали о госпитализации, но, к счастью, обошлось. Впрочем, нет худа без добра: мы не побывали ни на одном заседании, не услышали ни одного доклада, не приняли участия ни в одной дискуссии. Зато я стал вспоминать и записывать.

Сразу предуведомляю, что не несу никакой ответственности за точность дат: я с гимназических времен терпеть не могу хронологии. Так что время и место каждого эпизода даны если не произвольно, то весьма приблизительно — только чтобы примерно очертить эпоху и часть света.

Всем женщинам, повстречавшимся мне в этом плаванье, я дал имя Мария. Это самое прекрасное имя на свете, и пусть носят его те, с кем сводила меня судьба в портах захода и приписки, те, кто встречал и провожал меня на пирсе, кто смутной тенью следовал за моим кораблем.

Мне было шесть лет, когда произошла Октябрьская революция, от имени и во имя трудящихся провозгласившая в России советскую власть.

Мне скоро восемьдесят — и вокруг рушится порядок, установленный ею и укрепленный итогами второй мировой. В Европе возникает новая географическая и политическая реальность. Распадаются империи, гибнут режимы. Бойкие коммерсанты распродают на сувениры клочья «железного занавеса» — обломки Берлинской стены.

А та идеология, что представлялась нам когда-то кристально, стерильно чистой и безупречно научной, что смутила душу не одного интеллигента, что всколыхнула и повела на борьбу за свободу и счастье гигантские человеческие массы, что раз-

делила мир надвое, четко разграничив «добро» и «зло», — идеология эта оказалась догматической химерой. И привела она не к свободе и счастью, а к тирании. И недаром 7 ноября москвичи пронесли по Красной площади транспарант: «Пролетарии всех стран, простите нас!»

Уходит в небытие то, что казалось вечным. Творится небывалое и немыслимое. На наших глазах, на экранах телевизоров созидается История. Невероятные перемены — и в таком бешеном ритме, что день стоит года, а неделя столетия. Жаль только, не удастся досмотреть до конца. А хотелось бы.

Я решил опубликовать эти обломки и осколки воспоминаний в надежде дать ответы на некоторые «как» и «почему». За плечами у меня восемьдесят лет напряженной, насыщенной, наполненной событиями и страстями жизни, прожитой со вкусом и, смею думать, с толком. Пора, пора подводить итоги, подбивать бабки, сводить дебет с кредитом, а крохи и мелочи, составившие существо этого повествования, реализовать по себестоимости. Описание событий грандиозных и ужасных, острую боль и безмерное ликование ищите в чванных и чинных мемуарах какого-нибудь знаменитого писателя, а меня — увольте!

Я не рожден стать знаменитостью, меня не стоит мерить этими мерками — «крупный — мелкий», — я, слава богу, никогда не ощущал себя ни известным писателем, ни выдающейся личностью. Я просто писатель, просто личность. Разве этого мало? Я был и остаюсь жителем бедного города Баия, праздношатающимся зевакой, который бродит по улицам и глазеет по сторонам, именно в этом полагая цель и смысл своего бытия. Судьба была ко мне благосклонна и дала много больше того, на что я мог рассчитывать и уповать. Но мастерить себе монумент не стану. За славой не гонюсь. Да и что есть слава? Дым!

Итак, я хочу всего лишь рассказать кое о чем, вспомнить веселые и грустные эпизоды этого стремительного и оказавшегося таким коротким каботажного плаванья, имя которому — Жизнь.

Москва, 1952

Январь. Мороз градусов двадцать, на дворе воет метель. Мы с Ильей Эренбургом были приняты в Кремле очень высокопоставленными лицами и имели с ними крайне неприятную беседу. Распространяться не стану, скажу лишь, что речь шла о чехословацком писателе Яне Дрде — по его делам я и приехал из Праги в Москву, где мне, кстати, должны вручить Международную Сталинскую премию за укрепление мира между народами.

В мрачном молчании вернулись мы домой, в квартиру Эренбурга на улице Горького, выпили водки, и тут Илья мне сказал:

— Мы с тобой никогда не напишем мемуаров, Жоржи. Мы слишком много знаем.

Я припомнил недавний разговор с ответственными товарищами и согласно кивнул.

Впрочем, столь категоричное утверждение не помешало автору «Оттепели» несколько лет спустя, когда по стене советского мракобесия зазмеились первые трещины, а во тьме замерцал тоненький луч надежды, издать сколько-то томов своих воспоминаний, на последних страницах которых появляются в числе прочих и симпатичнейшие супруги Амаду.

Но вошло туда далеко не все: дочь Эренбурга Ирина рассказала мне в 88 году, что, приводя в порядок его архив, обнаружила материала еще на несколько томов. Однако напечатать их даже в либеральные хрущевские времена Илья не смог — он и вправду слишком много знал!

Да и я за свою долгую жизнь узнал немало такого, о чем поклялся молчать до гроба. Мне известны причины и следствия дел и событий, о которых я и словом не обмолвлюсь. А известны они мне стали потому, что был я активным членом одной политической партии, организованной на военный манер, действовавшей в глубоком подполье и отнюдь не гнушавшейся подрывной деятельностью. И вот вам пожалуйста — столько лет прошло, и давным-давно уж я никакой не активист, и вечно живое всепобеждающее учение, активность эту направлявшее, кануло, сгинуло и приказало долго жить, и «ре-

альный социализм» пришел к своему бесславному концу, а я до сих пор не считаю себя свободным от обещания держать в тайне то, что стало мне известно благодаря положению в партии. И хоть несдержанность моя никому повредить уже не может, а тайны не имеют ни малейшего значения, я все еще не считаю себя вправе нарушить однажды данное слово и предать... Предать гласности то, что доверено мне было по секрету. Очевидно, тайны эти со мною вместе и умрут.

Как я боюсь больниц, их холодных коридоров и палат, приемного покоя — преддверия вечного. А еще больший ужас внушают мне кладбища, где даже цветы теряют свою живую прелесть и красоту. Однако есть у меня собственное мое, личное кладбище, я его открыл и освятил несколько лет назад, когда слегка огрубел душою. Я хороню там тех, кого убил, вернее, тех, кто перестал для меня существовать, тех, кого в один прекрасный день лишил своего уважения и кто, стало быть, умер для меня.

Когда некто переходит все возможные границы и наносит мне обиду настоящую, то есть непростительную, я перестаю на него злиться и раздражаться, и в драку не лезу, и отношений с ним не прерываю, и по-прежнему отвечаю ему на поклон. Нет, я сваливаю его в братскую могилу на моем кладбище, где не существует отдельных могил и семейных склепов, нет, там все лежат вповалку в безобразии и бесстыдстве свального греха. Этот некто для меня покойник, в землю зарытый и землей присыпанный, и, что бы он ни делал, обидеть меня или ранить у него уж никак не получится.

Время от времени — и слава богу, что не слишком часто! — хороню я тех, кто нарушил клятву, покривил душой, предал любовь, изменил дружбе, поступил бесчестно и бессовестно, тех, кто был корыстен, лжив, вероломен, лицемерен, нестерпимо заносчив — высокомерием и спесью меня ничего не стоит обидеть. Лежат они на этом маленьком и уродливом кладбище, схоронил я их без цветов, слезинки над ними не уронил и даже не вздохнул горестно, лежат и гниют они там — есть среди них мужчины, есть и женщины, немного, правда, — те, кого я вымел из своей памяти, вычеркнул из жизни.

Когда порою я встречаю этих призраков на улице, то здороваюсь и останавливаюсь перемолвиться с ними словечком, слушаю и впопад отвечаю на их слова, киваю на похвалы и от объятий, не в пример Екклесиасту, не уклоняюсь и подставляю щеку для братского, для иудиного поцелуя. А потом иду своей дорогой, а встреченный думает, что еще раз меня провел и обманул, и даже не подозревает, что он мертв и в землю закопан.

Милан, 1949

В самом центре Милана, в торговой галерее, Зелия вдруг возбужденно кричит, показывая мне на витрину книжного магазина:

— Смотри!

Я смотрю — и вижу экземпляр моих «Бескрайних земель», чья броская обложка украшена репродукцией керамики Пикассо. Это мой первый роман, вышедший в итальянском переводе.

— Смотри, плакат! — Зелия вне себя от восторга.

Вообще-то это не плакат, а картонный прямоугольник, сообщающий об авторе: «Il piu noto scrittore brasiliano»[1]. Зелия читает эту надпись вслух, и мы, слегка напыжившись, идем дальше.

И вскоре оказываемся перед витриной другого книжного магазина и ищем на ней «Земли». Но выставлен там роман Эрико Вериссимо «Смотрите на полевые лилии», если память мне не изменяет. И прислоненная картоночка заверяет, что автор — «Il piu noto scrittore brasiliano».

Мы с Зелией смеемся и пыжиться перестаем. В киоске на углу я покупаю открытку, марки и, описав происшествие, посылаю ее в Порто-Алегре Эрико Вериссимо: «На протяжении пяти минут и двадцати метров «il piu noto» был я, а потом передал полномочия тебе».

---

[1] Самый известный бразильский писатель (*итал.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Сан-Пауло, 1945

Когда на Первом конгрессе писателей Бразилии я влюбился в Зелию, то показал на нее поэту Пауло Мендесу де Алмейде и заявил:

— Видишь вон ту? Она будет моей...

Пауло расхохотался мне в лицо:

— Кто? Зелия? Да никогда в жизни! Руки коротки. Это порядочная женщина, она не из тех, с кем ты привык проводить время.

А я в ту пору, разведясь с Матилдой, беспечным мотыльком перепархивал из одной постели в другую. Женщин было много, и я тратил на них досуг, остававшийся от политической деятельности. Замечательный поэт Освалд де Андраде, поссорившись со мной, даже обозвал меня — причем печатно, на первой полосе своей газеты —Распутин «Верного курса». «Верным курсом» же называлась линия на демократизацию компартии и поддержку президента Жетулио Варгаса. Освалд допустил чисто поэтическое преувеличение — так сказать, гиперболу, ибо до Распутина было мне далеко: просто я отдыхал от политических бурь в объятиях различных дам и девиц. Но, увидев Зелию, я сложил оружие, склонил знамена и капитулировал.

— Да нет же, Пауло, ты не понял! Ты не дослушал. Она будет моей женой, супругой, спутницей жизни.

— Ты спятил, бедный мой Жоржи. Я знаю Зелию, а ты нет. Немного найдется на свете женщин более строгих правил. Откажись от этой затеи, не трать время попусту.

То же самое и в тех же примерно выражениях говорил мне другой наш общий приятель, художник Кловис Грасиано:

— Что? Зелия?! Во-первых, она не отличается легкомыслием. А во-вторых, она замужем. Выбрось это из головы.

Но я не выбросил и не отказался, страсть была сильна. Я разбился в лепешку — и в июле Зелия перебралась ко мне. Нам прочили и пророчили, что брак этот продлится не более полугода. Как видите, пророки ошиблись: скоро сорок лет, как мы вместе.

Баия, 1989

Я сижу в старом-старом, полуразвалившемся, столь же уродливом, сколь и удобном, так называемом «дедушкином кресле» и смотрю по ТВ предвыборные дебаты. Близятся выборы президента республики. Смотрю одним глазом — не от пренебрежения, а оттого, что левое веко как две недели назад опустилось, так больше подниматься не желает. По-научному это называется *птоз*, но я-то думаю, что окривел от того, в каком виде предстали передо мной советская империя и ее подданные. В булочных нет хлеба, мои московские друзья — и важные сановники, и простые люди, не обремененные чинами и титулами, — строят прогнозы один мрачней другого, предрекая смуту, голод, гражданскую войну и возврат ко всем прелестям тоталитаризма. Еще год назад, когда я был в Москве, сопровождая нашего президента Жозе Сарнея, подобные настроения были немыслимы. Было трудно, но люди сохраняли надежду и оптимизм.

Итак, смотрю я одним глазом, но слушаю в оба уха и ушам своим не верю. Боже, на какие низменные и убогие уловки пускаются претенденты, обливающие друг друга помоями в борьбе за голоса избирателей, сколько неистовой злобы в стремлении очернить соперника — причем у всех! Единственный, кто почему-то не занимается бессовестной демагогией и не оскорбляет конкурентов, это — подумать только! — кандидат от компартии, молодой сенатор Роберто Фрейре. Он, по крайней мере, предлагает задуматься о судьбе страны. Ему победа не светит, за него не проголосуют — и не потому даже, что коммунист, а потому, что открыто заявил о своем атеизме. Вот на экране появляется Лула, лидер могучей Партии трудящихся. Когда-то, в пору ее появления на свет во времена военной диктатуры, я связывал с нею немало надежд. С Лулой я лично незнаком, отзываются о нем хорошо, и я верю этим отзывам. Он кажется мне человеком порядочным — большая редкость в наши дни! Будучи профсоюзным боссом, вел себя во время стачки металлургов безупречно. И странно звучит в его устах воинствующий догматизм, когда он обращается к избирателям, он ему вроде бы несвойствен. Но таковы уж дух и стиль

избирательной кампании: это влияние коммунистических лидеров, кампанию эту организующих и направляющих. Ох, ну и речь! Немыслимо слушать ее после того, что происходит в Восточной Европе, и как только язык поворачивается произносить эти словеса, когда на дворе конец XX века, когда рушатся режимы и гибнут идеологии, когда идут похороны пролетариата и почил «реальный социализм». Лула безнадежно опоздал.

Ни разу не произносит он слово «народ» — только «пролетариат», только «рабочий класс». К нему он обращается, от его имени говорит, обещая, что, когда придет к власти, установит диктатуру трудящихся и примется строить социализм. Нашел чем прельщать!

— Зелия, ты только послушай! Можно подумать, что речь ему сочинила и прислала из Тираны вдова Энвера Ходжи.

Ей-богу.

По скромному разумению автора, лучшие переводы его книг — те, которые он из-за незнания языков прочесть не может, то есть абсолютное большинство. Ох, плохо у меня с языками: со всеми, начиная с португальского, ибо читаю я и пишу на чудесном афро-бразильском наречии — по-баиянски. С грехом пополам объясняюсь по-французски и по-испански, ну, еще могу связать несколько итальянских фраз, да и те со словарем. Вот тебе и все мое полиглотство.

Так вот, читая свой роман в переводе на один из трех этих мало-мальски известных мне языков, я замечаю, что, как бы ни был даровит, скрупулезен и виртуозен переводчик, всегда найдется мелочь, которая будет резать мне глаз и ухо, непременно пропадет какой-нибудь милый авторскому сердцу оттенок, нюанс и — не побоюсь этого слова — обертон. Легко ли, скажите, вместо пленительных истинно баиянских обозначений «xibiu», «xoxota» довольствоваться пресным «лоном» или псевдомедицинским «влагалищем»?! Каково приходится автору, когда могучая и прекрасная «bunda» заменяется тощей и благопристойной «задницей»?!

То ли дело китайские иероглифы! Недаром так ценится в этой стране искусство каллиграфии! И красиво, и совершенно непонятно. А как увлекательно читать себя по-арабски! Презрев то обстоятельство, что за всю жизнь не выплатили мне ни единой драхмы, ни единого динара вознаграждения, я всего месяц назад приобрел в Танжере пять своих романов в переводе на арабский, пять ливанских пиратских изданий.

Душа радуется и при виде древнееврейских литер, загадочных грузинских письмен и армянской вязи. А до чего же тешит меня кириллица!

Хорош также и латинский алфавит, если буквы его складываются во вьетнамские, норвежские, турецкие, исландские слова. Далеко не все уважают авторское право, но все дарują радость. На каких только языках не выходили мои книги — на корейском и туркменском, тайском и македонском, на фарси, урду и монгольском... Однажды прислали из Парагвая «Историю сеньориты Ласточки» на языке индейцев гуарани. Меня очаровало звучание этих слов: «Карай Мбаракайа». А? Каково?

Смех смехом, но, унимая тщеславие, готов признать, что на гуарани я — лучше, чем на португальском.

Рио—Париж, 1991

Впервые в жизни использовав свое право номинатора, я предложил выдвинуть на соискание Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» — уф! — нашего композитора и писателя Шико Буарке де Оланду.

Я написал ему в Париж об этой своей инициативе. Но кто теперь председатель комитета по присуждению премий? Когда-то в стародавние времена должность эту отправлял по традиции президент Академии наук СССР, заместителями его были китайский ученый Го Можо и французский поэт Луи Арагон. В число членов входили Анна Зегерс, Илья Эренбург, Пабло Неруда, Александр Фадеев. Последний был первым и самым главным, самодержцем и громовержцем. Никого уже нет в живых.

По возвращении в Париж я обнаружил на автоответчике недоуменный «мессидж»

Шико: как будет называться Ленинская премия в декабре, в момент присуждения? Петроградская? Санкт-Петербургская?

Чуть ли не в тот же вечер я увидел по ТВ, как в Вильнюсе сбрасывают с пьедестала памятник вождю мирового пролетариата. А в Москве на шею статуи уже набросили трос с петлей... Но бульдозер не пришел вовремя, а вручную такого исполина повалить невозможно — никакого остервенения не хватит. Ленинград снова стал градом святого Петра, так что, думаю, никакой премии вообще не будет... Существовала в Советском Союзе еще одна почетнейшая награда — Сталинская премия, которой удостоились когда-то Оскар Нимейер и автор этих строк... Боже, когда это было?! Не в прошлом ли веке? Я слишком поздно спохватился — локомотив истории мчит со скоростью света... Чувствую, что петля захлестнула и мое горло, многотонная махина безжалостно пригибает к земле.

— Знаешь, Зелия, — говорю я. — Не получит наш Шико премию. Накрылась премия. Не скажу, чем именно.

Рио-де-Жанейро, 1947

Не устаю повторять, что память у меня дырявая, особенно на даты. Как их упомнишь? Каждый эпизод, о котором пишу, непременно вызывает вопрос, обращенный к моим домашним, — вы помните это? Они помнят, они все помнят, но каждому из них запомнилось по-своему. А год и день никто точно назвать не может, и чем уверенней они отвечают — *тогда-то и тогда-то,* — тем непреложней знаю я, что они ошиблись.

Но куда им и мне до Николаса Гильена — в своих мемуарах он путает все на свете: забывает место и время, факты и подробности. Пишет, к примеру, что мы с ним познакомились в Париже в 1949 году, тогда как первая наша встреча произошла на два года раньше и в Рио. Забыл он свое выступление в Ассоциации бразильской прессы и как я представлял его публике — а было это ровно в тот день и точно в тот час, когда на свет появился мой первенец Жоан Жоржи. Именно кубинский поэт был первым человеком, навестившим счастливую мать и новорожденного. Чуть только дочитал он «Моя родина кажется сахарной...», едва отзвучали рукоплескания слушателей, как мы схватили такси и помчались в клинику.

Николас бывал в Бразилии несколько раз — и до и после революции Фиделя, — и пребывание его неизменно было запоминающимся: он необыкновенно умеет располагать к себе людей. Поэзия его покоряла слушателей, а улыбчивый мулат с ухоженными бакенбардами — слушательниц. Мария-Нимфоманка рекомендовала его подругам: *этот кубинец — сущий зверь, не упустите, девушки, свой шанс*. Реклама, как известно, двигатель торговли, и восторженная аудитория становилась от выступления к выступлению все более многочисленной, Николаса повсюду сопровождала теперь свита поклонниц. Будучи человеком по природе тщеславным, он каждую, даже самую мимолетную, интрижку считал роковой страстью.

— Мария-Блондинка совсем потеряла из-за меня голову, кум. Отчаянно влюбилась! — говорил он мне с законной гордостью, полагая, что иначе и быть бы не могло, но все же мучаясь сомнением. — Как ты считаешь — это она меня любит, меня, мужчину, человека, Николаса, или же поэта Гильена и его славу? Как по-твоему? — Сомнение терзало его, и он требовал, чтобы я открыл ему правду.

Всюду — в Рио, в Праге, в Париже, в Гаване, — всюду, где я видел его с дамами одна другой белокурее (он явно отдавал предпочтение этому типу, сделав, однако, исключение для своей жены Росы, мулатки с Антильских островов, если не единственной, то главной любви), отвечал ему одно и то же:

— Они влюбляются в тебя и в твои стихи, в мужчину и в поэта разом, в явление под названием Николас Гильен.

Он улыбается в знак согласия, самодовольно ерошит бакенбарды — видно, что и сам разделяет это мнение. Но тотчас новое сомнение закрадывается в его простую душу:

— Ну а если бы не было моих стихов, как по-твоему, любили бы они меня? Как полагаешь? Вот если бы я не был поэтом — любили бы? А?

Вроцлав, 1948

Уж не знаю, на какие ухищрения пустилась Мария-Баиянка, чтобы попасть в число иностранных корреспондентов, слетевшихся в этот польский город для «освещения» Конгресса деятелей культуры в защиту мира. Я знавал эту подвижную как ртуть, гибкую и стройную мулатку, особу весьма известную и на юридическом факультете, где она получала образование, и среди активистов компартии. В соответствии с пуританскими воззрениями Марии-Пирамидон, одной из партийных руководительниц, она была недостойна называться активисткой. Это мнение не разделял другой наш вождь, Марио Шенберг, отличавшийся большей широтой взглядов, и на мой вопрос, за какие достоинства включили Баиянку в состав делегации, ответил просто — и благодушно:

— Талия у нее дивная — двумя пальцами обхватить можно.

Но ни ко мне — а я был одним из вице-председателей конгресса, — ни к прочим членам бразильской делегации, куда входили, помимо вышеупомянутого Шенберга, скрипачка Мариучча Йаковино, скульптор Васко Прадо, художник Карлос Скляр, писательница Зора Селджан, пианистка Ана-Стела Шик, композитор Клаудио Санторо, — Мария-Баиянка не проявляла ни малейшего интереса. Где уж нам, провинциалам и соотечественникам, тягаться со звездами первой величины, с грандами литературы, искусства, политики?! Она тотчас потребовала, чтобы я представил ее Пикассо и Эренбургу: «В конце концов, я спецкор «Моменто», органа баиянской компартии». — «Когда это ты успела?» — только и спросил я.

Там же, в зале, где проходил конгресс, дал ей короткое интервью Пабло Пикассо, заявив, что приехал во Вроцлав прежде всего для того, чтобы с трибуны потребовать от чилийского диктатора Виделы прекратить травлю поэта Пабло Неруды, исключенного из числа сенаторов, лишенного неприкосновенности и преследуемого полицией. Можно только догадываться, где и когда раздобыла Мария молодого индуса-фотографа, какими методами действовала, чтобы он сделал исторический снимок, напечатанный в баиянской газетке, — величайший художник современности, а рядом, под ручку с гением — она, наша репортерша.

Эренбург, хоть и был занят выше головы и сверх меры, согласился побеседовать с ней и, по ее просьбе, проанализировать в этой пространной беседе все значение Вроцлавского конгресса, проблемы мира и ответственности деятелей культуры:

— Завтра в семь утра жду вас в... — и назвал ей свой отель и номер.

На следующий день Мария представляет мне отчет об этом интервью:

— Ну, я постучала. Когда отозвались, вошла и увидела Эренбурга в постели в чем мать родила. Он сказал: «Раздевайся поживей. У меня только полчаса. В восемь я должен завтракать с Федосеевым». (А Федосеев был в то время главным редактором «Правды», членом ЦК КПСС и одним из организаторов нашего конгресса.) Он улыбнулся и подвинулся, давая мне место...

— А ты что?

Мария-Баиянка, родившаяся в Палмейра-дос-Индиос, с ангельской улыбкой потупила глазки:

— А что я? Повиновалась, — она вскинула голову, поправила черную гладкую прядь. — Слово советского товарища — закон... А потом говорит: насчет конгресса спроси у Жоржи, а в газету дашь от моего имени... Так что давай, — она вытащила блокнот и ручку.

Эренбургу, лишь недавно выбравшемуся из ада второй мировой войны, много испытавшему и пережившему на своем веку, уже за пятьдесят, а по виду и еще больше — мы между собой зовем его «старик». Я бы еще понял, если бы Мария переспала с Энрике Аморимом[1], истым «латинским любовником», но с Ильей... Зачем ей это?

— Зачем тебе это, Мария-Баиянка? А?

На губах ее вновь появляется застенчивая улыбка, и с невинно-мечтательным выражением она отвечает:

— Пригодится для мемуаров.

Однако она не успела написать их — два года спустя, по возвращении в Бразилию,

[1] Энрике Аморим (1900—1960) — уругвайский писатель.

погибла в автокатастрофе. Но интервью с Эренбургом, «взятое во Вроцлаве нашей специальной корреспонденткой», имело шумный резонанс и вызвало оживленную полемику.

Будапешт, 1951

Политические процессы, воскрешающие эпоху 30-х годов, захлестывают одну страну «народной демократии» за другой. Здесь, в Венгрии, в самом разгаре суд над Ласло Райком. Разрыв Тито со Сталиным будто ознаменовал собой начало нового этапа «большой чистки», и коммунистическая инквизиция рьяно взялась за дело. А я безоговорочно верю во все истории о заговорах и предательствах и вижу в каждом из подсудимых заклятого врага революции, рабочего класса и светлого будущего всего человечества.

Мы сидим в баре: многим лестно и интересно познакомиться и выпить с «бразильским товарищем», два романа которого только что вышли в переводе на венгерский и тепло, что называется, встречены читателем. «Жубиабу» и «Бескрайние земли» перевел венгерский коммунист, долгие годы проживший в Сан-Пауло и лишь после крушения нацизма вернувшийся на родину: он сидит рядом и помогает, когда в пылу спора собеседники переходят с доступного мне французского на свой загадочный мадьярский.

Как всегда бывает на таких посиделках, спустя какое-то время интерес к заморскому гостю гаснет, темы общей беседы исчерпываются, и хозяева принимаются с жаром обсуждать свои домашние дела, гость же из участника разговора превращается в бессловесного слушателя. Так произошло и на этот раз: суд над Ласло Райком заставил нас забыть о литературных пристрастиях, о нищете в странах «третьего мира» и о врожденной сексуальности женщин, эти страны населяющих.

Я слушаю молодого поэта, возбужденно рассказывающего о том, что признания у одного из подсудимых — как потом выяснилось, у всех — были получены под пытками. Что он несет? Не ослышался ли я? Может, я неправильно понял? Может, я вообще разучился понимать французский? «...под пытками, которые применяют в политической полиции» — моя честь, моя гордость зиждутся на том, что при нашем режиме, в социалистическом обществе никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть подвергнут никакому виду морального или физического давления, не говоря уж о пытках. Мое изумление вызывает общий смех, собеседники учтиво осведомляются, не с Луны ли я свалился, все ли у меня в порядке с головой и где водятся идиоты, которые не знают, что пытки применяются, и очень широко. О святая простота!

В оцепенении я слушаю поток венгерской речи, а потом — в безупречном переводе — бесчисленные истории, леденящие кровь подробности: они рвут мне сердце в клочья, они уничтожают мою гордость... Я обесчещен! Он еще спрашивает: неужели пытают? Еще как! Нынешний режим оберегают такие же (а может, и те же самые) люди, которые служили в тайной полиции при нацистах. Ремесло охранника и палача — вне и выше любых идеологий.

...Всю ночь бросало меня то в жар, то в холод: трепыхалось сердце, в животе что-то бурлило и клокотало, было тошно, душно, муторно. Мерещилось, что это меня охаживают сапогами и дубинками, требуют сознаться в том, чего я не совершал, повиниться неизвестно в чем... С этой ночи и начался мой исход из пустыни.

Сан-Пауло, 1981

Появление Партии трудящихся, да еще в ту пору, когда правил нами военный режим, я воспринял с надеждой и радостью. ПТ возникла из профсоюзов, родилась на свет после забастовок металлургов. Наконец-то, думал я, будет у нас настоящая, сплоченная партия, направляемая и руководимая самими рабочими. Кончилось время липовых партий — коммунистических, троцкистских, трабальистских[1], где тон задают интеллигенты, как правило — с умеренными дарованиями, но непомерными амбициями, чванные и спесивые мещане, свысока взирающие на пролетариев, отдающие им приказы на некоем латиноамериканском воляпюке, рвущиеся к власти ради самой власти, раздувающие пожар ради того, чтобы погреть руки. Они рядятся в тогу революционных вождей,

[1] Трабальизм (от португ. trabalho — труд) — реформистское течение в рабочем движении Бразилии; в 1945 г. была создана Бразильская трабальистская партия (БТП).

они читают, не особенно понимая смысл прочитанного, брошюры, переведенные с русского или китайского, считают себя крупными теоретиками, через каждое слово поминают Маркса, потеют Лениным, икают Сталиным (или Троцким, или Мао) и были бы потешны, не будь так опасны, ибо, дорвавшись до власти, абсолютизируют ее и тут уж держись — они способны на любую глупость, на любое зверство, что более чем убедительно доказал усатый генералиссимус, по сей день остающийся их идолом и кумиром.

Мне приходилось иметь дело со многими из них — на разных ступеньках партийной иерархии стояли они. Попадались среди них и недурные люди, но не тронутых порчей и деформацией не было ни одного. Как-то вдруг, разом, теряли они человеческий облик, превращаясь в кукол, вместо опилок набитых полусгнившей идеологической трухой — марксизмом, ленинизмом, маоизмом, воспринятыми, как правило, «с голоса», ибо привычки к чтению у них не выработалось. Что ж, как раз за это я их не виню, они в своем праве — Маркс, перелопаченный и приспособленный для нужд развитого социализма, Маркс в лошадиных дозах может в лучшем случае вызвать несварение.

Но ведь недаром говорится — горбатого могила исправит, а козел линяет, да все равно воняет. И я, узнав, что образовалась Партия трудящихся, возликовал, стал бить в ладоши, поместил в газетах несколько хвалебных статей. Упоение мое было недолгим, а похмелье — горьким: ПТ очень скоро повернулась лицом к мелким радикальным группкам, где верховодили все те же псевдоинтеллектуалы из компартий, где командовали вышедшие в тираж сталинисты и маоисты, утерявшие всякое подобие политической перспективы, ни во что уже не верящие и лишь примазывающиеся к чужой удаче. К ним прибавились отчаянные «красные падре», твердокаменные адепты «теологии освобождения», — и стала ПТ такой же, как любая рабочая партия, как все бразильские партии. Пауки в банке.

По сути дела, у нас в Бразилии вместо политических партий в собственном смысле слова существуют некие фронты, где уживаются любые идеологии, где в постоянном мельтешении сугубо личных интересов мирно сосуществуют правые и левые. Нет партий — есть лишь наклеечки: демократическая, трудовая, социал-демократическая, либеральная, социалистическая, причем эти обозначения никак не соотносятся с выбором позиции, с борьбой против правительства или в поддержку его... И еще хотят ввести у нас парламентаризм... Меня от этого бросает в дрожь. Парламент без политических партий, парламент по-бразильски — изысканнейшее блюдо нашей национальной кухни. Жаль, несъедобное.

Лисабон, 1989

Всякий раз, когда мы обедаем в ресторанчике Мими, в лисабонском Парке-Майор — а без этого ресторана и парк не парк, — Антонио Алсада Баптиста знакомит меня с очередной «самой-самой» — самой красивой лисабонской адвокатессой, самой красивой редакторшей, самой красивой балериной и прочая и прочая. Ну, насчет того, что уж самая-самая, можно и поспорить, это тактика опытного соблазнителя, знающего, как падки женщины на лесть: все, конечно, красивы, одни больше, другие меньше, все изящны и милы, и, главное, все страстно влюблены. А он пасет паству свою с лукаво-постной миной — этакий «отшельник в отгуле».

Антонио, известнейший публицист и эссеист, вокруг статей которого всегда много споров, несколько лет назад ударился в беллетристику и дебютировал романом «Узел и узы», вызвавшим живой интерес критики, увенчанным премиями и сразу ставшим бестселлером. Мне он понравился, хотя кое-где и чувствуется умозрительный подход публициста. Зато следующее его произведение — маленький роман «Катарина, или Вкус яблок» — радостно удивило меня именно мастерством выдумщика и рассказчика, свободно ведущего повествование. Сейчас повестью принято называть короткий роман или длинный рассказ, но я с этим не могу согласиться, и новшества эти мне не по вкусу: литературный жанр определяется не числом страниц. Я читал «Катарину» и не мог оторваться, очарованный сочной прозой, живыми — из мяса и костей, а не из чернил сотворенными — персонажами и такой узнаваемой лисабонской действительностью. Ныне Антонио Алсада всецело предался наслаждению писательства и стяжал громкий и заслуженный успех.

Следующее его произведение — романчик «Тетя Сузана, любовь моя» — описывает от лица юного рассказчика и, по всей видимости, альтерэго автора, сложный мир его чувств и мыслей — а касаются они и религии, и постели — и перипетии его отношений с тетушкой, дамой бальзаковских лет. И, лежа в постели, они почесывают друг другу спинку, обмениваются нежными поцелуйчиками, покусывают друг друга за ушко, гладят сверху донизу, ничего не пропуская, и... и больше ничего, хотите верьте, хотите нет. В таких вот невинных и целомудренных ласках проводят свои досуги племянник с тетушкой, а она хоть и старше его, но все равно очень молода, и ночная сорочка едва скрывает юное ее совершенство, и так вот они в холодные ночи согреваются теплом друг друга, а в жаркие дни находят прохладу. Ясное дело, что от этой тетушки, наполовину монашенки, наполовину дьяволицы, перенял Антонио этот свой вид «отшельника в отгуле».

— И ты хочешь меня уверить, Антонио, что вы с ней так ни разу и не пошли дальше?

— Во-первых, что это за «вы с ней»? Это же не я, а мой герой и его тетушка по имени Сузана. Но если бы даже это были я и моя родная тетка, могу тебе поклясться, что такими вот щекотаниями дело бы и кончилось.

— Щекотания, поцелуи, прикосновения, поглаживания и прочий легкий, платонический блуд? И все?

— И все. Свет не видывал человека чище и невинней, чем тетя Сузана.

Он произносит все это с очень серьезным видом, как отшельник, который вернулся в свою келью, не запятнав себя грехом. Хотите верьте, хотите нет, я человек нездешний, местных обычаев не знаю, судить не берусь. Одно скажу: у нас в Баии тетушка бы так легко не отделалась.

Рио-де-Жанейро, 1953

...И когда все уже было в полном порядке с визами, с билетами, с паспортами и на следующий день, в воскресенье, группа бразильских «деятелей культуры» должна была отправляться в Советский Союз, один из тех, кто удостоился этой чести, неожиданно заболел. Открылась вакансия.

Немало времени потратили Маурисио Грабоис, член политбюро нашей партии, — впрочем, в ту пору этот орган назывался исполнительный комитет, — и ваш покорный слуга, ведавший в нем культурой, пристально изучая каждое имя в списке, сравнивая и взвешивая, чтобы выбрать и отправить на родину социализма лучших из лучших, самых достойных такой беспримерной чести и высочайшей награды. Помню кое-кого из отобранных — Жамеса Амаду, например, и Диаса Гомиса[1], Клаудио Санторо[2] и прочих, — каждый из них сочетал талант с беззаветной преданностью делу партии и безусловной верой в Советский Союз.

Нелишне будет напомнить, что времена стояли жуткие, сталинизм совсем сорвался с цепи — процессы, приговоры, казни, лагеря, антисемитизм, который, хоть и был слегка закамуфлирован, не становился от этого менее чудовищным. Трудно приходилось и рядовым активистам вроде меня, и особенно — высоким руководителям, каким был Маурисио Грабоис, с которым меня связывали долгие годы дружбы, начавшейся еще в юности, в Баии. Человек он был умный, образованный и симпатичный, приятный в обращении, совсем лишенный спеси и самодурства, обычных для партийных бонз, постоянно всех подозревавших, никому не доверявших, во всем искавших подвох. Он и умер коммунистом — командовал отрядом *герильерос* и погиб в стычке с правительственными войсками в штате Пара.

Как я уже говорил, была суббота, делегация отправлялась в воскресенье, и решать, кого включить в ее состав, я должен был один — Грабоис жил на нелегальном положении, встречи с ним всегда надо было оговаривать заранее. Мне сразу пришло в голову имя молодого, но уже известного в ту пору художника Карлоса Скляра, воевавшего в артиллерии в составе Бразильского экспедиционного корпуса[3] и дослужившегося до кап-

---

[1] Алфредо Диас Гомис (р. 1922) — бразильский драматург.

[2] Клаудио Санторо (р. 1919) — бразильский композитор, дирижер; лауреат Международной премии Мира.

[3] В августе 1942 г. Бразилия объявила войну Германии и Италии и в 1944-м, после высадки союзников, направила в Европу свои войска — Бразильский экспедиционный корпус.

рала. Он бывал за границей и имел паспорт. Я сейчас же позвонил ему в Порто-Алегре и сказал: слушай, Карлитос, если у тебя паспорт в порядке и если завтра к вечеру сумеешь оказаться в Рио с выездной визой, то ночью отправишься в Москву, столицу всего прогрессивного человечества. Ладно, пообещал мне Скляр, я буду к сроку. И в самом деле — прибыл и отбыл.

На очередном подпольном собрании, проходившем глубокой ночью где-то на окраине Рио, я встретил Грабоиса — он был в полном бешенстве, кипел от негодования и возмущения и не скрывал этого.

— Что это за дурацкая мысль — включить Скляра в состав делегации?! Я уже сказал руководству, что не имею к этому никакого отношения, ответственность целиком на тебе. Какого черта?..

— Скляр — один из виднейших художников-коммунистов, стойкий товарищ, активист. Что ты имеешь против него?

— Он еврей... — проговорил Маурисио мрачно и в то же время нерешительно.

— Ты тоже, — ответил я.

— Вот именно поэтому, — и в дрогнувшем голосе члена политбюро БКП прозвучал такой страх, что мне стало его жалко.

А боялся он, что его отстранят от дела, которому был предан, что исключат из партии, выгонят из боевой траншеи. Тогда и я испытал страх — панический страх: все что угодно, только бы не оказаться вне строя, когда все пойдут в бой, только бы не обвинили, что сыграл на руку врагу.

Из всего нажитого мною добра особо ценю я — независимо от истинной их ценности — те немногие вещи, которые получил в подарок от друзей, не склонных, по общему мнению, к излишней щедрости, а напротив — пользующихся репутацией людей скуповатых. Так вот, все они, все без исключения, пали жертвой этой молвы, несправедливой и предвзятой.

Есть у меня, к примеру, коробка прямоугольной формы и изрядных размеров, я вожу ее с собой повсюду и храню в ней свои документы, корешки чеков, важнейшие бумаги, фотографии детей и карточки Зелии — одну недавнюю, другая сделана в 1945 году, когда мы познакомились. Коробку эту преподнес мне в подарок Доривал Каймми, брат мой и едва ли не близнец. Карибе до сих пор не верит в подобную щедрость.

Рассказываю, как было дело. Доривал появился у меня однажды с коробкой под мышкой, и до того она мне понравилась, до того пришлась по вкусу, что я вначале стал ее расхваливать, а потом попросил в знак дружбы и уважения подарить. Он отвечал, что эту — никак невозможно, ибо коробка предназначена в подарок жене на день рождения. Но как только вернется в Рио, сейчас же вышлет мне точно такую же. Я не поверил в это обещание, да и кто бы поверил? Но, по слову поэта, «и невозможное возможно» — несколько дней спустя получил я из Рио коробку. В свидетели чуда я позвал Карибе и Мираба.

Этот сеньор Доривал Каймми, мой подельник и сообщник, — если бы он занялся литературой, то написал бы мои романы, если бы я знал нотную грамоту, то сочинил бы всю его музыку, — признался, что этой коробкой хотел компенсировать мне те многочисленные трости, палки и посохи, которые он у меня украл, будто мало было тех, что я специально привозил ему из разных стран: как-то раз я проколесил по всей Европе и пересек Атлантику, не выпуская из руки огромный пастуший посох, добытый мною в Уэльсе, — длинный, тяжелый, суковатый. Много чего еще похитил у меня певец баиянских красот, но никогда не прощу ему радиоприемник, вывезенный из Москвы и подаренный мною дочери Паломе, в ту пору еще не вышедшей замуж. Доривал попросил одолжить его, он, дескать, хочет послушать репортажи с чемпионата мира по футболу — как раз начинались игры 70 года, — и, разумеется, заиграл. И никогда больше не увидела Палома своего маленького транзистора.

Он коллекционирует приемники, посохи, полудрагоценные камни и otras cositas mas[1]*. Собираясь в гости к друзьям, он вешает на плечо вместительную сумку, разме-*

[1] Всякие прочие штучки (*исп.*).

рами едва ли уступающую дорожному баулу, чтобы было куда прятать добычу. А как войдет в дом, так сразу и спросит, нет ли для него чего-нибудь интересненького, и оно, как правило, находится. Кто ж устоит перед такой умильной просьбой?! Там интересненькое, тут интересненькое, и, воротясь к семейному очагу, в объятия Стелы Марис, он вываливает на стол кучу трофеев, а потом любовно разбирает их, сортирует и раскладывает. Таков Доривал Каймми, мой кровный брат, композитор и поэт, доктор honoris causa, жрец на африканском радении—кандомбле, один из самых главных бразильцев.

А я собрал в своем доме в Рио-Вермельо хаотическую коллекцию произведений народного искусства — заслуживает внимания хотя бы количество их и затейливо вьющиеся тропки, по которым они ко мне пришли. Но есть предметы ценные и сами по себе — например, подаренное мне Эренбургом письмо эскимосского рыбака, вырезанное на моржовом клыке, или преподнесенный Сашей Фадеевым бокал цветного хрусталя с гербом Николая I, самодержца всероссийского, или бык — самый большой бык из всех, кого из глины лепили и в печи обжигали волшебные руки мастера Виталино из Каруару.

Этого быка-зебу подарил мне — можете не верить! — писатель Жоан Конде, и я утверждаю, что он при этом был трезв, не в жару и не в бреду, а напротив, отлично себя чувствовал. Просто такой вот напал на него шалый стих, когда так и подмывает взять да и выкинуть деньги в окошко. Минуло уже полвека со времени этого безрассудного деяния, и все эти пятьдесят лет Жоан умоляет меня вернуть керамического быка и твердит, что творению Виталино цены нет, и смотрит при этом на меня глазами, полными слез — настоящих слез.

Но, по совести говоря, сеньор Жоан Конде обязан был бы подарить мне не одного этого быка, а всю свою огромную коллекцию народных промыслов из штата Пернамбуко и в придачу кое-какие деревянные статуи святых — у него их навалом, и ни одна не стоила ему ни гроша — да еще несколько полотен художника Сисеро Диаса, и все равно остался бы передо мной в неоплатном долгу. И дело не в том, что я отдал в его архив рукописи своих романов и обширную свою переписку, и заметки, и наброски, и документы, и прочие неисчислимые сокровища. Нет, не в этом дело — он охмурял девиц, выдавая себя за меня, мы в то время, как говорят, были похожи. Он влюблялся в них и от моего имени давал им автографы...

— Автографы?

— Да, автографы, и в больших количествах.

— Что ж, ты им книги надписывал?

— Подсунут экземплярчик — надпишу, а нет — так просто на бумажке автограф поставлю. Не буду же я тратить деньги на твои романы, ты ж не Зе Линс...[1]

И вот в ту пору, когда мне пришлось скрываться от властей в Аргентине, я узнал, что по Рио рыщет с револьвером некий гаучо, отыскивает меня, чтобы хладнокровно застрелить, мстя за то, что я с помощью его жены, приехавшей полюбоваться Копакабаной, украсил его рогами. Как вы понимаете, шашни с нею завел не я, а Жоан Конде, но попробуйте втолковать это ревнивцу.

По счастью, гаучо оказался домашнего разлива — полубразилец, полуаргентинец, так что можно было особенно не волноваться. Не дай бог, если бы рогоносец был парагвайцем — лежал бы тогда Жоан Конде в сырой земле, придавленный надгробной плитой, а на ней вырезаны были бы пуля и мое имя, которое самозванец использовал без спросу.

Рио-де-Жанейро, 1931

Родители моего приятеля Гарольда Агинаги пригласили меня в театр на премьеру оперы композитора Карлоса Гомеса, которую поставила итальянская труппа. Это приглашение — ответная любезность: я послал им свою только что вышедшую «Страну карнавала» с витиевато-учтивой дарственной надписью. Отец Гарольда, знаменитый врач,

[1] Жозе Линс до Рего (1901—1957) — известный бразильский писатель, автор классического романа «Угасший огонь».

светило науки, был польщен и тронут, ибо до сих пор считал, что все дружки его беспутного сына — такие же ветрогоны и шалопаи, как и он.

В ложе нас пятеро: чета Агинаги, их приятельница — дама из самого что ни на есть высшего общества, Гарольд и я. Родители сидят впереди, мы с дамой посередине, Гарольд устроился у самых дверей.

Ну что вам сказать о даме? Ей за сорок, но она в превосходной форме, и формы ее превосходны, и только позавидовать можно вице-адмиралу нашего доблестного военно-морского флота, на законных основаниях обладающему этим идеалом женщины — идеалом, увы, для меня недостижимым. Ее окутывает аромат тонких и пряных французских духов, для которого и придумали люди эпитет «пьянящий», и, вдыхая его, я чувствую, как шалею и дурею и как голова моя идет кругом... Если бы не это соседство, нипочем бы мне не высидеть длиннейшую оперу. Гарольд выходит в фойе покурить.

В эту минуту пальцы дамы ложатся мне на колено, медленно скользят по бедру, поднимаются, нащупывают нечто и принимаются за дело — нежно, настойчиво и методично теребят, поглаживают, сжимают, перебирают и прочая и прочая. Шок мой уже прошел, я едва сдерживаю стон наслаждения, адмиральша же, покусывая губы, искоса поглядывая на меня, продолжает свои ласки, пока наконец не происходит неизбежное. Вернувшийся в ложу Гарольд, стоя в полутьме за нашими спинами, забавляется от души.

По окончании спектакля, усадив адмиральшу в машину, он дает мне дельный и добрый совет:

— Не теряйся. Вот такая баба! И без ума от тебя. Все будет в лучшем виде, да еще получишь шелковую пижаму в подарок.

И за неимением лучшего мы с ним пока что отправились проведать девчонок с Копакабаны.

Уже неделю спустя Мария-Адмиральша предстала передо мной в номере отеля «Леблон» в натуральном виде и ослепила великолепно сохранившимся, благодаря притираниям, кремам и бальзамам, молодым и статным телом, поразила неведомым мне до той поры запахом самки — ухоженной и выхоленной самки. Пышные груди, гладкий живот, которому едва заметный шрам от аппендицита придавал какую-то особую, пикантную прелесть, золотистая поросль, показавшаяся мне похожей не то на диковинный цветок, не то на редкостное драгоценное украшение... Закинув руки за голову, она распростерлась на кровати, потом потянулась за сигаретой, но прежде чем успела закурить, я ринулся на нее — прямо фавн какой или, скажем, сатир, — намереваясь взять ее, как до сих пор еще не брали. В намерении своем я преуспел, выполнив его в два счета — буквально: раз-два, — еще бы! я мечтал об Адмиральше с того вечера в опере, и было мне девятнадцать лет. Потом триумфально отвалился, ожидая восторгов, похвал и благодарности за проявленные стойкость и мужество. Повторяю, мне было девятнадцать лет...

Но она стала хохотать, поглядывая то на лицо мое, то на орудие, находившееся еще на полувзводе, и чем дольше глядела, тем безудержней заливалась смехом, который французы окрестили словом «fou rire», — я считаю, употребить его здесь будет очень уместно: мадам сама все время щебетала по-французски, а я слушал ее смех и чувствовал себя смешным и жалким. И захотелось мне сейчас же уйти.

Наконец ей с трудом удалось остановиться. Она взяла меня за руку, притянула к себе, провела пальчиками по моей волосатой груди, прикоснулась к соскам.

— Дурачок, — сказала она. — Ты зачем сюда пришел? Кто перед тобой — дырка в заборе или влюбленная женщина? Бедный-бедный Жоржи, ты ничего не умеешь, совсем ничего! — Но тут лицо ее озарилось улыбкой, нежной и мечтательной. — Впрочем, это даже и к лучшему: я тебя всему научу, я буду твоей наставницей, и к тому времени, когда мне надо будет ехать в Европу (муж ее был назначен военным атташе в одну из стран Старого Света, а в какую — не скажу, даже если вспомню), ты станешь непревзойденным мастером. А что наслаждаться твоим мастерством будут другие, мне плевать.

И она выполнила свое обещание: всем, что я знаю и умею в этой сфере, я обязан ей, я прошел с ней полный академический курс и стал если не доктором, то уж магистром — точно. Низкий ей за это поклон. Иногда я вновь вижу перед собой груди, созданные, чтобы их гладили и целовали, снова ощущаю веявший от нее аромат цивилизованной

самки, вспоминаю золотистые волосы, маленькое тугое лоно. Да, это она наставила меня на путь истинный. Спасибо.

Своим умом жить, своей головой думать — дорогое удовольствие. Тот, кто отважится на это, немедля будет схвачен идеологическими патрулями слева и справа, и пощады не жди. Обвинят, оплюют, оклевещут, выставят к позорному столбу, распнут. И все равно — стоит, стоит платить непомерную цену, ибо внакладе не останешься: свобода мысли — штука бесценная.

Тирана, 1950

На приеме, устроенном президентом Миттераном в честь сорока иностранных писателей, приглашенных на открытие программы «Fureur du Livre», — придумал эту затею министр культуры Жак Ланг, — ко мне подходит албанский прозаик Исмаиль Кадарэ. Он слышал, что я бывал в его стране, но не знает когда.

— Это было в 1950 году, больше сорока лет назад, дорогой Исмаиль, вы тогда пешком под стол ходили.

Я приехал в Албанию на Конгресс в защиту мира. Эта страна меня покорила: оливковые рощи, порт на побережье Адриатики — он был не больше, чем мой родной Ильеус, — народ, гордый своими недавними подвигами в борьбе с Гитлером и Муссолини. Нищета и надежда. Маленькую столицу мы с Вандой Якубовской обошли пешком из конца в конец часа за два. В ту пору я написал об Албании несколько лирических пассажей — сделайте скидку на застилавший мне глаза энтузиазм. Познакомился с самим Энвером Ходжей, говорил с ним...

— Да быть не может! Неужели он вас принял? — восклицает потрясенный Исмаиль, который помнит, как недоступен был тиранский тиран.

— Я же представлял Всемирный Совет Мира...

Ходжа не только принял меня, но и предложил чашечку чаю, и беседа наша длилась больше часа — он хвалился прошлыми триумфами, делился грандиозными планами на будущее, славословил Сталина, но снизошел до того, чтобы вспомнить Фуада Саада, врача из Сан-Пауло, с которым в студенческие годы жил в одной комнатке в дешевом марсельском (или лионском?) пансионе. Когда прощались, Энвер Ходжа вновь забронзовел и велел передать Престесу[1] следующее:

— Скажите товарищу Луису Карлосу, пусть помнит и не забывает никогда: крови бояться не надо. Без большой крови революцию не сделаешь, ничего не выйдет.

Баия, 1982

Весна пришла в Португалию раньше срока. Я пишу эти строки в залитом солнцем Эсториле, и, завершая свой очередной утренний «урок», — нелегкое это дело книжки сочинять, — перед тем как отправиться обедать в один из ресторанчиков, — они все хороши, один лучше другого, — поведаю вам историю о французских сырах. Было это несколько лет назад: прилетели к нам и высадились на баиянский наш брег парижские издатели Жан-Клод Латт и Жан Розенталь с супругами. О дне и часе своего прибытия загодя они не сообщили — прилетели на рассвете, разместились в отеле, а около полудня позвонили. Мы с Зелией поспешили к ним, горя желанием обнять друзей.

В вестибюле отеля у стойки портье Жан-Клод выступил вперед, держа в руках длинный французский батон, именуемый «baguette», и бутылку моего любимого «Шато-Шалон», и произнес краткую речь:

— У французов принято дарить друзьям хлеб, вино и сыр. Мы, то есть Франсуаза и Жан, Николь и я, неукоснительно следуем обычаю. Вот вам хлеб, — он протянул Зелии *baguette,* — вот вам вино, — он вручил мне бутылку, — что же касается сыра, то вот вам вместо него официальный документ, — и он подал мне бумагу, из которой следовало, что камамбер, рокфор, бри и козий сыр к ввозу в Бразилию запрещены, как и все прочие сорта, а потому задержаны на таможне.

---

[1] Луис Карлос Престес (1898—1987) — деятель бразильского и международного рабочего и коммунистического движения. Ж. Амаду написал о нем книгу.

Разумеется, Жан-Клод не преминул сказать таможенному инспектору, что огромное деревянное блюдо с этими сырами предназначено мне. Учтивый, но непреклонный таможенник при этих словах рассмеялся в лицо французскому издателю:

— Ну разумеется! Как же иначе?! Еще не было случая, чтобы сыр, который мы тут конфисковали, не был привезен в подарок Жоржи Амаду. Придумали бы, месье, что-нибудь новенькое.

Москва, 1953

Здесь проходит сессия — или пленум? — в общем, заседает бюро Комитета в защиту мира, и Эренбург по этому случаю устраивает у себя дома званый вечер — или ужин? — в честь Го Можо. Присутствует человек десять — советские и иностранцы.

Го Можо — человек с мировым именем, всесветный мудрец и эрудит, а в Азии вообще личность легендарная, второй Конфуций: знает пятьдесят тысяч иероглифов (да будет вам известно, что для того, чтобы читать газету, надо знать три тысячи; университетский преподаватель знает семь; интеллектуал — десять). Два раза, представляя коммунистов в коалиционном правительстве Чан Кайши, был министром, а сейчас — член политбюро Коммунистической партии Китая, которая четыре года назад, в 1949 году, пришла к власти и провозгласила Китайскую Народную Республику, заместителем председателя коей он является. Го Можо, кроме того, — еще и вице-президент Всемирного Совета Мира и Комитета по присуждению Международных Сталинских премий. Это лишь три из многочисленных титулов и званий, которыми он может похвастаться... — может, но не хвастается, ибо человек он на редкость простой, лишенный всякой спеси и надменности, весьма учтивый, крайне любезный и приятный в общении. Одним словом, это фигура более чем заметная в социалистическом лагере, видный, как принято выражаться, деятель международного коммунистического и рабочего... ну и т. д. Ему уже за семьдесят, но по лицу не скажешь — китайцы кажутся мне людьми без возраста.

Итак, в квартире Ильи за длинным низким столом, ломящимся от разнообразнейших яств и питий — тут тебе лососина, осетрина, всяческая икра, балыки, водки всех сортов, коньяк, фрукты, грузинские и молдавские вина, — сидят Константин Федин, Константин Симонов, Всеволод Пудовкин, французы Пьер Кот и Веркор, румын Михаил Садовяну, итальянец Пьетро Ненни, бразильская супружеская пара. Симонов пришел с супругой, эффектнейшей женщиной, знаменитой актрисой театра и кино, чья типично славянская красота воспета им в стихах и в прозе: декольте щедро являет взору пышные белоснежные груди. Кинозвезду зовут Валентина. Симонов посвятил ей целую книгу чувственной, чтобы не сказать эротической, лирики, заслужившей упрек самого товарища Сталина: «Зачем издатели тратят деньги на книги такого рода, надо было напечатать два экземпляра — для него и для нее». Великолепная Валентина! Когда она умерла, Симонов, к тому времени давно уже расставшийся с нею, появился на похоронах и положил на могилу тысячу алых гвоздик — тысячу, не меньше.

И Го Можо, сидящий напротив красавицы и не принимающий участия в беседе, поскольку катится она по-французски, а он говорит на восемнадцати восточных языках, но не знает ни одного европейского, переводчика же по имени Лю оставил в прихожей, не сводит глаз с декольте Валентины. Ничего, кроме этих монументальных, ослепительных всхолмлений, не замечая, он, как человек благовоспитанный, выпивает поставленную перед ним рюмку водки — выпивает залпом, чтобы отделаться. Люба, гостеприимная хозяйка дома, тотчас наливает ему другую. Он опрокидывает и ее.

А надо вам сказать, что в Китае женская грудь, главная эрогенная зона, есть нечто прикровенное, таинственное и священное — чуть было не сказал «неприкосновенное», — ее всегда прячут, ее стягивают и перебинтовывают, чтобы не росла, одним словом, это абсолютное табу. Немудрено, что оголенные чуть ли не до сосков полушария, заключенные в раму черного бархата и кажущиеся от этого еще пышней и белей, в буквальном смысле приковали к себе взгляд китайского мудреца и виднейшего деятеля.

Прочие гости, не подозревая о приближении катастрофы, продолжали безмятежно и оживленно толковать о литературе, искусстве и спохватились, когда было уже поздно — неминуемое случилось. Го Можо, внешне совершенно невозмутимый и, как всегда,

бесстрастный, несмотря на выпитое, по-прежнему не сводя глаз с этого «русского чуда», поднялся, обошел стол, остановился за стулом Валентины, вытянул руки и крепко обхватил ее театрально выставленные напоказ груди так крепко, словно решил не расставаться с ними никогда.

Все оцепенели. Го Можо, заместитель многочисленных председателей, историческая личность, светоч и знаменитость, стоял, запустив обе руки в вырез Валентининого платья, крепко сжимая ее груди — левой рукой левую, правой правую, — и на его неподвижном лице медленно проступало выражение неземного блаженства. Присутствующих словно параличом разбило: мы замерли, лишились дара речи — такого безмолвия не бывало от сотворения мира и больше уже не будет никогда.

Но в этот исполненный высокого драматизма миг переводчик по имени Лю, не выпускавший патрона из поля зрения, вынырнул из прихожей, взял его за локти, оторвал от Валентины и мягко, но твердо — можно так сказать? — повлек прочь из комнаты и из квартиры. Илья и Люба, выйдя из глубокого столбняка, поспешили следом — провожать. Беседа о литературе и искусстве бодро и как ни в чем не бывало возобновилась с того самого места, на котором пресеклась за минуту до этого, никто будто ничего и не заметил.

С этого потрясающего вечера уважение, которое я испытываю к Го Можо, стало еще больше, возросло безмерно.

Баия, 1978

Луис Карлос Баррето, отец (впрочем, он же и мать) современного бразильского кинематографа, звонит мне из Рио, сообщает, что должен увидеться со мной по чрезвычайно важному делу. Договариваемся о встрече. Мы с ним давние и добрые друзья, друзья еще с той поры, когда Луис был фоторепортером — первоклассным! — журнала «Крузейро». Я люблю его и всю его семью — Люси, Бруно, Фабио, Паулу, футболиста-забивалу Клаудио-Адана и вдовствующую императрицу дону Лусиолу, могущественную главу рода. Бруно поставил фильм «Дона Флор и два ее мужа», а Луис Карлос был продюсером, и картина с успехом прошла по экранам всего мира.

И вот он в Баии и, ворвавшись ко мне, с места в карьер ошеломляет неслыханным предложением — одним из тех, от которых не отказываются, а в щенячьем восторге падают на спинку, задрав все четыре лапы кверху.

— Я приехал предложить тебе пятьсот тысяч долларов за права на экранизацию «Тьеты», — говорит он и повторяет: — Пятьсот тысяч долларов.

Добавлю, что мой роман «Тьета де Агресте» отлично распродается, а «Дона Флор» собирает полные залы в кинотеатрах.

Он переводит дух, вытягивается в кресле, закуривает сигару, симпатичное лицо озаряется улыбкой триумфатора. Я тоже улыбаюсь и трогаю его за коленку:

— Полмиллиона?

Он выпускает клуб дыма — киномагнат, привыкший ворочать баснословными суммами авансов и потиражных, акула Голливуда (и его окрестностей):

— Вот именно! Полмиллиона...

— Полмиллиона! И ты смеешь считать себя моим другом?!

— Еще бы! И дружба наша не вчера началась.

— И ты, мой друг, приходишь ко мне с таким предложением, на которое и злейший враг не решился бы...

— Не понимаю...

— Ты хочешь, чтобы я до конца дней своих выклянчивал у тебя обещанные деньги, а ты морочил бы мне голову, пока я не подох бы от изнеможения и отвращения, так и не получив ни единого — хотя бы для смеху — доллара?! Нет, Луис, не друг ты мне...

До него наконец доходит, и улыбка киномагната сменяется простодушным и громозвучным хохотом. Так смеяться умеют лишь уроженцы деревенского штата Сеара. Я угощаю его виски, и мы сидим за приятной беседой, пока не приходит время ехать в аэропорт. Мой шофер Аурелио отвезет его. Протягивая мне руки для прощального объятия, Луис осведомляется:

— Значит, отказываешься?

Таков был первый опыт экранизации «Тьеты». За ним последовали другие и третьи. Но никогда больше не слышал я столь щедрых посулов.

Москва, 1957 — Париж, 1990

Не знаю, отчего — быть может, это стойкая аллергия на декламацию, которая в 30-е годы эпидемией прокатилась по Бразилии, — я люблю читать стихи глазами, про и для себя, и самое большее, на что могу согласиться, — тихое, вполголоса, чтение возлюбленной. Это наслаждение и впрямь мало с чем сравнимо. Мне очень нравилось видеть в Москве, в парке Горького, юные пары — сидят щека к щеке, руки переплетены над страницами Пушкина и Есенина. А от чтецов-декламаторов я убегаю, как от желтой лихорадки. Признаюсь, впрочем, что все-таки дважды был я потрясен чтением вслух.

Не так давно в Париже, в Сорбонне, мы с Зелией слушали в исполнении Марии де Жезус Баррозо, замечательной португальской актрисы (и между прочим, жены президента Португалии Марио Соареша), стихи ее великих соотечественников — Камило Песаньи, Марио де Са-Карнейро, Жозе Режио, Фернандо Пессоа. Никакого велеречия и напыщенности, ни пафоса, ни слезы в голосе — она проживает каждую строфу, обволакивает слушателей поэзией, чистейшим и искреннейшим чувством. И португальский язык в ее устах обретает гул и отзвук вечности — поэзия проникает в меня, заполняет меня, струится по жилам вместе с кровью.

А другой — уже давний — случай был в Москве. На дворе стояла хрущевская оттепель, в Театре сатиры шла пьеса о Маяковском, о жизни поэта актеры повествовали его стихами, из них одних состоял текст этой инсценировки — из стихов и злобных отзывов, уничтожающей «директивной» критики, идеологической брани и политической хулы, которыми стихи эти некогда встречались. На сцене четыре актера играли четырех разных Маяковских — революционера, влюбленного, сюрреалиста... Позвольте, а четвертый? Не помню. А может, их было только трое?

Я не говорю и не понимаю по-русски, но глубинная сила поэзии проняла меня, как говорится, до кишок, взволновала до слез. Никогда не забуду сцену, когда Маяковский-самоубийца выходит на сцену и читает стихи, написанные на смерть Есенина, стихи, в которых попрекает его слабостью, корит за капитуляцию. Мороз по коже.

Чуть не полжизни отдал я борьбе с величайшим злом современности — американским империализмом: гневно бичевал его и клеймил, пригвождал к позорному столбу, разоблачал, срывал с него маску, возлагал на него ответственность за все несчастья человечества, за глад, мор и трус, за угрозу атомной войны, за тирании, которые насадил он там и тут.

Много в тогдашних моих пламенных речах и статьях было самой бессовестной демагогии, но попадались в грудах и ворохах словес и крупицы истины: и вправду навязывал он свою волю в экономике и политике, и в самом деле в американских посольствах готовились путчи и перевороты, потрясавшие несчастную нашу Латинскую Америку, выкармливались пиночеты, виделы, бразильские «гориллы» 64 года. И я не раскаиваюсь, что потратил столько риторических зарядов: империализм действительно агрессивен, жесток, звероподобен.

Но снова и снова повторяю я сомнительную с точки зрения чистоплюев остроту — самым ценным своим материальным достоянием я обязан ему, американскому империализму. Впрочем, если говорить точнее, то это благодаря нашим с Зелией — я не отделяю себя от нее — трудам появились у нас дом в баиянском квартале Рио-Вермельо и мансарда на берегу Сены.

В 1962-м голливудская корпорация «Метро-Голдвин-Майер» купила у меня права на экранизацию моего романа «Габриэла, гвоздика и корица», переведенного на английский, изданного стараниями Алфреда Кнопфа и даже вошедшего в список бестселлеров, купила задешево, пользуясь моей тогдашней неосведомленностью в этих вопросах и тем, что имя мое было не слишком известно в кинематографических кругах. Это теперь я понимаю, что продешевил, — в ту пору гонорар показался мне астрономическим. Да еще в долларах! Я чувствовал себя богачом. «МГМ» больше двадцати

лет все не запускало фильм в производство, не начинало съемки, и дважды я пытался выкупить права, предложив во второй раз вдвое больше того, что получил когда-то. Дважды отвечали мне стандартными письмами — не собираемся, мол, расторгать нашу сделку. Именно это слово употребляли они.

Тем не менее благодаря этим империалистическим, кинематографическим, голливудским долларам смог я осуществить давнюю свою мечту — обзавестись в Баии собственным домом. Он был с любовью спланирован и выстроен Жилберберто Шавесом, в ту пору начинающим, а ныне маститым и знаменитым архитектором. И чтобы дом этот вышел единственным в своем роде, немало труда и таланта приложили мои друзья — баиянские художники Карибе, Марио Краво, Лев Смарчевский, Дженнер Аугусто, Хансен Баия, Калазанс Нето, Удо Кнофф, Алдемар Мартинс, португальский керамист Жозе Франко. Двери и решетки, изразцы, черепица, скульптура, картины, рисунки, гравюры... Словом, если бы пришлось платить за эти доброхотные даяния, за эти, книжно выражаясь, приношения на алтарь дружбы, то я должен был бы загнать янки права на экранизацию еще одного романа.

Лев Смарчевский, живописец и график, мореплаватель и яхтсмен, баиянец родом из Одессы, по собственным эскизам смастерил мебель; Ману, жрец на кандомбле в Гантоисе, выковал атрибуты грозного бога Ошосси, венчающие крышу, и фигуру проворного демона Эшу, оберегающего и охраняющего дом. Мы с Зелией своими руками посадили каждое дерево в саду, за исключением столетних сапотизейро и нескольких манговых пальм — пользуюсь случаем сообщить своим домашним, что там, под корнями этих манго, я, когда придет мой час, и хотел бы лежать.

В 1985 году нью-йоркское издательство «Бэнтам» как-то особенно расщедрилось на гонорар за право перевода и публикации «Токайа Гранде» — сумма вознаграждения, удостоившаяся упоминания в «Нью-Йорк таймс», позволила мне осуществить еще одну мечту и купить pied-à-terre[1] в Париже. С учетом налогов и комиссионных агенту всего полученного от «Бэнтама», всего, что сумела сэкономить и сберечь Зелия, в обрез хватило на покупку мансарды на Кэ-де-Селестэн: из окна видны Сена, Нотр-Дам, Эйфелева башня, а как раз напротив, на острове Сен-Луи, живет наш друг Жорж Мустаки.

Рио-де-Жанейро, 1946

В январе 1946 года жители Сан-Пауло выбрали меня в Федеральное собрание. Я договорился с Престесом, что буду исполнять депутатские обязанности в течение трех месяцев, а потом вернусь к своим литературным занятиям. Однако пробыл я в палате полных два года — до тех пор, пока в 48-м меня и других левых не выкинули оттуда.

Это был печальный день, день поражения, о котором мы знали с самого начала, еще до того, как вступили в ожесточенную, продолжавшуюся много месяцев борьбу за мандаты. И это был радостный день, ибо я скинул наконец депутатскую ношу: я не создан для парламентаризма, меня воротит от речей с трибуны и пленарных заседаний — я люблю заниматься тем лишь, что радует меня или забавляет. Большого труда стоило мне держаться «на высоте требований», но думаю, что все же я был не таким уж плохим депутатом, хотя, повторяю, это не мое дело. Трудно было еще и потому, что нашу фракцию все время в чем-то подозревали. И вдвойне трудно оттого, что партийные руководители требовали от нас подчинения слепого и безоговорочного. И были мы не фракцией, а сектой. Короче говоря, в этих обстоятельствах делал я что мог.

Если чем-то я и могу гордиться, если считаю, что эти два года слово- и просто прений не были ухлопаны совсем уж впустую, то тем лишь, что по моему настоянию внесена была в проект нашей конституции, который обсуждали, редактировали и утверждали члены особой комиссии, состоящей из сенаторов и членов Федерального собрания, поправка, и по сей день еще гарантирующая гражданам Бразилии свободу совести.

Провозглашенная в стране республика первым же декретом отделила церковь — святую римскую католическую апостольскую — от государства, но отделение это оста-

[1] Квартира, где живут наездами, время от времени (*франц.*).

лось на бумаге, а свобода совести обернулась фарсом. Католическая церковь, целиком и полностью — «теологии освобождения» тогда ведь еще не существовало — служившая богатству и силе, сохранила все свои привилегии и ни на йоту не утратила власти и влияния. Государство щедро субсидировало ее, а официальное признание было абсолютным — сеньор епископ делал что хотел, а губернаторы целовали его пастырский перстень. Прочие конфессии — и христианские и нехристианские — жевали, по народному присловью, хлеб, что сам дьявол замесил, то есть влачили жалкое существование. Дискриминации и полицейскому преследованию подвергались и протестанты, и всякого рода секты, и культы африканского происхождения[1].

В 1946-м я, проводя свою избирательную кампанию, объехал внутренние районы штата Сеара и такое там увидел, что волосы встали дыбом. Разъяренные толпы католиков-фанатиков с воздевшими кресты священниками во главе, крича «Слава Царю Небесному!», громили и поджигали протестантские храмы. Те же самые фанатики, науськанные теми же падре, в считанные минуты разнесли в щепки помост, с которого мы с Зелией должны были выступать на митинге; он, впрочем, тоже не состоялся. Мы еле унесли ноги — остервеневшие святоши-богомолки толкали и пинали нас, пытались вцепиться Зелии в волосы, вслед нам неслись угрозы, сверкали клинки длинных ножей, какими в здешних краях колют свиней, — никогда еще я не видел смерть так близко. Удалось, по счастью, вскочить в грузовик и удрать. Никакой свободы — ни политической, ни религиозной.

Приверженцам афро-бразильского культа приходилось еще хуже. Я с младых ногтей терся в самой гуще баиянского простонародья, жадно изучал его жизнь, бывал и на террейро, и в «домах святых», на ярмарках и на рынках, на пристанях, куда причаливали рыбачьи баркасы, так что могу засвидетельствовать, с какой жестокостью пытались власти светские и церковные уничтожить и истребить все те культурные и духовные ценности, что обязаны были своим происхождением Африке. Как свирепо преследовались традиции, обряды, племенные наречия и божества, как неуклонно стремилось государство выкорчевать верования самых бедных своих, самых угнетенных граждан.

В четырнадцать лет я начал работать в газете, и сразу же вышло так, что я включился в борьбу против дискриминации языческих верований, против преследования *ориша, иаво, экеде, оганов, йалориша, оба*. Очень скоро я своими глазами увидел солдат, вламывавшихся на макумбу, разорявших террейро, сносивших алтари, увидел, как заталкивают жрецов и верующих в полицейские фургоны, как избивают их и глумятся над ними, не забуду и рубцы от плетей на спине престарелого Прокопио. Все эти издевательства, не сломившие дух баиянского народа, стали основой моих романов — кто читал, должен помнить, как все это происходило.

Пробить поправку о свободе совести было делом нелегким. Более того, она потребовала от меня известного хитроумия — надо было не обсуждать ее во фракции, не выносить на рассмотрение и утверждение политбюро, а прямо и непосредственно показать Луису Карлосу Престесу, который был бесспорным лидером бразильской компартии и потому, должно быть, выгодно отличался от других руководителей незашоренностью и отсутствием твердолобой ортодоксальности. Я воспользовался приездом Джокондо Диаса — человека, заслужившего всеобщее уважение: в 1935 году это он возглавлял «рождественский мятеж», за него и был приговорен к десяти годам тюрьмы и до самой амнистии жил под чужим именем. Испытанный борец, достойная личность. Мы отправились к Престесу вдвоем. Джокондо во всех подробностях ознакомил генсека с проблемой и обратил его внимание на то, какие дивиденды может получить компартия, если возьмет на себя защиту народных верований. Итак, мы заручились безоговорочной поддержкой первого человека в партии. Если бы я вынес поправку на обсуждение во фракции, то, скорей всего, загубил бы дело: если уж религия — опиум для народа, то кандомбле — еще худший наркотик, да еще и дикий пережиток варварства, никак не совместимый с социализмом. Да чего и ждать было от Жоржи Амаду, по просвещенному мне-

---

[1] Афрохристианские общины подчинены внутренней духовной иерархии, обычно йорубско-дагомейского происхождения. Общину возглавляет жрица-«мать» или жрец — «отец святого», которым помогают совершать обрядовые действия младшие жрецы и жрицы — эбомин, экеде, оба, иаво. Радение, называемое кандомбле или макумба, происходит на особой площадке — террейро.

нию многих товарищей, писателя невысокой морали, так, в сущности, и оставшегося в плену мелкобуржуазной стихии, страдающего разнообразными идеологическими загибами и уклонами.

Итак, я получил от Престеса нечто вроде санкции, но собирать подписи среди коммунистов обеих палат не пошел. Я счел за благо представить проект поправки как инициативу довольно известного писателя, связанного с афро-бразильскими сектами. Ну а то, что писатель этот — коммунист, дело десятое.

Я рассудил верно — если бы проект исходил от коммунистической фракции, то стал бы мертворожденным ребенком. По мере того как «холодная война» вступала в свои права, вытесняя недавнюю эйфорию от разгрома нацизма, все труднее становилось нашей фракции работать. Другие депутаты посматривали на нас в лучшем случае с недоверием, а в худшем — с ненавистью, с ходу и без разбора блокируя все, что мы предлагали. Что кроется за этим? — спрашивали социал-демократы, демократические националисты, трабальисты и прочие, видя в самом невинном нашем начинании «руку Москвы». Нынешние поколения не знают, что это такое, а была она тогда повсюду, тянулась к национальным святыням, оскверняла наши очаги, расшатывала устои «семьи, частной собственности и государства». Было еще «золото Москвы», но об этом как-нибудь в другой раз.

...Я напечатал поправку на машинке, подписал и отправился искать Луиса Виано Фильо, баиянца и писателя, депутата от партии «Национально-демократический союз». Земляк и собрат по ремеслу, автор книги «Негр в Бразилии», внял моим уговорам и поставил свой автограф. После этого я устроил засаду на Жилберто Фрейре, депутата от штата Пернамбуко, который нечасто баловал Законодательное собрание своими посещениями, но уж зато когда приходил, зал, и ложи прессы, и галереи для публики всегда заполнялись народом, предвкушавшим яркую речь. Завидев нашу звезду, я ловко отсек его от поклонников, увлек в уголок, показал текст, и он украсил его своей драгоценной закорючкой. При этом еще улыбнулся неотразимой улыбкой и сказал вполголоса: «Как это я не додумался?»

Я продолжил обход депутатов и вскоре собрал больше семидесяти автографов. Поправка была принята, включена в соответствующий раздел Конституции 1946 года и стала статьей закона.

Таков был мой вклад в бразильскую демократию. Закон стал работать, и через какое-то время преследования, гонения на инаковерующих, налеты на храмы, поджоги, насилие отошли в прошлое. Значит, не зря все-таки меня выбирали, не зря два года натирало мне холку депутатское ярмо, не напрасно торчал во дворце Тирадентиса липовый законодатель, немощный парламентарий.

Рио-де-Жанейро, 1971

Я гляжу на фотокарточку — снимок сделан у входа в собор Сан-Бенто, различаю знакомые лица. Ведя Палому за руку, я переступаю порог храма точно в назначенный срок, минута в минуту, чего никогда не бывает на подобных церемониях, когда женятся дети людей известных и заметных в культурной, как говорится, жизни Бразилии: дочка одного, смею думать, видного беллетриста выходит замуж за сына другого.

Это изгнание и жизнь в Европе научили меня пунктуальности, а у нас в Бразилии привычка приходить вовремя если не гибельна, то пагубна. Сколько раз я попадал из-за нее в глупейшие ситуации... Может, хоть теперь мы не явимся раньше всех?! Палома еще поправляла фату, а я уже стоял в дверях лифта. Может, я это делаю, чтобы показать, что не собираюсь склоняться перед обычаями семьи Коста, славной своей легендарной непунктуальностью, о которой рассказывают истории, иной раз довольно язвительные. Моя дочь Палома выходит замуж за Педро Косту, сына Назарет и Одило Коста.

Венчать новобрачных будет дон Тимотео, монах-бенедиктинец, настоятель монастыря Сан-Бенто в Баии, специально по такому случаю приехавший в Рио. Замечательный человек, напрочь лишенный католического догматизма, который ничем не лучше догматизма коммунистического. Дон Тимотео — один из вождей тайной армии, сопротивляющейся военной диктатуре, а верховный главнокомандующий этого воинства —

дон Элдер Камара, архиепископ Ресифе и Олинды. Сама жизнь заставила пастыря пересмотреть свои взгляды, отойти от правых и примкнуть к коалиции левых.

Экуменическое венчание: жених — ревностный католик (как и вся его семья: отец в статье одного уважаемого критика был даже назван «католическим поэтом», мне подобная классификация кажется обидной, ибо поэзия превыше любой идеологии), а невеста выросла в семье атеистов, воспитана вне какой бы то ни было религии, в том числе и афро-бразильской, хоть папаша ее и носит титул *оба* — жреца грозного Ханго, верховного божества в африканском пантеоне. Да-с, так вот, на экуменическом этом венчании дон Тимотео простыми словами воспел волшебную силу поэзии, прелесть дружбы, говорил о жизни и о любви так, что поневоле растрогаешься.

Я смотрю на молодых, внимающих прекрасным и мудрым словам монаха, и меня не оставляет легкая тревога, едва заметное беспокойство: удастся ли Паломе стать своей в чужой семье, приспособиться к привычкам и обычаям, столь непохожим на те, что приняты в ее собственном доме? Педро тонок, изящен и хрупок, у него профиль юного эрудита, неуемного мальчика-книгочея, по зубам ли ему будет орешек под названием «жизнь»? Порою я испытываю некое отчуждение, мне начинает казаться, что я слишком груб и прост для такого одновременно застенчивого и гордого, такого одухотворенного и чувствительного зятя. Сможет ли Палома оказать достойное сопротивление ужасу, именуемому «рутина», не дрогнуть перед случайными пакостями и намеренными жестокостями, на которые так богата жизнь — и просто жизнь, и жизнь супружеская, жизнь семейная. Готова ли она к тому, как беспощадна любовь? Сумеет ли отмахнуться от мелких подвохов и преодолеть великие муки, научится ли ладить со свекровью, свекром, золовками? Надеюсь. Палома поразительно похожа на меня, мы подобны во всем, почти во всем. Это Жоан Жоржи удался в Зелию — воплощенная доброта, приятие всего и вся, спокойная уверенность и веселое спокойствие. Мы с Паломой позаковыристей, не так добры и великодушны, как Зелия и Жоан, мы более себялюбивы и жестки. Зато мы наделены лукавой гибкостью, позволяющей нам обуздывать душевные порывы, которые способны привести к непониманию, а то и к непоправимому разладу. Вспоминая себя самого и свою жизнь с Зелией, я даю дочери вотум доверия.

Рио-де-Жанейро, 1971

После венчания, в машине, по дороге из собора в дом Одило Косты, где состоится свадебный обед, наша бабушка дона Лалу — вся такая торжественно-парадная — жалуется, что дон Тимотео в своей проповеди обидел новобрачную:

— Зачем было столько раз шпынять бедную девочку — ты не католичка, ты некрещеная... Зачем, а?

— Ну, мама, это называется «экуменическое бракосочетание». Жених — католик, а невеста — нет... Дон Тимотео и не думал обижать Палому...

— Все равно! Я не знаю этих ваших нынешних новшеств, но все равно — не должен был святой отец так вот при всех, прилюдно, во храме говорить, что наша Палома — не католичка! Бедняжка моя! И кто вас с Зелией тянул за язык, к чему было объявлять — мы, мол, ее не крестили?..

Мама, а ты-то сама верующая? Само собой, крещена по обряду, это верно, но по части религии слабовата. Если не считать обетов Тоньо, как фамильярно называешь ты святого Антония, по поводу каких-нибудь пропавших и нашедшихся вещей, веры в тебе — вот настолечко, не больше. Ум у тебя скептический и критический, и в загробную жизнь ты не веришь, ибо слишком привязана к этой, земной, пусть в ней все — тщета и мимолетность, но все же... Вот и я такой же.

Москва, 1954

Обед у Эренбургов. Лида, их домоправительница, — моя горячая поклонница: она из кожи вон вылезет, чтобы угодить своему любимому автору, и обед выйдет на славу. А хозяин дома в своем кабинете получает от редактора «Правды» партийные установки: надо написать серию статей на международные темы, лучше Ильи с этой задачей не

справится никто. Ожидая, пока кончится *накачка*, мы попиваем вино из погребов доктора Геббельса.

Некоторое время назад Илье позвонил президент Академии наук, человек, причастный к высокой политике, и доверительно сообщил ему нечто сенсационное — новость из первых рук, привилегия очень и очень немногих... Ошеломительная информация...

— Берию приговорили к смерти? — спросил Илья; дело было как раз во время суда над бывшим главой советской тайной полиции.

— Да при чем тут Берия?! — взорвался академик. — Берия, Берия... Серьезнейшее дело, а ты с этой ерундой... Мне стало достоверно известно, что завтра утром в одном из центральных гастрономов будут продавать коллекционные вина из погребов Геббельса. И я советую тебе встать пораньше и приехать к открытию магазина — тогда, может быть, сумеешь взять побольше.

Среди прочих трофеев, взятых Красной Армией после падения Берлина, оказалась и огромная коллекция самых редких, самых тонких и изысканных вин, награбленных немцами по всей Европе, и прежде всего во Франции. Десять лет хранились они неизвестно где и теперь, перелитые в бутылки с лаконичной этикеткой «Вино», поступят в продажу по смехотворно низким ценам — дешевле, чем ординарные столовые вина из Молдавии и Грузии. Илья и Люба встали спозаранку, подняли «в ружье» Лиду, Лидину мать, шофера, двух секретарш, родителей означенных секретарш, дочь Ирину, зятя, короче говоря, объявили тотальную мобилизацию, и их сводный батальон, явившись к открытию, сумел захватить чуть больше восьмидесяти бутылок. Вскоре у дверей гастронома выросла огромная очередь: люди хватали и платили, не спрашивая, что хватают, за что платят, действуя по известной поговорке «Дают — бери», и это было вполне в духе времени.

Дальше началась знаменитая «русская рулетка» — откупоривание и дегустация безымянных вин: мы пытались по вкусу и букету определить год и страну изготовления, тип и сорт, возраст, выдержку. Все оказалось самого высшего класса, истинным нектаром, появление коего в открытой продаже смело уподоблю событию, не уступающему в судьбоносном значении своем смерти Сталина, открытию XX съезда КПСС. Сами понимаете, что разоблачение Берии никак не вписывается в этот грандиозный ряд, оставаясь мелочью, эпизодом, внимания не заслуживающим... Итак, мы ждали хозяина, дегустировали и закусывали икрой, осетриной и загадочной рыбкой *шпроты* — кто еще не пробовал, пусть поспешит, очень рекомендую.

Но вот из кабинета появились Илья и редактор «Правды», которому тоже было предложено отведать геббельсовских изысков. Но он предпочел водку — опрокинул рюмку и распрощался. Эренбург взял бутылку красного, налил, попробовал, сообщил, что это бордо, и стал потягивать его маленькими глоточками, смакуя и рассказывая, на каких именно виноградниках созревали дивные ягоды, в каких подвалах выдерживался благородный напиток и сколько ему лет. Познания его в этой области легендарны. Пока накрывали на стол и подавали обед, он кое-что поведал и о недавнем госте.

В кабинете Эренбурга все стены увешаны рисунками и гравюрами французских мастеров — это собрание в своем роде не уступит коллекции Геббельса и оценивается в миллионы. А на письменном столе стоит офорт Пикассо «Жаба» с дарственной надписью. Увидев эту бесформенную, разъятую на части тварь, правдист, идеолог и адепт соцреализма, скривился от омерзения и побагровел:

— И это вот капиталисты считают искусством? Как вы можете, Илья Григорьевич, держать у себя в кабинете подобную формалистическую гниль и гадость? И как смеет этот штукарь Пикассо называть себя коммунистом?

Илья прервал обличительную речь:

— А вы знаете, как называется этот офорт и что на нем изображено?

— Не знаю и знать не хочу! Это...

— Это — американский империализм.

Идеолог, постепенно смягчаясь, снова уставился на жабу, покачал головой, и апоплексический его загривок вновь обрел нормальный цвет.

— Да? А я сразу и не понял, — самокритично заметил он. — Пикассо, кажется, член Французской компартии? Правильный товарищ и большой талант.

Рио, 1947

Врачи и пациентки толпятся в коридорах, чтобы посмотреть, как, блистая красотой, проходит по родовспомогательному заведению Мария... — ну, скажем, делла Коста, — явившаяся навестить Зелию, которая вчера произвела на свет нашего первенца Жоана Жоржи.

Няньки извлекают младенца из палаты для новорожденных и несут купать его в присутствии счастливой матери. Распеленывают, опускают в теплую воду. Актриса оглядывает малыша и указывает пальчиком:

— Нет, вы на пипку посмотрите!.. Ну вылитый отец!

Петрополис—Париж, 1984

Затворясь, как говорится, от света, укрывшись в гостеприимном и уютном доме моих друзей Глории и Алфредо Машадо, я, будто каторжник, прикованный к тачке, работаю над «Токайей Гранде». Меня нет ни для кого. Но звонит телефон, и Зелия, сняв трубку, подзывает меня:

— Придется подойти... Это посол Франции.

И я, француз душой, подхожу. Посол имеет сообщить мне следующее только что полученное известие: правительство Французской Республики в лице президента Миттерана наградило меня орденом Почетного легиона — командорской его степенью, то есть звездой. Такую же награду получат вместе со мной люди куда более достойные — Федерико Феллини, Йорис Ивенс, Норман Мейлер, Альберто Моравиа, Яшар Кемаль; и турок, и итальянец тоже мои давние друзья, как и голландский кинематографист. Я благодарю за честь, говорю, что горд и тронут. Так оно и есть.

Посол сообщает мне день и час вручения награды. Мне ужасно не хочется прерывать работу над романом, и, узнав, что посол на будущей неделе прилетит в Баию, чтобы вручить орден Пьеру Верже, я изъявляю желание присоседиться к нему. Утром буду в Баии, вечером вернусь в Петрополис, а Париж — это не меньше недели.

От такого вопиющего незнания протокольных тонкостей посол на миг теряет дар речи.

— Даже не думайте! — восклицает он не без обиды. — Верже — офицер Почетного легиона, приколоть ему крест имею право я. Вы же награждены командорской степенью ордена, и вручить его вам может только сам президент.

Ах я святая простота! Рассыпаюсь в извинениях, уточняю дату, и мы летим в Париж. Президент Миттеран, надевая мне на шею ленту с орденом, произносит не скупясь лестные слова о моем писательском труде. В зале Елисейского дворца я вижу самых дорогих мне французских друзей, от волнения у меня мурашки по коже и слезы на глазах... А для Зелии эта церемония — как бы извинение: здесь, в Елисейском дворце, мы отмечаем некий юбилей — ровно двадцать пять лет с того дня, как нас выслали из Франции.

Канн, 1985

Жозе Апаресидо де Оливейра назначен губернатором столичного штата Бразилиа и оставляет должность министра культуры. Жозе Сарней, новоизбранный президент страны, решает расширить состав кабинета и вручить освободившийся портфель — даме. Неглупый ход, широкий жест.

Он приглашает занять министерский пост Фернанду Монтенегро — актриса отвечает отказом. Тогда Сарней отыскивает на Каннском фестивале сеньору Зелию Гаттаи, супругу некоего Жоржи Амаду, и делает предложение ей. Отказ. Сарней настаивает. Зелия растеряна и не понимает причин такого упорства. Причины очевидны, объясняю я ей. Известная писательница, человек, разбирающийся в искусстве и в литературе, человек серьезный, даровитый, симпатичный наконец. Правильный выбор — выстрел в яблочко. Чем же ты не министр?

Зелия спрашивает — это я всерьез или издеваюсь по обыкновению? Всерьез-всерьез, никогда еще не был я так серьезен, а насчет издевательства это ты оставь. Тогда она просит, чтобы я с полной откровенностью ответил, что, по моему мнению, будет, если все так, как я говорю, и если она согласится. Ответ готов:

— Сарней хочет, чтобы культурой занялась женщина, — это верно. Согласишься — он получит министершу красивую, умную, талантливую и...

— Ну? Не томи!

— ...и брошенную мужем.

Сагрес, 1976

Мы вылезаем из машины, я беру Палому за руку и веду ее по широкому и просторному пляжу. Перед нами — море инфанта дона Энрике[1], море великих открытий — Атлантический океан. Прочие члены моего семейства, занятые оживленным разговором, следуют несколько поодаль.

Толстый — в то лето меня отчего-то разнесло как никогда, — в бермудах и гавайской рубахе в красно-синих цветах, в сандалиях на босу ногу, в матросской шапке с помпоном, я как две капли воды похож на богатого янки-туриста. Перед нами — палаточка, а на прилавке множество всякой всячины, гора лакомств — сушеные фрукты, грецкие орехи, лесные орехи, миндаль, финики и прочее, глаза разбегаются. Я останавливаюсь в восхищении, а хозяин — приземистый тучный португалец средних лет, — предчувствуя крупную покупку, смотрит на меня с интересом. Я снимаю с верхушки пирамиды венчающую ее инжирину, надкусываю, наслаждаюсь вкусом и не могу удержаться от истомного вздоха. Продавец следит за тем, как жует пузан-американец.

— Гуд? — произносит он английское слово, известное всякому торговому человеку.

— Гуд, — не кривя душой, подтверждаю я.

Вокруг хохочут, слушая наш диалог, и еще громче становится смех, когда португалец говорит на родном языке:

— Ах ты обжора, обжора, вон какое брюхо себе наел.

Мы с Паломой чуть не падаем от смеха, я с трудом перевожу дух.

— Папа, он думает — ты американец! — громко говорит Палома.

— Ой! Это бразильцы! — стонет, осознав свой промах, продавец.

Я накупаю несколько кило фиг, фиников, орехов — всего, что я так страстно люблю. Тут, держа наготове ручки, приближаются поклонники моего творчества — просят дать автограф.

— Киноартист, — в растерянности говорит хозяин.

Ильеус, 1925

Приехав на каникулы в Ильеус, Эурико и Эмилио, сыновья доны Жулиеты, и я, сын доны Эулалии, набрались храбрости — Эмилио уже исполнилось тринадцать, а нам с Эурико еще нет — и отправились в публичный дом Антонии Кувалды (в «Габриэле» я вывел ее под именем Марии), лучшее и самое прославленное заведение во всем штате. Там, кроме наших соотечественниц из Баии, Аракажу и Рио, подвизались, приобщая диких бразильцев к достижениям европейской цивилизации, две «гринги» — француженка и полька.

Страшно оживились девицы, когда трое маменькиных сынков, трое явно невинных мальчуганов переступили запретный, заветный порог, — со смехом и визгом окружили нас, затормошили, затискали, расцеловали, повисли на шее, и каждая в наставницы предлагала себя. Близился торжественный миг прощания с невинностью. Эмилио, напыжась, делал вид, что ему это не впервой, брат его Эурико от смущения совсем потерялся, а ко мне на колени уселась полька. Тут, привлеченная непривычным гомоном, и спустилась сверху Антония Кувалда, и грянули для нас трубы Страшного суда.

Антонию, несмотря на ее ремесло, которое правила она с выгодой для себя, знал и уважал весь город, никто ее не чурался и не гнушался, и даже самые важные дамы из местного общества, супруги завсегдатаев ее заведения, за честь считали поддерживать с ней знакомство и водить дружбу, и не было такой, кто бы не ответил ей на поклон. С моей матерью, жившей неподалеку от улицы Уньян, где помещался веселый дом, любила она

[1] Имеется в виду португальский принц Генрих Мореплаватель (1394—1460), организатор экспедиций к северо-западным берегам Африки, положивших начало великим географическим открытиям.

при встрече почесать язычки — присаживались обе на лавочку, обсуждали погоду, виды на урожай тростника и цены на какао. В наших краях за обладание землей еще убивали и умирали, и социальные различия не успели повлиять на нравы.

И, увидев, как мы, облепленные ее барышнями, делаем выбор, с кем бы нам пасть, Антония Кувалда взревела диким зверем:

— Марш отсюда, желторотые, сию же минуту убирайтесь прочь, бесстыдники! Не дай бог узнают дона Жулиета с доной Эулалией, что их сыновья шляются к девкам! Вон!

И так вот нас, вконец обескураженных и сникших, с позором выставили из борделя, ибо под надежной защитой хозяйки его, Антонии Кувалды, была мораль в городе Ильеусе.

Нью-Дели, 1957

Пабло Неруда с видом жертвы злосчастного стечения обстоятельств появляется в моем номере, тыча пальцем в какую-то газетную статейку на английском языке:

— Немыслимо, невозможно! Эти советские — просто несерьезные люди! Ну что ты будешь с ними делать, кум?!

А на фотоснимке над статьей Хрущев в белградском аэропорту целуется с Тито.

После громового успеха «Всеобщей Песни», главной книги Неруды, поставившей его в первый ряд современных поэтов, он выпустил «Виноград и ветер» — сборник политических стихотворений, гневно бичующих американский империализм, который несет народам мира войну и нищету, воспевающих героизм советского народа и новорожденных стран народной демократии, обязанных своим появлением на свет победам Красной Армии. Есть среди этих стихотворений получше, есть похуже, но ни одно из них, хоть они и не идут ни в какое сравнение с «Песнью», нельзя счесть бездарным: в каждом есть пусть одна талантливая строчка — Пабло всегда и всюду остается поэтом. Ну так вот, самое, пожалуй, яркое во всем сборнике — это похвальное слово Иосипу Броз Тито, вождю народов Югославии, отцу отечества, чье величие того и гляди затмит величие его кремлевского тезки. Стихотворение немедленно было переведено на все языки СФРЮ.

Аргентинское издательство «Лосада» уже объявило о выходе второго издания «Винограда и ветра», как вдруг распространилось известие о том, что два Иосифа рассорились насмерть. Неруда, осердясь на отступника и предателя Тито, заменил уже сверстанный и набранный панегирик спешно сочиненной яростной диатрибой, где к вящему восторгу советских — и нас всех — сорвал маску народного героя с цепного пса американского империализма.

Немало воды утекло с тех пор — на XX съезде КПСС разоблачили культ личности, поведали о преступлениях Сталина, реабилитировали Тито, Хрущев с пальмовой ветвью слетал в Белград, а чилийское издательство «Насимьенто» подготовило к печати «Виноград...». И вот теперь Пабло показывает мне речь, которую произнес Никита, когда вылез из самолета и упал в объятия югославского маршала — *дорогого товарища Тито*.

— Нет, ты послушай, — горячится бедный поэт, окончательно запутавшийся в хитросплетениях политики, виноград его стихов осыпается под ветром, непредсказуемо меняющим курс. — *Дорогой товарищ Тито*! Посоветуй, что мне теперь печатать в сборнике? Похвальное слово или брань? Я, конечно, ангажирован, но это уж слишком! Разве можно так?

Я советую Пабло вообще, раз и навсегда, выкинуть Тито из сборника, чтоб не зависеть больше от колебаний генеральной линии. А главное — не торопись сочинять оду Хрущеву: мало ли как дело обернется!

Прага, 1950

Проездом из Софии в Париж у нас в Праге оказывается Мария-Баиянка — назовем ее так, потому что в нашей общей с нею отчизне она жила в квартале Кампо-Гранде на улице Корредор-да-Витория.

Она на голубом, что называется, глазу представляется крестницей Грасилиано Рамоса[1] на том лишь основании, что, как и он, родилась в штате Алагоас, в Палмейра-дос-

[1] Грасилиано Рамос (1892—1953) — крупный бразильский писатель, автор многих романов.

Индиос, объявляет себя моей родственницей — «Ты разве не знаешь, что Лейтенант путался с моей сестрой?». Лейтенант — прозвище моего брата, Жамеса Амаду, в ту пору главного редактора «Моменто», баиянского органа бразильской компартии. Что ж, это и в самом деле родство, хоть и не кровное, но близкое, и я с удовольствием слушаю ее душевные излияния, касающиеся сердечных бурь и плотских утех.

Благодаря своему статусу специальной корреспондентки «Моменто» и активистки компартии, благодаря рекомендательным письмам, которыми снабдил ее Лежебока (чертовка! знает даже, как Жамеса дразнили в детстве), но главным образом благодаря смуглой гладкой коже, отличной фигуре и огненному темпераменту, Мария колесит по странам народной демократии, а там уж и не знают, куда ее усадить, чем угостить, какие дива показать. Какие ложа стелили ей в Будапеште и Бухаресте, в Восточном Берлине, в Варшаве и Вроцлаве, в Братиславе и Софии! Год назад она по секрету шепнула мне, что судьба занесла ее даже в президентскую опочивальню Иосипа Броз Тито, маршала Югославии и народного героя, — правда, нет ли, судить не берусь. Для полного комплекта не хватает лишь Москвы: Эренбург пообещал устроить ей приглашение от Союза писателей СССР, но обещания пока не сдержал. И вот сейчас она в Праге, где ее принимают руководители Союза журналистов Чехословакии, а попала она сюда из Софии, где гостила у родственника самого Димитрова — с ним, с родственником то есть, она познакомилась в Париже, в болгарском посольстве. Мария-Баиянка — свой человек при дворах социалистических государей.

В баре пражского отеля мы чокаемся сливовицей за скорейшее возвращение бразильской журналистки в родные пенаты. Мария-Баиянка ждет не дождется этой минуты, она ужасно тоскует по отчизне, и я удивляюсь — не замечалось за ней раньше такого пламенного патриотизма.

— Больше не могу слышать в постели венгерскую или словацкую речь, — объясняет она. — Хочу, чтобы меня называли тем словом, которое в ходу у нас дома, хочу слышать его, понимать, что оно значит, только тогда я получаю наслаждение. А этих социалистических языков я не знаю, а потому пропадает какая-то самая главная изюминка.

Она устремляет на меня мечтательный взгляд непорочной барышни, допивает свою рюмку и идет к выходу. У подъезда отеля в длинной черной «татре», которая полагается только высокому начальству, ждет ее генеральный секретарь Союза журналистов Чехословакии.

Я выбегаю следом — но поздно: лимузин скрывается в надвигающихся сумерках. А выбежал я затем, чтобы помочь Марии-Баиянке вновь найти изюминку, без которой любовь делается пресной и не завершается победным оргазмом, я вспомнил, что почешски ее любимое слово звучит очень красиво и совсем на наш манер — *курва*! Может быть, оно пригодилось бы ей сейчас?

Баия, 1981

Я отправляюсь поздравить Мирабо Сампайо с семидесятилетием. Несмотря на почтенный возраст, он сохранил железное здоровье и — по его словам — изменяет не своим привычкам, а бесчисленным любовницам.

Вдовец Мирабо живет один в своем доме на улице Ари Баррозо, где мы по субботам и воскресеньям собираемся сыграть в покер. Этот дом — одновременно и жилище, и студия, и музей. Там стоят резные голландские столы XVII века из магазинов знаменитых баиянских антикваров Морейра, там секретеры и поставцы, картины Карибе и Дженнера Аугусто, скульптуры Марио Краво и самого хозяина, увенчанного лаврами Мирабо, у входа, в просторном вестибюле, стоят два чудесных деревянных изображения — Христос и Пьета. А какая у него коллекция святых! Более пятисот штук, и есть среди них статуя Пречистой Девы работы Фрея Агостиньо да Пьедаде, одна из тех четырех, что подписаны именем величайшего после Алейжадиньо *сантейро*[1]. Никаких денег не хватит, чтобы купить ее, а Мирабо она досталась за бесценок.

Мирабо изображает этих святых на своих полотнах, и они отлично расходятся — кли-

[1] Сантейро — мастер, делающий изображения святых.

ентура у него многочисленная и постоянная. По секрету он как-то раз сообщил мне: «Когда платят с ходу, делаю скидку, а если в рассрочку, набавляю цену. Но тут на днях совсем одурел — взял да и подарил холст, и знаешь кому? Мадемуазель Фафа де Белень. Я и так запросил с нее меньше, чем следовало, потому что мне нравится, как она исполняет свои песенки, но она возьми да и нагнись, и когда я заглянул ей в декольте, то утратил здравый смысл и отдал картину даром». Мирабо пишет и рисует, слушает музыку, разговаривает с друзьями — это любимое его занятие, в чем, однако, можно усомниться, если вспомнить, как часто он влюбляется. Ну, по крайней мере, одно из двух любимых занятий.

Мы видимся с ним едва ли не каждый день, и каждый день он рассказывает мне очередную историю о своих возлюбленных, имя же им легион, и ни одна не старше двадцати трех лет, не считая, понятное дело, *современниц* — подруг далекой юности, которые в память о прошлом до сих пор приносят ему в дар галстуки, платочки или теплые подштанники. Речь не о них. Молодая же и очаровательная поросль представляет все классы и сословия, все виды гражданского состояния: есть среди них незамужние и состоящие в более-менее счастливом или вовсе неудачном браке, есть помолвленные и обрученные, есть невесты. Есть робкие, есть нахальные и нахрапистые. Когда мне случается застать одну из этих юных особ, Мирабо, торопливо познакомив нас, выпроваживает ее. По секрету он сообщил мне, что не доверяет Карибе: его страсть красть все, что плохо лежит, не ограничивается деревянными изображениями святых... Да и Каймми ведет себя с девицами слишком вольно.

На этот раз Мирабо рассказывает одну из своих назидательных новелл, наглядно демонстрирующих, какое золотое у него сердце и какую удивительную изобретательность проявила одна из претенденток на вакантное место если не в этом самом сердце его, то в постели. У Мирабо есть сын по имени Артур, у Артура — друг, молодой и успешно делающий карьеру чиновник, а у него — жена, которую чиновник этот, будучи не чужд снобизма, взял себе из богемной среды. Эта очень хорошенькая юная дама по профессии была балерина и, как бесами обуянная, с неистовой силой любила все виды искусства, равно как и его жрецов — мастеров резца, кисти, сцены, — и, от природы наделенная пылким нравом, украшала мужа прекрасными развесистыми рогами. Само собой разумеется, она влюбилась в Мирабо, а влюбившись, захотела, чтобы желания ее исполнились, с каковой целью стала его домогаться, преследовать и осаждать.

Мирабо вскоре оказался загнан в угол — прима решила переспать с ним во что бы то ни стало. Мирабо отнекивался, увертывался — от хорошего отношения к ее мужу, другу своего сына, — но танцовщица не оставляла стараний, предпринимая новые и новые атаки. И вот в один прекрасный день она объявила:

— Ну вот что, Мирабо, это произойдет сегодня! Мой дурачок днем улетает в Рио, и ночевать я буду у тебя, с тобой, в твоей постели, и это будет волшебно!

Мирабо сначала вытаращил на нее глаза, потом принял достойный вид, нужный, по его мнению, для того, чтобы поставить... балерину на место, а во всей этой некрасивой истории — точку.

— Душечка, — сказал он проникновенно. — Это невозможно. Это совершенно исключено. Твой муж — друг моего Артура, он ему как брат, а мне, стало быть, как родной племянник. Он близкий мне человек, понимаешь? И его жена для меня не женщина.

— Ах, значит, я для тебя не женщина?!

— Нет.

— Значит, мужчина?

— Мужчина, мужчина!

— Вот и отлично. Трахнешь меня сегодня ночью как мужчину! Мне и это сгодится!

В этом месте Мирабо прервал свой рассказ и устремил вдаль задумчивый взор.

— Ну и как — получилось? — спросил я осторожно,

— Более или менее, — ответил он не кривя душой.

Всех своих троих сыновей дона Эулалия Амаду, будь на то ее воля, сделала бы врачами — она очень высоко ставила эту профессию, и слова «доктор медицины» ласкали ее слух. «Другое отношение к семье, где медик есть», — любила повторять она.

Но только Жоэлсон, средний сын, доставил ей это счастье — он один окончил медицинский факультет, взял в руки стетоскоп и градусник да еще, к вящей радости доны Лалу, специальностью своей избрал педиатрию, стал лечить детей. Жоэлсон и до получения диплома, впрочем, был ее любимцем — потому прежде всего, что самим фактом своего рождения вернул матери радость жизни, навек, казалось, утраченную после того, как «испанка» унесла трехлетнего Жофре. Лалу тогда предалась безутешной скорби, перестала за собой следить, потеряла былой интерес к нарядам. Полковник Жоан Амаду, однако, был человек понимающий и сумел обрюхатить жену. Родился Жоэлсон — настоящий богатырь, целых 55 см, — и Лалу воскресла из пепла.

Мало того, Жоэлсон послушался материнского совета и пошел по стезе медицины, и дона Эулалия, увидев его в белом халате и с украшенным изумрудным камешком докторским кольцом[1] на пальце, поняла, что выполнила свое предназначение. Что же касается двух других сыновей, которых тоже любила, как только матери дано любить, то обоих понесло на торную дорогу сочинительства. Надо ли говорить, что все трое, включая и эскулапа, в какой-то момент прониклись коммунистическими идеями. Лалу, однако, вопреки всякой очевидности, с гордостью любила твердить, что дети ее политики сторонятся. Когда же кто-нибудь бестактно напоминал ей о том, что все трое — активисты компартии, Лалу пренебрежительно отмахивалась:

— Компартия? Это дерьмо не в счет.

Теперь даже и дерьма-то нет. В Советском Союзе компартию вообще запретили. Впрочем, вскоре и сам Союз канул в небытие. Я знаю об этом, но поверить не могу.

Лисабон, 1981

Помимо двоих кровных моих братьев, один из которых — спокойный и веселый доктор-педиатр, а другой — сущий демон в образе человеческом, левак, не вылезавший из тюрем, были у меня и есть братья и сестры, родившиеся не от доны Эулалии и полковника Жоана Амаду, но не менее близкие мне и родные. Помимо Лилы, моей дочки от первого брака, Жоана Жоржи и Паломы, которых произвели на свет мы с Зелией, есть у меня и другие дети, и хоть не я их зачал, но люблю так же сильно, как если бы они были плоть от плоти моей. В Лисабоне у меня на руках умер сын мой возлюбленный, сам не знаю, как перенес я вечную разлуку с Глаубером Рошей[2]...

Целый год не мог я прийти в себя после этого месяца, проведенного в клинике у постели умирающего Глаубера. Помню его лицо с ввалившимися глазами, с запавшими висками, помню, как старался он бодриться, как цеплялся за жизнь, а она иссякала на глазах — на глазах у Зелии, у меня, у Жоана Убалдо Рибейро. Только мы трое любили его по-настоящему, хотя десятки людей толпились в его доме, заполняя его клубами табачного дыма и несбыточными иллюзиями.

Однажды в воскресенье мы с Жоаном Убалдо одновременно и как-то вдруг с тревогой заметили, что Глаубер — зеленого цвета и кашляет беспрестанно. Спустя три дня меня всполошил телефонный звонок — у Глаубера кровавая рвота, его срочно госпитализировали в Синтре. Мы отправились туда, перевезли его в Лисабон — начались исследования и обследования, ужас, ожидание худшего и радостная весть — результаты анализов показывают, что это не злокачественная опухоль. Как мы все ликовали тогда! Но это все же оказался рак — рак легкого, от него он и умер несколько дней спустя. Ах, как он не хотел умирать, он был так молод — мальчик еще! — он столько мог сделать.

Если в одиннадцать утра я не входил в его палату, тотчас звонил телефон: «Ну где же ты? Неужто и ты меня бросил, знать не хочешь?» И я, как зомби, брел по улицам Лисабона в клинику... Помню его глаза, полные предсмертной тоски, — взгляд, которым он прощался с нами, прощался навсегда. Мы втроем — Зелия, Жоан и я — почти убежали тогда, чтобы не видеть, как его выносят на носилках. Перед самой смертью Глаубера самолетом отправили домой, в Бразилию.

---

[1] В Бразилии выпускники университетов вместе с дипломом получают кольцо с камнем, цвет которого свидетельствует об избранной специальности: инженеры — красный, врачи — зеленый и т.п.

[2] Глаубер Роша (1938—1981) — бразильский кинорежиссер.

На похоронах было не протолкнуться от тех, кто травил его и губил, кто заживо похоронил его («Я чувствую, как меня топят в яме с дерьмом», — сказал он мне в Рио перед своим отъездом в Европу), тех, кто называл его изменником, предателем, продажной шкурой, трусом, последней сволочью. Это теперь они облачились в траур, говорят, что осиротели без него, скорбят о потере, льют крокодиловы слезы, пользуются им, извлекают из него выгоду, пытаются присвоить себе. Его похороны — это их праздник.

Но память об этом мальчике — несносном и нежном, о том, кто в фильмах своих становился благородным разбойником нашего времени, богом и дьяволом в одном лице, святым Георгием, поражающим дракона, — память останется неприкосновенной, до нее не дотянутся их грязные руки, и погреть их на его смерти этим негодяям не удастся... Всякий раз, как на полотне экрана появляются первые титры его фильма, Глаубер Роша воскресает.

Ницца, 1990

Зимний день на Лазурном берегу клонится к закату, солнце на горизонте скоро нырнет в море, а мы с Зелией, сидя в номере отеля, обсуждаем успех нашего друга, композитора и певца Жилберто Жила во вчерашнем шоу. Успех тем более важный, что Жил еще не оправился от тяжкой потери — недавно он оплакал и схоронил сына... В эту минуту снизу, из холла, звонит Анни Содро, доктор социологии, непревзойденный знаток и пытливый исследователь карнавалов. Она сообщает, что тут в холле пролетом из Бухареста в Париж в составе официальной делегации, возглавляемой премьер-министром Румынии Петру Романом, находится некая дама. Она завернула в Ниццу, чтобы встретиться с профессором права, у которого писала когда-то диссертацию, и, узнав, что я здесь, не может уехать, не повидав меня. Пробормотав про себя несколько крепких баиянских словечек — наш тихий вечер испорчен, — я соглашаюсь: noblesse, как известно, oblige — и мы спускаемся вниз.

Но жалеть об этом не приходится: румынке, оказывается, никак не больше тридцати, она чрезвычайно хороша собой и поразительно элегантна — воплощение соблазна и погибели. Только чересчур нервна и взвинчена до предела, прямо места себе не находит: немудрено, в ее отчизне смута, беспорядки захлестывают улицы Бухареста, идут манифестации, враждебные временному правительству — Комитету национального спасения, который возглавляет Ион Илиеску. Косые лучи заходящего солнца — извините! — освещают лицо и фигуру, в их сиянии золотом вспыхивают волосы этой женщины. Она назвалась Даной и желает непременно поговорить со мной.

За столиком бара она, омочив губы в скотче, начинает пламенный нескончаемый монолог. Рассказывает о своей бьющейся в конвульсиях стране, о ее освобожденной и вновь захваченной столице, об ужасах и страданиях, о жестокой борьбе против кровавого режима Чаушеску, о тысячах замученных пытками и расстрелянных, о том, как та же участь — казнь без суда и следствия — постигла свергнутого диктатора и его жену. Трупы их выставлены на всеобщее обозрение, страх и покорность сменились ненавистью и жаждой мести — идет охота на ведьм, царят сумятица и смятение: кого хватать немедля, кого — чуть погодя? В продолжение леденящего кровь рассказа о том, как они с мужем жили под коммунистическим гнетом, Дана курит одну сигарету за другой, осушает стакан виски и тотчас заказывает всем новую порцию. Слушатели — Анни, Зелия и я — подавлены и потрясены драматическими подробностями: интеллектуальная жизнь в стране замерла на нуле, обнищание народных масс достигло верхней точки, злодеяния Чаушеску сравнимы лишь с преступлениями Гитлера и Сталина.

Дана поминутно ссылается на мужа, беспрерывно поминает его — он ее идол и кумир, единственная страсть ее жизни, ее божество, ее учитель и наставник. Он восстал против Чаушеску, и страна во многом обязана ему своим освобождением. Дана говорит о нем так много и в таких выражениях, что я наконец осмеливаюсь спросить, да кто же он, этот ее муж?

— Илиеску, — отвечает она.

— Президент?

— Да.

— ... ... ! — восклицаю я, слава богу, про себя.

Да, у товарища президента губа не дура, есть у него и вкус, и аппетит, если на седьмом десятке выбрал он себе в спутницы жизни такую женщину: все при ней — и молодость, и красота, и элегантность. Идеал современной женщины, настоящая «первая леди Румынии».

Беседа продолжается еще некоторое время, а потом мы, искренне тронутые ее преданностью мужу, ее тревогой за него и за страну, прощаемся с Даной — наутро она летит в Париж. А мы, глядя на шествие аллегорических карнавальных колесниц по набережной Ниццы, долго еще обсуждаем эти тревоги: Румыния, уйдя от диктатуры, трудно ищет путь демократии. Если верить последним сообщениям, Бухарест стал непригодным для жизни полем битвы.

На следующий день после обеда снова раздается трель телефонного звонка и Дана Илиеску сообщает нам, что она отложила полет на сутки, чтобы исполнить приказ супруга-президента. Они разговаривали по телефону, она поведала ему о встрече с нами, и Илиеску велел ей задержаться в Ницце и выпить с нами по бокалу шампанского в знак того уважения, которое он испытывает к бразильскому писателю и его жене.

И Дана хочет видеть нас немедля. «Бедняжка! Ей нужна опора», — всхлипывает мягкосердечная Зелия, и я, отказав себе в сиесте, как, впрочем, и в шампанском, ибо предпочитаю виски, веду ее в бар, где возобновляется вчерашний разговор. На этот раз нас посвящают в подробности личной жизни: оказывается, она вторая жена Илиеску, он вдовец; они познакомились в университете (я так и не понял, была ли она его коллегой, ассистенткой или студенткой), и сразу вспыхнула бешеная страсть, и они соединили свои жизни, став счастливыми супругами. Все утро Дана покупала для внуков президента, для его сына от первого брака и невестки подарки — еду, одежду, игрушки: в Бухаресте нет ничего. Хорошо хоть, что улеглись страсти, прекратились беспорядки и президент может перевести дух. Пользуясь случаем, Дана приглашает нас в Румынию, где мы не были лет тридцать. Тут появляется юный журналист Эдуардо Жасмин Тавил, чтобы узнать, состоится ли намеченный на завтра обед. Дана производит на него ошеломляющее впечатление, когда же он узнает, кто она такая, то хватает свой фотоаппарат и принимается за исполнение профессиональных обязанностей. Дана отважно тянет виски и говорит, говорит, говорит без умолку к полному восторгу Тавила, предвкушающего, какой роскошный репортаж появится в «Тарде»: сам Бог ему послал «первую леди Румынии». Сколько-то часов спустя Дана прощается: утром — самолет на Париж, там она присоединится к свите премьер-министра.

Но приходит завтра, и звонит телефон: рейс откладывается на вечер, и она желает принять участие в обеде, о котором мы накануне договаривались с Тавилом — «Очень милый юноша!» — и потому будет ждать нас в холле.

И вот мечте о пиццерии сказать приходится «прости». Не в забегаловку ж вести такую даму. В ресторане заказан стол. Пусть полем брани стал Бухарест, пусть все вверх дном теперь в Румынии далекой, но я пекусь лишь об одном, не видя, впрочем, в этом прока: стремясь упорно свой престиж не уронить. Noblesse oblige!

Дана появляется в еще более элегантном виде, чем раньше. Она успела побегать по магазинам и накупить множество всякой всячины — платьев, туфель, блузок, джемперов и кое-что из белья. В парижском аэропорту она пересядет из самолета в самолет, присоединится к делегации и ночью окажется в объятиях изнемогшего в разлуке президента.

— Вот уж ночка будет! — шепчу я на ухо Зелии, а она смотрит на меня с укоризной, ибо растрогана и взволнована до глубины души, и отвечает вполголоса:

— Пожалуйста, веди себя прилично, — так что я чувствую себя маленьким мальчиком.

Обед был отличный и стоил потраченных на него денег. Эдуардо Тавил снимал, записывал, правил на ходу и прямиком из ресторана унесся давать факс, сообщая баиянскому народу горячие новости из объятого пламенем Бухареста — интервью с «первой леди», первополосный, гвоздевой материал, а для колонки светской хроники — заметку о нашем обеде. Дана в третий раз прощается с нами, клянется вечно помнить: *à bientôt!* И вот она уходит, постукивая высоченными каблуками, волосы ее и косынка вьются под

ветром — хороша на загляденье! Я не могу отказать себе в удовольствии вообразить ее в объятиях влюбленного президента, но не решаюсь поделиться с Зелей своими греховными мыслями. Дай вам бог, дорогой президент, и вам, красавица...

Знакомство с Даной усиливает наш интерес к событиям, происходящим в Румынии, мы пристально наблюдаем за ходом избирательной кампании, за дебатами и интригами. И вот наконец узнаем, что Илиеску сохраняет свой пост, но если раньше он занимал его в результате компромисса между разными политическими силами, то теперь он становится законно и всенародно избранным главой государства.

Очень кстати мне попадается на глаза «Фигаро», где напечатан пространный репортаж о выборах. Тут же и фотографии на целый разворот: Илиеску, сопровождаемый супругой, опускает в урну свой бюллетень.

— Зелия, полюбуйся на свою новую подругу! — зову я жену.

— Дана? Покажи, покажи!.. Где? — хватает газету Зелия.

Немножко постарела «первая леди», даже и не немножко. Ее узнать нельзя. Другой человек. Да это и есть другой человек — пожилая почтенная дама довольно заурядной внешности.

— Но это не Дана, — ошеломленно шепчет Зелия.

— Ну, значит, наша Дана — не первая леди, а вторая.

В 1991 году мы поехали в Италию на присуждение литературных премий так называемого Латинского союза. В прошлый раз лауреатом стал уругвайский романист Хуан Карлос Онетти, а теперь — португальский прозаик Жозе Кардозо Пирес. В состав жюри входит румынский писатель Дан Хэуликэ, у нас с ним отыскиваются общие друзья в Бухаресте и в Париже, да и литературные наши пристрастия во многом сходны. Он ближайший и давний друг Илиеску. Зелия рассказывает ему о Дане и демонстрирует фото из «Фигаро». Она записывает нашу прелестницу в разряд любовниц, придумывает историю романтического адюльтера, пылкой страсти, рожденной и взлелеянной борьбой за освобождение отчизны. Я пытаюсь расцветить ее повествование живописными деталями, вспоминаю ночную рубашечку, купленную в здешнем бутике, но Зелия затыкает мне рот: «У тебя одно на уме».

Хэуликэ слушает нас с удивлением, которое тотчас сменяется негодованием, и произносит свой вердикт: никакая она не жена и тем более не любовница, Илиеску — человек серьезный, не склонный к авантюрам и эскападам, высокоморальная личность и образцовый семьянин, лавры свои он изменой не осквернит и шашни на стороне заводить не станет. Кроме того, у него нет детей, а значит, и внуков быть не может.

— Ну вот, ты лишилась президентских внуков, а я — ночи любви. Ничего у нас с тобой не осталось.

Но так ли это? Я по натуре склонен к сомнениям и должен признаться, что сохранил в душе образ юной и элегантной красавицы, помню ее всю — от вспыхнувших в лучах заката волос до высоких каблуков. Да и не я один — все читатели баиянской «Тарде». И как бы целомудрен ни был румынский лидер, он все же не аскет и не евнух, Дана же — сущая дьяволица во плоти (обольстительной) и способна кого угодно ввести во искушение и сбить с пути истинного, и окутывающая ее тайна пока не разгадана, и я еще подожду, чем все это кончится. И потому я не лишаю ее места ни в сердце президента, ни на ложе его. Пусть простит меня мой друг Хэуликэ, но такой уж я недоверчивый человек.

Сан-Пауло, 1945

Мне немало пришлось посидеть за решеткой, и не хвалясь скажу, что спокойно переносил неволю — в буйство не впадал и духом не падал. Интересно, как бы я вел себя в каталажке сейчас?

Одна из моих отсидок носила трагикомический характер и заслуживает рассказа. Дело было в середине 1945 года, еще во времена Эстадо ново[1]. Политическая полиция

[1] В ноябре 1937 года президент Бразилии Жетулио Варгас (1883—1954) распустил парламент и обнародовал конституцию, провозгласившую страну «новым государством» (Эстадо ново). Были запрещены все политические партии, а прерогативы президентской власти значительно расширены.

Сан-Пауло устроила засаду в штаб-квартире Комитета помощи ООН (читай — Советскому Союзу), который постепенно превращался в координационный центр всех организаций, связанных с компартией, — как реальных, так и существовавших лишь на бумаге. Я бывал там каждый вечер — встречался с товарищами, сидел на заседаниях и совещаниях, получал и давал задания. А в тот день меня там поджидали чины тайной полиции во главе с инспектором Луизом Аполонио, личностью легендарной. Было арестовано человек пятьсот — интеллигенция, профсоюзные активисты, сочувствующие. Нас — Кайо Прадо Жуниора и меня, — подержав немного в Центральной тюрьме, перевели в дом предварительного заключения, посадили в ту самую камеру, где томился когда-то Монтейро Лобато, получивший срок за то, что сообщил: в Бразилии есть нефть!

В огромном зале, пол которого был сплошь завален тюфяками, нас встретил единственный заключенный — художник Кловис Грасиано, на мой вопрос «Что ты тут делаешь?» ответивший: «Тебя поджидаю». Мы попытались было упросить тюремное начальство, чтобы нас всех поместили вместе, но получили отказ. Часа в два ночи нас выпустили на волю.

Так вот, в ту самую пору в Сан-Пауло проездом из Минас оказался один мой читатель и почитатель. Накануне он позвонил мне, сообщил, что купил несколько моих книг, и попросил надписать их. Я назначил ему встречу в комитете в четыре часа, но в три меня уже арестовали, а перед моим поклонником вместо его любимого автора предстали агенты полиции. Естественно, его тоже замели.

На следующее утро в моей квартире началось настоящее столпотворение: родственники задержанных требовали, чтобы я принял меры. Помню, как одна испанская сеньора, чью дочь арестовали накануне, громовым ревом возлагала на меня вину за возможные последствия ее ареста, твердя: «Она девственница!» Мы с Кайо Прадо отправились объясняться с начальником городской полиции. Не прошло и суток с начала облавы, как все арестованные оказались на свободе — была среди них и испанская профсоюзница, чья чистота не претерпела ни малейшего ущерба. Все — за исключением моего читателя: тот вместе с неполным собранием моих сочинений остался под замком, ибо за него никто не хлопотал. Он просидел двое суток, а мог бы и до скончания века, если бы родня не забеспокоилась: уехал из Минас-Жерайс и как в воду канул, и к сроку не вернулся, и вестей не шлет. Его начали искать по моргам и больницам, а нашли в тюряге, в статусе задержанного по подозрению в коммунистической деятельности. Думаю и не сомневаюсь, что книги мои он бросил в камере, где провел эти двое или трое — точно не помню — суток.

«Бардом блядей и бродяг» не без презрения окрестил меня однажды некий влиятельный критик. Меня радует, что я зачислен в такой разряд, и привожу здесь эти слова, чтобы точнее определить свои писательские пристрастия. И слово «блядь» мне нравится — оно просто и чисто, в отличие от «девицы легкого поведения», «уличной женщины» и всяких прочих уничижительных иносказаний. В трех дворцах случалось мне вслух упоминать, что я — бард блядей и бродяг, и делать ударение на втором слове. Это было во Дворце Планалто, в Бразилии, когда наш тогдашний президент Жозе Сарней объявил о создании культурного фонда, носящего мое имя. И во Дворце совета в Софии, где мне вручали премию Димитрова. И во Дворце Белен в Лисабоне, когда президент Португалии лишил меня статуса «прóклятого писателя» и вручил мне орден Святого Иакова с мечом. Что бы там ни было, бляди и бродяги всегда будут на моей стороне.

Париж, 1949

Из канцелярии в канцелярию, из министерства в министерство ходим мы по Парижу с Пабло Пикассо, хлопочем о том, чтобы Неруде продлили срок пребывания во Франции. А у великого художника знаменательный день: его жену Франсуазу отвезли в родильное отделение. Он хотел девочку, девочка и родилась, и назвали ее Паломой[1]. Ее тез-

[1] Голубка (*исп.*).

ка и сестра — поскольку тоже есть его творение — украшает стены и афишные тумбы Парижа: голубка мира стала символом первого Конгресса сторонников мира, который завтра открывается в зале Плейель.

А Неруда с накладными усищами появился в Париже неделю назад — с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы дона Антонио де Чего-то Там Такое. Мало того, паспорт был дипломатический, а дон Антонио — не то культур-атташе, не то еще что-то. Помог с этим делом Мигель Анхель Астуриас[1], посол Гватемалы в Аргентине, который, рискнув и карьерой и должностью, откликнулся на просьбу друга. Он не колебался ни минуты, когда Пабло, бежавший из Чили, где его лишили депутатской неприкосновенности, обратился к нему за помощью.

Пребывание Неруды в Париже, поначалу державшееся в строжайшей тайне — об этом знали, кроме меня, лишь Альфредо Варела, лидер аргентинской компартии и, само собой, писатель, автор романа «Темная река», да Лоран Казанова, отвечавшая в политбюро ФКП за культуру и защиту мира, да Луи Арагон, да Франсуаза Леклерк, в чьей квартире беглец нашел приют, — очень скоро сделалось секретом полишинеля. На конгресс прибывали все новые и новые мастера литературы и искусства из стран Латинской Америки — Хуан Маринельо, Мигель Отеро Сильва, Николас Гильен. А Неруда с липовыми документами не мог принять участие в его работе, и вообще его могли в любую минуту схватить, разоблачить и выслать из Франции.

И Пикассо взялся хлопотать о нем, а я, хоть проку от меня было немного, составил ему компанию в хождении по кабинетам. Каждые полчаса мы забегаем в бистро и Пабло звонит в клинику, справляется о роженице и неизменно слышит в ответ: «Еще не родила». Но вот наконец на другом конце провода звучит осанна: ему сообщают, что на свет появилась девочка, мать и дитя чувствуют себя хорошо.

И проблемы Неруды близки к разрешению, остались лишь кое-какие окончательные формальности, с которыми я могу справиться один. Поезжай в клинику, предлагаю я Пикассо, навести своих. Но он отказывается. И вот МИД и МВД Франции находят устраивающий всех выход: Неруда покинет страну на машине, пограничников предупредят, чтобы не чинили препятствий, а вернется, когда паспорт будет в порядке.

И в Швейцарии, где ждет Пабло его тогдашняя жена Делия дель Карниль по прозвищу Муравьиха, находится пламенный поклонник его дарования — бывший чилийский консул. А он, благо, на всякий случай и выйдя в отставку сохранил штемпели и бланки, так что продлевает действие старого паспорта, привезенного Делией из Сантьяго, и наш поэт вновь оказывается в Париже, на этот раз не в обличье дона Антонио де Чего-то Там Такое, а под истинным своим именем — чилийского гражданина Нафтали Рикардо Рейеса. Это потом, уже вернувшись в Чили, он во всех документах будет фигурировать не как усатый дон Антонио и не как Нафтали Рейес, а как Пабло Неруда, поэт и борец.

Пикассо же занимался этим делом до тех пор, пока не убедился, что оно решено окончательно, и лишь тогда доверил мне остающиеся мелочи — обеспечить машину и охрану в лице юных студентов-коммунистов Пауло Родригеса и Алберто Кастиэла. Они вывезли усатого Антонио в Швейцарию, а обратно привезли Неруду — без усов, но с настоящим паспортом.

Вернувшись в отель, я рассказываю Зелии о всех перипетиях этого дня, о звонках Пикассо в клинику, о рождении Паломы.

— Если у нас когда-нибудь родится девочка, мы тоже назовем ее Паломой, — говорит Зелия.

Случай представился в 1951 году. По стечению обстоятельств наша Палома зачата была в Варшаве, на втором Конгрессе сторонников мира. Очевидно, нас с Зелей вдохновляли бесчисленные голубки, изображениями которых пестрели стены польской столицы.

Париж, 1988

Все на свете прощала дона Зелия субъекту, с которым свела ее некогда злая судьба; все его проступки и прегрешения готова была понять, оправдывая оные тяжелым дет-

[1] Мигель Анхель Астуриас (1899—1974) — гватемальский дипломат и писатель, лауреат Нобелевской премии (1967).

ством, бурной юностью, скверным образованием, дурным воспитанием, чуждым влиянием, а в крайнем случае — несовершенством природы человеческой.

И только одного она мне не простила. И до сих пор у нас в доме есть запретная тема, которую лучше не затрагивать, если же нарушается это табу, слышен становится горький смех, саркастические замечания, скрежет зубовный. Не надо, не надо напоминать моей жене о вертолете президента Франции.

Дело было осенью, как сейчас помню, в сентябре. В Париже бастовали медики, устроившие грандиозную манифестацию. Из окна правительственного лимузина мы видели толпу сестер милосердия и сиделок с лозунгами, плакатами, транспарантами и едва одолевали искушение присоединиться к ним: Зелия — из солидарности, я — потому что давно не кричал «ура!» и «долой!». Над людским морем на всякий случай кружат полицейские вертолеты, давая понять, что власти начеку.

Мы приглашены президентом Миттераном на обед, имеющий быть километрах в ста от Парижа, в замке, принадлежащем Тьерри де Босу, госсекретарю по вопросам культуры. Это не официальное мероприятие, не протокольный «обед», а веселое и приятное застолье в узком кругу: кроме самого президента и хозяина, присутствуют известная издательница Одиль Жакоб, писатель и министр культуры Испании Хорхе Семпрун, специально по такому случаю прилетевший из Мадрида, и мы с Зелией.

Разговор идет о Франции, об Испании, о распадающемся мире и объединяющейся Европе, о фантастических переменах на Востоке, куда мы улетаем через два дня, чтобы все увидеть своими глазами. Сказать, что обед удался, — ничего не сказать: это подлинный шедевр, истинное произведение искусства, приводящее на память belle epoque...

После десерта мы осматриваем замок, вокруг Миттерана прыгает, ластится к хозяину его черная собака. Но приближается миг расставания — у президента время расписано по минутам, и пилоты его личного вертолета уже запустили двигатели. Мы прощаемся, и тут Миттеран приглашает нас лететь с ним. Зелия трепещет от восторга: она обожает летать, а тут еще президентский вертолет, какое наслаждение!

Но прежде чем она успевает произнести все это вслух, вмешивается ее неотесанный супруг.

Он — то есть я — отказывается наотрез. Отказывается, не давая ни малейшей надежды уломать себя, не оставляя никаких недоговоренностей, отказывается решительно и недвусмысленно: мерси, господин президент, очень вам благодарен за честь, но в эту дьявольскую стрекозу я не сяду.

Тем, кто не знает, скажу: я испытываю ужас перед самолетами, но ужас этот — пустяки по сравнению с теми чувствами, которые охватывают меня при виде винтокрылой машины, геликоптера, будь он проклят. Особенно эти лопасти на крыше — вертятся, вертятся, того и гляди остановятся.

Миттеран настаивает: до Елисейского дворца всего четверть часа лету, а потом нас доставят домой, зачем же трястись сто километров в машине? В отчаянии Зелия задает мне тот же вопрос: зачем? Ее суровый взор и голос обещают многое, но я мужчина, черт побери, сказал — значит, кончено! Зачем? Затем, месье президент, что на вертолете я лететь боюсь. На Зелию стараюсь не смотреть, ибо ничего хорошего не увижу, уж это я знаю.

Правительственный «ситроен» мчит по великолепной магистрали. Зелия хранит отчужденное молчание — ни словечка не могу из нее вытянуть. Ни словечка, ни взгляда в мою сторону, ни улыбки, и вообще со мною рядом — лишь бренная ее оболочка, а бессмертная душа — там, в поднебесье, в президентском вертолете. Обычно приветливое лицо хмуро, глаза устремлены в неведомую мне даль. Я отчаянно стараюсь завязать с ней разговор, вспоминаю обед, тонкий юмор и тонкие вина, ум и интеллигентность хозяина, гостей, я натужно шучу и бьюсь как рыба об лед. Все напрасно. Все впустую. Гробовое молчание служит мне ответом, а мчащий нас лимузин, жалкое и допотопное средство передвижения, становится не немым, а ревущим укором, зримым воплощением моей вины.

Манифестация уже окончена, на мостовой валяется транспарант, обвиняющий правительство, и чело Зелии, задумавшейся над тем, как несправедливо устроен этот мир и

как, в сущности, ужасна жизнь, отуманивается еще сильней. Слышен гул — это над площадью Бастилии на малой высоте пролетает, заставляя испить чашу разочарования до дна, последний полицейский вертолет.

Рангун, 1957

Даю всем желающим два совета, причем совершенно бесплатно, ни гроша ни с кого ни за один не возьму, хотя мне самому новообретенная мудрость обошлась весьма дорого. Впрочем, в первом случае я учился на горьком опыте Зелии. Формулируется мой совет или завет так: увидев нечто привлекательное, покупайте немедленно, сию минуту и не сходя с места — откладывать на потом, рискуя никогда больше не встретить объект вожделения, опасно.

В городе Карачи, столице Пакистана, Зелия высмотрела на витрине истинное чудо — туфельки, о которых мечтала всю жизнь, с той поры как увидела точно такие на ногах одной великосветской дамы, вместе с мужем-дипломатом долго прожившей в Индии. Она уже остановилась было, хотела зайти да купить, но я, применив, можно сказать, силу, потащил ее дальше: мы ведь только-только прибыли в Пакистан, впереди у нас — Индия, Цейлон, Бирма, и мы наверняка встретим еще тысячи таких туфелек, а может, даже и лучше и наверняка дешевле. Под напором безупречно логичных аргументов дрогнула Зелия, признала мою правоту, упорствовать перестала.

Мы объездили весь Индостан с севера на юг, с востока на запад, побывали на Цейлоне и в Бирме, повидали множество чудес и диковин, но туфелек, которые так понравились Зелии и которые не дал я ей купить, не встретили. Она до сего дня не позабыла мне этого и время от времени с горькой укоризной напоминает мне мой проступок.

Ну-с, теперь слушайте второй совет — не позволяйте, чтобы ваш багаж путешествовал отдельно от вас, ибо может он потеряться, как случилось с нашими чемоданами в Индии. Виновата в том злосчастном происшествии была Зелия, но не только она, а еще и Пабло Неруда.

Итак, мы вылетели из Коломбо и сели в Мадрасе. Сделанная накануне прививка от холеры валила нас с ног; зал таможенного досмотра был переполнен. Мы положительно умирали от усталости, поскольку путешествие началось на рассвете, и мечтали об одном — как бы добраться до гостиницы. А ведь нам предстояло еще пролететь всю Индию, с посадками в Бомбее и Дели, а в Калькутте сменить самолет и отправляться в Рангун... Присев в кресло, я безучастно наблюдал, как Зелия и Неруда оживленно беседуют с таможенниками, договариваясь с ними о том, что багаж пойдет своим ходом, а в Калькутте мы, осмотрев город, его получим и дальше полетим вместе. Я попробовал было вмешаться, но голос мой был слаб и протест бессилен, я воззвал к Матильде, она меня не поддержала, и угасающим взором я проводил, мысленно прощаясь навсегда, свою пишущую машинку, уплывающую от меня навстречу своей неведомой судьбе.

— Пабло, смотри, потеряешь рукопись своей новой книги стихов, — сказал я, но он обозвал меня мракобесом, не верящим в возможности «третьего мира».

Ладно. У каждой супружеской четы осталась так называемая «ручная кладь», дорожная сумка через плечо, и больше половины места в ней занимают вещички дамы: разнообразнейшие комбинации, блузки-кофточки, косыночки-платочки, лифчики-трусики, так что кавалер может запихнуть туда лишь сорочку, да кое-что из нижнего белья, да пару носовых платков.

И мы отправились по Индии — прекрасной и нищей, и вот настал момент, когда нищета сделалась такой нестерпимой и непереносимой, что заслонила собой красоту. В Бомбее, в отеле, застав меня в номере одного, горничная предложила мне за сколько-то жалких рупий — не помню точно, за сколько именно, — двенадцатилетнюю девочку, а получив отказ, уведомила, что вместо девочки можно и мальчика — того же возраста и за ту же сумму, англичане порой предпочитают именно это, — и протянула руку, требуя мзды за предложение и за информацию. В Дели за нами неотступно следовали несчастные нищие дети, нараспев выпрашивая милостыню, — у Зелии до сих пор звучит в ушах мелодия этих жалостных песнопений, — а впереди всех, быстрее всех прыгал по-лягушачьи — на руках — маленький калека. Нам приходилось спасаться от них бегством.

Что же касается нашего багажа, то, как я и предвидел, он потерялся — нам пришлось задержаться в Калькутте в ожидании его прибытия, какового не последовало. Священные коровы в буквальном смысле слова не давали нам проходу; москиты — тоже, наверно, священные — нещадно пили нашу атеистическую кровь, обезьяны — о, эти обезьяны! — зная, что главней их в Индии никого нет, вообще делали что хотели: карабкались по нам, залезали на спину, висли на плечах, пытались сдернуть галстуки с шеи моей и Пабло, шарили по карманам, искали в голове, щипали, спасибо хоть не изнасиловали.

Зелия и Пабло, подельники и сообщники, несшие солидарную ответственность за то, что сгинули неведомо куда наши чемоданы, сумки, саквояжи и баулы, не говоря уж о моей пишущей машинке и рукописи стихов Неруды, пришли к выводу, что багаж отправили в Рангун. Да почему же в Рангун-то? Чего ему в Рангуне делать? — допытывался я, но ответа не получил, и, разумеется, когда прилетели в столицу Бирмы, никаких вещей там не обнаружилось. Я был так удручен и несчастен — переодеться даже не во что! — и пребывал в таком упадке, что не хватило духу высказать Зелии все, что я о ней думаю, прямо в глаза — в глаза, которые она, бедняжка, не смела на меня поднять. Неруда же никаких угрызений совести не испытывал — ну да, поэты ведь существа высшего порядка, они парят в поднебесье.

А в Рангуне шел нескончаемый тропический ливень, плащи и прочее остались в пропавшем багаже, и я часами висел на телефоне, тщетно пытаясь дозвониться до бразильского консула в Калькутте — ни разу мне это не удалось. На улице нас принимали за янки, и националисты постоянно оскорбляли и угрожали, а то и замахивались. Что прикажете делать? Что принять? Оплеуху как вклад в дело борьбы с американским империализмом или же участие в их манифестации, за что можно было схлопотать несколько месяцев бирманской каталажки?

Там, в Рангуне, отпраздновали мы второе июля — День независимости Баии и день рождения Зелии. Пабло по такому торжественному случаю написал стихи, но в памяти у меня осталась только первая строчка:

En este Rangoon de mierda...[1]

Пользуюсь случаем — багаж пропал, и, как мне тогда в Рангуне казалось, навсегда пропал, кто ж мог знать, что спустя полтора месяца в Пекине он отыщется и к нам вернется, а уж как он туда попал, одному Богу известно, я и сегодня этого не знаю, чудеса случаются и в коммунистических странах, ибо нет Бога, кроме Будды, и Мао Цзэдун пророк его, — так вот, пользуясь тем, что индийская таможня распотрошила наши чемоданишки, хочу публично и печатно, с гневом и отвращением заявить о своей ненависти к двум предметам дамского туалета.

Ну, во-первых, эти нагрудники! Как бы ни тщилось и ни изощрялось человечество, подыскивая им более благозвучное, более пикантное имя — лифчик там, бюстгальтер, soutien или бра, — но для меня эти сооружения, которыми женщины закрывают и уродуют свои груди, навсегда останутся мерзким подобием средневековых рыцарских доспехов. Даже эти маленькие, открытые, невесомые, кружевные, призванные не столько прятать, сколько являть, созданные, чтобы вводить во искушение и увлекать на стезю порока, сделанные исключительно для блуда, — даже они оставляют неизгладимую печать, деформируют и портят. Груди должны свободно жить под платьем, выкатываться из декольте — о, этот мгновенный черный промельк грудей в квадратном вырезе белой баиянской блузы, когда торговка акараже[2] наклоняется за товаром, являя взору самое главное лакомство своего лотка! — ибо чего тут стыдиться, зачем прятать это сокровище, будто есть в нем что-то непристойное или некрасивое?! Свободно колышущиеся под тканью груди соблазнительней, чем нагота topless.

И что же сказать мне о чудовищных постройках из прорезиненного полотна, с помощью коих тщится женщина стиснуть, усмирить, уменьшить в размерах зад свой

[1] В Рангуне, Рангуне дерьмовом... (*исп.*).

[2] Акараже — баиянское кушанье: особым образом приготовленная фасоль, обжаренная в пальмовом масле.

и бедра в рассуждении приблизиться к модным ныне объемам топ-моделей, и кто только выдумал эту моду, кто ввел в моду костлявость, ведь истинно сказано было доном Эрнесто, тестем моим, понимавшим в таких делах толк, что кости собакам любы?! Эти мерзостные пояса, прямые потомки средневековых поясов целомудрия, деформируют и оскорбляют нежнейшую, красивейшую часть женского тела. Я разумею сейчас всю эту волшебную область, всю совокупность чудес явных и тайных, имеющихся спереди и сзади, сверху и снизу, — нет нужды перечислять все по отдельности. Я испытываю к этим приспособлениям мало сказать неприязнь — отвращение, они гадки, и уверен, они дурно пахнут. Я, правда, ни одного никогда не нюхал, но убежден: смердят!

Парламенты всех стран мира обязаны принять закон, запрещающий использование этих вредных для здоровья и безобразных с точки зрения эстетики штук — лифчиков и поясов-панталон. Я возвышаю свой гневный голос и требую: свободу грудям и задам, долой притеснение и угнетение! Красота должна быть выставлена напоказ, ее нельзя стыдиться и незачем прятать! Я объявляю священный поход против нагрудников и резиновых поясов, и под мои знамена стали уже трое — Карибе, Рене Депестр и мой зять Педро Коста. Все трое — люди с безупречным вкусом.

Тайпа, 1970

В это волшебное лето Феррейра де Кастро[1] обучает нас интереснейшему предмету под названием «север Португалии», он знает этот край как свои пять пальцев, возит из города в город, из деревни в деревню, из Оливейры-дос-Аземеис, где родился, до самой испанской границы — и о каждом местечке находится у него своя история. Несмотря на июльский зной, он не позволяет себе никаких летних вольностей — всегда в тяжелой тройке и шляпа на голове. Ни один француз не боится сквозняков и простуды до такой степени, как боялся их португальский романист.

Неподалеку от Гимарайнса, в местечке Тайпа, благодарные соотечественники воздвигли бюст в честь знаменитого писателя, чьи книги переведены на все языки, увенчанного разнообразными премиями — последнюю, «Золотого орла», ему только что присудило в Ницце международное жюри под председательством Мигеля Анхеля Астуриаса. Поставили бюст в парке этого маленького городка, в тени деревьев, рядом со скамейками, где по воскресеньям любят собираться местные жители. Я расточаю хвалы благородному деянию муниципалитета, но автор «Сельвы» не разделяет моего воодушевления:

— Да нет, они лишили меня летнего отдыха. Много-много лет подряд я приезжаю сюда хоть на несколько дней. Каждый день перед заходом солнца сижу на этой вот, — он показывает, — лавочке, разговариваю о всякой всячине, о жизни и смерти со стариками, и они мне рассказывают тьму интереснейших историй про людей и про обычаи, сообщают всякие мелочи и подробности, а из всего этого и складываются мои книги. Ты, Жоржи, сам знаешь, как это происходит.

Задувает легкий ветерок, Феррейра де Кастро зябко поправляет фуляр на шее.

— Они меня знали как «человека в шляпе», потому что я боюсь сквозняков и с непокрытой головой не хожу. А кто я таков, им было невдомек, и они меня не стеснялись, говорили со мной свободно — я был такой же, как они. Теперь с этим покончено — не сяду же я напротив собственного бюста, это было бы нелепо и смешно. Мне уже ничего не рассказывают, а только скажут «Добрый вечер, ваше превосходительство» — и мимо. Это очень грустно. Жоржи, Зелия, пойдемте-ка отсюда, а то еще подумают, что я привез вас показать свой бюст, покрасоваться перед вами. Идем!

Рио-де-Жанейро, 1970

Мой двоюродный брат Жилберто Амаду, вернувшись из Европы, приглашает меня на ужин, чтобы передать письмо от советского юриста, вместе с которым заседает в Международном суде. Жилберто, мулат из штата Сержипи, высоко поднялся по служеб-

[1] Жозе Мария Феррейра де Кастро (1898—1974) — португальский писатель.

ной лестнице — был депутатом, сенатором, послом в Чили и в Финляндии. Он видный юрист и литератор с именем и вообще заметное явление в жизни нашего бразильского общества. Где бы ни появился он, вокруг него всегда вьются почитатели и поклонники.

Пока не собрались другие гости, Жилберто ведет меня в свой кабинет, разворачивает на письменном столе бесценную диковину, полученную в подарок в Амстердаме, — это начерченная на старинном пергаменте карта, относящаяся ко временам победы над голландцами, когда окончательно провалилась их попытка колонизовать наш Северо-Запад. На карте показаны те места в штатах Пернамбуко, Алагоас, Сержипи, Баия, в которых осели голландцы, не пожелавшие покидать Бразилию. И вот там, в Сержипи, а точнее — в Эстансии расположены земли нашего с Жилберто деда — полковника Жамеса Амаду. Кузен показывает пальцем и восклицает, дивясь и ликуя от неожиданного открытия:

— Мы с тобой голландцы!

— Ну да? — удивляюсь я и тотчас изъясняю свои сомнения: — Не забудь, что в свите принца Нассау прибыли в эту голландскую колонию и евреи, бежавшие от инквизиции из Испании и Португалии и получившие приют в веротерпимых Нидерландах. Принц привез их в Бразилию, многие тут остались. Не забудь, кроме того, что людей по фамилии Амаду в изобилии и на Пиренеях, и на Ближнем Востоке. Как знать, может, и наши предки, эти самые Амаду из Эстансии, были иудеи-сефарды? Голландцы ли, евреи — хорошие были люди.

Жилберто, поглядев на меня довольно неприязненно, сворачивает пергамент трубкой и бережно прячет в ящик стола. Насколько я знаю, больше он никогда никому карту эту не показывал.

Улан-Батор, 1952

Лингвистические заморочки начались сразу же, едва лишь мы приземлились в аэропорту Улан-Батора. Толпа встречающих — тут тебе и члены правительства, и партийные руководители, представители Союза писателей, Комитета защиты мира, Комитета монгольских женщин (эти явились специально, чтобы приветствовать Зелию Амаду и Росу Гильен), комсомольцы и пионеры. Наш визит в Монголию — событие огромного значения, ибо никому в целом свете нет дела до самой старой и самой маловажной страны народной демократии. Она (надеюсь, вам понятно, что речь о стране, а не о демократии) зажата между СССР и Китаем, две трети ее территории занимает пустыня Гоби, населена пастухами, строит социализм, для туристов закрыта, западным коммунистическим интеллектуалам неведома. И вот теперь принимает члена Бюро Всемирного Совета Мира. Мало того — член этот увенчан Международной Сталинской премией. Это я про себя. А с ним — знаменитый поэт Николас Гильен. Я, конечно, помню знамена, транспаранты, толпу у трапа, но перед глазами так и стоит огромная ледяная долина, окруженная высоченными горами. Более величественной картины я в жизни не видывал. Мороз — тридцать градусов.

Министр культуры и будущий премьер подходит к микрофону и начинает приветственную речь, которую переводят на русский. «Ну, все, вы у меня в руках!» — хвастливо говорит Зелия, единственная из нас четверых, кто знает хоть несколько слов на языке Пушкина и Достоевского. Затем следует перевод на английский, маленький переводчик глотает слова и захлебывается. «Пропадете без меня!» — продолжает ликовать Зелия, которая опять же одна может, как ей кажется, изъясняться по-английски. Ее заблуждение очень скоро рассеивается, ибо, когда я требую у этого полиглота перевести, она бестрепетно отвечает: «Нас поздравляют с благополучным прибытием и говорят «Добро пожаловать!» Мне остается лишь скрипеть зубами: ох, ни у кого мы не в руках, а совсем в другом месте.

Не зная монгольского, русского и английского, я не решаюсь даже произнести «мерси», но ответную речь, сказанную на родном баиянском наречии, завершаю призывом «Za mir vo vsiom mire!», эту советскую здравицу я затвердил на конгрессах и произношу ее специально для изумленных радиослушателей, которые ничего не понимают.

Нас рассаживают по машинам и везут в гостиницу. Я вижу на улицах людей в национальных костюмах из ярко расшитой дубленой овчины, в высоких сапогах и теплых

шапках — мужчины кажутся мне рослыми и крепкими, женщины — хорошенькими. Министр и прочие официальные лица, сопровождающие нас, сильно проигрывают в сравнении с ними, выглядят в европейской одежде какими-то бесцветными и невзрачными. Костюмы и пальто московского пошива сидят на удивление паршиво: очевидно, их надевают лишь по необходимости — по особо торжественным случаям, вот вроде того, что выдался сегодня.

В гостинице нас знакомят с каким-то здоровяком в белой хламиде поверх костюма, который ему безнадежно мал. Как ни старается Зелия, нам не удается понять, кто этот человек и в чем состоят его обязанности. «Парикмахер! — осеняет Росу. — Вот кстати! Николас, тебе пора подправить баки!» Дальнейшие события доказали ее неправоту.

Потом нас везут показывать город. Маленький переводчик — возраст его определить я не в силах: все монголы, за исключением детей разумеется, кажутся мне людьми средних лет, от тридцати примерно до сорока, — переводит на английский объяснения министра, время от времени останавливающего машину перед бетонными зданиями. Зелия старается как может, и благодаря ее усилиям мы узнаем, что это вот — Совет Министров, а это Центральный Комитет, а это — Великий народный хурал, монгольский парламент. Однако гораздо интересней этих считанных домов в унылом советском стиле разбросанные по равнине шатры, многие сотни шатров: круглые, из необычайно плотной верблюжьей шерсти, просторные, удобные, с очагом посередине. Там живут длинноусые пастухи и их толстые жены: совсем другой город, воздвигшийся здесь на час или на год, он куда больше и несравненно притягательней, чем Улан-Батор из кирпича да из бетона.

Зимой, когда пастухи-кочевники стекаются сюда из пустыни, население столицы удваивается. В начале 1952 года в Улан-Баторе постоянно проживало пятьдесят тысяч человек, а зимой их становилось больше ста тысяч. Во всей Монголии было всего около миллиона. Мы останавливаемся перед деревянной, очень красивой постройкой в китайском стиле. Это дворец живого бога: перед тем как страну захватили японцы, Монголия была теократическим государством, и правил ею далай-лама — земное воплощение Будды. Лама заключил союз с Сухэ-Батором и изгнал из страны русских белогвардейцев, которые, сменив японцев, угнетали монгольский народ. А после победы оставался у власти до самой своей смерти в 1923 году, когда в независимой Монголии установился социалистический режим. Из ста тысяч буддийских монахов выжила тысяча, из тысячи монастырей уцелела сотня. В конце нашего визита мы побывали у живого Будды — очень даже живого, если не партийного, то явно сочувствующего, — и он произнес перед нами похвальное слово коммунистическому правительству.

Бóльшую часть того, что говорил министр, мы не понимали, и через маленького толмача Зелия обратилась к нему с нижайшей просьбой — найти нам, ради всего святого, во имя Маркса и Ленина, переводчика с французского, а если с испанского — то еще лучше, ибо Роса никакого другого не знает. На это министр жалостным голосом поведал нам, что нет в народной республике человека, владеющего французским, а уж испанским — и подавно. Он выразительно и беспомощно разводил руками и, конечно, испытывал унижение. Мне даже стало его жалко. Делать было нечего, пришлось удовлетвориться познаниями доны Зелии, мы все же оказались у нее в руках, и я благодарно расцеловал их.

Раблезианский ужин проходит под внимательным взглядом того самого здоровяка в белом халатике. И все же — кто он, какую роль выполняет? Явно не парикмахер, тут Роса ошиблась. Директор ресторана, предположила Зелия. Мы с Николасом по его приглашению попробовали национальный напиток — *водку* из ослиного молока. Поначалу она показалась нам отвратительной, но таинственный незнакомец настаивал, мы повторили и постепенно оценили ее своеобразную прелесть.

Программа на завтра предусматривает встречу с членами правительства, визит в ЦК, затем в парламент, затем посещение университета. Что же нам делать? Как слушать приветствия и отвечать на них? Как вести беседу?

Уже подходил к концу наш завтрак, не менее роскошный, чем вчерашний ужин, когда появился министр культуры в сопровождении какого-то человека неопределенного (как

все монголы) возраста и с ликованием отрекомендовал его нам: «Франсуски, франсуски!» «Bonjour!» — вскричали мы дружным хором. «Bonjour», — тихо, еле слышно ответствовал долгожданный и столь необходимый нам переводчик. Нашли все-таки, расстарались и раздобыли.

Сильно запаздывая, мчимся во Дворец правительства, а по дороге я пытаюсь завязать с переводчиком разговор, но разговор не клеится. И вот мы сидим вокруг длинного стола рядом с первыми лицами Монголии, очень большими начальниками, партийными тузами и шишками, и премьер-министр начинает приветственную речь. Переводчик переводит медленно, слово за словом, широкоскулое лицо бесстрастно и непроницаемо, однако я понимаю, как он напряжен и взволнован. Голос монотонный, и по-французски он говорит правильно, с русским акцентом — похоже на дикторов советского радио. Мы с Николасом благодарим, рассказываем — он про Кубу, я про Бразилию, перевод на родной язык дается нашему толмачу легче: речь его льется гладко и бойко. Министр культуры сияет.

Вскоре мы подружились с переводчиком, и он поведал нам свою историю. Он жил себе тихо и мирно, учил детишек в школе, и вот однажды на рассвете — оторопь, ужас, холодный пот. К нему вломились агенты госбезопасности, схватили и увезли, ничего не объясняя. Наша просьба достать человека, владеющего французским языком, поставила монгольские спецслужбы на уши, начались лихорадочные поиски, весь Улан-Батор перетряхнули, перевернули вверх дном, и вот наконец некая сотрудница Национальной библиотеки сообщила о том, что вот есть такой скромный и незаметный гражданин, школьный учитель, известный под прозвищем Француз именно потому, что посвятил себя изучению этого языка. К несчастью, я не помню, как будет «француз» по-монгольски, хотя в те времена обращался к нему только так — имя его я выговорить был не в силах. А вот Зелия смогла и запомнить и произнести.

Вообразите, он в одиночку, без учителей и учебников, овладел французским, которым пленился, слушая передачи Всесоюзного радио. Он раздобыл в библиотеке французскую грамматику, вскоре затверженную от корки до корки наизусть, и три книжки — «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» и какое-то сочинение о винах и сырах. Он читал их и перечитывал десятки раз, научился отличать д'Артаньяна от камамбера, Рошфора от рокфора, запомнил самые знаменитые марки бургундского и бордо. И продолжал каждую ночь слушать советское радио — не пропустил ни одной передачи.

В то раннее утро, когда политическая полиция увезла его неведомо куда, он чуть не умер от страха — подумал, что все кончено. Доносы, аресты и процессы — расхожая монета сталинизма — давно уже были в странах народной демократии в большом ходу. Стали расспрашивать про его интерес к французскому — и он понял, что, изучая его, совершал тяжкое преступление против партии и отчизны. Чистосердечно признался во всем.

К несказанному удивлению Француза, его не препроводили в тюрьму, а переодели в европейское платье — в брюки он еле влез, пиджак жал под мышками, был тесен в груди и не застегивался — и отвезли в Центральный Комитет, где ему дали задание: работать переводчиком при знатных иностранцах: лауреате Сталинской премии, знаменитом поэте с Кубы и их женах. Все происходило в страшной спешке, поскольку уже близился час встречи во Дворце правительства. Его поволокли в гостиницу и в дверях сдали с рук на руки министру культуры.

Так началась его карьера: он стал переводить с монгольского на французский речи членов правительства, секретарей ЦК и прочего начальства. Надо заметить, что его тихое «*bonjour*» при встрече с нами было первым словом, которое он произнес по-французски. До тех пор — никогда, нигде, ни единого. Вот какая невероятная история случилась в Монгольской Народной Республике в феврале 1952 года, когда я был там с Зелией и четой Гильенов.

Итак, как я уже говорил, мы с ним подружились, он понемножку оттаял и освоился, и от него мы узнали, что верзила в белом — никакой не парикмахер, а врач, отвечающий за наше здоровье. А звали его — копирую буква за буквой — Лудвсандердийн Золзхаргал. Желающие могут попытаться выговорить. А маленький монгол продолжал перево-

дить с английского для Зелии, поскольку я заявил, что она не имеет прав на нашего Француза. Она пожала плечами и показала мне язык.

Мы предложили нашим переводчикам и девицам из Комитета монгольских женщин, приставленным к Зелии и Росе, носить национальные костюмы. Те с радостью согласились — и преобразились неузнаваемо. Девицы сразу похорошели, маленький переводчик прибавил в росте, да и наш Француз расправил плечи, стал каким-то элегантным, значительным, исчезли скованность и неловкость. На прощанье я спросил, чем могу быть ему полезен, и он попросил меня выписать для него советские журналы на французском — «Temps Actuels», «Litterature Soviétique», «Cahiers du Communisme», словом, что найдется. Я так и сделал и, прибыв в Москву, подписал его на максимальный срок — на пять лет.

А в декабре того же года в Вене, где проходил очередной Конгресс в защиту мира, я встретился с министром культуры, возглавлявшим монгольскую делегацию. И, конечно, спросил его о нашем Французе. Как, мол, он поживает и что поделывает, вернулся ли в школу?

— Да какая там школа?! Вы в своем уме?! — вскричал министр по-русски через посредство бойко щебетавшей на многих языках австриячки-переводчицы. — Неужели бы мы стали разбрасываться такими ценными кадрами?! Он — начальник Европейского департамента Министерства иностранных дел. Вскоре после вашего визита мы этот департамент и создали.

Баия, 1965

Глубокой ночью просыпаюсь от каких-то странных звуков — кажется, они доносятся из столовой. Встаю, стараясь двигаться бесшумно, выхожу из спальни — на кухне свет. Неслышным тигриным шагом крадусь туда: застану вора врасплох, внезапность — лучшее оружие, особенно когда другого нет. Нет и никогда не было: даже в бытность мою депутатом Законодательного собрания я был единственным парламентарием, не носившим револьвера. Помню, как поразился мой коллега Силвестре Периклес де Гоэс Монтейро, когда я распахнул пиджак и он не увидел у меня на поясе кобуры: «Да ты с ума сошел, Жоржи!»

И что же я застаю на кухне? Моя теща, дона Анжелина, и собственная моя родная мать, Лалу, в глухих и длинных, как подобает почтенным и вдовым дамам, ночных рубашках, всасываются в истекающие соком манго — замечу кстати, что так и только так, если хотите получить истинное наслаждение, следует есть эти плоды. Сок струится по подбородкам, заливает целомудренные рубахи, оставляя на полотне влажные желтые пятна. Они пожирают манго алчно и умело, и разбудивший меня шум производят уста этих сеньор, самозабвенно наслаждающихся только что сорванными с ветки плодами.

Я удаляюсь на цыпочках: не дай бог заметят — умрут обе от смущения. Старушки воспользовались глухим полночным часом, чтобы полакомиться украдкой — от этого еще божественней делается вкус манго. Хлюпанье и причмокиванье сопровождают меня.

Куда бы я ни попал, в каком бы уголке света ни оказался, в глухом захолустье или в столице, — всюду ждет меня накрытый стол и дружеское слово.

Мне скажут: я прочел твою книгу, я смеялся и плакал, я был взволнован и растроган. Тереза Батиста изменила мою жизнь, Педро Аршанжо научил меня свободно мыслить, своим умом жить, собственной головой думать, а Кинкас Сгинь Вода — всегда и во всем оставаться самим собой, вслед за капитаном Васко Москозо де Араганом я решительно менял убогое благополучие на прекрасную мечту, от Габриэлы перенял я способность любить, а дона Флор[1] показала истинную мощь любви, перед которой отступает и сама смерть. Ты — писатель, потому что существую я, твой читатель, тот, кто плачет и смеется над твоими страницами.

Куда бы ни занесло меня, всюду услышу я дружеское слово, увижу накрытый стол. Это и награда, и оправдание, и обязательство.

[1] Имеются в виду персонажи произведений Амаду — «Тереза Батиста, уставшая воевать», «Лавка чудес», «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода», «Старые моряки», «Дона Флор и два ее мужа», «Габриэла, корица и гвоздика».

Баия, 1991

Начинающий писатель входит в мой кабинет, держа под мышкой рукопись. Я работаю, я занят, но что мне остается, как не принять его? И я беру рукопись и обещаю прочесть ее, высказать свое мнение, рекомендовать издателю, написать предисловие. Да, я обещаю все это и, что хуже всего, обещание исполняю. И каждый день повторяется одно и то же — и у меня не остается ни времени, ни вдохновения на собственные писания. И в бешенстве я призываю пред свои светлые очи Эунисе. Она работает у нас в Рио-Вермельо уже лет двадцать, в доме нашем она поседела и из секретарши превратилась в приятельницу.

Как и мой отец, в гневе я тихо разговаривать не умею — пугаю людей своим ором, Зелия до сих пор все никак не привыкнет, — но тут делаю над собой усилие и жалобно спрашиваю, понизив голос:

— Разве я не просил тебя всем говорить, что меня нет дома? А?

Она улыбается мне кротко, как ангел:

— Такой милый юноша... у меня духу не хватило захлопнуть дверь у него перед носом... — Увидев же, что я впадаю в настоящую ярость, признается: — Я врать не умею, слова с языка не идут.

И в двери, охраняемые ею, кто только не проходит — газетный репортер, целая команда телевизионщиков, экономический советник, малый, торгующий на углу всякой дрянью, орда девиц, явившихся попросить автограф — добро бы у меня! Нет, они явились к Доривалу Каймми, перепутали, видишь ли, им все едино: что я, что, скажем, Данте Алигьери! — «мать святого», борец за чистоту окружающей среды, начинающий поэт-маргинал, выводок туристов. По слову поэта — «всем вольный вход, все гости дорогие!». В отчаянии я прибегаю к угрозам:

— Если я не буду писать, денег не заработаю, чем тогда прикажешь платить тебе жалованье? Придется тебя уволить.

— Да увольняйте на здоровье, да только я не уйду. И платить мне не надо.

Раздается стук в дверь. Эунисе бежит отворять.

Фазенда «Санта-Эулалия», Пиранга, 1924

Впервые я согрешил у нас в имении, и чистоту свою потерял с помощью нашей кобылы — существа нервного, статного, изящнейшего, пугливого, даже не хочется говорить — резвого, а стремительного, как птица. Я рос без присмотра, на плантациях какао, и множество раз видел, как совокупляются пеоны с ослицами и лошадьми. Моя кобылка — помимо прочих достоинств, отличалась она удивительной, переливчатой мастью: французы называют это «changeant» — была весьма порочна. Стоило лишь хлопнуть ее по крупу, и она с готовностью подгибала передние ноги, становясь в позицию, отставляла хвост.

Любовь наша происходила на лугу при луне. Как я ревновал свою кобылу — она была мне неверна, изменяла с пеонами и жагунсо[1]: с негром Онорио, с рыжим веснушчатым мулатом Диоклесио, с курибокой[2] Аржемиро, со всеми подряд, не различая расы и классы. Любила, извращенка, мужчин.

Рио, 1947

В один прекрасный день, не то в марте, не то в апреле 1947 года — я ведь честно предупредил, что за точность дат не ручаюсь, — в Законодательном собрании, в комитете по образованию и культуре, членом коего состоял пишущий эти строки, состоял и даже пользовался уважением коллег, ибо от работы не отлынивал, появился Эйтор Вила-Лобос.

Великий композитор, один из тех немногих, кто прославил Бразилию во всем мире, в то время самозабвенно и упоенно создавал во всех муниципальных гимназиях Рио

---

[1] Жагунсо — вооруженные наемники.

[2] Курибока — метис от брака индианки и негра.

детские хоры — прекрасное начинание, не всегда, к прискорбию, находившее поддержку у властей. Спросите лучше, какое начинание находило когда-либо, что-либо у кого-либо? В поисках сторонников Вила-Лобос и пришел в наш комитет.

Автор «Бразильской бахианы» был широко известен не только как замечательный музыкант — все знали его пристрастие к сигарам, к бильярду и его необыкновенную, патологическую лживость. Помнится, Эрико Вериссимо сильно развеселил меня одной историей, связанной с маэстро.

Дело было, если не путаю, в Вашингтоне, где Вила-Лобосу предстояло читать лекцию — на родном языке, естественно. Тут выяснилось, что переводчика нет, а время идет, и публика волнуется. Устроители воззвали к Эрико, и тот оказался на трибуне рядом с великим соотечественником, покорно переводя все, что тот говорил...

— А говорил он нечто совершенно несусветное — причем с самым непринужденным видом, — уверял меня Вериссимо. — Боже, что это было! Такого чудовищного вранья мне в жизни еще слышать не приходилось. Для затравки он оповестил всех, что родился в сельве, в племени диких и воинственных индейцев, а дальше уже понес не останавливаясь...

А в тот день, когда Вила-Лобос посетил наш комитет и обрел в моем лице горячего своего сторонника, он, зная мои политические убеждения, решил сделать мне приятное.

— В Москву приглашают, — сказал он, попыхивая сигарой. — Буду дирижировать, дам несколько концертов с тамошними оркестрами.

Об этом, впрочем, было в газетах. Я его поздравил, заверил, что произведения его знают и любят в Союзе, часто транслируют по радио и что мировое признание его творчества идет на пользу нашей отчизне. Маэстро выпустил еще один клуб дыма.

— А знаете, кто подписал приглашение?

— Да откуда ж мне знать?! Наверно, руководитель симфонического оркестра Москвы или России.

— Ну-ка, угадайте.

— Шостакович? — брякнул я.

Вила-Лобос снова попыхтел сигарой, улыбнулся и сообщил:

— Ленин! Собственноручно.

Напоминаю, разговор происходил в 1947 году. Увидев, что я замер с открытым ртом, маэстро добавил:

— Не верите? Я вам принесу письмо — сами убедитесь.

Лет, наверно, двадцать кряду я не желал исполнять закон о всеобщей воинской обязанности. Признаю себя виновным в том, что уклонялся от этой повинности и не отзывался на призыв явиться на призыв. Не хотел я состоять в рядах наших вооруженных сил. Я противник милитаризма, ненавижу все, от чего несет казармой и муштрой, на дух не переношу мундир и субординацию. Короче говоря, я дезертир.

Когда собирались забрить в первый раз, Анизио Тейшейра, человек в Баии заметный и влиятельный, похлопотал за меня перед каким-то генералом, и я на год получил отсрочку от призыва. Минул год, но я на сборный пункт не явился, куда-то смылся и перешел тем самым в разряд уклоняющихся от действительной воинской службы. Лиха беда начало, и следом за первым шагом сами собой сделались следующие, ибо пришлось жить без документов, удостоверяющих, что я свой долг перед отчизной исполнил. Чувствовал я себя не слишком-то уютно.

Когда в 1945 году я стал кандидатом в депутаты Федерального собрания, то не сумел приложить военный билет к списку предъявленных документов. Пообещал привезти через сутки, но, разумеется, не привез, ибо где мне было этот билет взять. Избрали меня лишь благодаря нашему легендарному бразильскому разгильдяйству — никто в избирательных и мандатных комиссиях не хватился недостачи.

Потом начались преследования коммунистов, наши мандаты аннулировали, и партия решила послать меня в Европу — чтобы раструбить о том, как попирает режим права человека и парламентария, в грош не ставя депутатскую неприкосновенность. Легко сказать — послать и трубить! А как получить заграничный паспорт,

если нет военного билета? Джокондо Диас счел, что для этого мне надо ехать на родину, в Баию, где воинским начальником был знаменитый генерал Лобо — это он теперь генерал, а в ту пору был полковником, а в бытность свою капитаном охранял и сторожил в Ресифи Грасилиано Рамоса, который и обессмертил его в своих «Записках из тюрьмы». «Он хороший человек», — сказал мне Диас, знающий жизнь и людей.

Когда я предстал перед хорошим человеком Лобо, тот расхохотался:

— Дело ваше я отправляю в архив, вам уже исполнилось тридцать пять лет, а потому вы и переходите в запас последней очереди. Все бумаги уже оформлены, только фотографии вашей не хватает, принесли?

Я принес. Он взял ее и протянул ординарцу, а мне сказал:

— Остались пустяки — сейчас выстроим людей, вызовем оркестр, вы принесете присягу у развернутого знамени, а я скажу речь. И все.

Так оно и было: гром духового оркестра, взявшие на караул солдаты, склонившееся ко мне и осеняющее меня знамя, яростная антикоммунистическая речь Лобо и моя клятва в верности Бразилии. Потом я получил военный билет и из разряда «уклоняющихся» перешел в разряд «ограниченно годных».

Впрочем, милитаризм и военщину я по-прежнему терпеть не могу.

Вроцлав, Польша, 1948

Своего давнего приятеля, уругвайского писателя Энрике Аморима, автора романа «Конь и его тень», я встретил в очередной раз здесь, во Вроцлаве, где проходит Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира. Он приглашает меня на просмотр документального фильма на волнующую тему — разведение лошадей на просторах пампы, а точнее — на бескрайнем пространстве его имения. Аморим — крупный латифундист, что не мешает ему при этом быть коммунистом.

У нас в Латинской Америке случаются и не такие чудеса: я вам назову десятки богатейших землевладельцев, которые придерживаются крайне левых, радикально левых политических взглядов. Мой незабвенный друг Джованни Гимарайнс по секрету поведал мне: чем больше мое состояние, тем круче влево должен я «забирать», показывая, что фазендейро, достигнув зрелых лет и преуспевания, не отрекается от своих убеждений. Произнеся эту тираду, латифундист-маоист расхохотался своим неповторимым смехом — он и сегодня звучит у меня в ушах... Ах, Джованни, какая невосполнимая потеря...

В маленьком зале кинотеатра я с завистью гляжу на целый выводок юных дам, представительниц разных женских и феминистских организаций — они вьются вокруг нашего уругвайца, рослого, плечистого, сияющего красавца, истинного мачо, настоящего «латинского любовника», миллионера и коммуниста, словом, bel'uomo[1], как сформулировал хрустальный голосок Марии... э-э... Марии-Флорентийки, которая и сама чудо как хороша. На экране — кровные жеребцы и кобылы, воплощение силы и изящества, выведенная порода, плод вдумчивой селекции: они носятся по необозримой равнине, простирающейся куда-то за горизонт, вольно резвятся на пастбищах, раздувают ноздри, топорщат гривы... И в живописном одеянии гаучо, во главе верных пеонов скачет романист Аморим по высокой зеленой траве, копытами своего скакуна топчет пампу и сердца приглашенных на просмотр дам.

Но вот стихает вольный галоп, жеребцов и кобылиц на лассо влекут на случку — улучшаем породу, искусственный отбор, поясняет не без лукавства высокий специалист Энрике. Процесс, заснятый во всех деталях крупным планом, приковывает внимание аудитории, с уст которой время от времени срывается то нервный смешок, то невольный негромкий вскрик, то истомный вздох. Мария-Пражанка, на конгрессе представляющая женщин Чехословакии, не может сдержать восторженного вопля, когда весь экран заполняет необыкновенных размеров член лоснящегося вороного коня, покрывающего припавшую на передние ноги кобылу. Энрике не упускает возможности докторальным тоном сообщить, что подобные анатомические особенности вообще присущи уругвай-

[1] Красавец мужчина (*итал.*).

цам — и коням, и людям. Мария-Баиянка, самозваная корреспондентка неведомого бразильского издания, чувствует, как увлажнились ее кружевные трусики, прерывисто вздыхает и рукоплещет.

Просмотр окончен, Энрике Аморим триумфатором выходит из зала. Любопытно, которую из Марий изберет он своей первой жертвой?

— Хорошо снято, жизненно, — объясняет он, — но совсем другое дело — увидеть все это вживе, на фазенде, не хватает пьянящего аромата трав и конского пота.

Москва, 1954

Анна Зегерс звонит мне из гостиницы «Националь», что стоит неподалеку от Красной площади, в гостиницу «Метрополь», расположенную напротив Большого театра, — там остановились мы с Зелией, Пабло Неруда и Николас Гильен. Я только что приехала, взволнованно сообщает она, и мне надо немедленно с тобой увидеться — дело не терпит отлагательств. Анна, как и я, и многие другие со всех пяти континентов — гости Второго съезда советских писателей, его созыв — эпохальное событие для левой интеллигенции всего мира.

Но помимо этого Анна должна принять участие в заседании Комитета по присуждению Международных Сталинских премий, членом коего является. А я, между прочим, лауреат этой самой премии, более высокой награды у меня до той поры не было, и меня благодаря ей принимают в СССР как персону грата, как важную шишку. Вот насчет этой премии Анна и желает со мной говорить. Есть на нашей планете несколько человек, которые неизвестно почему свято верят в меня, считают значительным лицом, способным запросто решить любую проблему, в их глазах я всемогущ. В число их входит и Анна Зегерс.

А проблема, которой она так озабочена и по поводу которой ей требуется мой совет, оказывается весьма важной. Речь идет о Бертольте Брехте. Мы как-то ужинали с ним у Анны — они живут в одном доме в Восточном Берлине, если не ошибаюсь, он — на втором этаже, она — на четвертом. Анна дружит с его женой, Еленой Вайль[1], они с ней вместе заседают в Комитете по присуждению Сталинских премий. С самим же Брехтом я познакомился ближе, когда режиссер Альберто Кавальканти снимал в Вене фильм по его пьесе «Господин Пунтила и его слуга Матти», и, кажется, я внес свой вклад в то, чтобы драматург и режиссер лучше понимали друг друга.

Вышло так, что руководители германской компартии — не помню, как она называлась: социалистическая или единая, суть дела от этого не меняется, — чья твердолобая, сектантская ортодоксальность превзошла все мыслимые ожидания, стали поглядывать на Брехта косо — недоверчиво и неприязненно. Не беря в расчет то, что всю жизнь свою он посвятил торжеству идей социализма, этого удивительного писателя принялись обвинять в формализме, ибо творчество его никогда не укладывалось в прокрустово ложе ждановских понятий о соцреализме. И для начала порешили они, как шепнула мне Анна, лишить Брехта его театра, который оставили ему русские, когда покинули Берлин. В этом театре Брехт и его труппа ставили спектакли, прогремевшие на весь мир.

Анна Зегерс не могла оставить друга в беде — она тут же вступила в борьбу и сплела заговор. Они сделают его жизнь невыносимой, шепчет она мне, отравят ему существование, они затравят его, ты сам знаешь, какие они мастера на это. Есть только один-единственный способ положить этому конец, гарантировать ему спокойную жизнь, возможность работать, писать, ставить спектакли. Что же это за способ? Надо выхлопотать ему Сталинскую премию — если он станет лауреатом, никто не осмелится тронуть его и «Берлинер ансамбль», понимаешь? Ты должен мне помочь, Жоржи! Жюри соберется через четыре дня!

Времени в обрез, начинаются гонка и спешка. Загибаем пальцы, считая сторонников и союзников — тех, кто проголосует за Брехта: Неруда — раз, сама Анна — два, Эренбург — три, Арагон — под вопросом... Но тут Илья резко обрывает наши выкладки:

— Все это чепуха! Не тратьте время впустую. Нужно заручиться поддержкой Саши,

[1] Речь идет о Елене Вайгель (1900—1971), ведущей актрисе театра «Берлинер ансамбль».

— имеется в виду Фадеев, представляющий в Комитете по присуждению силу грозную и необоримую — ЦК КПСС. — Как он скажет, так и будет, наперекор его воле никто не пойдет. Надо лишь, чтобы он согласился помочь.

Он снимает трубку, набирает номер, договаривается о встрече и советует Анне: возьми с собой Жоржи, Саша его любит. Это правда: Фадеев относился ко мне тепло и уважительно, считал правильным товарищем, который не подведет и заслуживает доверия. И вот мы с Анной отправляемся к генеральному секретарю Союза советских писателей, чтобы уловить его в тенета нашей интриги.

Все оказалось проще, чем мы думали. Выслушав нас, автор «Молодой гвардии» без малейших колебаний обещает нам свою поддержку. Он включит Брехта в список «выдвинутых на соискание» и со своими рекомендациями подаст на рассмотрение Политбюро — последнее слово за ним. Неужели это правда? Не знаю, трудно было сказать, где правда, а где игра интересов. Так или иначе, Брехт стал лауреатом и партийные бонзы ГДР оставили его в покое, отвязались от него, перестали докучать. «Докучать»? Пожалуй, это не совсем то слово — оно далеко-далеко не исчерпывает унижения, которым бы его подвергли, хулу и брань, которые бы на него обрушились.

Баия, 1970

В газетах напечатан проект введения предварительной цензуры на книги — плод раздумий и трудов профессора Алфредо Бузайда, министра юстиции в нынешнем правительстве. Мы переживаем самые черные дни, в стране установлена военная диктатура, пытки — хлеб насущный этого режима, кольцо вокруг демократов стягивается все туже, тюрьмы переполнены, идут повальные аресты, облавы, людей убивают без суда и следствия. Каждый день появляются новые декреты, указы и законы, от гражданских прав не осталось уже ничего. Сегодня опубликован новый законопроект — вводится предварительная цензура художественной литературы: рукопись обязательно должна быть направлена в соответствующее ведомство, а уж оно разрешит печатать полностью, либо с купюрами, либо вообще не разрешит.

Я звоню в Порто-Алегре, Эрико Вериссимо:

— Читал?

— Читал. Какой ужас! Надо что-то делать!

— Я с тем тебе и звоню. Мы с тобой самые читаемые в Бразилии писатели, у нас огромная аудитория. Пришло время показать, что у нас тоже есть власть — власть над умами и душами.

И мы с Эрико сочиняем и подписываем заявление, где сказано, что никогда, ни при каких обстоятельствах не согласимся на предварительную цензуру наших сочинений, даже если из-за этого и придется отказаться от издания книг в Бразилии. Тут же, по телефону, редактируем это заявление, придавая ему стиль максимально энергический и категорический. Придумываем, как бы исхитриться и опубликовать эту декларацию. Решаем, что — Эрико в Порто-Алегре, я в Баии — разошлем ее во все местные газеты и в отделения газет Рио и Сан-Пауло. Кто-нибудь да рискнет. И — быть по сему.

Затем я отправляюсь к Жоржи Кальмону, главному редактору «Тарде». Ознакомившись с нашим заявлением, он обещает сделать все, что будет в его силах. Заручившись его поддержкой, продолжаю обход всех баиянских газет и корпунктов. И вот итог — заявление Амаду и Вериссимо появляется чуть ли не во всех утренних газетах Рио, Сан-Пауло, Порто-Алегре, Баии. И на редакции обрушивается шквал телеграмм, звонков, писем — писатели выражают нам солидарность, а первым, если память мне не изменяет, поддерживает наше «благородное начинание» поэт Ледо Иво. Все больше подписей, все громче негодование, и наш протест становится чем-то вроде общенациональной кампании.

Министр печатает свой ответ, полный экивоков и недомолвок, — обещает пересмотреть свой проект. В конце концов он был положен под сукно. Власти, получив такой дружный отпор, решили не связываться с писателями, не вводить предварительную цензуру. Оказывается, читательская любовь, читательская аудитория не столь уж эфемерны. Кое-чего стоят они, раз даже «гориллы» вынуждены с этим считаться.

В число тех, кого я люблю всем сердцем, кто иногда снится мне по ночам, чью смерть я не устаю оплакивать, входят собаки и кошки, попугай, птичка софре.

Чету мопсов я вывез из Англии: оба носили чрезвычайно длинные и сложные имена, указывавшие на то, что в жилах этих собачек течет по-настоящему благородная, голубая кровь аристократов в пятнадцатом поколении. Но кобелька я перекрестил в Мистера Пиквика, отдавая дань уважения Диккенсу, а сучку назвал Капиту (в память одной из героинь славного романиста Машадо де Ассиза[1]), хотя она не в пример тезке отличалась поразительной верностью своему супругу, да и глаза у нее были не миндалевидные, а, как и положено мопсу, вытаращенные и круглые.

На протяжении девятнадцати лет Пиквик и Капиту следовали за мной как тень, не отходили ни на шаг, лежали у моих ног, если я был дома, рвясь за мною следом, если я выходил, и умирая от истинно собачьей тоски, если мы с Зелией уезжали за границу. Как ни пытались мы скрыть от них наши сборы и приготовления, они не давали себя обмануть, задолго предчувствуя разлуку и впадая в глубокую печаль. Домашние рассказывали, что уже за несколько дней до нашего возвращения супруги вдруг отрешались от черной меланхолии, принимались играть и веселиться, безошибочно предчувствуя, что мы скоро приедем. Где еще найдешь таких верных, таких преданных друзей?

Художник Карибе, обладатель вывезенной из Моравии легкомысленной красавицы овчарки, жестоко страдал от зависти и всячески старался очернить моих англосаксов. Иллюстрируя «Историю полосатого Кота и сеньориты Ласточки», он изобразил не мопсов, а каких-то монстров, нечто среднее между летучей мышью и телефонным аппаратом, свою же проститутку сделал голубоглазой принцессой. Зависть застит взор и портит нрав.

Капиту, столько лет прожив в Бразилии, потеряла британскую сдержанность и покачивала бедрами на ходу, как истая баиянка. Пиквик, переживший супругу на несколько месяцев, до конца дней своих и при любых обстоятельствах сохранял флегматичную надменность лорда. У него было многочисленное потомство — дети и внуки его стяжали себе славу и золотые медали чемпионов породы. Ослепший и оглохший от старости, он благодарно вилял обрубком хвоста, когда я почесывал его за ухом, и до смертного часа сохранил прекрасный аппетит, неизменно пуская слюни, когда приближался к своей миске, — потому я не внял добрым советам и не дал усыпить его. Он умер своей смертью, когда мы с Зелией были в отъезде. Долго еще мне чудилось, что Пик скребет когтями мою ногу, просясь на колени, и слышалось похрапывание Капиту...

В доме у нас, указуя на вкус хозяев, нежно привязанных к этим загадочным тварям, всегда жило несколько кошек. Одну — даму необузданного темперамента и непокорного нрава, помесь перса с сиамкой, — звали Саша. Она начала шляться по крышам в весьма нежном возрасте, когда же неизбежное случилось и пробил час произвести потомство, вспрыгнула на наше супружеское ложе, прямо на живот доне Зелии, и никакими силами согнать ее не удавалось. Пришлось подстелить клеенку и газеты, и Саша родила на животе у моей супруги восьмерых котят.

Она вообще питала к Зелии страсть пламенную и ревнивую: ходила за ней неотступно, что свойственно скорее собакам, а та любила брать ее на руки и подолгу беседовать с нею, задавая нескромные вопросы о Сашиных кавалерах, оравой толпившихся у дверей. Саша отвечала мелодичным, разного тона мяуканьем — Зелия, судя по всему, сносно владеет кошачьим языком. Сашин отец, гигантский перс, носил имя Дона Флор, ибо по родословной значился кошкой. Когда же выяснилось, что это не кошка, а совсем-совсем наоборот, наш садовник Зука стал называть его Дон Флором. Нетрудно догадаться, что его сиамку-жену звали Габриэла, а первого ее мужа — Насиб.

Он был одним из самых верных моих друзей и предан был не меньше, чем Саша — Зелии, и проводил со мной все время, что отведено у него было для двуногих. Видя, что

---

[1] Жоакин Мария Машадо де Ассиз (1839—1908) — бразильский писатель.

я сижу на веранде нашего дома в Рио-Вермельо и стучу на машинке, Насиб неизменно взлетал на шаткий столик и укладывался на груду отпечатанных листков, тихо мурлыча и полагая, очевидно, что помогает мне творить. Если звонил телефон и я вставал из-за стола, Насиб приоткрывал глаза и ждал, когда я вернусь, а не дождавшись, шел на поиски, понимая, что с творчеством на время покончено. Погиб он, подавившись рыбьей костью. Кормили его до отвала, но он не мог отказать себе в удовольствии пошарить по мусорным свалкам, что и привело однажды к такому вот печальному финалу.

А Саша прожила около двадцати лет — для кошки это возраст Мафусаила — и всегда была окружена свитой поклонников, с которыми обращалась весьма сурово, ибо нравом отличалась, повторяю, крутым, чтобы не сказать бешеным. Однажды мы привезли из Англии кота и кошку с острова Мэн, передвигающихся скачками, как кролики. Саша мрачно наблюдала, как мы возимся с чужестранцами, расточая им ласки и заботы, а потом, ополоумев от ревности, бросилась на англичанина, которого беспечная Зелия опустила наземь, и в один миг перебила ему спинной хребет. Потом взглянула на остолбеневшую хозяйку, громко мяукнула и взвилась по столбу на крышу. Не прошло и суток, как за первым убийством последовало второе. Я всерьез опасался, что она, ревнуя к Зелии, когда-нибудь кинется и на меня, но Саша, судя по тому, что этого не случилось, кое-какие права за мной все же признавала.

Были у нас и две ручные цапли, приходившие на зов, и здоровенная жаба-каруру, жившая в саду и являвшаяся на веранду в гости. Когда Зелия гладила ее по спинке, она раздувалась, вдвое увеличиваясь в размерах. Была и глуповатая, но добрая боксериха Вентания, обожавшая спать в гостиной, что ей в видах сохранения чистоты и порядка было строго-настрого запрещено. Вентания все равно проникала в запретную зону и пряталась на диване — у меня за спиной. Когда мы надолго уехали в Европу, она затосковала, стала отказываться от еды и вскоре умерла, не вынеся разлуки.

Были и два руанских селезня, звавшиеся Братья Карамазовы и отличавшиеся, помимо красоты, редкостной похотливостью: они все время пытались овладеть местными гусынями, которые были гораздо крупнее французских волокит. Братья-разбойники, завидев жертву, налетали на нее, зажимали, и покуда один держал, второй делал свое черное дело. Почему-то мой селезень всегда оказывался проворнее и успевал раньше, что приводило Зелию в бешенство.

Наш друг Уго дель Карриль, отправляясь в путешествие, оставил нам — мы тогда жили в Рио — прелестную, совсем ручную и безумно дорогую птичку софре. Она не признавала клеток, сидела у меня на пальце, на лбу у Пабло Неруды, щипала за руку Симону де Бовуар, подпевала Жоану Жилберто. Иногда вылетала через открытое окно и подолгу порхала над пляжем Копакабаны, но неизменно возвращалась. Приехав, Уго прислал за нею и получил отказ: мы уже так привыкли к софре, что жизни без нее не представляли. Я, сделав скорбное лицо, наврал, что она улетела, и потом увез ее с собой в Баию, где она, насвистывая босановы, прожила еще лет двадцать.

А красно-зелено-золотой попугай по имени Флоро был со мной еще дольше. Он, конечно, был самкой, если судить по тому, как глубоко, страстно, ревниво он — она? — меня любил и какую лютую злобу вызывали у нее — у попугая? — милые девицы, приходившие скрасить мое одиночество и согреть мою холостяцкую постель. Когда же Зелия переехала ко мне на авениду Сан-Жоан, неистовая Флоро преследовала ее по всей квартире, норовя клюнуть побольней, а в перспективе — изгнать из нашего дома навсегда. Походка у попугая была вразвалочку, как у подгулявшего боцмана, но двигался он стремительно, и Зелия в страхе забиралась на стулья. В конце концов он смилостивился и смирился с ее присутствием, но никогда не позволял Зелии фамильярничать, тогда как я мог делать с ним — с нею? — все что угодно. Я брал Флоро в руки, совал его голову себе в рот, гладил и почесывал брюшко в поисках несуществующих блох — он все сносил. В клетку он уходил только на ночлег, а весь день без устали носился по квартире или перепархивал с пальца на палец.

Попугай вообще национальная бразильская птица, персонаж бесчисленных сказок и легенд, мудрец и озорник. У меня перебывали и амазонская парочка Титио и Ти-

тия, и красавец из штата Маракана, болтавший без умолку, но Флоро был и остался самым любимым. Он попал ко мне из дома терпимости, и этим, надо полагать, объясняется его ревнивая нежность.

...Полковник Жоан Амаду, приехавший со своей фазенды, прогуливался в «квартале красных фонарей» и вдруг услышал, как сидящий в клетке попугай гнусаво и пронзительно отпускает забористые многоэтажные ругательства, распевает совершенно непристойные песенки и рекламирует «фирменные блюда» заведения — вроде таких, например: «Тер-р-реза станет р-раком! Р-раком!» Полковник пришел в восторг, решив, что лучшего подарка для Жоржи не придумать, и спросил, сколько стоит чудесная птица. Мадам сообщила, что всего золота мира не хватит, чтобы купить попугая, но при виде пятисотенной мнение свое переменила, сказав: «Еще одну такую же — и можете забирать бедняжку». — «Как его зовут?» — осведомился мой отец и услышал, что имен у него множество — Шестьдесят Девять, Минет, Стальной Зад, — словом, девицы-бесстыдницы изощрялись как могли.

Так вот, по прихоти полковника Амаду, очарованного тем, как виртуозно сквернословит попугай, он и вошел в мою жизнь — бурную и сумбурную. Мы жили с ним душа в душу, он в буквальном смысле все хватал на лету, обнаруживая поразительные способности. Вскоре он вместо непристойностей уже выкрикивал политические лозунги не хуже заправского агитатора-активиста и призывал голосовать за коммунистов.

У нас в доме он мастерски свистал собакам, говорил «кис-кис-кис» кошкам и «цып-цып-цып» курам и вел себя, в общем, вполне прилично. Лишь изредка при слове, например, «кабаре» вспоминалась ему прошлая жизнь, и тогда он нес такое, что волосы вставали дыбом: орал, матерился, горланил похабные песни, хрипло сообщал, что «Гр-р-расинду вчера тр-р-рахнули в кор-р-рале», звал какую-то Лауру, а поскольку та не появлялась, сердился и кричал: «Лаур-ра, где ты, б... позор-рная?!»

После того как не стало Пиквика и Капиту, я решил больше не заводить в доме никаких зверей. Слишком больно и трудно расставаться с ними навсегда, слишком мучительно терять. Лучше уж вовсе их не иметь.

Париж, 1948

Я встречаю Пикассо у входа и в лифте говорю ему спасибо, что пришел. «За что ты меня благодаришь? — улыбается он. — За то, что я друг Пабло?» Кабинет Арагона, в ту пору занимавшего пост главного редактора газеты «Се суар», как всегда переполнен пишущей братией, близкой к левым кругам. Литераторы приходят сюда за благословением Его Святейшества папы Луи.

Представители компартий Аргентины, Бразилии и Чили, мы условились о встрече с Арагоном и Пикассо, чтобы обсудить, какие меры можно принять для защиты Пабло Неруды, который подвергается невиданной доселе травле: его лишили сенаторской неприкосновенности, он скрывается в подполье, опасаясь неизбежного ареста. Надо действовать без промедления. Решено для начала отправить президенту Чили Габриэлю Гонсалесу Виделе телеграмму протеста, возложить на него ответственность за все, что может случиться с Пабло, потребовать, чтобы поэту гарантировали жизнь, свободу и безопасность. Подписать эту телеграмму должны гранды французской культуры, чьи имена произведут впечатление на чилийского диктатора. Латиноамериканские коммунисты, живущие в Париже, соберут подписи, а мы пока сочиняем текст нашей петиции, больше похожей на обвинительный акт или на ультиматум. Теперь надо сообразить, к кому обращаться, — составить список из самых громких имен.

Но первое же названное мною имя — Жан-Поль Сартр — вызывает вначале оторопь, а затем взрыв негодования. Мне в лицо смеются соратники Арагона, которому я наступил на мозоль: «Сартр? Он наш враг! Он никогда не подпишет!» В те годы отношения мэтра экзистенциализма с французской компартией были хуже некуда — противники не упускали случая как-нибудь насолить друг другу и достигали в этом больших успехов. Однако я отваживаюсь возражать Арагону, ибо считаю, что Сартр не откажет нам в своей подписи: как бы велики ни были его расхождения с коммунистами, он не при-

мкнет к реакционерам. Арагон, скрежеща зубами, обвиняет меня в вопиющем политическом невежестве, в непоследовательности, в шаткости моих взглядов. Не знаю, чего больше в его отпоре — ярости или презрения, твердость его в защите партийных позиций легко перепутать с грубостью по отношению к тем, кто на эти позиции покушается. Но и я не уступаю ни пяди и предлагаю, что сам лично отправлюсь просить ренегата Сартра и его жену Симону де Бовуар подписать наш документ, ибо ни минуты не сомневаюсь, что подписи эти получу. Предлагаю пари. Арагон с прежним сарказмом, но чуть сбавив накал своего негодования, принимает: он, в свою очередь, совершенно уверен, что не получу я никаких подписей и вообще ничего, кроме решительного и однозначного отказа. «Пусть это послужит вам уроком: когда вернетесь с пустыми руками, надеюсь услышать от вас, товарищ, самокритику по вопросу вашей самонадеянности». Экзистенциализм и самокритика — вот два самых ходовых словечка той поры.

А я виделся-то с Сартром всего однажды — в издательстве, которое собиралось выпустить в свет его пьесы и одновременно перевод моего романа «Бескрайние земли». Меня представили ему, он был более чем любезен, с похвалой отозвался о «Землях» — читал, дескать, прочел, и мне понравилось — и я воспарил от таких слов, ибо тщеславие заставило меня им поверить. Как и все сколько-нибудь причастные к литературе, я знал о привычках Сартра — знал, что он неизменно обедает «У Липпа», где у них с Симоной постоянный стол. Туда-то я и направил свои стопы. Он узнал меня, что еще раз приятно пощекотало мое самолюбие, и, когда я поведал о мытарствах Неруды и показал текст телеграммы, ни секунды не колеблясь, подписал ее и передвинул листок жене. Я рассыпался в благодарностях, разве что в пояс не поклонился — радость переполняла меня, и не было в тот вечер в Париже человека счастливей.

И в том же кабинете газеты «Се суар» вновь сошлись три латиноамериканских коммуниста, чтобы вручить Арагону собранные нами подписи. Абсолютной чемпионкой оказалась Зелия: в ее списке была чуть ли не половина палаты депутатов и, разумеется, чернокожие сенаторы in corpore[1] — Эме Сезэр, д'Арбусье, Уфуэ-Буаньи и прочие. Я же, не выказывая чрезмерного ликования, скромно — кто я такой есть, чтобы злорадствовать?! — выложил бумажку с подписями Сартра и Симоны де Бовуар. Арагон взял телеграмму, покачавши головой, что должно было означать самокритику, и предложил: «Его фамилия должна стоять в списке первой». Но нет, первой в списке оказалась фамилия автора «Les Yeux d' Elsa»[2] — я знал эти стихи наизусть, — конклав кардиналов настоял на этом: «Нет, Луи, сначала ты, а потом уж он».

А с Сартром и Симоной мы подружились — вместе путешествовали по Европе, с юга на север пересекли всю Бразилию, в 1950-м он опубликовал в «Тан модерн» мой роман «Какао», в 1961-м пришел черед «Необычайной кончине Кинкаса Сгинь Вода». А где-то в 70-е мы обедали «У Липпа», и Жан-Поль рассказал мне, что знал о нашем пари с Арагоном — кто-то из кардиналов проболтался. Да разве можно им доверять?

■

[1] В полном составе (*лат.*).
[2] «Глаза Эльзы» (*франц.*) — стихотворение Арагона, посвященное Э. Триоле.

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ

ПОСЛЕ КОНЦА СВЕТА

Более неудобную фигуру для определения, классифицирования и ранжирования, чем Фрэнсис Бэкон (1909 — 1992), трудно себе представить. Художник-самоучка, больше времени проводивший за разглядыванием альбомов Домье и Курбе, нежели в музейных залах, он тяготел одно время к сюрреалистам и даже предлагал в 1936-м свои работы на их выставку, но был с негодованием отвергнут. (В 1944-м он уничтожит почти все, что сделал к этому времени, за исключением десятка картин, уже попавших в частные собрания. Через девять лет экзекуция повторится.)

И впрямь: не за горами маячил титул «экзистенциалиста живописи» — а разве могли потенциального обладателя такового воспринять куртуазно-игривые сюрреалисты? Но он многому научился от последователей Бретона: растекающейся форме, оплывающим, словно старая свеча, телам. Так же и от нелюбимых им абстракционистов Бэкон призывал взять все полезное. Нет, все же нигде так не проявляется *здоровый цинизм*, как во всеядности *самородка*.

Зрители, видевшие картины раньше, чем узнавали что-либо о художнике, подозревали в нем нелюдима, неприветливого и малообщительного персонажа. Уверенного в том, что живой, человеческий мир погиб еще до того, как сам Бэкон родился.

Слухи о его алкоголизме подтверждались — остальное оказывалось домыслом. Один французский критик, напуганный подобными предсказаниями, вместо монстра встретил в середине 60-х обаятельного, милого и даже «пугливого» человека, выглядевшего лет на 15 моложе своего возраста. Разговор с ним вместо запланированных тридцати минут продолжался часа три с половиной и длился бы всю ночь, если бы не другая встреча, назначенная на этот вечер.

И все же постороннему, лишенному возможности непосредственного общения с Бэконом, никогда не удастся оказаться с ним на короткой ноге. Перекошенные головы, вывернутые глаза, искривленные носы — кого способны привлечь эти кошмарные (при)видения, в которых у человека если и сохраняется худо-бедно его несчастное тело, то практически полностью разрушено лицо?

Как-то он признался, что хотел бы снять кинопленту, в которой бы присутствовали все персонажи его холстов. Потому их и можно рассматривать как один беспрерывный слайд-фильм, в котором меняются разве что обстоятельства фона.

Сами фигуры, насыщенные болью и кровью, неизбывно пребывающие в поле ожесточения и исступления, оказываются бесконечно похожи друг на друга — той степенью похожести, что объединяет людей XX века. Бэкон создал портрет человека послевоенного мира — горожанина, воспринимающего шум автомашин и политиков как неизбежное зло, поневоле читающего газеты и изредка выбирающегося на улицы мегаполиса, ставшего нелюбимым, но таким родным.

Природа, если она и встречается здесь, заключена в неизбежные рамки (Бэкон был астматиком, не переносившим именно свежего воздуха). Такова же и участь людей. Обрамлены все — от занимающихся любовью посреди травы до развалившихся усталыми животными на подиуме.

Подиумов, возвышений, на которых распластано в судорожной боли чье-то тело, у него так много, что вскоре зритель уже перестает соображать, что, собственно, перед ним. Хирургическая палата с однообразно выкрашенными стенами и ярким светом? Кабинет психоаналитика, препарирующего клиента вопреки его воле? Тюрьма или комната пыток, где человек претерпевает ужасные мутации, напоминающие «Остров доктора Моро»? Или всего лишь театральная сцена — столь смахивающая на сцену анатомического театра, — на которой в равнодушном темпе хроники новостей сме-

© А. Мокроусов, 1998

няются персонажи и цвет декораций, но не исчезает главное: крик боли, резкий, пронзительный, невыносимо режущий ухо, поскольку — абсолютно немой?

Элюар считал жалкими «те картины, в которые нельзя вслушаться». Приходится признать: самое страшное, что может произойти на выставке Бэкона, — это если вдруг кто-нибудь неожиданно включит звук, который так и рвет его персонажам рты, раздираемые немым воем. (Наверное, мог бы зазвучать Шнитке, но, вслушавшись в обоих, понимаешь, насколько тот рядом с Бэконом оптимистичен.)

Экспрессия иных полотен такова, что сравнение с Достоевским, одним из любимых его авторов, не выглядит чем-то чрезмерным. Вообще разговор об этой живописи постоянно соскальзывает в литературные параллели и ассоциации. И хотя высказываний об Эсхиле и Элиоте у Бэкона и впрямь хватает (не говоря уж о посвященных им обоим триптихах), литературно прозрачных сюжетов в его полотнах не найти. Такое впечатление, что даже название редко когда для автора важно. Большинство работ равнодушно именуются «Триптих» или «Голова». Да и вообще здесь нелегко с фабулой. Не зря же он мечтал о том, чтобы картину нельзя было «пересказать», «прочитать», будто она газета или роман. Не потому ли Бэкон, пытавшийся вовсе откреститься от своей принадлежности к живописи, остается наиболее «живописным» из всех имевших отношение к сюрреализму?

Театр живых теней

Художники всегда обожали соревнования с современниками или предками в классических сюжетах. Только сюжеты эти были, как правило, мифологические.

В XX веке появилось новое увлечение. Делать копии с картин — но так, чтобы никто сразу и не догадался, о чем изначально шла речь. Одним из первых в этом переписывании мирового искусства, итожащем всю историю, преуспел Хоан Миро, на свой лад переложивший в «Голландских интерьерах» полотна Яна Стена и Хендрика Сорга. Не отставал от него и Пикассо с версией «Завтрака на траве» Мане и вариациями на тему впечатливших его еще в молодости «Менин» Веласкеса.

Бредил Веласкесом и Бэкон. Только оригинала «Портрета папы Иннокентия X» он так и не видел: много лет собирал лишь репродукции, сильно разнившиеся друг от друга в передаче цвета. А когда, будучи в Риме, Бэкон проходил мимо галереи Дориа-Памфили, специально туда не зашел. Похожая ситуация и с «Портретом художника по дороге в Тараскон» Ван Гога: картина эта сгорела в Магдебурге в годы второй мировой и осталась лишь в цветных иллюстрациях.

«Этюд[1] к портрету Ван Гога», вынесенный на обложку этого номера журнала, существует в шести вариантах, сильно отличающихся друг от друга. Не меньше вариаций создано и на тему портрета Иннокентия X, в котором, как в призме, сошлись все особенности бэконовской манеры.

Композицию и наполнение своих полотен он объяснял наитием, импровизацией, неожиданно возникшей потребностью расположить здесь именно *это*.

Предварительный замысел, не говоря уж об эскизах, отсутствует вовсе[2]. В результате интуитивного взрыва появились и портреты Папы. Выбросы энергии происходили как у пульсара. Восемь картин он рисует за две июльские недели 1953-го.

История, произошедшая с Иннокентием, вряд ли с чем может сравниться по мистическому стечению обстоятельств.

Вот как объясняет это сам автор.

Еще в 30-е его поразила сцена в «Броненосце «Потемкине» — с коляской на лестнице и немым криком няни. Давно уже гипнотизировали Бэкона «Избиение младенцев» Пуссена и веласкесовский портрет Иннокентия. Потом, в 40-е, Бэкон покупает книгу с цветными картинками по болезням полости рта. Спаянные беспрерывным внутренним беспокойством, эти «случайности» породили длинную серию полотен, чьи персонажи исходят криком, словно кровью.

Некоторым в сериях «Головы» (вариации на темы Веласкеса называют порой и «Папы») чудится другой образ. Образ бэконовского отца, разрыв с которым был столь трагичен для художника. Если это так, то вряд ли он мог найти лучший источник для вдохновения, нежели «Портрет Иннокентия». «У Веласкеса нет пор-

---

[1] Слово «этюд» в названии не должно смущать. Как обычно у самоучек, в случае Бэкона мы имеем дело с иным словарем. «Этюд» означает вовсе не подготовительный набросок, но очередную попытку приблизиться к идеалу. Собственно, каждая его картина могла быть названа «этюдом».

[2] Даже триптихи порой рождались «случайно». Так, не продав в 1953-м «Голову», он дорисовывает к ней еще две — одну по фотографии канадского премьер-министра, другую — своего друга Стива Лейси. Возникают «Три этюда человеческой головы».

трета с более воздушной пластикой и рождающего столь сильное ощущение присутствия. Внешне его персонаж не особенно привлекателен, но все, что в нем есть — достойного или недостойного, — проявилось на полотне» (Ортега-и-Гассет).

Бэкона влечет прежде всего внутреннее, существенное в человеке. И потому в одной из «Голов» сквозь папскую мантию просвечивает кровеносная система человека. Вообще кровь постоянно проступает сквозь одежду его героев. А некоторых своих персонажей он просто лишает зрения, глаз. Зрачков почти никогда не видно, особенно на полотнах 40—50-х годов. То они сощурятся от напряжения крика, то художник сам завяжет глаза фигурам у подножия креста и заставит их изгибаться так изощренно-причудливо, что тут у кого угодно глаза из орбит полезут.

Наибольшей трансформации здесь подвержены глаза, уши, нос — то, что отвечает за связь человека с внешним миром, через что мир познается. Лишая человека осязания, обоняния и зрения, Бэкон оставляет его наедине с собственными страхами и видениями, превращая в беззащитное и одинокое животное, исходящее ужасом перед вселенной.

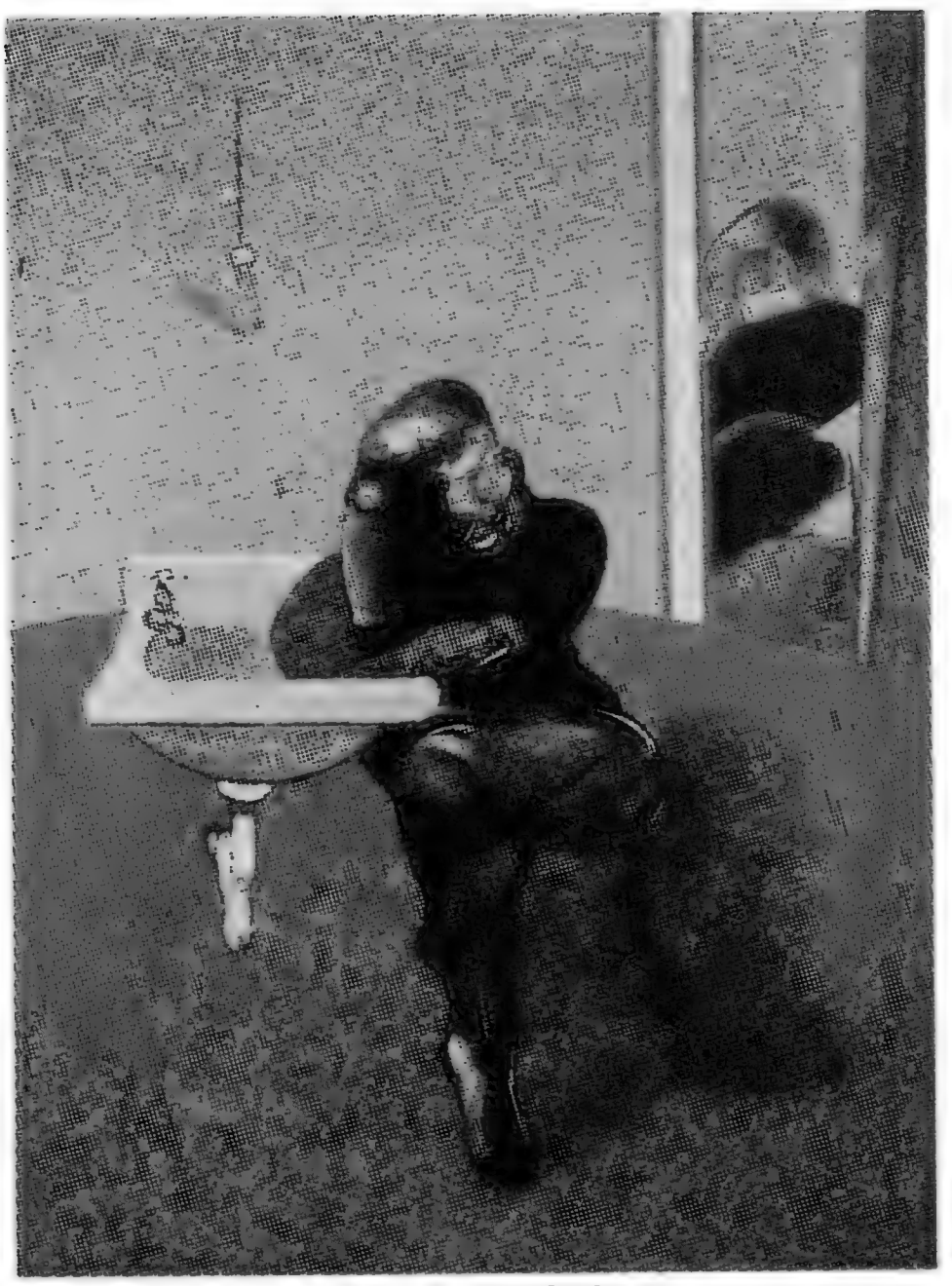
Своей необычной, чуть шершавой фактурой серия «Пап»[1] обязана случайному открытию, которое Бэкон совершил по бедности. Проиграв в Монте-Карло всю наличность в казино, он остается однажды без нового холста и вынужден рисовать на обороте уже использованного. Так он обнаруживает возможности небеленого полотна, неповторимо-шероховатого и даже грубого, что, видимо, и позволяет растекающимся фигурам оставаться все же единым целым, а не совсем уж мутной слизью сползать к нижней раме.

Домашний (дружеский) театр

Бэкон очень любил рисовать друзей. Но по фотографиям. Первые наброски сделает еще «вживую», а потом возьмет снимки — и продолжает работать по ним. «Может, это потому, что я очень нервный?» — спрашивал художник у Дэвида Сильвестера.

Исключения не делались даже для самых близких, таких, как Джордж Дайер (покончивший жизнь самоубийством в день открытия выставки Бэкона в парижском Гран-пале).

После смерти Бэкона пол мастерской в Южном Кенсингтоне был завален сотнями старых фотографий, вырезками из журналов и прочим фотохламом. Такой же «порядок» был здесь и при жизни художника, любовно называвшего это «кучей компоста» и охотно позировавшего посреди «компоста» друзьям и репортерам. Альбомы в его библиотеке полны следов пальцев, измазанных краской: он работал со снимками и книгами прямо у мольберта. Палитрой, впрочем, часто служили двери и стены самой мастерской. Отчего та приобретала вид объемной театральной декорации.



Автопортрет (1973).

Зачарованный светописью, Бэкон словно доверяет ей последнюю правду реальности, надеясь обнаружить на снимке то, что *взгляд* может утаить от человека, приняв подробность за незначащую и слив пейзаж в единое, нераздельное целое.

Насмотревшись на снимки, Бэкон первым делом размывает фигуру чуть ли не до желеобразной консистенции, не собираясь при этом ее разрушать, а затем и собирать в единое целое. Нет, им движет какое-то иное, неаналитическое зрение, при котором искажаются границы тела и его среды. Кусок человеческого мяса предстает сгущением воздуха, порождением неизвестной энергии, уже незримо существовавшей в пространстве. Но если Элиот вслед за Эмерсоном видел в истории «вытянутую тень человечества», то взгляду Бэкона сама тень оказывается недоступной. Он не принадлежит истории, он выпал из нее, поскольку не обнаружил таковую еще при рождении. Под сомне-

[1] Любопытно, что наиболее «приличный» из «Иннокентиев», ближе всего стоящий к оригиналу Веласкеса, находится в собрании Ватикана.

ние поставлено само тело, эту тень создающее.

То ли в шутку, то ли всерьез Бэкон объяснял бесконечность дружеских портретов тем, что не столь близких ему людей шокирует «мясистость» полотен. Для художника круг потенциальных натурщиков был ограничен самой манерой представлять лицо и тело так, словно мы наблюдаем их в кривом зеркале. Только зеркало реагирует выборочно: не на пространство, но на человеческую плоть. В основном мужскую. Именно ее предпочитал терзать, истязать и мучить скальпелем взгляда художник, с юности не делавший секрета из своей гомосексуальности (что, собственно, и послужило причиной брутального конфликта с отцом и разрыва с семьей в 16 лет).

Разрубленные туши животных, помещаемые иногда за портретируемым и столь напоминающие мясобойни Хаима Сутина, тоже способны отпугнуть потенциальную модель (сам автор находил туши «прекрасными»). Хотя именно они как-то сглаживали бэконовскую одержимость телом, из которого тот *«словно хочет вырвать все его секреты»* (Р. Хьюг).

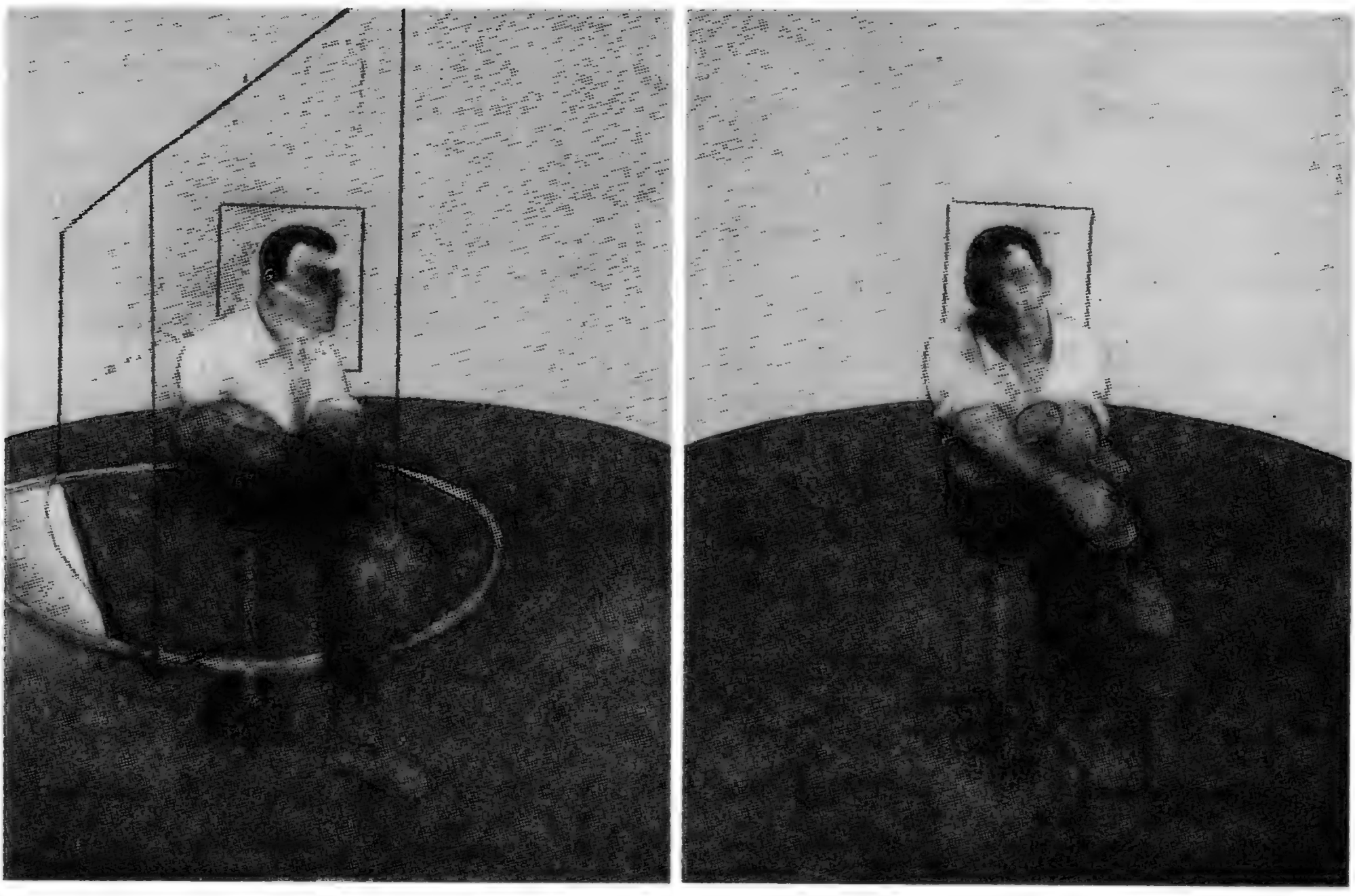
Описывая кризис индивидуума, Бэкон выбирает неожиданных, на первый взгляд, персонажей. Все они в той или иной степени принадлежали к интеллектуальной элите эпохи. Казалось бы, изучать ее зияние на таких примерах — все равно что печалиться о бедных на судьбе Рокфеллера.

Но Бэкону, не склонному к типажам, безразличному к «человеку улицы», и неинтересны реальные портреты реальных людей. Он создает новые явления, над которыми не имеет никакой власти, своеобразных гомункулусов, обладающих чертами друзей, но все же принципиально от них отличных.

Один из лучших дружеских портертов — Изабель Росторн (1970), излюбленной модели Андре Дерена и Джакометти. Она была подругой Жоржа Батая, но Бэкон говорил и о своей близости с нею — редкой женщиной, вызывавшей у него мужской интерес.

Изабель изображена на улице в Сохо. Сама улица представлена (как это обычно бывает у Бэкона) как пространство, ограниченное клеткой. Почти штампом кажется появление автомобиля и каких-то фигур на заднем фоне, призванных, видимо, обозначить многолюдный и оживленный квартал.

Подобная клетка, определяющая сцену действия, присутствует во многих бэконовских работах. Проступающие тонкими (то ли стеклянными, то ли стальными) стержнями кубы ограничивают большинство его фигур, помещая их в отдельный объем внутри окружающей их пустоты. Которая и является содержанием этого мира. Фигура, помещенная внутрь арматуры, остается один на один с собственным силуэтом, контуром, пытаясь и в то же время страшась преодолеть его, выйти за его границы.



Три этюда портрета Джона Эдвардса (1984).

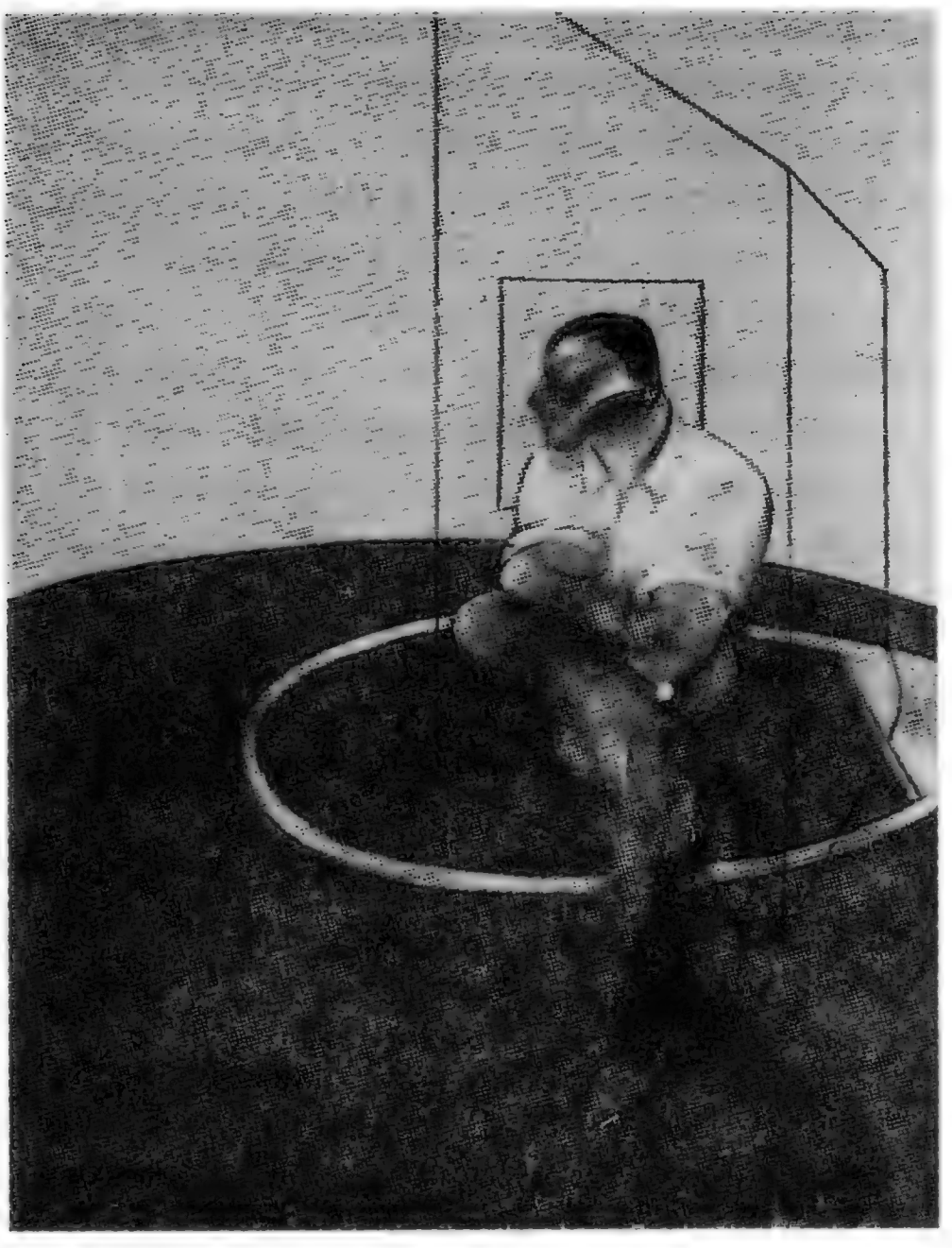
Неуверенность, стремление спрятаться, сжаться до существующих рамок... Фигуры Бэкона раздираемы противоречивыми желаниями, которым, кажется порою, и сам художник не знает, как противостоять.

Тень становится в какой-то момент едва ли не единственным свидетельством и доказательством пребывания человека в этом мире, но вскоре выясняется, что она же — противник всего телесного, стукач и соглядатай, заявляющий об отсутствии подозреваемого в том месте, с которым связывалось его алиби. Разглядывание тени сопряжено для Бэкона с лицезрением самой Смерти, небытия, овеществленного страха перед исчезновением, так ужаснувшим художника.

Наследие предков

Особая дружба связывала его с Люсьеном Фрейдом. Внук основателя психоанализа не раз «обменивался» с Бэконом, потомком знаменитого философа, портретами. Правда, иные критики не без ехидства замечали, что один из них занят реализмом кошмара, а второй (Фрейд) — кошмаром реализма.

Вслед за другим английским классиком XX века, Стенли Спенсером, Фрейд погрузился в пейзажи и ландшафты человеческого тела, прописывая все его тени и складки так, словно именно они стали каноном новой красоты.



Бэкон же, загипнотизированный не столько деталью, сколько общим *кружением вещества*, с годами все больше тяготел к монументальным задачам. Излюбленным его объемом стал триптих. И если поначалу триптих непременно был связан с распятием (первая его замеченная работа — вызвавшие столь громкий скандал «Три этюда фигур у подножия распятия» 1944 года), то позднее он рисует уже тройные портреты, где фигура дается в движении (в «Трех эскизах мужской спины», 1970, бреющийся совершает круг, будто находится на сцене) или физиогномика ее оказывается текучей, словно в мультфильме.

Едва ли не всех своих персонажей он превращает в героев ненаписанных трагедий Шекспира, еще одного своего кумира. С этой зависимостью от напряженного стиля трагедии связано и его признание 60-х годов: «Я не припоминаю ни одного дня своей жизни, когда бы не думал о смерти».

Себя, впрочем, он рисовал не менее часто, чем друзей. И хотя свое лицо он ненавидел, именно в автопортретах, наполненных грустью и одиночеством, проявляется то, в чем Дино Буццати видит едва ли не главное значение Бэкона: тот придал современной живописи *«ментальную и визуальную реальность,* [описывающую] *несчастье человека и его бедной судьбы. Бэкон думает, что жизнь лишена смысла и что потустороннего не существует»*. Черный фон, темнота, наползающая сзади персонажа, поглотившая уже его время и готовая заглотнуть его самого, — при таких обстоятельствах живописец находит силы снова и снова выводить своих героев на сцену, всматриваться в их тела, скручиваемые невидимой болью, и обнаруживает в них отголоски теней, которые никогда его не оставляли. *«Все люди, которых я любил, мертвы. Но думаешь о них не переставая: время не лечит»*.

Кроме зеркала, ему помогали «моментальные» снимки. Полоски по четыре кадра с собственным лицом оккупировали мастерскую. Чужие паспортные фотографии он с упоением разглядывал в «Черном музее» Скотленд-Ярда, куда приходил довольно часто. Преклонение перед camera lucida не знало границ. Работу с натурщиками поначалу заменяло знакомство с книгами американца Эдварда Мьюбриджа, снимавшего обнаженное мужское тело в движении и за спортивными упражнениями. Открыв для себя два его тома еще в конце 30-х, Бэкон до последних дней возвращается к ним. «Человек у умывальника» (1989 — 1990) тоже наве-

Ф. Бэкон в своем ателье (1984).

ян Мьюбриджем; некоторые, впрочем, усматривают здесь и влияние «Женщин за туалетом» Дега — этакая мужская версия знаменитой работы. Только пространство подвергнуто у Бэкона кардинальному изменению. Кажется, что сам умывальник находится на расстоянии многих метров от ближайшей стены.

Иллюзия безразмерности очевидно ограниченного пространства преследует зрителя в большинстве картин Бэкона. Собственно, такое пространство и оказывается идеальным для портретирования *«человека в его наиболее обыденной, повседневной жизни — перед лицом нашего небытия*, — как говорил художник в интервью Ж. Тассе. — *Существа*, — продолжал он, — *низводятся до уровня образа, как если бы они пытались убедить друг друга в своем существовании».*

Место в картине

Бэкон, все, казалось бы, сделавший для того, чтобы не нравиться, считавший своих «Пап» неудачей, *глупой попыткой*, стал одним из самых популярных мастеров века. Отказываясь «быть современным» и видеть в искусстве игру, развлечение, он мечтал о судьбе Ван Гога: непризнанный гений, отвергнутый толпой... История сыграла с ним злую шутку, еще при жизни объявив самым значительным английским живописцем века — парадоксальным образом оставшимся без последователей и школы. Любили его немногие; гораздо больше тех, кто испытал влияние, но почти все признавали величие. Только ли в вариативности образов здесь дело (иные ведь именно в серийности, самоповторении видят основной удел художника сегодня — и секрет его успеха)?

Унылая в своей невнятной пестроте картина искусства XX столетия отводит Бэкону место на выселках. Там, где собираются гении-одиночки. Причисленный вместе с Грэмом Сазерлендом к позднему, английскому экспрессионизму, Бэкон, как и Пруст в литературе, не оставил после себя никакой школы. Не считать же за таковую посылавших ему многозначительные приветы художников «новой фигуративности»? Последние тоже настаивали на неисчерпанности фигуративного искусства, изрядно потрепанного агрессивной абстракцией. Но, в отличие от Бэкона, они в большинстве своем не обладали целостным взглядом на историю, той

универсальной философией, что объемлет все окружающее и завораживает, несмотря на нескрываемый пессимизм. Их работы часто близки к иллюстративности, литературности, нелюбовь к которой Бэкон никогда не скрывал.

Сам он, естественно, противился любому определению. Утверждал, например, что от экспрессионистов его отличает интерес к человеку. Но проявлял этот интерес Бэкон не как социолог, а исключительно художественно, разрываясь между полюсами мазка и линии, объема и плоскости. Он противился сюжетному пониманию искусства, доказывая, что и у Рембрандта фабула — последнее, что нас интересует, она лишь оправа. Главное — сама живопись.

Серьезность Бэкона порой тяготит. Достоевский хоть иногда улыбался — у этого же даже попытка нарисовать улыбку (к чему он не раз возвращался) оканчивалась поражением, о котором он сам не стеснялся заявлять. Правда, Делез считал подобную самооценку излишне заниженной, а в «Голове-2» даже видел одну из самых красивых улыбок в мировой живописи, неожиданным образом роднящую Бэкона с Льюисом Кэрроллом. Чей чеширский кот логически задал амплитуду мерцаний всему XX веку.

Неожиданным образом два гениальных невротика (автор «Бесов» и автор вариаций на тему Иннокентия) напрямую сходятся в одной точке: в страсти к рулетке. По приглашению Сазерленда после второй мировой Бэкон поселился на несколько лет в Монте-Карло. Однако следов страсти — равно как и лазурных видов французской Ривьеры, столь солидно представленной в наследии того же Пикассо, — у Бэкона почти не найти. Подобное заметание следов, невнятность (а точнее, зашифрованность) собственной биографии видны во всем. В молодости он был декоратором и дизайнером — как догадаться об этом, разглядывая вылизанные стены его операционных палат? Разве что по подчеркнутой геометричности самих интерьеров?

Гомосексуализм тоже не стал главной темой бэконовских полотен, а когда он проявляется, как в «Двух фигурах в траве» (1954), то сцена любви больше напоминает сцену преступления. Более того: двадцать лет назад перед документальной камерой Пьера Коральника художник слишком разоткровенничался не только об искусстве и алкоголе, но и о «возвышенной мужской красоте». После чего запретил показывать фильм при своей жизни.

Творчество его стремилось к какой-то неведомой ему самому цели, и отсутствие академического образования лишь облегчало этот путь, полный бесконечных скитаний и блужданий.

Бесприютность его высечена на могильной плите (коей служат все без исключения словари и справочники): художник, всю жизнь проведший на берегах Темзы, родился в Дублине, а умер в Мадриде.

Зачем поехал туда одинокий 82-летний старик?

Впрочем, несмотря на трагическую скандальность биографии, для первых полос газет и светской хроники он до конца дней оставался иностранцем. Слишком несветскими были вещи, которыми он занимался. Слишком далеко заводило его путешествие по развалинам мира, который погиб задолго до того, как сам Бэкон родился.

* * *

«Можно ли еще писать о Бэконе?» — начал свою статью один из критиков, не имея при этом в виду, что работы Жиля Делеза или Мишеля Лейриса завершили тему. Можно ли о нем вообще писать? Новые территории, открытые им в живописи, оказались *территориями последних вопросов*.

Бэкон создал мир, внутри которого невозможно пробыть и минуты — но без него уже не получится жить. Невозможно более существовать без этого знания о комнате за закрытой дверью, где человеческое тело ценою собственного унижения и уничтожения пытается спасти человеческий дух.

■

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: КРУГ МНЕНИЙ

Издание журнала сродни отправке письма. У пишущего возникает естественное желание получить ответ, хотя бы изредка. Анкета, которую мы назвали «Мировая литература: круг мнений», представляет собой попытку вовлечь в разговор на интересующую нас тему людей, чья точка зрения может быть небезразлична читателям «ИЛ».

В первом выпуске новой рубрики свои суждения высказывают критик и литературовед Н. Иванова, филолог и переводчик М. Гаспаров, писатель-эссеист А. Генис.

1. С чего началось и как развивалось Ваше знакомство с зарубежной литературой?
2. Творчество каких авторов, какие книги оказались для Вас принципиально важными?
3. Главное, на Ваш взгляд, событие мировой литературы этого столетия.
4. Дутые величины и недооцененные авторы в зарубежной литературе XX века.
5. Обоснованны ли разговоры о кризисе мировой литературы?
6. Отдаете ли Вы предпочтение какой-либо определенной национальной культуре?
7. Как Вы оцениваете воздействие зарубежной культуры на современную отечественную?
8. Как влияет Ваша профессиональная деятельность на восприятие литературы?
9. Ваши открытия последних лет в области зарубежной литературы.
10. Назовите, пожалуйста, книги, без которых, на Ваш взгляд, немыслим круг чтения в детстве, отрочестве, юности.
11. Что бы Вы могли посоветовать журналу «Иностранная литература»?

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

1. Знакомство мое с зарубежной литературой началось с дошкольного еще детства, с Диккенса. Поглощала роман за романом — и страшно расстроилась, когда все закончилось. Некоторые вещи, как, скажем, романы о Дэвиде Копперфилде или Оливере Твисте, перечитывала по нескольку раз — каждую ангину. Потом — Свифт, Рабле; невероятно любимая книга — «Робинзон Крузо», исландские почему-то саги; конечно же, Жорж Санд, «Консуэло»; позже — Байрон, Бальзак, опять-таки поглощаемый собранием сочинений; Гейне; Гёте; дальше́ — Стендаль, Флобер, а там и Мопассан. В МГУ кое-что открылось заново, но практически вне зависимости от курса зарубежной литературы — Томас Манн (опять-таки целым десятитомником) и, конечно же, ставший на время культовым Гессе. Что же касается Ремарка и Хемингуэя, то это был культ. Моя первая школьная любовь так и называл меня — Нат, по аналогии с Пат. По-английски читала и разбирала стихи Роберта Бернса, Эдгара По.

Поскольку современную советскую литературу я и мои друзья просто-напросто игнорировали, ее как бы и не существовало. Русский «золотой» XIX век и зарубежная литература — вот что притягивало.

А потом на даче обнаружились номера «Интернациональной литературы» — помню свое летнее потрясение от Джойса; потом читала запоем Марселя Пруста; позже наступило почти годовое увлечение средневековой китайской прозой — упоение погружением в бесконечно другой, экзотический, утонченный мир «Снов в красном тереме» или «Золотых рыбок».

Принципиально важным, подтвердившим в моем сознании единство — и, разумеется, существование — мировой литературы было сочетание Китай—Япония—США—Великобритания—Франция, далее везде. И «время» и «место» были общими.

Может быть, именно потому, что Достоевский был прочитан в детстве на фоне Диккенса, а Гоголь — на фоне Рабле и Свифта, попав в Западную Европу только во второй половине 80-х (спасибо партии за это), я не ощутила себя за границей, а только все повторяла про себя, что камни-то родные. Было *узнавание*, а не первая встреча.

Италия пришла иначе — через кинематограф; специально полтора года занималась итальянским, чтобы самостоятельно, без переводчика, понимать звучащую речь.

А потом уже, в аспирантуре, прочитала Хёйзингу, «Homo Ludens», и эта книга встала рядом с бахтинским «Рабле» и работами Тынянова и Эйхенбаума. Если говорить о влиянии, то помяну добрым словом и современное американское литературоведение, особенно достоевсковедение — Роберт Джексон, Роберт Белнап. В спецхране впервые прочитала «Аду» — разумеется, по-английски. Вот такая смесь.

Теперь уже теряюсь — а грузинская литература? армянская? они тоже — зарубежные? Тогда не могу не упомянуть о воздействии Отара Чиладзе и Гранта Матевосяна, мощных, замечательных; кстати, в разговоре со мною года за два до смерти Бродский расспрашивал именно о Матевосяне.

2. Томас Манн, «Волшебная гора», «Смерть в Венеции». Герман Гессе, «Игра в бисер». Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества», «Осень патриарха». Йохан Хёйзинга, «Homo Ludens». Милорад Павич, «Хазарский словарь».

3. Событие мировой литературы этого столетия? Пожалуй, Марсель Пруст, «В поисках утраченного времени» — открытие нового измерения в возможностях письма. (Хотя я читала Пруста в переводе на русский, но воздействие его стиля на мировую литературу и для меня несомненно.)

4. Пропускаю — не специалист.

5. Нет, необоснованны, и журнал «Иностранная литература» блестяще это доказывает.

6. Пожалуй, мне трудно определиться в предпочтениях, хотя англоязычная литература все-таки остается моей первой любовью, немецкая — второй, а латиноамериканская — последней.

7. Увы, мало воздействует зарубежная литература на отечественную. Иосиф Бродский «подтянул» русскую поэзию к мировой, самостоятельно проделав фантастическую по объему работу. А так... Русская литература вела — и продолжает вести — самодостаточное, изолированное существование. За всю свою сознательную жизнь так и не слышала ни одного (!) слова (не говоря уж об обсуждении) о новостях — или о влиянии, или о неожиданных событиях — в зарубежной литературе; кроме, пожалуй, польской, о которой беседовали с Галиной Корниловой и Сергеем Лариным. Почти никто из современных русских писателей не владеет иностранными языками, не читает в оригинале, не интересуется ничем, кроме «своих». Сокращен горизонт восприятия. Образование получили ограниченное. Сознание провинциальное, самопупское. Велосипеды изобретаются ежемесячно. Культура знания и ориентации утрачена — для сравнения почитайте письма Пастернака Жаклин де Пруайяр, взгляните на цветаевский перевод на французский язык лебедевского «Пераста»... а пастернаковский «Фауст», а Шекспир... Переводить, по словам Анны Ахматовой, все равно что есть свой собственный мозг. Но не только. И развивать сознание — тоже.

8. Влияет. И на мою литкритическую работу, и на издательскую. Скажем, несколько лет тому назад делала доклад (на конференции в Сан-Диего «Литература и политика») на тему: «Габриэль Гарсиа Маркес и Фазиль Искандер: точки пересечения». В течение 1997 года в «Знамени» велась рубрика «Классика XX века», куда вошли эссе зарубежных авторов.

9—11. Посоветовать журналу «ИЛ» я могу только одно: смело расширить круг «зарубежного», поскольку туда теперь вошел и весь СССР, кроме России. Думаю, что открытия и неожиданности могут ждать и здесь. Хотелось бы увидеть на страницах «ИЛ» и переводы французского писателя — отчасти русского происхождения — по фамилии Бов, о котором я узнала благодаря программе Сергея Юрьенена (радио «Свобода»).

МИХАИЛ ГАСПАРОВ

1. В детстве Андерсен, греческие мифы по Швабу и Зелинскому, Диккенс, Гюго, Шекспир. В отрочестве «Антология новой английской поэзии», 1937 г. (Мирского—Гутнера; потом я слышал от И. Бродского, что и для него эта книга была вратами в культуру), Катулл, Софокл со статьями Зелинского. В начале взрослости «Улисс» (кусками, с помощью французского перевода) и немецкий Кафка, Гораций и Овидий.

2. Свифт, Вольтер, Рабле.

3. Может быть, Велимир Хлебников?

4. Дутые — может быть, Пруст? О недооцененных не сужу.

5. Каждая эпоха считает себя кризисной, это теперь вроде почетного звания.

6. Лучше других языков знаю латинский и английский, этим литературам и отдаю предпочтение.

7. Отставание лет в 20, раньше было лет в 30—50, это прогресс.

8. Учит читать внимательно. Бальзак был мне скучен (неприятное ощущение, что я не понимаю слишком многих реалий, — как над Аристофаном). Но однажды мне для стиховедческих нужд потребовалось подсчитать частоту таких-то ритмических форм слов во французском языке, я взял несколько первых попавшихся страниц Бальзака и почувствовал, что это вправду великий писатель.

9. Какие открытия, когда читать некогда? Остановился на Борхесе и Сеферисе.

10. Греческие мифы, скандинавские мифы, Библия, Данте, «Фауст» (особенно II часть). Но изданий, прокомментированных для начинающего читателя, у нас почти нет.

11. Наверное: так держать.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

1. Как и у других поздних детей оттепели, мое знакомство с зарубежной литературой началось с ее заочного обожания. В конце 50-х — начале 60-х, когда я впервые задумался о книжках, уже существовал «родительский» канон, с которым мы выросли. Все это я, конечно, тогда не читал, но в память имена, названия врезались намертво. Так что, когда пришло время, вкусы были уже сформированы.

Набор, надо сказать, у нас был довольно странным. Прежде всего Ремарк — «Три товарища», «На Западном фронте без перемен», «Черный обелиск», «Триумфальная арка». Последние две книги считались таким дефицитом, что их пересылали друзьям по разным городам. Затем, естественно, Хемингуэй, чуть позже — Бёлль, Сэлинджер, литература экзистенциализма — от Камю до Кобо Абэ.

Вспоминаются и менее известные сегодня книги: «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса, «Путь наверх» Джона Брейна, «День сардины» Сида Чаплина. Или, скажем, такая экзотическая вещь, как довольно плоский юмористический роман финского писателя Мартти Ларни «Четвертый позвонок», которым угощали, как коньяком.

Стоит напомнить, что для нас все это было литературой не зарубежной, а единственной. Нашему поколению по наследству достался бешеный голод по современной словесности. Ведь предыдущая эпоха знала либо классику, либо сталинский классицизм. И то и другое в первую очередь отличалось бестелесностью. Поэтому с таким энтузиазмом читались лишенные «звериной серьезности» книги, в которых пили, ели, занимались любовью. В сущности, это и была свобода.

2. Помимо обычных для моего поколения книг, вроде «Трех мушкетеров» и «Швейка», я бы назвал и менее очевидные имена. Самыми важными для меня были те книги, на которые, так сказать, легли все остальные. Основу моего читательского подсознания составили произведения двух жанров — фантастика и записки путешественников.

В более зрелом возрасте, пытаясь разобраться с этими пристрастиями, я пришел к выводу, что замечательные книги Лема, Шекли, Саймака, Брэдбери, к которым я не могу не присоединить моих любимых Стругацких, заменяли юным читателям теологию. Все они посвящены поискам Другого, все ищут способы выйти за пределы человеческого разума, все строят модели альтернативного сознания. Пафос подлинной фантастики, к которой относится, конечно, и Борхес, носит не научный, а религиозный характер.

К сожалению, сегодня «фантастикой» называют либо убогие боевики с рукопашными схватками, либо непонятно зачем переделанные сказки и легенды. Все это к тому же страшно переведено.

Что касается второго упомянутого мной жанра, то я до сих пор считаю путешественников лучшими писателями. Их книги удовлетворяют естественную в молодости тягу к героизму. При этом, что бесценно, они не связывают идею подвига с войной. Всякий поединок с природой — дуэль, а не бойня. Жаль, что в моей школе вместо кровожадных книг Полевого и Фадеева не изучали «Путешествие на «Фраме» Нансена или «Аннапурну» Мориса Эрцога.

3. Модернизм.

Мы все еще не отдаем себе отчета в том, как велика пропасть, отделяющая художника XX века от всех остальных. Разрыв этот несравненно больше, чем между языческим и христианским искусством. Ведь у тех и у других была, скажем, человекоподобная статуя. Другой вопрос, что первый художник изображал героя, второй — святого. Однако картины Пикассо, Кандинского или Клее с точки зрения прежней культуры не являются искусством вовсе.

То же самое и с литературой. В сущности, модернизм отменил аристотелевскую идею мимесиса[1] как цели искусства. При этом он не поставил никакой другой. Каждый автор должен был выбираться из этой аксиологической бездны своим путем. На обратном пути и создано все лучшее в XX веке.

Больше всего модернизм поражает разнообразием стратегий, в том числе и взаимоисключающих друг друга. Опыт синтеза такого грандиозного — всемирного! — масштаба никогда еще не предпринимался. Поэтому классика модернизма — золотой запас XX века. Это — склад художественных идей, большая часть которых осталась все еще невостребованной. Ими, в частности, питается постмодернизм, переводящий революционные, но эзотерические открытия модернистов на язык массового искусства.

Если же сузить ответ до одной хронологической точки, то ею будет 1922 год, когда вышли в свет «Бесплодная земля» Элиота и «Улисс» Джойса. Это — акме[2] модернизма.

4. В СССР, как известно, существовала своя зарубежная литература, что-то вроде деревянного «бицикла Бабского» из Ильфа и Петрова. Кумиры ее, такие, как Джеймс Олдридж, неизвестны западнее Бреста.

Говоря о сочинениях более нормальных писателей, сегодня я бы счел лишними безмерно популярные в мое время исторические романы Фейхтвангера и Мориса Дрюона. Дело тут не столько в авторах, сколько в самом жанре. Беллетристов обычно скучнее читать, чем источники, на которые они опирались. Да и великие историки, такие, как Гиббон или наш Карамзин, писали увлекательней романистов.

Из американцев у нас явно переоценили Курта Воннегута, которого и я в свое время страстно любил, но сейчас не могу перечитывать. То же относится, увы, и к Хемингуэю.

Интересно — для меня — сложилось отношение к Теодору Драйзеру. Его бордовый 12-томник мозолил глаза в каждом доме. вызывая искреннее презрение дотошным обличительством и кухонным реализмом. В Америке, однако, я его книги, «Сестру Керри» например, вспоминал чаще многих других. Ей-богу — похоже!

К маргинальным явлениям, занимавшим преступно много места в головах читателя и на страницах журналов, включая «ИЛ», относятся авторы из Восточной Европы, вроде Германа Канта или Кристы Вольф. Представляя «карманную заграницу», эти писатели затягивали наше единственное окно в Европу вязкой паутиной.

Это вдвойне обидно, потому что в тех же краях обитают и недостаточно оцененные писатели. Например, только недавно в России стали появляться книги «польского Довлатова» Марека Хласко. Несправедлива, на мой взгляд, и судьба Станислава Лема. С одной стороны, его книги на Западе — самые популярные произведения из всех написанных в коммунистическом мире. С другой — из-за жанра к ним так и не отнеслись, как они того заслуживают. Нобелевскую премию он не получил и вряд ли получит.

---

[1] Подражание (*греч.*). (*Здесь и далее — прим. ред.)*
[2] Вершина, острие (*греч.*).

Другой автор — Милорад Павич. На мой взгляд, его книги должны были бы произвести то же потрясение в умах, что и латиноамериканский роман. Этого не произошло. Павичу помешала политическая ситуация. Но надеюсь, что его время еще придет.

5. По-моему — да. И кризис этот — живительный. Однако вряд ли мне стоит пространно отвечать на этот вопрос, потому что я это уже сделал в своей книге «Вавилонская башня», опубликованной к тому же в «ИЛ».

К сказанному там могу лишь добавить, что тяжелее всего сегодня той литературе, авторы которой кризиса не замечают. Они-то и загоняют словесность в тупик, причем очень опасный, ибо чем больше груда одинаковых книг, тем труднее разыскать в ней нечто оригинальное.

Как мне говорили критики разных стран, это общая проблема. В США, Японии, Италии тысячами выходят книги, переписывающие друг друга. Чтобы объяснить природу этого невольного плагиата, позволю себе привести пример из любезной мне кулинарной области. Мы можем положить в суп картофель, лапшу, овощи и назвать блюда соответственно — картофельным, макаронным или овощным супом. Но все это будет одним и тем же блюдом. По-настоящему другим суп делает не наполнитель, а жидкость: если мы заменим мясной бульон рыбным, получится уха, если вместо воды налить квас, выйдет окрошка.

Писатели, которые ищут выход, разнообразя темы и материал, меняют лапшу на картошку и подают нам разогретый, бывший в употреблении обед.

6. Мои склонности, естественно, менялись с годами, хотя какие-то симпатии сохранялись всегда. Как, впрочем, и идиосинкразия. Никогда, скажем, я не любил французских реалистов. Хотя именно они научили меня восхищаться русской классикой. Однажды, уже студентом, я подряд прочел какой-то роман Бальзака и «Обыкновенную историю» Гончарова. Наш был настолько лучше, что больше я на французов и не смотрел, пока не открыл для себя символистов.

Всегда, с раннего детства, я нежно любил античную литературу. Правда, достать ее было непросто, чего я никогда не прощу советским издательствам. Нашли крамолу!

Но конечно, по-настоящему близкой была англо-американская литература. Я ее и знал лучше русской. Фолкнера прочел раньше Толстого. И сейчас англосаксы кажутся мне самыми важными авторами в этом веке. Только теперь это не проза, а поэзия — от Дикинсон и Фроста до Йейтса, Элиота, Паунда, Стивенса, Одена. Их стихи — сокращенная запись мировой литературы, трудный и увлекательный ребус, в который вошел опыт и Запада, и Востока. Это — виртуозная игра в бисер, которая требует от участника почти столько же, сколько от автора. Кстати, основал эту, наряду с другими, линию мировой литературы тоже английский автор — Уильям Шекспир.

7. В мою молодость решающую роль сыграли американцы. Они раскрепостили целое поколение писателей, вернув их к телесности, к конкретности, к чувственному опыту, к жизни как таковой. Как всякий незаработанный опыт, американское влияние породило литературу скорее поверхностную и эпигонскую. Уступая оригиналу, она не сумела всерьез повлиять на русскую культуру.

Исключение тут одно, зато какое — Иосиф Бродский. Вооруженный словарем и гениальной интуицией, он в одиночку сумел развернуть русскую музу. До Бродского традиционно ориентированная на французов отечественная поэзия практически не замечала тех судьбоносных перемен, которые произвела в XX веке англоязычная литература.

Борхес говорил, что великий поэт создает себе не только последователей, но и предшественников. Бродский сам выбрал себе родословную, с которой, к счастью, теперь не может не считаться вся русская поэзия.

Огромное, хотя и не такое заметное, влияние на русскую литературу оказала латиноамериканская проза. Когда волна подражаний Борхесу схлынула, оказалось, что она изменила рельеф дна.

Как бы странно это ни звучало, мне кажется, что для нашей культуры более органичен художественный мир Южной, а не Северной Америки. Помимо прямых исторических, экономических, политических аналогий, важно сходство и социальное. Не зря только в этих двух регионах существует интеллигенция в русском смысле этого слова. Есть глубокая близость и в интимных отношениях художника с реальностью. Живопись Риве-

ры, эссе Октавио Паса и мексиканская мелодрама русским ближе, чем картины Уорхола, статьи Сьюзен Сонтаг и американский сериал.

Сегодня ситуация с заимствованиями изменилась кардинально. Отечественная культура перенимает не открытия отдельных авторов, а сразу целые жанры — полицейский роман, женский, сенсационный, политический, триллер, роман «с ключом», фэнтези, «космическую оперу». Помнится, лет пять назад московские прилавки были завалены детективами Чейза, теперь для этого есть Тополь. Это значит, что процесс адаптации завершился налаженным производством отечественных лубков. Теперь, как и на Западе, удобренное масскультом поле начинает плодоносить. В качестве примера могу привести сценарий Владимира Сорокина «Москва».

8. Поскольку моя профессиональная деятельность и есть литература, то ответ на этот вопрос был бы равнозначен долгой авторской исповеди. Тут ей не место, но об одном я все же скажу.

С годами я читаю все меньше, зато провожу все больше времени над каждой страницей, строчкой, словом. Раньше в литературе меня интересовало, как она сделана, теперь — как она такой получилась. Меня волнует, не что книга говорит, а о чем проговаривается, не что автор сказал, а что хотел сказать. Хорошая книга — всегда продукт сотворчества автора с языком. В таком симбиозе желания одного далеко не всегда совпадают с намерениями другого. Непредсказуемость результатов и делает текст бездонной бочкой. Только от умения и опыта читателя зависит, чего и сколько оттуда можно выудить.

Авторы — читатели чрезвычайно завистливые. Поэтому из них и получаются самые внимательные книгочеи.

9. А. Стихи как таковые. Особенно — дальневосточная поэзия и стихи англо-американских модернистов. Сходства между ними больше, чем различий.

Б. Беккет. Он вычел из литературы — и жизни — все, без чего можно обойтись. Остались только семена, зерна смысла, которые прорастают не на страницах книги, а в читательском сознании.

К несчастью, проза Беккета до сих пор не прозвучала по-русски, хотя все три его романа весьма старательно переведены В. Молотом. Беда в том, что сам русский язык мало приспособлен для этого непонятного, но абсолютно точного, выверенного, как балетные па, стиля. И все же адекватный перевод, как это доказал сам Беккет, возможен. Только прежде следовало бы окружить текст биографическим и исследовательским контекстом — перевести лучшие труды о нем, опубликовать воспоминания, записные книжки, записи, сделанные на театральных репетициях.

Этот труд себя окупит сторицей, потому что появление русского Беккета не только изменит представления о границах литературы, но и расширит, точнее — сузит состав русского языка.

В. Лоренс Даррелл. Этому по-русски повезло еще меньше. Его чудное барочное красноречие в переводе оборачивается парикмахерским шиком. Русский Даррелл напоминает фамилию Кавалеров, про которую сказано, что она одновременно «высокопарна и низкопробна».

Г. Древнекитайская философская проза. Сейчас мне кажется, что ничего лучше даосов я вообще в жизни не читал. Они писали так, как все должны бы: просто, но глубоко. Глубоко, но просто.

Ни Конфуций, ни Лаоцзы не предлагали упорядоченной системы объяснений. Они бродили от одной интуитивно угаданной истины к другой, оживляя их взятыми из опыта конкретными образами или поэтическими сравнениями. Их мышление избегает абстрактных терминов и лишено четко очерченных логических дефиниций. Это литература гениальных эссе. Ее авторы сделали то, о чем я мечтаю, — они отменили границу между fiction и nonfiction. Более того, они превзошли различия между стихами и прозой, между субъективным опытом и безличной природой, между своим временем и нашим. Их книги годятся для любой эпохи, но в первую очередь — нашей, которая так горько разочарована в логическом, системном, сугубо рациональном подходе к миру.

Любви к китайцам помогают английские переводы. Дело не в том, что русские плохи. Напротив, перевод Чжунцзы В. Малявина прекрасен. Однако особенность китайского языка превращает любой перевод в достаточно свободную интерпретацию, в одну из

трактовок, не исключающих, а подразумевающих другие. Поэтому тот же Чжунцзы изумителен в переложениях американского монаха Томаса Мертона, который не знал китайского языка вовсе. То же самое происходит с беспримерно популярным сейчас на Западе Лаоцзы. В Америке существуют двести переводов «Книги о пути и благодати». И все они толкуют об одном по-разному, в том числе с помощью диких анахронизмов. В некоторых изданиях упоминаются даже тракторы. Я представляю, что по этому поводу скажут наши академики, но мне такая практика страшно нравится. Именно ее и имели в виду восточные мудрецы, когда говорили: не следуй за учителями древности, иди туда же, куда шли они. По-моему, старых китайцев надо переводить на русский до тех пор, пока их изречения не появятся на майках и бамперах машин.

10. Мне приходилось не только задумываться над этими вопросами, но и решать их на практике, когда я руководил чтением нашего родившегося в Америке сына. Когда он учился дома читать по-русски, первой его книгой были чудесные, на мой вкус, сказки — «Золотой ключик» и «Три толстяка». Однако он взбунтовался, сказав, что больше не в состоянии читать сочинения про хороших бедняков и плохих богачей.

Так или иначе, довольно быстро выяснилось, что в русской литературе мало хороших детских книг. Поэтому пока наш сын не дорос до «Мертвых душ», «Золотого теленка» и «Москва—Петушки» (его русские приоритеты), я давал ему переводные книжки.

Дефицит развлекательной литературы высокого класса — серьезный порок для всякой словесности. Генрих Бёлль, укоряя в том же недостатке немецкую литературу, винил ее в катастрофах германской истории. К счастью, этот дефицит есть чем заполнить.

Мне кажется, что идеальным детским чтением являются всякого рода утопии: «Робинзон Крузо», Свифт, «Таинственный остров» Жюля Верна. Все они закладывают фундамент позитивного, оптимистического мировоззрения. Сама идея изолированного эксперимента — острова порядка в океане хаоса — не может не соблазнять человека. Так что лучше переболеть этой опасной мечтой в раннем детстве.

Отрочество создано для античности. Так оно всегда и было. И я до сих пор не понимаю, кому в Советском Союзе мешали греки и римляне. Гомер, Аристофан, Геродот, Тацит, Петроний, Плутарх, Страбон — всех их я опробовал на своем сыне, которого именно античность оторвала от американского телевизора.

В юности мы читаем главные книги — те, что будем всю жизнь перечитывать. Самой важной из них мне кажется «Улисс». И в первый раз читать его надо в двадцать, а не в сорок, когда мы начинаем сомневаться в исключительности любого опыта.

Джойс — сумма всей предшествующей литературы (как Беккет — ее разность). Разобраться в «Улиссе», даже если на это уйдет год жизни, — все равно что закончить читательский университет. Диплом, как и Джойс, вам может никогда не понадобиться, но везде пригодится интеллект, закаленный этим иногда зубодробительным, иногда проникновенным, но всегда виртуозным перфекционистом.

11. Прежде всего, не конкурировать с книгоиздательствами. Это безнадежно. Говорят, в России сегодня выходит по шестьсот наименований в неделю. Журнал не может и не должен бороться с этим бумом, он должен им пользоваться, его направлять.

Я понимаю, что «ИЛ» по-прежнему несет огромную культуртрегерскую нагрузку. Именно здесь печатались Эко, Павич, Фаулз. И все же мне кажется, что сегодняшняя задача «ИЛ» не печатать романы, даже если их переводы выполнены на обычном для «Иностранки» уровне, а *представлять* читателям книги, авторов, отдельные школы и целые литературы.

Другое перспективное, на мой взгляд, направление — всевозможный nonfiction: эссеистика, пространные интервью (очень популярный на Западе способ донести до широкого читателя мнения видных философов), культурология, работы ученых, научившихся теперь писать для всех, исторические труды, особенно в той необычной, но переживающей сейчас расцвет области, которую представляют такие книги, как «История скуки», «История запахов», «История чтения».

Впрочем, все это есть и в нынешней «Иностранке». Я просто хотел бы, чтобы в будущем «Иностранка» все меньше походила на книгу и все больше — на журнал. Чем длиннее будет оглавление каждого ее номера, тем лучше.

■

У книжной витрины

ДЖОН АПДАЙК

В сторону конца времени

John Updike. Towards the End of Time

Knopf, 1997

В новом романе знаменитый писатель переносит читателя в будущее — в США XXI века. Это история медленного умирания 66-летнего бостонского брокера, чья молодость пришлась на наше время. Образ главного героя противоречив — высокообразованный человек с философским складом ума, но одновременно слабохарактерный, жестокий, коварный. По мнению рецензентов, основной в романе является мысль, что история беспощадно отомстила герою и той Америке, которую он собой олицетворяет. Грядущее — апокалипсические социальные беспорядки, всесилие уличных банд. Один из критиков подчеркивает, что, хотя «В сторону конца времени» — не лучшая книга Апдайка, «она наделена энергией, от которой мурашки бегут по коже».

ЧАРЛЬЗ ФРЭЗИЕР

Холодная гора

Charles Frazier. Cold Mountain

Atlantic Monthly Press, 1997

Первый роман никому дотоле не известного американца Чарльза Фрэзиера «Холодная гора» вырвался на первое место в списке бестселлеров и завоевал горячие похвалы критиков (роман удостоен Национальной книжной премии США). Действие происходит во время войны Севера и Юга. Центральные фигуры — раненый солдат-южанин, пытающийся пробраться домой, и его невеста. Это история об ужасах войны, об одиночестве, об особых узах, связывающих человека с родной землей. В рецензиях отмечается, что «проницательный взгляд на общество в эпоху перемен» роднит Фрэзиера с великими прозаиками XIX века.

ХАНИФ КУРЕЙШИ

Любовь в тоскливое время

Hanif Kureishi. Love in a Blue Time

Scribner, 1997

В новом сборнике рассказов известный английский прозаик и сценарист Ханиф Курейши (первый его роман «Будда из пригорода» был удостоен Уитбредской премии за лучший дебют), остается верен тематике своих предыдущих книг, изображая «культурный хаос» современной Великобритании. Критики назвали эти рассказы «историями о переходе из молодости в зрелость». Их герои (многие — представители азиатской диаспоры, выходцы из Индии и Пакистана), как правило, сорокалетние люди, вдруг осознающие нелепость собственного существования.

СТЮАРТ О'НЭН

Королева колес

Stewart O'Nan. The Speed Queen

Doubleday, 1997

Американский писатель Стюарт О'Нэн — лауреат многих литературных премий, в 1996 году он вошел в список «Лучших молодых прозаиков США» журнала «Гранта». Его новый роман «Королева колес», разделенный не на главы, а на «кассеты» и «стороны», выстроен в форме исповеди, которую молодая женщина наговорила на магнитофон перед казнью. Кассеты предназначены для знаменитого писателя, «короля ужасов» (его прообразом послужил Стивен Кинг), который приобрел права на эти материалы, чтобы написать на их основе роман. Живо, со множеством бытовых отступлений героиня повествует о том, как она сама и близкие ей люди перешли от наркомании к торговле наркотиками, а затем к грабежу и массовым убийствам. В критических откликах эта книга названа «страшной, полной черного юмора исто-

рией о людях, чьи жизни, вышибленные из колеи наркотическим дурманом, несутся под откос».

БИЛЛИ КЛЮВЕР

Один день с Пикассо. 24 фотографии, сделанные Жаном Кокто

Billy Kluver. A Day with Picasso: 24 photographies by Jean Cocteau

The Mit Press, 1997

Создатель этой оригинальной книги Билли Клювер — американец швейцарского происхождения. В 60-е годы он принимал участие в проектах художника Роберта Раушенберга, а затем посвятил себя истории визуальной культуры. В издание вошли найденные Клювером фотографии — их сделал писатель Жан Кокто во время прогулки по Парижу 12 августа 1916 года. Кокто снимал своих друзей, которые дурачились перед объективом: Пикассо, Модильяни, Макса Жакоба, Андре Сальмона и многих других. Книга включает обширный комментарий Клювера, карты, где указано точное место каждой сцены, а также малоизвестные рисунки Пикассо, Модильяни и прочих знаменитых героев книги.

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ

Запах крови

Goffredo Parise. L'Odore del Sangue

Rizzoli, 1997

«Запах крови» — посмертно опубликованный роман классика итальянской литературы Гоффредо Паризе (1929—1986). Он написал его летом 1979 года, когда дали о себе знать первые признаки неизлечимой болезни. Название романа символично, в нем писатель попытался сказать жестокую правду о жизни и смерти, о злом роке, который нередко управляет людскими судьбами.

МАРТИН У. ЛЬЮИС И КАРЕН Э. УИДЖЕН

Миф о континентах. Критика метагеографии

Martin W. Lewis and Karen E. Wigen. The Myth of Continents: A Critique of Metageography

University of California Press, 1997

Книга представляет собой очерк истории географической науки от Аристотеля до наших дней, где авторы — американские культурологи — анализируют проблему этноцентризма. Исследуя географические карты, созданные разными народами на протяжении веков, ученые приходят к выводу: наши карты мира отражают наши предрассудки. Они подвергают критике традиционное разделение мира на континенты и части света, предлагая свои критерии региональных подходов — по религиозно-культурным признакам.

ЭМИ КЛЭМПИТТ

Собрание стихотворений

Amy Clampitt. The Collected Poems

Alfred A.Knopf, 1997

Американская критика с большим интересом встретила публикацию первого — и достаточно полного — собрания стихотворений Эми Клэмпитт (1920—1994). Известность пришла к ней поздно, дебютный сборник стихов Клэмпитт выпустила лишь в 1983 г., в возрасте 63 лет. Среди ее стихов много рифмованных, что редкость для современной англоязычной поэзии. «Все, что мы знаем, все, из чего созданы, — это движение» — вот строки, считающиеся ключевыми для ее творчества.

МАКС ФРИШ

Время наблюдать. Письма, заметки, документы. 1943—1963

Max Frisch. Jetzt ist Sehenszeit. Briefe, Notate, Dokumente. 1943-1963

Suhrkamp, 1998

В книге представлены тексты, фотографии и факсимиле фрагментов из знаменитых «голубых тетрадей» Макса Фриша, которые он повсюду носил с собой. Размышления писателя касаются самых разных тем: от взаимоотношений коммунизма и христианства до неореализма или заметок о природе славы Артура Миллера. Издание включает также письма Фриша — близким людям, коллегам-писателям (Паулю Целану, Людвигу Холю, Хансу Магнусу Энценсбергеру и др.), издателю Петеру Зуркампу. Безусловный интерес представляют и другие материалы: тексты, посвященные Бертольту Брехту, Фридриху Дюрренматту и т.д.

МАКС ФРИШ. УВЕ ЙОНСОН

Переписка

Max Frisch. Uwe Johnson. Ein Briefwechsel

Suhrkamp, 1998

Их знакомство состоялось в 1962 году в Риме. К тому времени Макс Фриш был уже известным писателем, а Уве Йонсон только что опубликовал свой второй роман. Между писателями завязались дружеские отношения, и с 1964 года они стали регулярно обмениваться письмами. Подход Фриша к этой переписке отчетливо прагматичен: он или просит о чем-то сообщить ему, или сам дает другу необходимую информацию. Для Уве Йонсона письмо — полноценный литературный жанр, в котором он следует лучшим художественным традициям.

ГЕРМАН ГЕССЕ — ТОМАС МАНН

Переписка

Hermann Hesse — Thomas Mann. Briefwechsel

Bibliothek Suhrkamp, 1998

Новое издание переписки двух лауреатов Нобелевской премии по литературе значительно расширено по сравнению с предыдущим (1968). В него вошли два десятка ранее не публиковавшихся писем Томаса Манна к Герману и Нинон Гессе. По мнению составителя и автора вступительной статьи Фолькера Михельса, книгу нельзя рассматривать как сборник литературных документов, предназначенных для специалистов, — с ней должны познакомиться самые широкие круги читателей. В своих письмах два великих писателя размышляют над важнейшими проблемами первой половины XX века, в том числе над тем, почему к власти в Германии пришел фашизм и какие процессы привели к развязыванию второй мировой войны.

ПИТЕР АКРОЙД

Мильтон в Америке

Peter Ackroyd. Milton in America

Doubleday, 1997

Новый роман известного английского писателя и литературоведа Питера Акройда — книга, в которой автор дал волю фантазии, хотя и посвящена она конкретной исторической личности, поэту Джону Мильтону. В романе Акройда Мильтон отправляется за океан, в Новую Англию, с намерением создать собственный рай на земле. Природные качества и особенности характера — нравственная нетерпимость, необычайное самомнение, подавленная (ученостью и слепотой, как считал Т. С. Элиот) чувственность — делают из него тирана куда более грозного, чем короли, которых он, по его словам, так яростно презирал. В итоге единомышленникам и спутникам Мильтона приходится немало вытерпеть от своего пастыря.

ДЖОН БЭНВИЛЛ

Неприкасаемые

John Banville. The Untouchable

Knopf, 1997

Известный ирландский писатель Джон Бэнвилл выбрал для своей новой книги форму шпионского романа. Герой повествования — агент Москвы — вдруг обнаруживает, что сам становится объектом пристального внимания спецслужб. В поисках лекарства от душевной смуты он начинает вести дневник, в котором не только описывает происходящее вокруг, но и вспоминает всю свою жизнь. История его жизни (прежде всего детство и юность) оказывается настолько увлекательной и рассказана так талантливо, что, по мнению рецензентов, «шпионская» линия отходит на второй план.

КУРТ ВОННЕГУТ

Времятрясение

Kurt Vonnegut. Timequake

Putnam, 1997

Это 19-й роман американского писателя Курта Воннегута и, как он заявил, его последняя книга: 74-летний автор устал и хочет целиком посвятить себя новому увлечению — рисованию. Во «Времятрясение» вплетено много автобиографических элементов, рассказ ведется от лица писателя-фантаста Килгора Траута, очень похожего на Воннегута. Он вместе с другими персонажами заново переживает целое де-

сятилетие, но теперь время словно идет вспять — от 2001 до 1991 года. Повествование о конкретных событиях перемежается ностальгическими рассуждениями, не слишком пристойными шутками, жалобами на возраст и творческие трудности, ворчанием по поводу тупого телевидения и чересчур компьютеризированного образования, воспоминаниями об уже ушедших близких и друзьях.

ЖОЗЕ САРАМАГО

Все имена

Jose Saramago. Todos los nombres

Alfaguara, 1998

По мнению критиков, новый роман известного португальского писателя Жозе Сарамаго «Все имена» можно считать третьей книгой так называемого «аллегорического цикла» (первые две — «Евангелие от Иисуса» и «Этюд о слепоте»). «Все имена» — попытка исследовать чиновничий, бюрократический мир, который управляет современным обществом, и рассказать о растущем одиночестве людей в этом обществе. У героя книги, служащего Главного архива актов гражданского состояния, есть единственная страсть: он собирает газетные вырезки, с помощью которых старается восстановить биографии 100 знаменитых современников, но быстро убеждается, что каждый из них в той или иной мере скрывает правду о себе. Он обращается к архивам, и перед ним проплывают тысячи историй, тысячи имен, но все они без лиц, целое кладбище имен. Рецензенты назвали «Все имена» не только самым лучшим романом Сарамаго, но и самым пессимистическим.

ХЬЮ ЛОРИ

Торговец оружием

Hugh Laurie. The Gunseller

Soho Press, 1997

Английская критика удостоила высоких похвал первый литературный опыт известного комедийного актера Хью Лори, знакомого русскому зрителю по экранизации произведений П. Г. Вудхауса — телесериалу «Дживс и Вустер». Это юмористический детектив, герой которого представляет собой нечто среднее между великосветским шалопаем Берти Вустером (которого и играл Лори в телесериале) и Джеймсом Бондом. Герою, бывшему офицеру, предлагают переквалифицироваться в киллера. Он пытается предупредить свою потенциальную жертву и оказывается в центре международных политических интриг.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ЭРИК ФОСНЕС ХАНСЕН (ERIK FOSNES HANSEN; род. в 1965 г.) — норвежский писатель. Его первый роман «Соколиная башня» («Falketårnet») вышел в 1980 году. Роман был с интересом встречен читателями и критикой и издан затем в Швеции, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и др. странах.

Роман «Псалом в конце пути» («Salme ved reisens slutt», Oslo, J. W. Cappelens Forlag) вышел в 1990 году, имел еще больший успех и за эти годы издан в двадцати трех странах мира.

ШЭРОН ОУЛДС (SHARON OLDS; род. в 1942 г.) — американская поэтесса, родилась в Сан-Франциско, училась в Станфордском и Колумбийском университетах. Занимается литературной и педагогической деятельностью. Лауреат Центра поэзии в Сан-Франциско. Ее стихи печатались во многих периодических изданиях. Первый сборник, «Словами сатаны» («Satan Says»), вышел в 1980 году, затем изданы «Золотая клетка» («Golden Cage», 1987) и др.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Умершие и живые» («The Dead and The Living». New York, Alfred A. Knopf, 1990).

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР (HANS MAGNUS ENZENSBERGER; род. в 1929 г.) — немецкий поэт, эссеист, публицист, переводчик, издатель. Лауреат премии имени Бюхнера. Автор сборников стихов «Защита волков» («Verteidigung der Wölfe», 1957), «Язык страны» («Landessprache», 1960), «Шрифт слепых» («Blindenschrift», 1964), «Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса» («Mausoleum. Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts», 1975), «Музыка будущего» («Zukunftsmusik», 1992), книги очерков «Ах, Европа!» («Ach, Europa!», 1987) и др. В «ИЛ» напечатаны стихи Х. М. Энценсбергера (1960, № 10), книги «Великое переселение. Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей» (1994, № 9) и «Взгляд на гражданскую войну» (1995, № 6), эссе «Роскошь — прежде и теперь, или Кое-что об излишествах» (1997, № 9).

Пьеса «Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро» («Voltaires Neffe. Eine Fälschung in Diderots Manier». Frankfurt am Main, Suhrkamp) опубликована в Германии в 1996 году.

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ (TADEUSZ RÓŻEWICZ; род. в 1921 г.) — польский поэт, прозаик, драматург, эссеист. Лауреат нескольких национальных премий. Автор многих сборников стихов, в их числе «Разговор с принцем» («Rozmowa z księciem», 1960), «Голос анонима» («Głos Anonima», 1961), «Третье лицо» («Twarz trzecia», 1968). Многие произведения Т. Ружевича переведены в европейских странах и в США. На русском языке изданы сборник избранных стихов «Беспокойство» (М., 1963), «Избранное», куда вошли проза, поэмы, пьесы (М., 1979), «Стихотворения и поэмы» (М., 1985). В «ИЛ» публиковались стихи и рассказы Т. Ружевича (1956, № 8; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5), а также пьеса «Западня» (1989, № 3).

Поэма «Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста» («Francis Bacon czyli Diego Velázquez na Fotelu Dentystycznym») была напечатана в журнале «Твурчость» («Twórczość». 1995, № 7-8.

СИМОНА ДЕ БОВУАР (SIMONE DE BEAUVOIR; 1908—1986) — французская писательница. Автор романов «Гостья» («L'invitée», 1943), «Чужая кровь» («Le sang des autres», 1945), «Мандарины» («Les mandarins», Гонкуровская премия, 1954), автобиографической трилогии «Записки благовоспитанной барышни» («Les mémoires d'une jeune fille rangée», 1958), «В расцвете сил» («La force del'âge», 1960), «Сила вещей» («La force des choses», 1963), книги «Второй пол» («Le deuxième sexe», 1949; глава из этой книги напечатана в «ИЛ», 1993, № 3; полностью по-русски вышла в 1997 г.), повести «Прелестные картинки» («Les belles images», 1966; рус. перев. в «ИЛ», 1967, № 7), новеллы «Сломленная» («La femme rompue»,1968, рус. перев. 1992), эссе и др. произведений.

Книга «Трансатлантическая любовь. Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену. 1947 — 1964» («Lettres à Nelson Algren. Un amour transatlantique». Paris, Éditions Gallimard) издана во Франции в 1997 году.

ЖОРЖИ АМАДУ (JORGE AMADO; род. в 1912 г.) — бразильский писатель, академик. Произведения Ж. Амаду многократно издавались в нашей стране. В «ИЛ» напечатаны: повесть «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» (1963, № 5), романы «Мы пасли ночь» (1966, № 2,3), «Лавка чудес» (1972, № 2 — 4), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1975, № 11,12), «Возвращение блудной дочери» (1980, № 7—10), «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» (1982, № 8,9), «Исчезновение святой» (1990, № 1, 2); рассказы «История любви Полосатого кота и сеньориты Ласточки» (1980, № 12).

Книга «Каботажное плаванье. Наброски воспоминаний, которые никогда не будут написаны» («Navegacão de cabotagem. Apontamentos para um livro de memorias que jamais escreverei». Rio de Janeiro, Editora Record) издана в Бразилии в 1992 году.

МОКРОУСОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1965 г.) — литературный критик, автор статей по изобразительному искусству. В 1991—1996 гг. вел раздел «Книжный шкаф» в журнале «Огонек». Печатался в журналах «Современная драматургия», «Знамя», «Московский наблюдатель». В «ИЛ» были опубликованы статьи «Бестселлер: русский ак-

цент» (1994, № 7), «Траектория шляпы» (1997, № 2), «Шепоты и крики» (1997, № 6), «Слишком красивая полячка, или История одной неудачи» (1997, № 7), «Кругом одни попутчики» (1997, № 8), «Город как идеальная машина» (1998, № 1).

■Переводчики:

ГОРЛИНА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА — филолог-германист, переводчик со скандинавских языков. В ее переводе с норвежского издавались романы: «Веселый парень» Б. Бьёрнсона, «Музыка голубого колодца» и «В следующее новолуние» Турборг Недреос, «Великая игра» и «Птицы» Т. Весоса, «Акулы» Й. Бьёрнебу, «В поисках Дины (Сын Счастья)» Хербьёрг Вассму (рус. перев. в «ИЛ», 1994, № 6); со шведского — романы: «Путь змея на скале» Т. Линдгрена, «Река памяти» и «Городские ворота» С. Дельбланка, «Милейший принц» К. Чильмана; с исландского — тетралогия «Свет мира» Х. Лакснесса, а также книги для детей, рассказы, очерки и др.

ПЕЧЕРСКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА — поэтесса, переводчик с английского, болгарского и эстонского языков. Автор книг стихов «Из каменного гнезда» и «Именем любви». В ее переводе публиковались стихи Теннесси Уильямса («ИЛ», 1983, № 9), Уильяма Мейкписа Теккерея («ИЛ», 1984, № 8), Эдгара По, Велены Бояновой и др.

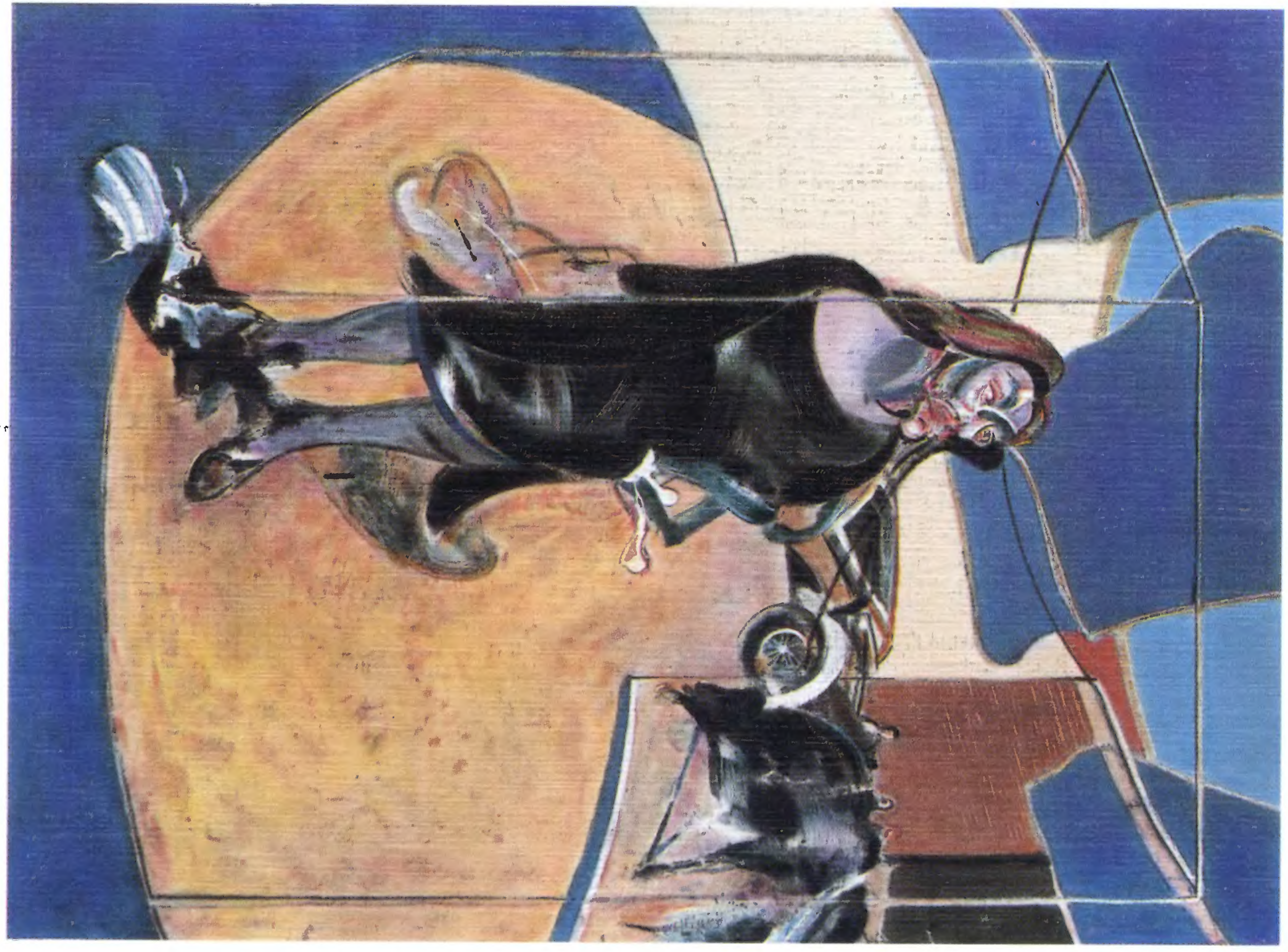
БУХОВ ЛЕОНАРД СЕМЕНОВИЧ (род. в 1925 г.) — переводчик с польского и немецкого языков. В его переводе публиковались и ставились в театрах пьесы «Эмигранты», «Стриптиз», «Летний день», «Портрет» С. Мрожека, «Мария» И. Иредыньского, «Тихая ночь» Г. Мюллера; изданы рассказы С. Мрожека, повесть «My Sweet Raskolnikow» Я. Гловацкого. В «ИЛ» опубликованы его переводы романа «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» А. Щиперского (1992, № 2), фрагментов книги «Три дамы К. рассказывают истории» Х. Зандер (1993, № 3), пьесы «Любовь в Крыму» С. Мрожека (1994, № 10), рассказов Д. Дёрри (1997, № 11), рассказов и эссе Я. Гловацкого (1998, № 2).

ЭППЕЛЬ АСАР ИСАЕВИЧ (род. в 1935 г.) — прозаик и переводчик. В «ИЛ» в его переводе с польского напечатаны поэмы «Ниобея» К. И. Галчинского (1991, № 7), «Totentanz in Polen» С. Гроховяка (1985, № 11), рассказы Ю. Тувима (1975, № 1), книга «Коричные лавки» Бруно Шульца (1990, № 12) и др. Автор книг рассказов «Травяная улица» (1994), «Шампиньон моей жизни» (1996).

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы «Стелло, или Синие демоны» А. де Виньи, «Пыль над городом» А. Ланжевена, «Терраса Бернардини» С. Пру, «Конец Ангела» С. Г. Колетт, «Нечаев вернулся» Х. Семпруна (совместно с Г. Зингером; «ИЛ», 1996, № 11), главы из романа «Первый человек» А. Камю («ИЛ», 1995, № 5), повесть «Ни завтра, ни потом» Вивана Денона («ИЛ», 1997, № 5), пьесы «Осадное положение» А. Камю («ИЛ», 1990, № 10), «Бескорыстный убийца» Э. Ионеско (Библиотека «ИЛ», 1990), «Ужин» Жан-Клода Брисвиля («ИЛ», 1993, № 5) и др.

БОГДАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) — переводчик с испанского, португальского, английского языков, кандидат искусствоведения; в его переводе изданы романы «Лавка чудес», «Пальмовая ветвь», «Капитаны песка» и «Исчезновение святой» Жоржи Амаду («ИЛ», 1990, № 1, 2); «Война конца света» Марио Варгаса Льосы, «Ты боишься крови?» Серхио Рамиреса, «Луна доктора Фауста» Франсиско Эрреры Луке, «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго («ИЛ», 1998, № 5, 6), повесть «Кто убил Паломино Молеро?» Марио Варгаса Льосы (Библиотека «ИЛ», 1989), стихи Мануэла Мария ду Бокаже, Фернандо Пессоа, Фернандо Наморы, Машадо де Ассиза и др.; главы из книги «Портрет Пикассо в юности» Нормана Мейлера («ИЛ», 1997, № 3, 4).

■



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №7, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394